

К. Леонтьев

ПОЛНОЕ  
СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
И ПИСЕМ

7(1)

*К. Леонтьев*



# К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ  
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2005

# К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

---

ТОМ СЕДЬМОЙ

---

КНИГА ПЕРВАЯ

ПУБЛИЦИСТИКА  
1862—1879 ГОДОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2005

УДК 8(47)82

ББК 84(05)

Л47

Редакционная коллегия

С. Г. Бочаров, В. М. Камнев, В. И. Косик,  
В. А. Котельников (главный редактор), Г. Б. Кремнев,  
А. П. Мельников, В. П. Сальников, Н. Н. Скатов, А. Феррари,  
О. Л. Фетисенко (заместитель главного редактора)

Тексты подготовили

. А. Котельников, О. Л. Фетисенко

*При подготовке издания были использованы материалы,  
хранящиеся в Российском государственном архиве  
литературы и искусства  
и в Государственном литературном музее*

*Издание выпущено при поддержке Комитета по печати  
и взаимодействию со средствами массовой информации  
Санкт-Петербурга*

*Федеральная целевая программа Культура России  
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания  
России»)*

*За помощь в осуществлении издания данной книги  
издательство благодарит Тихомирова Сергея Николаевича*

© Издательство «Владимир Даль», 2003

© В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко,  
подготовка текстов, 2005

© А. П. Мельников, оформление, 2005

© П. Палей, дизайн, 2005

ISBN 5-93615-035-6 (Т. 7, кн. 1)

ISBN 5-93615-011-9

ПУБЛИЦИСТИКА  
1862—1879 ГОДОВ

## МНЕНИЕ ДЖОНА-СТЮАРТА МИЛЛЯ О ЛИЧНОСТИ

«Нам ли предлагать Милля? — скажет кто-нибудь; — у нас общественное мнение глухо, слабо, шатко; мы страдаем равнодушием, а не нетерпимостью и т. д...» На это мы скажем, что сверх отпора узкому пуританству, составляющему антипатичную сторону английской жизни, в книге Милля есть много общей правды, пригодной для всех. Эпиграфом ко всему сочинению Милля взяты следующие слова Вильгельма ф(он) Гумбольдта: *«Великий, главный принцип, к подтверждению которого направлены все доказательства в этой книге, состоит в существенной, абсолютной необходимости самого пышного, самого разнообразного человеческого развития»* («О пределах и обязанностях правительственной власти»; Вил. ф(он) Гумб(ольдта)). Деспотизм обычая, бесцветность мнений везде свивают себе гнездо; для них и в обществе, и в народе нашем есть много центров. В самых прогрессивных воззрениях бывает иногда бездна пошлости. Помимо политических условий нашей жизни существует известный круг полуобщественной, участвующей деятельности для каждого из нас, и на это, доступное всем поприще каждый может вносить или не вносить силу и полноту. (Мы говорим: силу и полноту — именно потому, что сила без полноты возможна, точно так же, как возможно благосостояние без развития; но полнота без некоторой силы невообразима, как невообразимо свободное развитие без сносной доли благосостояния.)

Деспотизм обычая и господствующих мнений, при недостатке одного широкого общего течения, может застаиваться в отдельных болотах или бежать мелкими ручьями, попадая в которые, приятно и полезно не забывать о своей личности и возбуждать в себе смелую независимость. Характеры, незаметно закаляясь в частных кругах жизни, приготавливают себя и на более широкое поприще, когда будет спрос.

«Наше общественное мнение раздроблено и слабо; нам не грозит добропорядочное мещанство, самодовольная масса добродетелей средней руки; Россия не однообразна, не узка, она скорее распушена, беспорядочна духом; зачем же говорить у нас против общественного мнения и благодравия?»

Мы ответим на это еще вот что. Во-1-х, предлагая перевод двух глав из Милля, мы не имеем цели нанести легкий удар слабому общественному мнению, а предлагаем его в более общем смысле, более с общественной, чем с политической точки зрения. Во-2-х, нельзя сказать, чтобы у нас не было своего рода общественного или народного мнения; до известной степени этим именем можно назвать и то некое соглашение, в котором до сих пор коснеет у нас большинство. Мы совершенно согласны с тем, что от нас далеко то лицемерное свободно избранное благочиние, которое пугает Милля. Россия разнообразна этнографически; способна к децентрализации не с одной административной стороны; глубокое, долгое разъединение сословий, вчера крайне вредное, дало, однако, возможность отстояться далеким друг от друга формам и завтра может стать полезным, благоприятствуя развитию самобытных личностей, которые для истории в одно и то же время и цель и орудия. Во всех обществах величайшие эпохи наставали тогда, когда юридическое уравнивание (без уравнивания экономического и умственного) возбуждало общее движение вверх и вниз; везде лучшие (в смысле развития) эпохи следовали за первым энергическим наплывом демократии. Все это так; прибавим даже еще, что терпимость у нас уже слишком сильна и во многих случаях перерождается в терпеливость; и потому деспотизм смертоносной золотой середины еще не так стра-

шен для нас. Но разве не считаем мы себя вправе говорить друг другу в частной жизни: «обрати внимание на свои (положим) математические способности, укрепи и развей их!» Мы говорим это, как говорим и противное: «смотри, куда ты идешь — ты сужаешься и тупеешь?» Прав ли Милль относительно самой Англии — это другой вопрос; быть может (и даже вероятно) — у него направление взяло верх над истиной, желание убедить над желанием сохранить научную меру; но в настоящем случае это до нас не касается. Мы верим, твердо верим, что благосостояние и для личности, и для обществ только одно из главных средств, а высшая цель есть развитие, жизнь; не покой — брат застоя, наш дорогой идеал, а битва жизни, движение, цвет ее! Отдых и благосостояние подразумеваются сами собою и до них везде много охотников. Поэтому пусть простят нам, если мы немного забежали вперед.

По нашему мнению, 3-я глава в книге Милля самая характеристическая; мы почти вполне перевели ее и 4-ю главу, в которой есть несколько примеров для пояснения общих правил, изложенных в трех первых главах. В остальных главах много хороших подробностей, но ни в одной из них не выразилось так ясно, как в 3-й главе, оригинальное, смелое воззрение автора на свободу.

«В этой книге (говорит Милль в самом начале) идет дело не о свободной воле, а о свободе общественной, т. е. о сущности и пределах власти общества над личностью. Вопрос этот очень стар и тайно присутствует при всех практических прениях нашего времени, хотя почти никогда еще не был разбираем в виде общих положений. Не надо думать, что все кончено, когда нация сама поставила над собой ответственное правительство и даже когда правительство слилось воедино с народом, сделалось выражением мнений большинства. Это устройство в свою очередь может стать убийственным для личности, которая должна быть окончательной целью всех стремлений».

При общем соглашении большинства развивается не управление каждого самим собою, а управление каждого

всеми остальными. Тирания общества опаснее всякой другой, потому что общество может исполнять и исполняет само свои декреты; оно стремится налагать всем без исключения свои правила, мешает развитию всякой оригинальной личности и принуждает все характеры пригибаться под один общий уровень.

Общество считает себя вправе вмешиваться в личные дела каждого, предписывать ему насильно правила морали и религии, забывая, что без свободы мысли и совести человек не вырабатывает сам ничего и становится ничтожным рабом обычая и предания.

«В Англии, — говорит Милль, — (вследствие особых политических условий нашей истории) ярмо общественного мнения, быть может, тяжелее, чем в остальной Европе, — но ярмо закона гораздо легче; у нас царствует сильное отвращение ко всякому прямому вмешательству власти исполнительной и законодательной в частные дела; но это происходит не столько от глубокого уважения к личности, сколько от привычки видеть в правительстве антагониста общества.

20 Когда наше большинство станет смотреть на власть правительства, как на свою собственную, тогда свобода личности будет, вероятно, столько же стесняема правительством, сколько теперь она стеснена общественным мнением».

Так говорит Милль — для него и в Англии недостаточно развита личность, и в Англии мало оригинальных людей, мало разнообразия! — что же сказать о других нациях? Нации не похожи друг на друга; но во всякой нации есть бесформенные массы, состоящие из личностей, различных друг от друга только для тонкого физиолога, для коротко знакомого с ними человека.

30 История, впрочем, доказывает нам, что не все эпохи, не все породы, не все сословия одинаково бедны в этом отношении. Дикие кочевники, простолюдины, спартанцы, современные французы, китайцы, вероятно, гораздо более похожи друг на друга, чем образованные народы, люди высших классов, афиняне, римляне от изгнания Тарквиния до первых Императоров, англичане и т. д. Предки наши до Петра были, конечно, более

сходны между собою, чем мы; личности в разные эпохи крепнут и полнеют в разных сословиях: во времена Екатерины и Александра I-го вельможество было богаче личностями, чем все другие классы; лет 40 тому назад эта жизненность начала спускаться к мелкому и крупному деревенскому дворянству и к духовенству. Теперь очередь за низшими слоями, которым предстоит освежить всех нас. Что вредно для развития личностей в одну эпоху, то благотворно в другую; Милль в одном месте смело указывает на то, что успехи демократии на западе Европы и в Америке губят разнообразие и оригинальность. Первая глава Милля вроде введения, 2-я трактует о свободе мысли и прения.

«Свобода прений, говорит автор, необходима полная, ибо, только подвергая вещь постоянному сомнению, мы можем убедиться в ее непоколебимой истине; никто, ни общество, ни отдельное лицо не может быть уверено в своей непогрешительности».

Хотя эта 2-я глава очень полна и отчетлива, однако мы ее оставим, как менее Миллевскую, и перейдем прямо к 3-й.

### Глава 3-я

#### *Индивидуальность как одно из условий благосостояния*

Мы изложили причины, по которым людям необходима свобода составлять самим свои мнения. Теперь посмотрим, не ведут ли те самые причины к тому, чтобы люди были свободны в своих поступках, основанных на мнениях, чтобы они имели право жить как хотят и не были бы стесняемы своими ближними до тех пор, пока никому не вредят. Конечно, последнее условие необходимо. Никто не станет утверждать, что действия должны быть так же свободны, как и мнения. Напротив того, самые мнения теряют свою неприкосновенность, когда они выражены при таких обстоятельствах, что одно выражение их есть прямое подстрекательство к важному проступку. Мысль, что хлебные тор-

говцы морят с голоду бедных или что частная собственность есть воровство, заслуживает наказания, если выражают ее изустно в расшвирипевшей толпе, перед дверями хлебного торговца, или распространяют в этой толпе в виде памфлета.

10 Всякого рода поступки, наносящие вред другим (без особенных оправдывающих причин), должны быть непременно подвержены контролю общественного мнения и даже, в случае крайности, деятельному вмешательству общества.

Свобода лица должна быть ограничена следующим образом: *оно не должно вредить другим*. Но если человек, не вредя другим, следует своим склонностям и своему мнению в своих делах, то это практическое приложение свободной мысли должно быть вполне ему разрешено.

20 Человечество способно заблуждаться; истины его, большею частию, только полу-истины; общего соглашения во мнениях желать не надо (разве только тогда, когда оно произойдет от самого свободного и самого полного сравнения противоположных мнений). Разнообразие мнений будет не злом, а добром до тех пор, пока человечество не делается более способным рассматривать истину со всех сторон. Все эти основания для свободы мнений годятся и для практической деятельности человека. Пока род человеческий далек от совершенства, ему полезны не только различные мнения, но и разнообразие в образе жизни. Следует давать свободный ход разным характерам, мешая им только вредить другим, и каждому человеку надо облегчить возможность пробовать себя в различных образах жизни.

30 Там, где правила для поведения каждого не личный характер этого каждого, но обычай других и предание, — там недостает одного из главных условий личного счастья и основного условия личного и общественного прогресса.

При этом вопросе главное затруднение не в выборе средств, а в равнодушии большинства к самой цели.

Если б все смотрели на свободное развитие личности, как на одно из главных условий благосостояния; если бы

его считали необходимой основой всего того, что называется: просвещением, воспитанием, культурой, — тогда нетрудно было бы разъяснить в частности понятие свободы и провести границы между ею и общественным контролем. Но, к несчастью, личной непосредственности придают еще слишком мало цены. Большинство удовлетворяется современными обычаями и не может понять, почему не все ими довольны. Даже в идеалах, которые создает большинство общественных и нравственных реформаторов, личное вдохновение не занимает видного места; напротив того, они смотрят на него с боязнью, как на неодолимое, быть может, препятствие к существованию того, что, по их мнению, должно составить счастье человечества. Не многим понятен истинный смысл учения, которое Вильгельм ф(он) Гумбольдт (равно замечательный как политический деятель и как ученый) привел в сочинении своем «О пределах и обязанностях государственной власти».

Вот слова его: «Назначением человека должно быть — самое широкое и гармоническое развитие всех его способностей и слияние их в одно полное и связное целое». Поэтому цель, к которой должен непрестанно стремиться каждый и в особенности тот, кто желает влиять на себе подобных — есть сила индивидуальности и развития. Для этого необходимы два условия: свобода и разнообразие положения.

Многим может показаться новым и странным это учение Гумбольдта; но, в сущности, и без него многие ценят индивидуальность, только в слабой степени. Никто не требует, например, чтобы люди, желающие быть совершенными, с точностию подражали друг другу. Никто не отрицает, что образ мыслей и особенности природы человека имеют право влиять на его образ мыслей и на устройство его дел. С другой стороны, было бы нелепо требовать, чтобы люди жили так, как будто прежде них никто ничего не знал, как будто опыт никогда не доказывал, что один образ жизни и поведения гораздо выше другого. Никто не отвергает, что молодых людей надо воспитывать и обучать так, чтобы они

могли воспользоваться результатами векового опыта. Но одна из главных принадлежностей зрелого человека — употреблять чужой опыт по-своему и перерабатывать его. Он должен брать из него то, что годно для его положения и натуры. Предания и обычаи других людей до известной степени полезны, как свидетельства того, чему научил их опыт, — и зрелый человек не должен безрассудно ими пренебрегать. Но, во-первых, опыт других нередко бывает узок или криво обдуман; да и в случае прямого обсуждения, это обсуждение может быть непригодным для того лица, о котором мы говорим. Обычаи сделаны для обыкновенных характеров и обыкновенных положений; его же характер и положение могут быть исключительными. Положим, что обычаи эти сами по себе не дурны и даже пригодны для нашего человека; но если он придерживается этих обычаев только потому, что они — обычаи, он глушит и не развивает в себе тех качеств, которые составляют отличительную принадлежность разумного существа.

Только в деле свободного выбора выражаются чисто человеческие способности: понимания, различения, нравственного предпочтения и т. д. Тот, кто действует по обычаю, не делает свободного выбора. Он не *учится* отличать лучшее и желать его; умственные и нравственные силы, подобно мышечным, усиливаются только посредством упражнения. Тот не упражняет своих способностей, кто делает что-нибудь только потому, что другие то же делают, кто верит только тому, чему верят другие. Если кто-нибудь принимает мнение, не убедившись в его основательности, тот не укрепляет, а ослабляет свой ум; тот, кто совершает поступок на основаниях, чуждых его характеру и мнениям, тот усыпляет энергию своего характера.

Человек, предоставляющий свету (или по крайней мере своему ближайшему свету) выбирать для него образ жизни, обходится одними подражательными способностями обезьян. Человек, выбирающий сам свой образ жизни, действует всеми силами своей души. Он должен употребить наблюдательность, — чтоб видеть, рассудок, — чтобы предвидеть,

быструю деятельность — для сбора материалов будущего решения, способность нравственного выбора для того, чтобы решиться; и раз решившись, принужден упражнять себя в твердости и самообладании; и чем большей долей своего поведения он будет обязан самому себе, тем большее количество душевных сил будет вызывать он всякий раз к деятельности. Конечно, по добропорядочному пути может человек идти без всех этих упражнений. Но высока ли будет тогда ценность его, как человека! *Важно не одно только то, что производят люди, но и каковы они сами, — эти*<sup>10</sup>  
*производящие люди.* Самое важное из всех произведений, на усовершенствование которых тратится человеческая деятельность, — без сомнения есть сам человек.

Положим, — кто-нибудь изобрел автоматов, человеческой формы, которые машинально строили бы дома, разводили бы хлебные растения, сражались бы между собою, решали бы дела в судах, воздвигали бы церкви и даже молились бы, когда нужно..... если б это случилось, человечество очень много бы проиграло, заменив этими автоматами<sup>20</sup> мужчин и женщин, живущих теперь в образованных странах земного шара; хотя, вероятно, и они только жалкие обрашки того, что может произвести со временем природа и что она непременно произведет. Всякий согласится, что следует желать для людей умственного развития и что гораздо лучше разумно принаровляться к обычаям, даже при случае, разумно уклоняться от них, чем машинально повиноваться им. Все признают до известной степени, что ум наш должен нам принадлежать; но не так легко сдаются, когда дело дойдет до наших желаний и побуждений; иметь<sup>30</sup> сильные побуждения считается даже опасным. Однако желания и побуждения точно так же необходимы для человеческого совершенства, как необходимы верования и отречение. Сильные побуждения опасны только тогда, когда они не уравновешены, когда одна часть склонностей развилась со всей силой односторонности, другие же побуждения, которым бы надо действовать рядом с ними, слабы и недействительны. Люди поступают дурно не потому, что страсти их

сильны, но потому, что страсти их слабы. Между сильными страстями и слабой совестью нет необходимой солидарности, они несколько не подразумевают неизбежно друг друга; солидарность здесь есть, только другого рода. Когда я говорю, что у такой-то особы желания и чувства живее и многочисленнее, чем у другой, я доказываю только, что у первой особы количество бессознательного, животного начала в натуре больше; такая натура без сомнения способна сделать больше зла, но зато и на добро ее можно больше надеяться. Энергия может быть употреблена на зло, но энергическая натура может и добра сделать более чем натура равнодушная и вялая. Все те, у которых сильны природные чувства, способны и к развитию выработанных чувств. Жаркая чувствительность, доходящая иногда до необузданности, в другое время бывает источником самой страстной любви к добродетели, самого глубокого самообладания. Обязанность и самая выгода общества состоит в обработке этой чувствительности; общество не должно отвергать материал, из которого выработываются герои, на том основании, что само не умеет их создавать. Утверждать, что не надо поощрять индивидуальность желаний и побуждений, значит утверждать, что общество не нуждается в сильных натурах, что не следует желать для большинства людей энергической оригинальности. В обществах зарождающихся эти личные силы, быть может, слишком велики в сравнении с властью общественной дисциплины и контроля. Было время, когда начало личной непосредственности, индивидуальности, преобладало слишком сильно, и тогда общественное начало принуждено было круто обращаться с ним. Тогда необходимо было подчинить правилам людей сильных телом и духом.

Тогда закон и дисциплина (например, Папы в борьбе против Императоров) требовали себе власти над всем человеком, считали себя вправе контролировать всю его жизнь, чтобы обуздать его характер. Но теперь общество справилось с личностью, и опасность, которая грозит человеческой природе, состоит не в избытке особенных вкусов и по-

буждений, а в слабости их. Свет много переменялся с тех пор, когда страсти людей, могущественных по личным свойствам или положению, были в открытой борьбе с законами и порядком; таких людей необходимо было сковывать, чтоб доставить хоть некоторую безопасность всем окружающим.

В наше время каждый человек живет под присмотром враждебной и завистливой цензуры общества. Не только в делах, касающихся других, но и в собственных, лицо и семья не спрашивают себя: «что я предпочитаю? что прилично моему характеру и моим наклонностям? что может дать удобный случай к развитию наших высших способностей?» Они спрашивают себя: «что прилично моему положению в обществе? или что делают обыкновенно [люди] моего положения и моего состояния? или (еще хуже) что делают обыкновенно люди, которых положение и состояние выше моего?» Я не хочу утверждать, что все эти люди предпочитают обычай своему вкусу; я говорю просто, что им и в голову не приходит иметь вкусы помимо обычаев. Таким образом самый ум сдавлен ярмом; даже приступая к чему-нибудь для своего удовольствия, люди прежде всего думают о сходстве с другими; они любят всей массой, и выбор их обращен на то, что выбирают все; как преступления боятся они всякой оригинальности в поведении; до того боятся, что у них скоро не останется вовсе никакой собственной натуры. Можно ли назвать здоровым такое состояние душ?

Да, можно — по учению кальвинистов. По этой теории, — самое величайшее бедствие человека — свободная воля.

Все благо, к которому человечество способно, состоит в повиновении. Выбора нет; вы должны поступать так, а не иначе. Все что не есть долг, есть грех. Природа человеческая так испорчена, что спастись можно, только убив в себе человека. Для последователей такой теории нет никакого зла в уничтожении всех способностей, всех чувств человеческих; необходима только одна способность — способность предавать себя на волю Провидения. Такова теория

Кальвинизма; и многие, не считая себя кальвинистами, исповедуют ее в смягченной форме. Они утверждают, что люди могут удовлетворять некоторым из своих вкусов и удовлетворять их не совсем свободно, а покорно, с разрешения общего для всех авторитета.

В этой форме обнаруживается теперь стремление к известному узкому взгляду на жизнь, к типу человека одностороннего и непреклонного.\*

<sup>10</sup> Без сомнения, многие искренно думают, что именно такие обрезанные карлики\*\* угодны Творцу; было же время, когда люди считали деревья, подстриженные в виде шаров и животных, более прекрасными, чем деревья, предоставленные естественному росту. Религия говорит, что человек создан благим Существом; если так, то это благое Существо дало человеку способности и побуждения не для уничтожения их, а для развития и обработки.

<sup>20</sup> Гораздо разумнее верить, что Творец радуется при всяком шаге, который делают Его создания, приближаясь к вложенному в душу их полному идеалу; что Он радуется всякий раз, как создания Его прибавят еще одну новую черту к своему пониманию, к своей деятельности, к своему наслаждению. Вот тип человеческого совершенства, весьма отличный от идеала кальвинистов. Самоудовлетворение язычников также необходимо для человеческого достоинства, как и самоотречение. Существует греческий идеал саморазвития, к которому можно подмешивать, не уничтожая одного другим, платонический и христианский идеал самообладания. Быть Джоном Ноксом, может быть, лучше, чем Алкивиадом, но роль Перикла, конечно, лучше и того и <sup>30</sup> другого; к тому же современный нам Перикл наверное не

---

\* Разумеется, в Англии, а не у нас в России; у нас приятно было бы побольше иметь непреклонных людей, хотя бы и узкой честности. У нас уж их слишком мало.

\*\* Тот, кто узок и непреклонен там, где много узких и непреклонных — конечно, карлик; но там, где большинство гибко и широко — односторонний и непреклонный — герой.

обошелся бы без некоторых добрых качеств, принадлежащих Джону Ноксу.

Люди становятся прекрасным и высоким предметом для наблюдения не в случае приведения всего индивидуального к одному знаменателю, но при возбуждении этого индивидуального до пределов, налагаемых нравами и интересами других. И так как всякое создание носит на себе печать своих творцов, то и сама жизнь, при последнем условии, становится пышна и разнообразна. Она оживляет тогда высокие мысли и чувства, поддерживает их богатой пищей; она укрепляет привязанность отдельных личностей к племени, заставляя вырастать само племя во мнении личностей. По мере усиления собственной индивидуальности, человек приобретает больше цены в своих глазах и потому становится более способным возвысить свою ценность в глазах других. Во всем существе его обнаруживается тогда большая полнота жизни; а когда в единицах развивается большее количество жизни, то оно обнаруживается и в массе, состоящей из единиц. Узда, конечно, необходима для того, чтоб защитить права многих от натиска слишком энергических натур; но при известной мере этого ограничения оно не вредно даже для развития самого обузданного лица. Теряя средства к развитию той стороны своей, которая была бы вредна другим, человек получает больше средств к усилению общежительных свойств своих. Покоряясь правилам справедливости для блага других, — мы развиваем в себе полезные для других чувства и способности. Но принуждать себя не для истинной пользы других, а только для избежания их недоброжелательства — излишне; эта внутренняя работа может укрепить только настойчивость, которую нередко гораздо лучше бы было упражнять наперекор другим. Чтоб дать полный ход разным натурам, необходимо дать им средства вести различный образ жизни. Века, которые отличались особой шириною в этом отношении, сильнее других привлекают к себе умы потомства. Самый деспотизм не так еще вреден, пока при нем есть место индивидуальности; и все то, что уничтожает индивидуаль-

ность во имя ли Бога, или вследствие криков толпы — есть уже деспотизм. Сказавши, что индивидуальность однозначаща с развитием и что одна только выработка самобытности может производить людей высокого разбора, я мог бы остановиться на этом. Но, вероятно, всех этих доказательств не достаточно именно для тех, кого надо убедить.

Сверх того надо доказать, что эти развитые люди могут быть полезны неразвитым; надо убедить не желающих пользоваться истинной свободой, что, разрешая другим наслаждаться ею, они при случае могут быть за это весьма ощутительно вознаграждены.

Во-первых — не могут ли эти освобожденные личности научить их чему-нибудь хорошему? Никто, я думаю, не будет отрицать, что оригинальность драгоценная сила в человеческих делах. Всегда необходимы люди, годные не только для открытия новых истин и для обозначения минуты обветшания прежних, но и для новой жизненной практики, для примеров более просвещенного поведения, бóльшего вкуса и смысла в делах. Отрицать это может только тот, кто считает нынешний свет достигшим полного совершенства.

Правда — не все одинаково способны оказывать истинные услуги окружающим. Таких людей, которых опытность может, увлекая большинство, приводить его на путь истинного прогресса, — немного. Но эти немногие — соль земли; без них жизнь застоялась бы как болото. Они не только вводят неизвестные начала добра, они в известном, прежнем добре поддерживают свежесть.

И даже, если бы все уже было выдуманно, разве ум человеческий тогда бы стал не нужен? Разве поступающие по-старинному должны поступать бессознательно, как животные, должны забывать, почему они поступают так, а не иначе? Самые лучшие верования, самая высокая деятельность, к несчастью, слишком склонны перерождаться в нечто механическое; такое мертвенное существование не могло бы устоять при самом легком напоре живых сил и погибло бы от него (как погибла цивилизация греческой Империи), если бы целый ряд неутомимо оригинальных

личностей не поддерживал движение в массе. Конечно, гениальные люди были и будут всегда немногочисленны; но и для выработки этого малого числа необходимо сохранять благоприятную почву. Гений может дышать только в свободной атмосфере. Гениальные люди индивидуальнее других, и потому менее способны безвредно втискиваться в те немногочисленные формочки, которые приготовляет общество для своих членов, избавляя их от труда самосоздания. Если, по робости, гениальные люди дадут себя втиснуть в одну из таких форм, то лучшие стороны души их не расцветут и само общество от этого понесет утрату. Когда же сила характера гениальных людей разрывает эти цепи, общество преследует их, называет странными, безумными и т. д.; а между тем досадовать на них за их оригинальность так же нелепо, как сердиться на Ниагару за то, что она не течет спокойно, как голландский канал.

Я настаиваю на необходимости давать гению полный ход в мыслях и делах, потому что свет, не противореча этому в теории, совершенно равнодушен к оригинальности в действительной жизни. Люди считают гений хорошей вещью, когда он дает средство какой-нибудь личности написать вдохновенную поэму или картину. Но всякий находит, что без гения в истинном смысле этого слова, т. е. без оригинальности в мыслях и поступках можно вполне обойтись. К несчастью, это весьма естественно. Люди не оригинальные не могут чувствовать всей пользы оригинальности. Они не могут понять, на что она им годна.

Прежде всего оригинальность должна открыть таким людям глаза. Тогда, быть может, у них явится какая-нибудь возможность стать пооригинальнее. Наконец попросим этих нищих духом вспомнить, что для всякого дела был какой-нибудь первый начинатель, что все хорошее есть плод оригинальности; и пусть убедятся они, что чем менее чувствуют они потребность оригинальности, тем более она им нужна.

Нет сомнения, что в настоящее время все стремится доставить преобладание пошлой посредственности. В древно-

сти, в Средних веках, и в несколько меньшей степени во время долгого перехода от феодализма к новой истории, лицо было силой само по себе, и сила эта была весьма значительна, если лицо было даровито или высоко поставлено в обществе. В наше время неделимые исчезают в массах. Истинная сила теперь в толпе или в правительствах, которые служат органами стремлений и инстинктов толпы. Эта истина относится не только к делам общественным, но и к нравственным вопросам частной жизни. То, что зовется обществом или публикой, не везде одно и то же. В Америке публика вся масса белого населения; в Англии среднее сословие. Но и в том и в другом случае это масса, т. е. собирательная посредственность.

И вот еще черта новейшего времени: масса эта теперь берет большинство своих мнений не от какого-нибудь сановника Церкви или Государства, не от какого-нибудь вообще заметного вождя, ни даже из какой-нибудь замечательной книги. Мнение толпы направляется людьми, стоящими на одном умственном уровне с нею, которые в журналах говорят ей или *от ее имени* о текущих вопросах; я на это не жалею. Вообще это состояние дел как нельзя более согласно с жалким состоянием человеческого духа в наше время. Никогда правительство, выражающее собою демократию или многочисленную аристократию, не поднималось выше посредственности ни в политических действиях своих, ни в характере умственной деятельности, которую оно поддерживает. Только там дело шло лучше, где могущественная толпа подчинялась советам и влиянию даровитого и более просвещенного меньшинства или одного высоко способного человека. Начало всех мудрых и благородных дел всегда исходит и должно исходить от личностей и прежде всего от одного лица.

Честь и слава среднему уровню людей, если он умел идти вослед за этими избранными, умел понять мудрое и высокое и сознательно идти к нему. Я не потворствую здесь тому поклонению, которое одобряет могущественного гения, силой захватившего в руки власть и насильственно

налагающего свои законы на людей, самый сильный человек имеет только право идти вперед и указывать путь. Власть насильно вести других за собою не только непримирима со свободой и вольным развитием других личностей, но и возвращает самого гения. Я хочу только сказать, что там, где сила перешла в руки массы, составленной из дюжинных людей, самым лучшим исправительным средством была бы резкая индивидуальность самых лучших мыслителей.

При таких-то обстоятельствах, исключительных людей необходимо укреплять в их уклонениях от толпы. Прежде в этом не было настоятельной нужды, прежде важно было не просто оригинальное, а лучшее. Теперь простой пример *неконформизма*, одно несогласие преклонить колена перед обычаем, есть уже своего рода заслуга.

Именно потому, что тирания общественного мнения казнит эксцентричность, надо желать, чтоб были эксцентричные люди. Эксцентричность и сила характера тесно связаны между собой, и сумма эксцентричности, заключенной в обществе, вообще пропорциональна сумме гения, умственной силы и нравственной энергии в этом обществе.

Самая величайшая опасность нашего времени в том, что слишком немногие люди смеют быть эксцентричными.

Я уже сказал, что надо дать как можно более свободы всему уклоняющемуся от обычая, хотя бы для того, чтоб испытать годное для новых обычаев.

Но независимость поступков заслуживает одобрение не только с целью создать новые обычаи для всеобщего употребления. Есть цели и кроме этой. Вести жизнь по своему естественному вкусу имеют право не исключительно одни несомненно даровитые люди.

Нет причины желать, чтобы все существования были построены по одному плану или по небольшому количеству планов. Для человека с умеренным смыслом и некоторою опытностью самый лучший образ жизни тот, который ему больше нравится; не потому что этот образ жизни лучше сам по себе, а потому что он именно свойствен этому человеку. Люди не бараны, и самые бараны не до того сходны

между собою, чтобы их нельзя было различать. Даже платья и обувь мы заказываем себе по мерке или выбираем по своему вкусу в целом магазине. Неужели жизнь легче пригнать, чем платье? Неужели темперамент и психология людей однообразнее формы их ног? Уже по одному тому, что у людей вкусы разные, не следует кроить их всех на один фасон. Но этого мало; разные люди требуют разных условий для своего умственного развития, и точно так же не могут здраво существовать в одной и той же нравственной атмосфере, как <sup>10</sup> не могут существовать всякие растения во всяком климате.

Условия превосходные для развития высокой природы в одном служат препятствием другому.

Один и тот же образ жизни, благотворно возбуждая одного и поддерживая гармонию в его деятельности и наслаждениях, — для другого становится ужасным бременем, убивающим его внутреннюю жизнь. Между отдельными людьми столько разницы в их способах наслаждаться, страдать и впечатлеваться душевно и телесно, — что без разнообразия в образах жизни они не будут достигать доступной им от природы умственной, нравственной и эстетической высоты. Отчего же терпимость общества простирается только на те вкусы и образы жизни, которые приняты большинством! Нигде, конечно (исключая монастырей), не запрещается вполне разнообразие вкусов. Позволяется любить и не любить сигары, музыку, телесные упражнения, шахматы, карты или науку; за это не осуждают, потому что охотников до всего этого и противников их слишком много и ни тех, ни других нельзя обуздать. Но мужчина; и еще <sup>20</sup> более женщина, которая осмелилась бы делать то, чего никто не делает, или не делать того, что другие делают, осуждается за это уклонение, как за важнейшую безнравственность. Для того, чтоб позволить себе хоть немножко поступать по своей фантазии, не вредя своей репутации — надобно иметь титул или какое-нибудь другое отличие, внешним образом возвышающее в глазах сограждан. Я <sup>30</sup> сказал, *немножко* поступать по своей фантазии, и повторяю это; ибо тот, кто позволит себе эту роскошь вполне,

рискует быть не только обещанным на словах, но и подвергнуться обвинению в безумии и быть обобраным по закону своими родными.

В современном направлении общественного мнения есть черта, крайне благоприятная нетерпимости и возбуждающая против всякого резкого проявления индивидуальности. Вообще большинство не только умом однообразно, но и в наклонностях своих умеренно. Большинство людей не имеют сильно выраженных вкусов, влекущих их к чему-нибудь необыкновенному, и потому они не понимают человека иначе одаренного, причисляют его к тем ненормальным и беспорядочным существам, которых они привыкли презирать. Теперь, признав этот общий факт, предположим, что в обществе выразилось сильное стремление к нравственному улучшению, — и мы увидим, что выйдет из этого. Действительно в наше время обнаружилось такое стремление. Много хлопотали о развитии добропорядочности поведения и для обуздания эксцессов; везде царствует филантропический дух, который лучшим делом своим считает укрепление моральности и мудрой осторожности в своих ближних.

Результат этих стремлений следующий: публика более нежели когда-нибудь расположена предписывать общие правила поведения и сводить всех к принятому типу. Главное же свойство это типа (надо признаться!) есть отсутствие сильных желаний: идеал такого характера — совершенная безличность; стремятся сдавить, как ногу китайской женщины, всякую резко выдающуюся сторону человека, которая могла бы его далеко отклонить от обыкновенных мучеников этого рода. С этим идеалом случается теперь то, что всегда должно случиться с идеалом, уничтожающим в себе целую важную половину: современный, всеми одобряемый у нас тип оказывается только жалким подражанием остальной половине идеала. Вместо сильной энергии, покорной могучему разуму, вместо сильных чувств, руководимых сильной волей, получают малая энергия и вялые чувства, которые без особых усилий воли и рассудка могут подчиняться принятым правилам. Сильные характеры на

широких поприщах уже скоро станут баснословными. Теперь у нас в Англии энергия находит себе пищу только в так называемых *делах*; на этом поприще тратится еще много энергии; остающийся за этим излишек употребляется обыкновенно на преследование какого-нибудь полезного пунктика нередко филантропического, но вообще крайне одностороннего и не слишком важного. Величие Англии в настоящее время чисто собирательное. Индивидуально малые, мы способны к великому только вследствие нашей привычки к общественности; и при таком-то положении дел наши моральные и религиозные филантропы крайне довольны сами собою и всем. Вовсе иного закала были люди, возвеличившие Англию, и совсем другого будут те, которые удержат ее от духовного падения. Деспотизм обычая везде служит постоянным препятствием человеческому усовершенствованию, постоянно борется против того стремления возвышаться над обычаем, которое, смотря по обстоятельствам, зовется духом свободы или духом прогресса. Дух прогресса не всегда дух свободы, ибо иногда он может насильно навязывать прогресс не желающим его, а дух свободы, противодействующий подобным усилиям, может временно и местно принадлежать противникам прогресса; но постоянный и верный источник прогресса — свобода, потому что при ней каждое лицо может быть независимым центром прогресса.

Прогрессивное начало и в форме любви к свободе, и в форме любви к улучшению, во всяком случае враждебно владычеству обычая; оно подразумевает в себе желание освободиться от этого ярма, и в борьбе этих двух сил заключен самый живой интерес истории. Большая часть народов не имеет настоящей истории, потому что деспотизм обычая у них непоколебим. Таковы все народы Востока. У них обычай властелин всего; *справедливость* и *право* значат там — *сообразность с обычаем*. Исключая какого-нибудь тирана, упоенного властью, никто и не думает противоречить логике обычая. Результат этого известен. Эти нации когда-нибудь да были же оригинальны; не могли же они вдруг выйти из земли многолюдными, просвещенными

и глубоко знакомыми с некоторыми жизненными искусстваами; во всех этих отношениях они создали себя сами и тогда были величайшими нациями в мире. А что случилось с ними теперь! они покорены по большей части племенами, которых предки бродили в лесах в то время, когда их предки строили великолепные дворцы и храмы; но у полудиких варваров-завоевателей обычай властвовал вместе с свободой и прогрессом. Мне кажется, народ может быть прогрессивным долгое время и потом остановиться; когда настает эта пора остановки? Когда в народе утрачивается индивидуальность. Если бы что-нибудь подобное случилось с Европой, то результат не совсем был бы похож на восточный. Деспотизм обычая, угрожающий европейцам, выражается не в застое; он стремится уничтожить только личную особенность и согласен на перемены, лишь бы все менялись разом. Наши предки долго держались одной и той же моды в одеждах; мы отреклись от этой неподвижности; у нас мода может меняться по два раза в год, но она для всех одинакова. В этом случае мы меняем как бы из одной любви к перемене, не руководясь нисколько какой-нибудь идеей красоты или удобства. Одна и та же идея красоты или удобства не могла бы поразить всех в одно и то же время и не могла бы быть всеми разом пренебрежена в другое время. Но этого мало; мы любим не только перемену, но и улучшение; мы беспрестанно делаем новые механические изобретения и бросаем их, когда найдены лучшие. Мы спешим делать улучшения в политике, в способах воспитания, в нравах (хотя в отношении последних весь идеал наш состоит в желании волей-неволей сделать других моральными на наш манер). Итак, мы не враги прогресса; напротив, мы гордимся им. Враг наш — индивидуальность; мы воображаем, что достигнем совершенства, если всех приведем к одному знаменателю; мы забываем, что именно отличительные черты в людях прежде всего привлекают внимание и при резкости их легче уловить недостатки одного типа и совершенства другого, легче произвести что-нибудь третье, превосходящее обоих и соединяющее в себе их лучшие начала.

Мы имеем пример, предупреждающий нас заблаговременно, в лице Китая. Эта нация, весьма искусная в некоторых отношениях, очень богата житейской мудростью, благодаря судьбе, очень рано ниспославшей ей довольно сносные обычаи. Создание этих обычаев до известной степени принадлежит людям, которых самые просвещенные европейцы должны с некоторыми оговорками признать за мудрецов и философов.

Обычаи эти имеют замечательную способность глубоко <sup>10</sup> врезывать в умы, связанные с ними, наилучшие нравственные правила. Сверх того закон доставляет тем, у кого эти правила крепче затвержены, самые почетные и влиятельные места в государстве. Вероятно, народ, создавший такие постановления, открыл тайну истинного прогресса и должен идти во главе его. Однако вышло совсем не то! Китайцы остановились; целые тысячелетия они все одни и те же, и улучшение к ним может прийти только извне. Китайцы как нельзя лучше достигли того, о чем так трудолюбиво хлопочут английские филантропы: сделать всех одинаковыми, <sup>20</sup> заставить каждого направлять свои мысли и поступки по одним и тем же сентенциям! Настроение современного общественного мнения в Англии в неорганизованном виде то же самое, что и китайские системы воспитания и политики в организованном виде. И если индивидуальность не будет в состоянии с успехом восстать за свои права, Европа, несмотря на свое благородное прошедшее, несмотря на Христианство свое, начнет скоро приближаться к Китаю.

И наконец, что до сих пор предохраняло Европу от подобной судьбы? Что сделало европейские нации прогрессивными? <sup>30</sup> Конечно, не высота просвещения, которая является в этом случае не причиной, а следствием; основанием такому развитию было огромное разнообразие в национальных характерах и культуре. В Европе личности, сословия, народности были очень различны друг от друга; они проложили себе множество путей, и каждый из этих путей вел к чему-нибудь драгоценному; и хотя во всякое время шедшие по разным путям не обнаруживали взаимной терпимости и

каждый с своей стороны желал бы всех остальных перевести на свою дорогу, однако усилия помешать чужому развитию торжествовали не надолго и всякий в свою очередь принужден был только воспринять в себя чужое добро. По моему мнению, Европа своим многосторонним и безостановочным развитием обязана исключительно этому богатству путей. Но в настоящее время она более и более утрачивает это преимущество. Она несомненно стремится к китайскому идеалу всеобщего уравниения. Токвиль в своем замечательном сочинении «L'Ancien regime et la Revolution» указывает на то, что современные французы гораздо более стали схожи друг с другом, чем французы предыдущего поколения. Об англичанах можно еще с большей правдой сказать то же самое.

Вильгельм фон Гумбольдт, как я уже говорил, полагает два условия необходимыми для человеческого развития: *свободу и разнообразие положения*. Второе из этих условий с каждым днем более и более утрачивается в Англии; обстоятельства, окружающие различные сословия и различных людей и обуславливающие различия их характеров, с каждым днем становятся более и более сходными. Прежде люди разного звания, разных местностей, разных ремесл жили, так сказать, в особых мирах. Теперь они во многих отношениях живут почти в одном и том же мире. Говоря сравнительно с прежним положением дел, можно сказать, что они все теперь читают одно и то же, слышат и видят одно и то же, ходят в одинакие места; надежды и опасения их направлены на одни и те же предметы, они пользуются одинаковыми правами и имеют возможность стоять каждый для себя за одинаковую долю свободы. Как бы ни казалась велика современная разница в положениях их, она ничтожна в сравнении с прежним. И уравниение безостановочно усиливается. Политические перевороты ему благоприятны, потому что они стремятся поднять низшие сословия и опустить высшие. Всякое распространение воспитания благоприятствует ему, потому что воспитание собирает людей под одни общие влияния и доставляет всем возмож-

ность черпать из всемирного запаса фактов и чувств. Всякое улучшение путей сообщения благоприятствует уравниванию, приводя в личное соприкосновение жителей отдаленных местностей и доставляя разным лицам случай часто менять свою резиденцию по разным городам. Всякое возрастание торговли и промышленности ведет к тому же; богатство распространяется между большим количеством лиц, доставляет каждому возможность удовлетворять своему честолюбию и развивает жажду повышения во всех классах общества.

<sup>10</sup> Соединение всех этих влияний составляет такую огромную силу, враждебную индивидуальности, что трудно представить себе, как умудрится она устоять. Трудность эта будет все более и более возрастать, если только мыслящая часть общества не научится ценить важность индивидуального начала, не научится считать необходимыми отклонения, держаться за них даже и тогда, когда они, по мнению многих, не совсем к добру; теперь самое лучшее время для восстановления прав индивидуальности, благо не все еще готово для полного обесцвечивания. Только при начале <sup>20</sup> этого движения можно сопротивляться ему.

Всобщее желание сделать других подобными нам растет и питается из самого себя. Если мы будем ждать для противодействия ему того времени, когда жизнь будет сведена к одному типу, тогда уже будет поздно! Всякое отклонение от этого типа будет считаться безнравственной, чудовищной, противоестественной вещью. Человечество, долго не имея перед собою разнообразного зрелища, потеряет наконец способность понимать и ценить разнообразие.

#### Глава 4-я

<sup>30</sup> *О пределах власти общества над лицом*

Итак, где истинные пределы власти лица над самим собою? Где должна начинаться власть общества?

Хотя общество не основано на контракте и хотя создавать этот контракт для выведения из него общественных

обязанностей вовсе не нужно, однако все состоящие под защитой общества обязаны платить ему за добро добром. Самый факт жизни в обществе налагает на каждого известные правила поведения. Правила эти следующие: 1) Не должно вредить интересам, которые или по юридическому выражению, или по давнему немому соглашению считаются правами; 2) каждый должен брать на себя какую-нибудь часть трудов и жертв, необходимых для защиты общественных интересов. Общество имеет абсолютное право налагать эти обязанности силою на желающих уклониться от них. И не в этом одном состоят права общества. Поступки лица могут быть вредны другим или недостаточно полезны, без явного нарушения юридических прав. В этом случае виновный может быть наказан одним общественным мнением, не подвергаясь законному преследованию. Но общество не должно преследовать ни юридически, ни нравственно поведения отдельного лица, когда это поведение касается только самого действующего лица или других с их полного согласия (подразумевается, что участники дела зрелого возраста и обыкновенного ума). В таких случаях необходима полная юридическая и общественная свобода, право делать все что угодно, рисковать всем.

Мысли мои были бы дурно поняты, если бы их приняли за учение эгоистического равнодушия, если бы думали, что я предлагаю людям вовсе не заботиться о благе других, когда собственные интересы не затронуты.....

Не ослаблять надо, а как можно более поддерживать бескорыстные усилия в пользу других.

Но бескорыстное доброжелательство может для убеждения обходиться без действительного или аллегорического кнута. Воспитание должно равно обрабатывать и личные, и общественные доблести. Воспитание действует отчасти посредством разумных внушений, отчасти посредством принуждения; по окончании же воспитания только первое средство должно употребляться для развития личных добродетелей. Люди должны помогать друг другу в различении добра от зла, ободрять друг друга к предпочтению пер-

вого и избежанию второго. Людям следовало бы ободрять друг друга постоянно на упражнение благородных свойств, направлять друг у друга чувства и внимание к предметам не пошлым и презренным, но мудрым и возвышенным. Но при этом ни одно какое-нибудь лицо, ни многие лица вместе не имеют права требовать от зрелого человека, чтобы он устраивал свою жизнь не по-своему; самый обыкновенный мужчина и самая обыкновенная женщина лучше всякого знают толк в том, что касается до их чувств и положения.

- <sup>10</sup> Вмешательство общества в суждения и намерения человека, касающиеся до его личной жизни, основаны всегда на общих правилах, но эти правила могут быть ложны, и даже если бы они были истинны, то могут быть ложно приложены к частному случаю людьми, не вникнувшими в сущность дела. Общество может предлагать частному лицу правила для облегчения его умственной работы, может возбуждать наставлениями его волю, но окончательный судья над всем этим само лицо. Оно может заблуждаться, несмотря на советы и предупреждения; но лучше заблуждаться по-своему, чем делать добро по принуждению.
- <sup>20</sup>

Всем этим я не хочу сказать, что мнение общества не должно соображаться с качествами и пороками отдельного лица; такое равнодушие и невозможно и нежелательно. Если какое-нибудь лицо в высшей степени одарено качествами, которые могут послужить к его выгоде и возвышению, оно уже этим самым достойно уважения; этими свойствами оно более или менее приближается к идеалу человеческого совершенства. Если, напротив того, в лице замечается грубое отсутствие хороших свойств, то оно не может не возбуждать чувства, противоположного уважению.

<sup>30</sup> Есть степень глупости и степень низости и извращения вкуса (хотя на последний пункт еще можно сделать много возражений!), которые, не вредя особенно проявляющему их лицу, делают его, однако, достойным презрения. Человеку, сильно одаренному противоположными свойствами, нельзя удержаться от этого презрения. Не вредя никому, человек может поступать так, что мы принуждены счи-

тать его или дураком, или вообще существом низшего разбора; и так как это мнение, вероятно, ему будет не по вкусу, то откровенно предупредить его заранее о всех последствиях его поведения, значит оказать ему большую услугу. Действительно, было бы весьма недурно, если бы современная вежливость позволяла почаще оказывать такие услуги, если бы каждый мог указывать своему соседу на его ошибки, не рискуя прослыть грубым или самоуверенным. Впрочем, мы имеем множество средств выражать наше дурное мнение о ком-нибудь, не оскорбляя прямо его личности, проявляя только нашу собственную индивидуальность. Мы не обязаны, например, искать его общества; имеем право избегать его, ибо выбор общества вполне должен быть предоставлен личному вкусу. Мы имеем право и даже до некоторой степени обязаны предостерегать других против такого лица, если находим его пример или разговор вредным для других. Такими способами одна особа может претерпевать достаточно строгие наказания от других за проступки, касающиеся самой этой особы; в таком случае наказания не налагаются нарочно, из любви к наказанию, но суть естественное следствие самих проступков. Особа, обнаруживающая опрометчивость, упрямство, грубую самоуверенность, особа, которая не может жить с состоянием среднего размера, которая не может отказать себе во вредных наслаждениях, которая животным удовольствиям жертвует умом и чувством, должна ожидать своего падения в глазах других, должна ожидать от них меньше расположения. На это она не имеет права жаловаться, исключая тех случаев, когда ее общественные заслуги были так высоки, что их не могут затемнить все личные пороки.

Я стараюсь доказать, что одни неудобства, тесно связанные с дурным мнением других, должны быть единственным наказанием за те проступки, которые, не вредя другим, касаются отдельного лица. Иначе должно обращаться с поступками прямо вредными для других. Если вы нарушаете права других, если вы вводите их в потери, не имея на то оправдания в ваших собственных правах; если вы с

ними поступаете двулично и фальшиво; если вы пользуетесь какими-нибудь своими преимуществами для бесчестных или хотя бы только не великодушных поступков с ними; даже если вы из эгоизма не спешите предохранить ближнего от опасности..... вы в полном смысле заслуживаете общественного осуждения; а [тем] более и нравственного наказания. И не только такие явные проступки, но и душевные расположения, ведущие к ним, безнравственны и достойны порицания, которое может иногда доходить до отвращения. Природная зависть (самое ненавистное и противоестественное из всех чувств), фальшивость, совершенное отсутствие искренности, гнев и злопамятство без достаточных причин, самовластие, стремление завладеть большей, чем следует, долей выгод, гордость, живущая унижением других, эгоизм, который ставит себя и свои интересы выше всего и всякий сомнительный вопрос решает в свою пользу — вот пороки, которые обуславливают дурной и отвратительный характер. Они не походят на личные проступки, которых нельзя назвать безнравственными и злыми даже при крайнем их развитии. Такого рода проступки могут служить доказательством глупости или недостатка самоуважения и заслуживают строгого нравственного порицания только тогда, когда доводят до забвения долга относительно других. То, что зовется долгом относительно самого себя, не есть общественная обязанность, разве только в случае, когда особые обстоятельства делают его долгом относительно других. Выражение *долг относительно самого себя* значит самоуважение или саморазвитие. А в этом никто не обязан отдавать отчета другим, лично тут незаинтересованным. Различие между неуважением, которому подвергается человек вследствие неосторожности или недостатка собственного достоинства и между нравственною казнью за нарушение прав других, — не может назваться чисто номинальным. В наших чувствах и в нашем поведении относительно какого-нибудь лица может и должна быть большая разница, смотря по тому, в каких случаях оно нам не нравится — в тех ли, где мы имеем

право его осуждать, или в тех, где не имеем этого права. Если нам особа не нравится, мы можем обнаружить нашу антипатию и удалиться от противного нам предмета; но из-за этого мы не должны себя считать вправе ухудшить жизнь этой особы.

Мы размыслим, что этот человек и без того уже в самом себе носит зародыш своего наказания. Если эта особа портит себе жизнь дурным поведением, нечего желать еще более испортить ее строгим наказанием; следует скорее облегчить путь к исправлению, если оно для нее началось, и должно показать ей средства, как избежать вперед таких дурных последствий. Особа эта может быть для нас предметом жалости или отвращения, но никак не заслуживает того строгого гнева, с которым мы обращаемся к истинному врагу общества. Самое сильное наказание для такой особы — предоставить ее самой себе, если уже мы не хотим исправлять ее доброжелательством и участием. Совсем иначе мы имеем право обращаться с лицом, которое нарушило правила, постановленные для защиты других. В последнем случае вредные последствия проступка падают не на само лицо, а на других, и за это общество имеет право отомстить виновному, с прямым желанием наказать его.

Многие не согласятся с различием между поведением человека, лично до него касающимся, и поведением, касающимся других. Нам скажут, может быть: каким образом проступки человека могут не касаться общества? Нет людей вполне уединенных, и невозможно, чтобы человек, постоянно вредя самому себе, не сделал бы вреда своим ближним и нередко еще многим другим. Расстроивая свое состояние, человек вредит тем, кто получал от него прямые или косвенные средства к жизни, и большею частью хоть сколько-нибудь да уменьшает богатство своей общины; если человек губит свои душевные и телесные силы, он не только вредит тем, чье счастье зависит от него, но становится неспособным исполнять вообще свое человеческие обязанности и делается бременем для любящих его. Одним словом, если бы такое поведение повторялось часто, то ни-

какие пороки не уменьшили бы так, как оно может уменьшить общее количество благосостояния. Наконец, нам могут сказать, что человек, не делая прямого вреда другим, может быть вреден своим примером и должен быть обуздан для блага тех, которых могло бы совратить знакомство с ним самим или его поведением.

И еще, могут возразить нам: если бы последствия дурного поведения падали только на самих порочных или неблагоразумных людей, разве общество имеет право предоставить самим себе людей, неспособных к самоуправлению? Все согласны в том, что общество должно заботиться о детях и несовершеннолетних; почему же не дать ему право заботиться и о зрелых людях, не умеющих владеть собою? Если карточная игра и пьянство, невоздержность, праздность, неопрятность столько же мешают благосостоянию и прогрессу, сколько большинство действий, запрещенных законом, то отчего бы закону не попытаться ограничить эти злоупотребления? И отчего бы общественному мнению, в случае неизбежных несовершенств закона, не организовать бы могущественной нравственной полиции, отчего бы не направить против людей дурной жизни все строгости общественного кодекса? Никто не хочет, возражают нам, стеснять личность, никто не мешает пробовать себя в новом оригинальном образе жизни. Хотят препятствовать только тому, что было осуждаемо с самого начала мира до наших времен, хотят положить преграду тому, что не может быть ни полезно, ни прилично никакой индивидуальности.

Для утверждения каждого правила нравственности и житейской мудрости необходим известный срок времени и известная сумма опыта, и общество старается только предохранить последующие поколения от тех глубоких ошибок, в которые впадали предыдущие.

Я вполне допускаю, что проступки человека могут носить значительный вред интересам и чувствам его близких, и даже целому обществу. Но когда человек подобным поведением нарушает свои ясные и положительные обязанности относительно одного или многих лиц, то поступки его

уже теряют чисто личный характер и становятся достойными истинного наказания. Если, например, человек вследствие невоздержности или необузданности своей не в состоянии платить свои долги; или если он, обязавши себя семейством, не может поддерживать его, вследствие тех же причин, — то, разумеется, он достоин осуждения и наказания. Но он достоин его не за необузданность свою, а за неисполнение долга относительно семьи и кредиторов. Если средства, которые должны были достаться семье и кредиторам, были бы употреблены на самое основательное практическое предприятие, вина от этого бы не уменьшилась. Джордж Бернуэль убил своего дядю, чтобы достать денег для любовницы, и был повешен; но точно так же его следовало повесить, если б он убил дядю, имея в виду какое-нибудь дельное предприятие. 10

Если человек, как часто и случается, огорчает свою семью порочными привычками, то его можно укорять в злости и неблагодарности; но точно так же можно укорять его, если он предается привычкам, не порочным по своей сущности, но крайне отяготительным для тех, кто живет с ним и зависит от него. Если кто-нибудь, вследствие чисто эгоистического поведения, становится неспособным исполнять какую-нибудь определенную обязанность, — он впадает в положительную вину. Не следует наказывать пьяного за то, что он пьян; но дежурный солдат или полицейский должны быть наказаны, если они напьются. Вообще в случае определенного вреда, вопрос уже не относится к чистой свободе, но к нравственности и закону. 20

Что же касается до случайного и последовательного вреда, который может причинять обществу человек своим поведением, не делая явного зла никому, то такой вред общество должно переносить во имя любви к свободе. 30

Если взрослые люди должны быть наказываемы за то, что не достаточно блюдут сами за собою, я бы желал, чтоб это делалось с любовью к ним, и не могу допустить, чтобы общество не имело средств поднимать людей до разумного уровня, не дожидаясь проступков и наказаний, юридиче-

ских или нравственных. Общество имело людей в своей власти во все время их детства и несовершеннолетия и могло бы тогда приготовить их к разумной жизни.

Всякое поколение имеет в своих руках воспитание и всю судьбу последующего поколения; к несчастью, современные люди не могут сделать детей своих вполне добрыми и мудрыми, потому что у них самих крайний недочет в доброте и мудрости; даже в самых лучших индивидуальных проявлениях своих современное общество не достигает значительной высоты. Все это так, но современное поколение все-таки в силах сделать так, чтоб следующее поколение по крайней мере было не хуже, если не лучше самого его.

Если множество людей живет с детским умом гораздо дольше, чем следовало бы, и становится неспособным воспринимать разумные и глубокие убеждения, то никто, кроме общества, в этом не виноват. Кроме воспитания, общество вооружено другим сильным средством, — тем влиянием, которое имеет общественное мнение на умы, еще не готовые к самобытности; довольно с общества и этих сил; ему нет необходимости прибегать к узаконениям, стесняющим личные интересы. Ничто не компрометирует так хороших способов влияния, как злоупотребление жестких средств. Если между людьми, которых хотят принудить к добропорядочности и воздержности, встретятся характеры энергические и самобытные, то они непременно сломят ярмо. Человек такого склада ни за что не согласится, что другие имеют такое же право контроля над его личным поведением, какое они имеют над поступками его, прямо влияющими на других; часто случается, что на противодействие такому насильственному влиянию начинают смотреть, как на признак силы и смелости, стараются нарочно и тщеславно делать все противное предписанию. Так, во времена Карла II мода на грубый разврат сменила крайнюю нетерпимость пуританского фанатизма. Нет сомнения, что дурной пример, который подают дурные или легкомысленные люди, может делать много вреда; особенно опасен пример человека, безнаказанно вредящего другим. Но мы теперь

говорим о таком поведении, которое без вреда другим, сильно вредит самому действующему лицу; и в этом случае я не понимаю, как могут не находить пример более полезным, чем вредным; обнаруживая перед всеми порочное поведение, человек дает в то же время всем средство видеть при помощи самой умеренной и справедливой цензуры, к каким унижительным и печальным последствиям оно ведет.

Но самое сильное доказательство против вмешательства общества в личные дела, это его способность вмешиваться совсем невпопад. В вопросах общественной морали или обязанностей относительно других, общественное мнение, несмотря на свои заблуждения, еще имеет шансы быть основательным; в этом случае оно имеет в виду свои прямые интересы и может легко понять, какой вред произойдет от их нарушения. Но мнение большинства, предлагаемое в виде закона меньшинству, в вопросах личного поведения, имеет столько же шансов к заблуждению, сколько и к истине. В таких случаях слова *общественное мнение* значат: какое поведение известное количество людей находит вредным или полезным для другого количества людей? а часто даже и этого не значат, потому что публика и в личных делах других ищет большею частию не удовольствия и пользы этих других, а удовлетворения своих же вкусов. Есть много людей, которые считают личным для себя оскорблением всякое действие, внушающее им отвращение; так например, один ханжа отвечал, когда его упрекали в равнодушии к религиозным чувствам других, — «что они, напротив, не щадят его религиозных чувств, упорствуя в своих возмутительных верованиях».

Вкус каждого человека есть столько же его собственность, сколько мнения и кошелек. Можно вообразить себе такое идеальное общество, которое в сомнительных вопросах предоставляет полную свободу выбора своим членам, воздерживая их только от того, что осуждено всемирным опытом. Но где и кто видел публику, которая так справедливо ограничивает собственный контроль? Когда общество

заботилось о всемирном опыте? Общество, вмешиваясь в личное поведение, большею частью думает только о том, как можно позволить себе чувствовать и действовать не так, как оно само чувствует и действует; и этот же самый критерий, только слабо замаскированный, предлагает нам большинство моралистов.

Для доказательства, что зло, о котором идет здесь речь, существует в действительности, а не в одной теории, я приведу несколько примеров. Взгляните прежде всего хотя на сильную антипатию, возбуждаемую в людях такой ничтожной причиной, как разница в некоторых религиозных обрядах, постах и т. п. Ничто в христианской вере и христианском богослужении не возмущает так мусульманина, как вид людей, питающихся свининой. Немного найдется серьезных поступков, которые были бы столько же ненавистны европейцу-христианину, сколько ненавистна свиная пища магометанам. Во-первых, — питаться свининой — значит оскорблять их религию; но это обстоятельство недостаточно для объяснения их сильного отвращения; вино тоже запрещено их религией, но, находя нехорошим делом пить вино, они не возмущаются при виде пьющего. Их отвращение от мяса *нечистого животного* доходит в своей силе до инстинктивной антипатии; идея нечистоты, глубоко проникнув в душу, всегда возбуждает бессознательное, энергическое чувство подобного рода, даже и в тех, которые сами очень далеки от безукоризненной чистоты. Поразительным примером живой ненависти к *религиозной нечистоте* могут служить индусы. Вообразим себе теперь, что в нации, которой большинство состоит из мусульман, большинство это хочет во всей стране запретить употребление свиного мяса. Такое распоряжение не было бы новостью в мусульманских землях.

Законно ли бы было такое действие общественного мнения? Вы говорите — нет! А почему же — нет? Обычай есть свиное мясо не шутя возмутителен для такой публики; она искренно убеждена, что Бог ненавидит и запрещает эту пищу. Осуждать такое распоряжение общественного мне-

ния, как религиозное преследование, нельзя; нельзя назвать его религиозным преследованием. Оно может быть религиозно по происхождению, но собственно религиозным преследованием называется то, когда люди одной веры мешают другим людям исполнять предписания их религии. Но ведь ничья же религия не предписывает именно есть свиное мясо. Значит, если вы осуждаете магометан в этом случае, то вы осуждаете их за вмешательство в личные вкусы и личные интересы, а не за религиозное преследование, которого тут нет. 10

Подойдем поближе к нашим странам. Большинство испанцев считает грубейшим грехом и величайшим оскорблением для Высшего Существа всякое исповедание этого Существа не в римско-католической форме, и всякое другое богослужение не допускается на испанской почве. В глазах всех народов южной Европы, женатое духовенство не только греховно, но бесстыдно, неблагопристойно, грубо, отвратительно! Здесь кстати будет вспомнить, как смотрят протестанты на подобные, совершенно искренние, чувства и на попытки обнаружить эти чувства над не католиками. 20

Мне могут сказать, хотя и не основательно, что все эти примеры непригодны для Англии; в нашей стране, — скажут нам, — общественное мнение не станет воздерживать людей от того или другого кушанья, мучить их за какие-нибудь обряды или за то, что они женятся или не женятся, смотря по своему вкусу и вероисповеданию. Следующий пример, однако, покажет, что и у нас подобные опасности не совсем миновались.

Везде, где пуритане были довольно сильны (например, в Новой Англии и в Великобритании во времена республики), они старались уничтожить все общественные увеселения и большую часть увеселений частных; особенно музыку, театр, танцы, публичные игры и все сборища для развлечения; и действовали они нередко с большим успехом. Даже теперь в нашей стране найдется много людей, которых набожность оскорбляется этими увеселениями; и так как все эти люди принадлежат большею частью к среднему 30

классу, то легко может случиться, что когда-нибудь они будут иметь в руках своих парламентское большинство. Что скажет остальная часть общества, которой будут дозволены только немногие удовольствия, да и теми будут распоряжаться самые строгие методисты и кальвинисты? Не попросит ли остальная часть общества этих несносных набожных людей не мешаться в чужие дела? То же самое следует сказать всякому правительству и всякому обществу, позволяющему себе лишать других всех тех удовольствий, которые им не по вкусу.

Предположим теперь другое обстоятельство, которое гораздо более сейчас изложенного имеет шансов для своего осуществления. Всякий согласится, что в современном мире заметно сильное стремление к демократическому устройству общества, основанному или не основанному на коренных народных учреждениях. Уверяют также, что в стране, где наиболее сильны эти стремления, где общество и правительство наиболее демократического характера, — в Соединенных Штатах, большинство не любит всякий слишком роскошный и расточительный образ жизни, потому что самому большинству такой образ жизни не по силам; мнение его как нельзя лучше заменяет законы против роскоши. Говорят, что во многих странах Союза очень богатый человек с трудом может найти средства прожить свои деньги, не возбуждая против себя народного недоброжелательства. Хотя в этих рассказах факты, вероятно, очень преувеличены, но вообще такое состояние дел весьма понятно и возможно; оно весьма вероятный результат демократических идей, соединенных с убеждением, что публика имеет право накладывать свое *veto* на личные расходы людей. Вообразим себе также, что мнения социалистов успели сильно распространиться; тогда большинству, вероятно, будет казаться ужасным всякое богатство, превышающее маленькую собственность или доход, приобретаемый трудами рук. Подобные мнения (по крайней мере в виде принципов) уже довольно сильно распространены между нашими работниками и действуют уже стеснительно на некоторых членов

этого класса. Вот очень известный пример: плохие работники (а их очень много по всем отраслям промышленности) убеждены, что они должны пользоваться одинаковой заработной платой с хорошими и что не следует никому позволять зарабатывать больше других с помощью искусства и ловкости. Они устраивают нравственную полицию, которая при случае обращается в физическую, и мешают таким образом искусным работникам получать больше других, а хозяевам больше платить за лучшую работу. Если допустить, что общество имеет хоть малейшие права на личные интересы, то эту массу плохих работников осуждать не за что; мы не имеем права порицать частную публику, окружающую какое-нибудь лицо, за подобные стеснения этого лица, если не дадим себе право порицать общество вообще, за стеснение личных поступков каждого из его членов. <sup>10</sup>

Оставляя в стороне предположения, мы в наше время видим действительное посягательство на частную свободу. Для противодействия невоздержности, закон запретил в одной из английских колоний и почти в целой половине Соединенных Штатов употреблять горячительные напитки иначе, как для лекарства; я говорю *употреблять* их, потому что запретить продажу все равно, что запретить употребление; разумеется, последняя цель и имелась в виду. И хотя невозможность практически поддержать закон несколько раз принуждала оставлять его, но попытка возобновляется от времени до времени и поддерживается записными филантропами, которые хотят ввести этот закон и в нашей стране. Для этой цели составила ассоциация, которая сделалась довольно известной через обнародование переписки между секретарем этого общества и одним государственным человеком, принадлежащим к тому небольшому числу англичан, которые полагают, что мнения политического деятеля должны быть основаны на принципах. Роль лорда Стенли (Stanley) в этой переписке как нельзя более укрепляет надежды, которые возлагали на него люди, хорошо знающие, как редки у политических деятелей <sup>20</sup> <sup>30</sup>

свойственные ему прекрасные качества. Орган «общества трезвости» сильно порицает всякое начало, которым можно вооружиться для оправдания фанатизма и преследований, и старается нам доказать, что пределы между этими принципами и принципами общества совершенно резки, *непереходимы*. «Мне кажется, что все относящееся к мысли, мнению, совести стоит вне прав законодательной власти. Только то, что относится к общественному поведению, обычаям, взаимным сношениям, по моему мнению, может быть<sup>10</sup> управляемо законом, а не лицами».

Во всем этом и помину нет о третьем разряде действий, отличных от обоих вышеупомянутых разрядов; именно о поступках и привычках чисто индивидуальных, хотя, конечно, к такому-то роду поступков и относится процесс питья горячительных напитков. Мне, пожалуй, возразят, что продажа горячительных напитков есть торговля, а торговля действие общественное. Но я и жалуясь не на стеснение свободы продавца, а на стеснение свободы покупателя и потребителя, ибо лишить его возможности покупать все<sup>20</sup> равно, что запретить ему пить. Далее секретарь пишет: «как гражданин, я требую закона везде, где общественный поступок другого посягает на мои общественные права». Далее следует определение этих общественных прав: «Ничто так не посягает на мои общественные права, как продажа крепких напитков. Она разрушает мое основное право на безопасность, производя постоянные общественные беспорядки. Она посягает на мои права равенства, доставляя барыш одним и повергая в нищету других, для поддержки которых с меня берут контрибуцию. Она парализует мое<sup>30</sup> право на свободное, нравственное и умственное развитие, окружая меня опасностями и растлевая, развращая общество, с которого я вправе требовать помощь и защиту». Вся эта так ясно изложенная система *общественных прав* сводится на следующее: каждое лицо имеет абсолютное право требовать, чтобы все другие точнейшим образом исполняли долг относительно самого себя; всякий, кто хоть несколько нарушает этот долг, посягает на мои общественные права и дает

мне право требовать законного возмездия. Такой чудовищный принцип несравненно опаснее всякого рода насилия. Принцип этот не признает никаких прав на свободу, исключая права иметь тайные мнения, не сообщая их никому; едва только кто-нибудь позволил себе выразить мнение, в моих глазах опасное, он уже посягнул на те общественные права, которыми снабжает меня «Общество трезвости».

Другой важный пример несправедливого посягательства на законную свободу лица — узаконенное празднование воскресного дня (шабаш); это уже не простая угроза, а старинное и торжествующее учреждение. Нет сомнения, что воздерживаться раз в неделю от обычных занятий очень полезно, хотя ни одна религия, кроме еврейской, и не требует этого положительно. И так как этот обычай мог бы быть принят без всеобщего согласия рабочих классов, так как некоторые, работая в этот день, могли бы насильственно вовлечь в работу других: то закон поступает справедливо, гарантируя каждому отдых и прекращая на этот день главные промышленные операции. Но это оправдание, основанное на том, что многим выгодно соблюдение обычая всеми, неприменимо к занятиям, которые люди выбирают для своего удовольствия в часы досуга. Я нахожу также, что это оправдание нисколько не применимо к тем ограничениям, которыми закон стесняет увеселения. Правда, забавы одних могут быть причиной работы в праздничный день для других. Но разве удовольствие или даже полезное развлечение многих не стоит работы нескольких человек, если эти последние свободно согласились на работу и могут свободно ее оставить? Рабочие очень основательно думают, что если бы все работали по воскресеньям, то шестидневная заработанная плата осталась бы все такую же, раскладываясь только на семь дней, вместо шести; но как скоро работа крупными массами приостановлена, то небольшое число людей, работающих для развлечения других, непременно получает высшую заработанную плату и каждый имеет право остаться без дела, если предпочитает отдых деньгам. Если же необходим какой-нибудь другой спо-

соб поправить дело, то можно было бы учредить другой день обязательного отдыха для этих исключительных людей. Итак, чтобы оправдать меры, стесняющие воскресные развлечения, необходимо утверждать, что они предосудительны с религиозной точки зрения, но против таких оснований законодательства необходимо возражать как можно сильнее. Остается допустить, что общество или некоторые из его официальных представителей свыше назначены для отпущения за действия, безвредные для ближнего, но оскорбительные, по их мнению, для Верховного Существа. Идея, что каждый обязан стараться сделать другого религиозным, была руководящей идеей всех религиозных гонений; если можно оправдать эту идею, то, разумеется, можно оправдать и стеснение увеселений по воскресеньям. Конечно, в попытках закрывать по воскресеньям музеи, останавливать поезда железных дорог и т. д. проглядывает чувство менее жестокое, чем чувство древних гонителей, но основа в нем та же. Оно основано на решимости не позволять другим того, что позволено религиею этих других и запрещено религиею гонителя; оно истекает из убеждения, что Бог не только ненавидит действия неверного, но и нас не будет считать невинными, если мы неверного оставим в покое.

Прибавлю еще несколько слов о мормонизме, на который с таким ожесточением нападает английская литература при всяком случае; нападения эти ясно доказывают, как до сих пор мало ценят истинную человеческую свободу. Много бы можно было наговорить о таком неожиданном и поучительном факте, каков мормонизм. Удивительно в самом деле, что целое общество, основанное будто бы на религиозном откровении, могло образоваться в нашем веке журналов, железных дорог и электрических телеграфов, удивительно тем более, что оно плод явного обмана и основатель его не имел в своем характере никаких обаятельных, чрезвычайных качеств. Все это так; но для нашей цели важно то, что эта религия, как и многие другие, гораздо лучшие, имела своих мучеников; для нас важно то, что пророк и основатель этой религии был убит во время бунта, возбуж-

денного его учением; что многие из его последователей точно таким же путем лишились жизни; что секта эта была изгнана из своего отечества и что теперь многие англичане открыто советуют послать против нее экспедицию и силой принудить мормонов к перемене убеждений. Многоженство, допущенное мормонами, главная причина этой ненависти, нарушающей законы веротерпимости. Многоженство, не возмущающее нас у магометан, индусов и китайцев, возбуждает в нас непримиримую вражду, когда мы видим, что его допустили у себя люди, говорящие по-английски и выдающие себя за христиан. Я вполне и по многим причинам осуждаю это учреждение у мормонов; особенно потому, что оно нарушает принцип свободы, сковывая одну половину общины и разрешая другую от обязанностей. Однако не надо забывать и того, что женщины, которые кажутся нам в этом случае жертвами, довольно охотно покоряются этому учреждению, как и всякому другому брачному уставу; факт этот объясняется общепринятыми идеями и привычками; так как женщин с ранних лет приучают смотреть на брак, как на единственную важную цель, то очень понятно, что для них кажется лучшим выйти за человека, у которого уже несколько жен, чем не выходить замуж вовсе. Никто не требует от других государств официального признания таких браков, никто не советует даже разрешать на своей земле переход из национальной веры в мормонизм. Но когда диссиденты уступили враждебным чувствам более, нежели можно было по справедливости требовать; когда они, покинув те местности, где учение их было нетерпимо, устроились в отдаленной пустыне, — трудно доказать, на каких основаниях можно позволить себе мешать им жить, как хотят. Лишь бы они не нападали на другие нации и предоставляли бы своим недовольным полную свободу выселения. Один современный писатель, во многих отношениях замечательный, предлагает нечто вроде просветительного крестового похода против этой полигамической общины, с целью положить конец такому ретроградному движению нравов. Я сам считаю эти нравы ретроградными, но не по-

нимаю, какое право имеет одно общество насильно просвещать другое. Пока жертвы других узаконений не обращаются за помощью к другим обществам, люди совершенно посторонние не имеют никакого права приходить и уничтожать эти убеждения, удовлетворяющие подчиненных им; нельзя же оправдывать насилие единственно тем, что такой образ жизни скандал в глазах людей, живущих за несколько тысяч миль от мормонов! Посылайте им миссионеров, если уж вам так хочется, употребляйте все честные средства, чтоб помешать распространению подобных учений в вашем отечестве; но даже насильно заставить молчать вредных нововводителей вы не имеете нравственного права.

Если цивилизация восторжествовала над варварством тогда, когда варварство владело всем миром, нет причины бояться воскресения побежденного варварства и торжества его над просвещением. Цивилизация, неспособная устоять против своего побежденного неприятеля, должна быть так гнила, что ни у жрецов ее, ни у других официальных ее представителей нет ни силы, ни охоты ее защищать. Если так, то чем скорее она погибнет, тем лучше! В таком случае она должна более и более извращаться, — до тех пор, пока ее не разрушат и не возродят энергические варвары, как разрушили и возродили новые племена цивилизация Западной Римской Империи!

# С ДУНАЯ

[I]

I

Тем русским, для которых идеал жизни — Париж и его промышленная выставка, езда по железным дорогам из гостиницы в гостиницу и прогулки с гидами в руках, — тем не понравилась бы жизнь на Дунае. Но русскому, который за этим не гонится, на Дунае хорошо. Здесь он увидит и поймет многое, чего не понять ему ни дома, ни в Европе; здесь он увидит образцы всего, чем живет наш век; прочтет отрывки из таких страниц, которые редко сшиваются вместе... То спустится он по Дунаю на европейском разукрашенном пароходе, где будут служить ему слуги в голубых ливреях и перчатках; увидит за одним столом и старого русского вельможу, который был уже взрослым человеком при вступлении Наполеона в Москву, и молодого русского генерала, и танцовщицу-немку, и артистку богемскую, и серба, и валаха, и турецкого офицера, и духовное мусульманское лицо, и купца-грека, и француза с французскими манерами, и далматинца, доброго и храброго моряка без всяких манер, и сколько еще... То увидит он Руцук, где царит янычар и прогрессист Мидхад, который без суда вешает несчастных болгар. В том же Руцуке консула еще ходят с раззолоченными кавассами; но сами кавассы говорят: «бурда Европа» и ходят не впереди, как в остальной Турции, а позади консулов; а между тем уж завелись пароконные коляски, казино какие-то и гостиницы немецкие, где

прислуживают грязные, но внимательные к вашим желани-  
ям девушки.

Тут и Белград степенный, и Галац шумный, где с утра до поздней ночи мчатся по тряской мостовой на худых кля-  
чах наемные коляски; магазины есть недурные; жителей до  
ста тысяч; молдавские войска, подражая французским, в  
красных панталонах и кепи, проходят по городу с музыкой,  
как следует европейским войскам. Народ городской, все  
оборванный и грязный, толчется и хлопчет совсем по-ев-  
ропейски, а простой и добрый мужик-молдован идет не то-  
ропясь в широкой шляпе и в зеленом кушаке поверх рубаш-  
ки. Тут же русский Измаил, беднеющий и грустный, и  
Тульча полурусская, которая растет и украшается, —  
Тульча, полная русских изб и русских красных рубашек, и  
сарафанов, и церквей старообрядческих, и песнь русских и  
гульбы по праздникам: точно веселый русский уездный го-  
родок на судоходной реке... Только городничим здесь не  
Сквозник-Дмухановский, а турок-мутесариф Сулейман-паша.  
Разнообразно. Разнообразен быт, разнообразны интересы  
и права, приключения и встречи.

Пароход наш был русский, и на нем ехало много рус-  
ских. Я внимательно слушал их разговоры. Ехало несколь-  
ко помещиков: двое-трое с русскими именами, один с не-  
мецким именем, и семьи их; ехал русский доктор в очках,  
ехал еще один человек, которого я хотел назвать неизвест-  
ным, но который оказался после славянофилом (других  
буду обозначать буквами). Ехали еще: одна русская дама,  
без мужа, с Парижской выставки в Одессу, русский чи-  
новник, не знаю какого ведомства, с напوماженными уси-  
ками. Пообедали, посмеялись и разошлись. Один из поме-  
щиков (положим, г. А.) много смешил за обедом. В нем  
было то приятное соединение *comme il faut* с веселым рус-  
ским удалством и простотою, которое, под игом всеокру-  
шающей моды на английское джентльменство, стало встре-  
чаться реже, но к которому вернуться.

Он бранил французов, а дама, которая одна ехала с вы-  
ставки (я буду звать ее смуглою дамою) была от них в вос-

торге. К разговору их мало-помалу приставали и другие. Спор мне показался любопытным; я передам его без всяких рассуждений с моей стороны.

Началось с того, что веселый помещик (г. А.) заметил:

— У нас нет особого слова, чтобы звать слугу. У французов «garçon», у немцев «kellner», у нас — ч-⟨е-⟩а-ек! И гораздо лучше. Garçon'у другому 50 лет, а «kellner» происходит от слова keller — погреб, погребок: намекает на пьянство; а мы: ч-е-а-ек; этим мы признаем в слуге человека.

10

Почти все, казалось, были этим довольны, кроме смуглой дамы, которая сказала г. А.: «Я дала себе слово с вами не спорить. Вы все нападаете на французов, а я в восторге от них; вот народ! Из степи какой-то что сделали! На пустом поле вдруг что построили, что собрали! А наши-то, наши-то!.. Полушубки какие-то привезли, лапти; просто краснеешь быть русским. Я потом на водах в \*\*\* увидела русских... Ну, немножко пообтесались, цивилизовались... и не узнаешь, что русские».

Г. Д., который оказался славянофилом, воскликнул:

20

— Помилуйте, милостивая государыня, что вы это говорите! Я краснею, когда слушаю вас! В том-то и горе наше, что мы еще мало похожи на себя... Спасибо нашему народу, что хоть он сохранил себя.

Смуглая дама, не обратив большого внимания на его слова, возразила:

— Да там и народа нет такого, как у нас. Где там народ, не знаю... Там — всё опрятные люди, одеты, как все...

Славянофил топнул ногой с отчаянием.

30

— Это они на праздник почистились, — заметил я; — да и то хамоваты. А надо видеть, что у них за народ во время революций выходит... Я был там в 48 году.

— Bravo! — сказал чиновник с усиками и обратился к русскому с немецким именем, который стоял около него и который не то сочувствовал славянофилу, не то просто веселился, что люди спорят.

— Вы из какой губернии?

— Я из Балтийских.

— Ваша фамилия?..

— \*\*\*ь... Я немец, — ну да уж совсем обрусел; живу все на юге России.

— Позвольте с вами познакомиться, — сказал чиновник, протянув ему руку, — и если вам не обидно, позвольте мне звать вас вместо \*\*\*ь — \*\*\*ов.

Немец пожал ему крепко руку и согласился. Чиновник стал что-то шептать ему.

Между тем смуглая дама возобновила разговор о французсах.

— Что это за вещи, что за хрусталь, что за мебель, что за вкус!.. Ну где же нам, несчастным. Во всем мы ниже их, во всем.

— Позвольте, — сказал я (мне тоже стало досадно). — Все хвалили наши избы, наше серебро, лошади наши получили приз; трактир Корещенки имел большой успех.

— Он был полон, — сказал г. А., — а большие французские рестораны были пусты.

— И притом, если у них произведения лучше, зато у нас люди выше, — заметил опять я.

— Чем же люди лучше, чем это? — с жаром отвечала дама; — не тем ли, что пьянствуют и крадут, и не работают. У меня племянник от рабочих в чахотку впал. Я пришла в деревню; как увидела их, так стало страшно их рожу видеть, ночью за разбойников примешь... А у французов, во-первых, вежливость...

Тут уж все разом восстали против нее.

— Нет уж старой французской вежливости, нет, — сказал один.

— Нет народа более дерзкого и неприятного в сношениях, — воскликнул другой.

— Все белье мне испортили, — заметил г. А. — У них для прогресса механики какими-то чугунными шарами трут белье. Так обработали мне его в две стирки, что хоть новое заказывай. У них должны быть с швеями стачки.

Я тоже прибавил, что у французов были когда-то качества, которыми они превосходили все другие нации Европы, но теперь у других есть многое такое, чего у них нет.

Дама, не отвечая мне, продолжала: «Нет, они гораздо, гораздо выше нас!»

Тогда г. А. начал бить в ладоши, прыгать и припевать:

Чоловик сiяв жито,  
Жинка каже мак, мак;  
Нехай так, нехай так,  
Нехай жито буде мак.

10

Все захохотали, даже сама бойкая наша противница.

— Даже остроумия я нахожу более у русских, чем у французов: они всё зады твердят. К тому же русские очень разнообразны, а французы все на один покррой, — заметил чиновник.

— Да на что же это разнообразие? — спросил доктор с очками.

Чиновник отвел его в сторону: они засмотрелись вдаль... Я не знал сначала, куда направить мое внимание, но услышав, что там пошли отвлеченные теории, остановился около смуглой дамы и г. А.

— Напрасно, — продолжала смуглая дама, — этот господин говорит, что французы все на один покррой... У них даже разные классы по разным кварталам живут.

— Они так и оцепенели уж в этих кварталах, — возразил славянофил; — все как гвоздями прибиты. Нет уж, ни им, ни англичанам, ни даже немцам слова своего в истории не сказать. То, что вы зовете нашим варварством, — это тесто, из которого можно еще все сделать. А там все давно облеклось, как Гоголь выразился, корой старого предрассудка.

— Кажется, предрассудков у нас гораздо более, чем у них, — заметил доктор.

— Вы меня, извините, не поняли, — отвечал славянофил. — Вы говорите об одном, а я о другом. Вы, я знаю, на что нападаете; вы простодушной веры боитесь, суеве-

рий, по-вашему; а я говорю о других верованиях, напр(имер), хоть о слепой вере в западный способ прогресса, в торжество промышленности, которая у них скоро убьет все остальные силы духа. И почти уже убила их.

— Так вы находите, что нам не нужно промышленности и прогресса? — сказал доктор с удивлением.

Славянофил хотел отвечать, но г. А. схватил его без церемонии за руку:

— Позвольте, — сказал он, — не говорят, что нам <sup>10</sup> промышленность не нужна, но промышленность наша не может быть такова, как у французов и англичан. Сколько у них жителей на квадратную милю, и сколько у нас? Сколько у них земли, и сколько у нас? Русский мужик может быть способнее всякого. Поставьте его в положение француза, чтобы два аршина земли заступом копать: он будет заниматься промышленностью; перенесите французов на наше пространство — они будут жить, как наши. Если прогресс должен состоять в том, чтоб дрожать над каждым куском земли, так нам этого прогресса и не надо. Они про- <sup>20</sup>мышленны поневоле. Мне говорил, например, один англичанин: «У вас есть вещь, которая будет век от века дорожать — земля, а золота, быть может, завтра найдут такие кучи, что из него столы будут делать, и оно упадет в цене».

Г. А. говорил так громко, что славянофил, видно, не надеясь покрыть его голоса своим, обратился ко мне и к доктору и сказал:

— Ну, на это возразить тоже можно, что и хлеб выучатся, быть может, составлять из простых химических на- <sup>30</sup>чал, так что тогда выражение питаться воздухом — уж не будет насмешкой.

— О, да, наука бесконечна.

— Бесконечна или нет, это Бог знает; а по-моему, этот вопрос о промышленности далеко не все, о чем следует говорить, сравнивая нашу нацию с французами.

Г. А. услышал это возражение и обратился к славянофилу. «Однако, — заметил он, — Парижская выставка

имеет большое значение: это ум всех наций, собранный вместе».

— Да, ум промышленный — только одна отрасль народного духа.

— Что ж, — перебила дама, — они в других отношениях выше нас. Какие у них были гении!

— Да, были, — сказал славянофил.

— А у нас, — продолжала дама, — читать нечего. Был один порядочный «Современник», да и с тем что сделалось!

10

Тут уж многие нашли, что это предпочтение «Современника» всему остальному — по крайней мере неосновательно.

— Отрицательное направление, — сказал чиновник с усиками, — имеет свою пользу: оно пробуждает ум и противудействует, лишь бы оно не торжествовало.

В это время позвали всех нас в каюту пить чай.

— А самовары видели в Париже? — спросил я.

— Видел, — отвечал славянофил, — сначала меня это обрадовало, а потом почему-то стало досадно... еще и они станут делать самовары.

20

— По крайней мере имя русское «le samowar» останется, — заметил чиновник.

— Послушайте, — сказал ему один моряк, — я вижу в вас такие хорошие русские чувства, а усы вы помадите торчмя, как француз. Мне, извините, это не понравилось.

— Ну уж за это вы не прогневайтесь, без этого я не могу; во-первых, я нахожу, что они придают больше выразительности моей физиономии; и потом, еще вопрос — французские ли это усы? Я считаю их венгерскими, и помада для них продается венгерская.

30

— Венгры считаются, однако, злейшими врагами славян, — возразил моряк.

— Может быть, а все не то — народ полувосточный.

— Конечно, — воскликнул славянофил.

Все сели за стол и разговор переменялся.

После чая мы все опять вышли на палубу. Уж стемнело. Доктор говорил славянофилу:

— Позвольте: определим себе ясно, о чем мы говорим? Поставим вопросы и будем на них отвечать... Во-первых, что вы считаете целью существования человеческих обществ? Я считаю счастье, хотя его, конечно, всякий понимает по-своему... И национальности все должны стремиться в одну человеческую семью...

<sup>10</sup> — Я, положим, считаю целью жизни никак не счастье, а развитие духовных сил на этой планете. Но — чтобы не отвлекаться — пусть будет по-вашему. Итак, лет через двести, положим, все народы Европы решились составить одну семью. Для грубого идеала вещественного счастья и покоя — оно и хорошо. Итак, вообразите себе, что за большим столом сидят эмблемы: Англии, Германии, Италии, Франции... даже Индии и Китая. Ждут славянина. Всякий с гордостью разложил на столе таблицы того, что он в течение веков выработал в гражданской жизни, в искусствах, в промышленности, в бытовом отношении. <sup>20</sup> Англичанин разложит на столе Шекспира, укажет на столь любимые вами железные пути, на парламентаризм и на примирение феодализма с свободой; француз — свое великолепное изображение страстей человеческих в своих трагедиях и романах, обольщения светской жизни, сигарочницу какую-нибудь выложит на стол, — и та своим видом скажет «я француз»... Турок, персианин — и те принесут ковры, кальяны, шали, одностороннюю и однообразную, но ни <sup>30</sup> на что другое не подходящую поэзию... А мы? а славянин, что принесет на этот пир космополитизма? Я, конечно, слава Богу, не доживу до этого опошления человечества. Но пусть будет по-вашему. Что же принесем на этот собор?

— Что мы принесем? — сказал доктор, — быть может, мы принесем именно способность слить всех в одну семью...

— Однако, — прибавил он потом, — вы начинаете говорить почти как мадам <sup>\*\*\*</sup>, против которой вы давеча так спорили...

— Что ж, и она по-своему патриотка: у нее душа русская, болит от зависти на успехи других. Только она становится на ложную точку. Она похожа на тех наших светских людей, которые вместо того, чтобы радоваться, когда за границей скажут про них: «Voilà des boyards russes!», ищут только, чтобы про них сказали, «что в них даже и нет ничего русского»! Она хочет, чтобы русский был бы тем именно <sup>10</sup> хорош, чем хороши европейцы. А я хочу, чтобы русские были похожи только на себя...

— Помилуйте! — возразил доктор, — нельзя же вверх ногами ходить оттого только, что другие ходят вверх головой. Есть требования века, и к старому вернуться нет сил, да и нет нужды...

— Не к старому исключительно вернуться, а надо творить новое, не отрываясь от того, что назвали так удачно «почвой». Возьмите хоть одежду. Хомяков нам давно сказал, что позволительно англичанину носить фрак, когда у него эта безобразная одежда народна; но зачем русскому, у которого своя одежда и удобнее, и красивее, носить его? — непонятно. А я скажу вот что: взгляните на портретные галереи знаменитых европейцев. Возьмите Францию от Хлодовика до Наполеона, и вы увидите, как органически перерождалась у них сама из себя одежда. А мы взяли да напялили сюртук, и кончено! Так и во всем. Даже на то, что они брали у других, французы наложили такую резкую печать...

— Вы опять, — перебил я, — начинаете понемножку <sup>30</sup> сближаться с мадам <sup>\*\*\*</sup> (я говорил о смуглой даме, которая неуверенной легла спать). *Les extrêmes se touchent?* Извините — опять французы...

Доктор возразил мне.

— Ну, что одежда! — Это дело внешнее...

— Ничего нет просто внешнего и просто внутреннего, — сказал славянофил. — Есть вещи более внешние и

менее внешние... Одежда вообще не есть дело только внешнее; а теперь у нас перемена одежды была бы много-знаменательным симптомом...

Г. Б., русский помещик, который ни разу не вмешивался в разговор ни прежде, ни теперь, но слушал все внимательно, вдруг встал и сказал: «А я так хочу устроить общество для торговли дешевой европейской одеждой, для простого народа. Я нахожу, что она развивает чувство собственного достоинства, которое так нужно нашему народу!»

<sup>10</sup> Сказавши это, он заложил руки за спину и отошел. Славянофила эти слова так поразили и огорчили, что он не хотел больше говорить и собрался спуститься в каюту. Мы насилу его упросили остаться. Он вздохнул и сел молча на скамью.

Тогда стал говорить молодой человек с венгро-французскими усами.

— Это точно вздор — европейская одежда для простого народа. Во всех восточных одеждах простолюдин кажется опрятнее и благороднее бедняка-европейца. В этих <sup>20</sup> сторонах на каждом шагу видишь тому осязательные примеры. Но, однако, в свое время европеизм дал нашей истории то, чего у нее было мало: сложность и разнообразие, которые были свойственны всем великим историческим народам в те эпохи, когда наступала их мировая роль. Наши либералы часто предрекают России какую-то только антифеодальную роль в Европе. И у ваших есть это отчасти, к сожалению. (С этими словами он обратился к славянофилу.) Совсем не в этом дело. Дело главное в том, что Европа идет к буржуазной безличности и к такому ужасающему <sup>30</sup> однообразию, что, право, приходит в голову: дикие люди однообразны и тупы, — но как волки; а будущие европейцы будут тоже однообразны и тупы, — но как трудолюбивые и жирные бобры. Смерть всего живого — бывает двоякого рода: гниение и окаменение. Я не верю в гниение Запада; но я верю в его окаменение. Политически он может стоять долго и крепко; но разве одно политическое существование — жизнь? Чем выше органическая жизнь,

тем она сложнее. Все яблоки незрелые зелены и кислы; в период зрелости их вкус и вид разнообразны. Когда они падают и гниют, они опять становятся сходны. Это разнообразие в исторической жизни не обходится без страданий, — как ничто великое без страданий не обходится. И мы, как хотите, должны благодарить судьбу, что мы еще сравнительно дешевой ценою купили богатство духовных начал. Я говорю начал, потому что еще многое не развито. Но вспомним только об этнологических, социальных, религиозных, воспитательных началах наших, и нас удивит, что мы все до сих пор не сознали, в чем наше главное призвание. Наше главное призвание — противопоставить бесцветной буржуазной прозе Запада — поэзию новой, русской жизни, разнообразной и богатой.

— Но объединенной строгим народным единством, — перебил славянофил.

— Конечно, это до известной степени есть и теперь. Дж(он)-Стюарт Милль, по-моему, самый великий писатель из всех писателей последнего времени. Он заслуживает для нашего века славы равносильной Ж.-Ж. Руссо. Они антитезы, но сходятся в том, что каждый из них пошел против шерсти своему веку. Он говорит, что Европа стремится к мертвому однообразию, к смерти всего наивного, энергического и утонченного... одним словом, к средне-буржуазному, торговому идеалу. Он ждет спасения только от самой крайней и смелой оригинальности мыслителей, забывая, что и мыслители могут быть оригинальны только там, где почва оригинальна и богата содержанием... Спасение истории не в книжках немцев и французов, а в русской жизни, которая должна стать под конец этого века и в начале XX-го тем для мира, чем была Франция в конце прошлого века и в начале этого.

— Как! — воскликнул я. — Но Франция прошла через ужасы революции и потом вела завоевательные войны...

— Мы должны быть равносильной антитезой Франции, поймите меня. Антитезой! — отвечал чиновник с жа-

ром. — Без революций мы, даст Бог, проживем... А войны внешние? Что ж? — оборонительные войны не всегда зло. Подчас они благо. Завоеваний нам в Европе не надо, они только обесцветили бы нас. А войну оборонительную не раз, пожалуй, придется вести против этой коллективной лавки, которую зовут Западной Европой.

Я хотел было сделать еще замечание, но чиновник умоляющим движением остановил меня и продолжал:

— И зачем все говорить о будущем! У нас и настоящее хорошо. Простолюдин наш обеспечен, — только работай и не пей много; деньги будут. Земские учреждения у нас — наши, а не заимствованные; в них избегнуты равно и деспотизм богатства, и деспотизм многолюдства. Есть и другие продукты гражданственности русской, которые нас поразят, когда рассеется застилающий нам глаза туман отрицания. Все хвалят Соединенные Штаты за то, что они сумели у себя примирить равенство с свободой, тогда как Франция развила только равенство, а Англия только свободу. А мы сами не замечаем, что примирили уже вещи, еще более непримиримые в Европе...

— Правда, — сказал славянофил. — Правда; — повторил он с радостью. — Но все это надо покрыть густой национальной краской.

Он пожал нам всем руки и, в свою очередь, ушел в каюту... Остались на палубе только доктор, чиновник и я. Было уж далеко за полночь. Я отошел в сторону и долго смотрел на пену парохода и на плоские молдавские берега, которые бежали нам навстречу.

Уж были видны немногие запоздалые огни того города, в который я должен был сойти. Доктор и чиновник тоже долго молчали. Наконец доктор спросил у чиновника: «вы давно на Дунае?»

— Нет, недавно, — отвечал тот.

— Ну как вам нравится здесь?

— Ничего. Признаюсь, я был ужасно рад, когда увидел в этой стороне столько русских мужичков, — сказал чиновник.

— Да, это правда... Чорт знает, почему оно так выходит, — заметил материалист-доктор. — Чорт знает почему, а сколько ни вертись, все как-то *свое* видеть приятно.

Тут мы простились, и через несколько минут я плыл к моей пристани в баркасе вместе с тремя-четырьмя молчаливыми пассажирами 3-го класса.

## [II]

### [1]

Прошедший раз я говорил вам о русских на Дунае. Теперь поговорю о греках. Вы знаете, везде, где только есть торговля, есть и грек. Греков можно было бы назвать финикийцами восточной нынешней Европы, если бы у каждого из них не просачивалась хоть небольшая струйка той крови, которая создала героев Марафона и Платеи. В самом деле, не говоря уже о критских паликарах, о морейцах, о лихих жителях Ионических островов, которых молодцоватость, красота, пылкость и самая живописная одежда — так идут к патриотизму их и военному мужеству; возьмем самого тяжелого, немного (и часто некстати) объевропее-<sup>20</sup>ного в обычаях грека, самого ограниченного и расчетливого греческого купца, — и посмотрим на него, когда приходит весть о победе или поражении, об удачной или невыгодной политической комбинации, о гибели «Аркадиума» или о том, как в один день и в одном только городе собрали греки до 100 000 пиастров на покупку нового парохода. И этот род греков, надо сознаться, в будничное время не слишком привлекательный, облагороживается, вырастает, развивается перед глазами вашими в один миг. Скупая рука щедро опорожняет кошелек, ограниченный до той минуты<sup>30</sup> ум блещет верными и далекими политическими взглядами; то, что до сих пор казалось вам в нем невыносимым своекорыстием, становится только здоровой положительностью,

которая умеет, когда нужно, уступать идеальным требованиям. Слушайте после этого В. Гюго и К°, которые собираются восхвалять вечный мир и уверять, будто бы война препятствует развитию человека! Развитию промышленности, — да (и это одно из главных зол войны); развитию же, облагороживанию духа человеческого, — не всегда! Можно же, наконец, позволить себе сознаться в этом хоть от поры до времени, без модного лицемерия!

<sup>10</sup> Недавно, в Галаце, я видел на маленьком тамошнем театре «Восстание в Кандии». Пьеса эта (конечно *de circonstance*) составлена на румынском языке самой содержательницей этого театра. Пьеса — в нескольких картинах. Пролог — фантастический или эмблематический: высокая женщина в пышной одежде, со знаменем в руке, говорит с возвышения речь к великим усопшим древней Греции. Эта женщина — Эллада. Она говорит о пробуждении народа, о бессмертии героев, о самоотвержении... Потом уже начинается действие в самом Крите. Коронеос и Зимбракаки в кепи (к сожалению) и европейских мундирах; волонтеры в фустанеллах и красных куртках; знамена, речи, торжественные клятвы и молитвы; мать, которая посылает единственного сына на войну; невеста сына, которая сначала плачет и потом идет сама сражаться и мстить за его смерть; взрыв монастыря Аркадия; «Панэллинион», который привозит хлеб и ружья... вот в чем пьеса. Турок два раза бьют на сцене; и в последней картине, после долгой борьбы, каждый из греков попирает ногой поверженного на землю турецкого солдата. Есть и комическое лицо, пленный турок, которого очень хорошо сыграл какой-то армянин. Сочетание некоторого добродушия с фанатизмом в нем вышло <sup>20</sup> очень удачно. Зимбракаки спас ему жизнь, вырвал его из рук разъяренных волонтеров и велел накормить его; турок поклонился ему почтительно, приложил руку к феске и громко сказал: «Ей в'аллах, эффендим!», а сам в сторону: «погоди, гяур, попадешься ты мне, так я тебя на куски изрежу!» Потом, пока греки продолжают говорить свои торжественные речи, чудак сидит себе на полу, ест руками пи-

<sup>30</sup>

лав и только изредка оглядывается на греков, когда они возвысят слишком свои голоса.

Восторг, аплодисменты, крик публики — изобразить было бы трудно. Греков в Галаце много, и во время первых представлений театр был полон; потом стало приедаться. Но содержательница объявила грекам, что в обеих стычках будут бить не волонтеры турок, а турки волонтеров, если публики будет мало, — и вот театр снова полон. В антракте вывели из задних рядов одного молодого негра, мусульманина из Янины, который затеял ссору с греками за то, что они ему сказали: «Так-то вы, турки, любите пилав!»<sup>10</sup>

Конечно, не надо воображать себе, что представление было великолепно, что сцена просторна... Театр мал и убран бедно; сцена тесна, музыка плоха; картонный «Панэллинион» очень мал и как-то крив. Актеры одеты чисто, но не совсем сообразно с делом; все греки, кроме Зимбракаки и Коронеоса, в фустанеллах, тогда как критяне, и вообще островитяне, фустанелл не носят; у них есть своя, особая одежда: широкие черные или синие шальвары со множеством складок, которые они не спускают до пят, как турки, а подвязывают у колен подвязками, что придает большое изящество их стройным ногам, обутым в чулки и башмаки с каблуками. При этом куртка (без шитья золотом) с узкими рукавами, кушак — красный, длинная феска набекрень, и в холодное время года род бурнуса из темной «абы» на красном подбое, с башлыком. В этой полной одежде рослый, гордый, почти всегда красивый лицом — критский грек чрезвычайно живописен и героичен на вид и не уступит в благородстве наружности никакому албанцу, расшитому золотом.<sup>20</sup>

Вообще, Европейская Турция, с разнообразной красотой своих ландшафтов, одежд и лиц человеческих, с бытом, еще до сих пор столь полным оригинальности и драматизма — могла бы быть прекрасным поприщем для живописцев, которые, скрепя сердце и поневоле, мирятся с безобразием европейской одежды и с правильностью новоевропейских городов, и для ваятелей, которые приходят в отчаяние<sup>30</sup>

от столичных тел, изуродованных нездоровой жизнью. Я особенно при этом подумывал об наших и не знаю, что это им так полюбились путешествия на Запад и долгая жизнь в скучных коридорах Петербургской академии? И не одни художники, — многие ли из одесских знают жизнь, склад ума, нравы тех греков и славян, которым политически они так живо сочувствуют? И с другой стороны, многие ли из тех греков и славян, которые нас любят и ждут от нас политического добра, — знают нас и нашу родину? Я думаю — умные и зрелые из них полюбили бы ее еще больше, если бы узнали ее. А от кого узнать, когда у нас у самих столь немногие сознают сами свое? Итак, возвратимся пока опять к театру в Галаце и к дунайским грекам.

## [2]

Рассказывают, будто бы один англичанин, наслышавшись в Англии, что греки — дрянь, разбойники, что они самонадеянны, без выдержки, и что турки, конечно, усмирят их, поехал в Крит и присутствовал при одном сражении, в котором турки были отбиты. Когда он увидал, как сражаются греки и как отступают турки, он сел на камень и смотрел в бинокль на волонтеров, которые бежали вслед за турками мимо него. Он увидал их ободранные по камням и кустам ноги, пыль, которая на палец покрывала их платье, волоса и мужественные лица, — и вернулся домой греко-филом.

Англичанин видел их в бою; я же видел их в мирное время и скажу, что нет племени привлекательнее греков-островитян. Они трудолюбивы, опрятны в жилищах, благочинны в семье, как немцы, и полны огня, изящны и красивы, как простые испанцы или как жители южной Италии. Поэтому хотя на галацком театре «Панэллинιον» был крив и мал, сцена тесна, и картонные обломки монастыря падали слишком уж первобытно и провинциально, хотя вообще и театр, и публика были очень похожи на теат-

ры и публику наших ярмарок в уездных городах, — но впечатление было не то. Я видел перед собою не праздную басню для раздражения от скуки и не казенный какой-нибудь парижский энтузиазм «à froid»; я видел бедный и скромный, но верный во всех чертах снимок с трагической и высокой действительности, которая кипит в трех днях езды отсюда по морю. Даже и то, что критская невеста идет на войну мстить за жениха, — не выдумка, повторяющая старые театральные эффекты; это — самая живая правда... Все почти дунайские греки уже знают теперь, что в Крите составляется целый отряд девиц и женщин, волонтеров. Если они набраны в горных округах Сфакия, то могут постоять за себя: они красивы, как женщины, но сила, рост и смелость у них мужские.

Здесьние греки до того были возмущены неслыханным поступком австрийского консула в Руцуке, что решились не ездить на австрийских пароходах. На чем они будут ездить — не знаю. Наша «Таврида» ходит только до Галаца раз в неделю; других компаний нет. Но зная стойкость греков в деле политических демонстраций, я думаю, что многие из них сдержат слово.

Говорят, что несчастный командир «Германии» капитан Цицович сошел с ума. Нельзя не пожалеть об нем, если это правда; он один из самых добрых и почтенных далматских моряков, которые вообще люди добрые, храбрые и почтенные. Если это правда, что он сошел с ума, то его, конечно, сокрушили враждебные демонстрации славян и греков в дунайских городах. В Браилове только румынская полиция помешала толпе кинуться на «Германию», сорвать и стоптать австрийский флаг. Понятно негодование славян; но если судить спокойно, честный Цицович пострадал безвинно. В деле политического характера трудно ему было не подчиниться консулу, когда тот всю законную ответственность брал на себя.

Пока инсургенты, как слышно, продолжают борьбу свою в Балканах, и турецкое Правительство принуждено отсылать оттуда в Адрианополь польско-болгарские ко-

зачьи эскадроны, потому что солдаты болгары с болгарами же не хотят драться, — здесь, около Измаила и Тульчи, свирепствует шайка настоящих разбойников, — тоже, к сожалению, большей частью из христиан. Я сказал свирепствует, — надо бы было сказать свирепствовала, ибо на днях шестеро главных удалцов схвачены и судятся в Тульче, — как слышно, строго и деятельно. Самый закоснелый и ужасный из этих разбойников носит кроткое имя «Коли». Этот Коля имеет не более 25 лет; он румынский подданный и сын весьма честного и уважаемого учителя одной из отошедших в 56 году от Бессарабии наших болгарских колоний. Он, говорят, улыбаясь, рассказывает, как однажды жарил живого священника, чтобы выпытать у него деньги.

Если мне удастся узнать больше подробностей о ходе следствия, то я сообщу вам, может быть, довольно много любопытного о турецком суде, о молдавской полиции, о Коле, о товарищах его и вообще о наших «*mystères du Danube*». Будет не все ужасное, будет и смешное.

### [III]

У нас на Дунае болгаре по-прежнему осторожны и тихи; а греки все так же шумны и «демонстративны». Недавно один грек при мне бросился целовать портрет Бисмарка, когда услышал, что разрыв Италии с Францией становится возможным. В Галаце, как слышно, другой грек поднес на свадьбу Ее Величеству Ольге Константиновне 8000 австрийских червонцев (около 25 000 руб.), предоставляя своей Королеве распорядиться ими, как она найдет полезнее для Греции.

В прошедшее воскресенье мне удалось попасть в Тульче на праздник, который давали, в честь бракосочетания Короля Георга с нашей Великой Княжностью, русское и греческое консульства вместе. Я воспользовался своим званием русского, чтобы присутствовать при всем, с утра и до поздней ночи.

Греческий в⟨ице-⟩консул праздновал бракосочетание своего Государя официально. В 10 ч. утра все русские и греческие подданные собрались в здешней архиерейской церкви на торжественный молебен. Консула были в мундирах, и паша прислал на молебен своего драгомана (армянина). Около наоя стояла также порядочная толпа учениц, в венках из белых роз, и учеников с голубыми кокардами в петлицах. Все это — дети греческих подданных, которых здесь, я думаю, более пятисот домов. После молебна все чиновники в мундирах же отправились в греческое в⟨ице-⟩<sup>10</sup>консульство с поздравлением; ученики и маленькие ученицы в веночках кричали там «Zito!», и сам паша немного позднее с большим парадом и с большой свитой приехал порадоваться вместе с греческим консулом его и государственной радости. Около двух часов пополудни, когда официальная сторона празднества кончилась, греческий консул г. Николаидис, со всей толпой греков, пошел в русское в⟨ице-⟩консульство, которое официальных приглашений не рассылало и в котором праздник принял немедленно более домашний и дружеский характер.<sup>20</sup>

Оба консула были в партикулярном платье; ни из иностранных агентов, ни из турецких чиновников не было, конечно, никого. Их холодное присутствие могло бы стеснить свободное выражение народной почти семейной веселости. Громкая музыка встретила греков, когда они, вслед за своим консулом, всходили на лестницу.

Все собрались в зале, и в⟨ице-⟩консул наш К. Н. Леонтьев сказал на греческом языке небольшую речь, которой копию, вместе с ответом греческого в⟨ице-⟩консула г. Николаидиса, мне удалось достать.<sup>30</sup>

Вот речь г. Леонтьева.

«Веков около девяти тому назад русская Княгиня прибыла из отчизны нашей, тогда еще дикой и языческой, для принятия святого крещения в блистательную столицу древней Империи. Княгиня эта была Ольга, бабка Князя Владимира, который несколько лет спустя обратил всю Россию в Православие. Наша Церковь причла к лику святых муд-

рую Княгиню и знаменитого внука ее, который заслужил название равноапостольного. С той поры мало-помалу навсегда прекратились ужасные войны, которые так часто и с таким ожесточением вели наши предки-идолопоклонники против православных греков. Оба народа, соединенные священными узами единоверия, последовали тогда каждый отдельно своим историческим судьбам... Ряд несчастий скоро поразил их обоих. Но греческое влияние ни на миг не переставало слышаться у нас. Греческие Патриархи приезжали рукополагать наших; греческие священники и ученые исправляли наши церковные книги. В свою очередь, и Россия, став богатой и грозной, начала поддерживать, как вы знаете, ваше духовенство, ваши монастыри и храмы. Я не буду больше распространяться о предмете этом, столь обширном и столь знакомом всем тем, кто только интересуется жизнью обеих наций. Вернемся лучше к настоящему. Итак, мы еще раз собрались, чтобы радоваться вместе! Русская Княжна, окрещенная во имя Св. Ольги, той самой, которую современники звали „мудрейшая из всех жен“, сочеталась узами брака с вашим молодым Монархом. Кто из вас не уверен, что Августейшая Княгиня эта будет красую Элинского престола.

Уже более года везде, где я только ни встречал греков, я видел, как радовались они тому, что оба Царственные Дома будут скоро сопряжены родственными узами и что избранный Король ваш будет благословен, быть может, православным потомством. Едва ли мне нужно говорить вам, до какой степени и все русские радуются этому. Поверьте мне, от скромной хижины землепашца до ступеней нашего сияющего трона, каждое русское сердце, друзья мои, следит со всем волнением сочувствия за развитием ваших судеб. Простолюдин наш, конечно, не ученый, но зато полный преданности к вере, связующей нас; политик, умеющий читать в будущем; мыслитель, изучающий философию истории; наш северный поэт, который мечтает о живописных странах, населенных вашим племенем, столь славным и красивым, — все заодно в России готовы вос-

кликнуть вместе с нами: „Да здравствует Греция и ее молодой Монарх!“

Еще одно слово, господа — его я не раз говорил и в других местах грекам, которые везде были моими друзьями — и еще раз хочу повторить его здесь. Есть нации, которых прошедшее славно; есть нации, полные надежд на величие своего будущего; есть и такие, коих настоящее блистательно... Но только вашему народу выпало на долю редкое счастье гордиться прошлым, которому равного нет ни у кого, и стремиться к будущему, полному молодости и высоких надежд! Да здравствует же Греция и Царственная чета ее, которой союз мы празднуем ныне!»

Г. Николаидис отвечал:

«От имени эллинского общества благодарю почтенного представителя великой России за его благородные заявления в пользу греков и за благие желания для их будущности. Чувства симпатии русского народа к моим соплеменникам всегда находили в элинах чистосердечную взаимность. И связь отношений религиозных, и вообще стремления, продолжающиеся много веков, приняли в настоящее время определенное направление. Направление это много способствовало развитию народов Восточной Европы, которые в свою очередь представят, конечно, интересную страницу в истории мира. Отношения, начавшиеся между обеими нациями со времени крещения Св. Ольги, подвергались переменам вследствие различных судеб обоих народов. Возрастая в своем величии, Россия всегда с горячим участием оказывала свою помощь эллинизму, тогда клонившемуся к разрушению. И возрождением своим эллинизм опять-таки много обязан покровительству единой Державы. Греческая интеллигенция образовывалась в России и находила доступ к самым высоким должностям. Россия создала талант, которым как нельзя лучше воспользовались греческие патриоты для воскрешения своей филологии. Равным образом военные училища в России всегда были открыты для греков. В России, наконец, всегда находили верное убежище преследуемые поклонники свободы, и самые священные

останки мучеников-иерархов обрели в России покойную могилу. Все это не только известно даже последнему из моих соотечественников, но каждый из них с признательностью вспоминает об этом. И теперь эллинизм, воодушевленный желанием прогресса и цивилизации, встречает в России, где народ и Правительство нераздельны, необыкновенное сочувствие. И если чего недоставало доселе для полноты взаимных отношений, то и недостаток этот пополнился мудрыми стараниями великого Российского Монарха.

<sup>10</sup> Преданность греков Православию жаждет единого наследника для юного эллинского трона, на котором с недавнего времени восседает молодой избранник-Монарх, благоразумием и энергией своей снискавший любовь народа и из любви этой почерпавший свою силу. Император, видя, с одной стороны, желания эллинов, а с другой — доблести их Монарха, принял в свои объятия греческого Короля, как жениха, и объятия обоих Монархов образовали крепкую цепь, связующую нераздельно обе нации. Древняя Ольга, дав Христианство России, положила основание <sup>20</sup> свосму величию и удостоилась сопричтения к лику святых. Юная и полная грации Королева благим пришествием своим в новое отечество, где ожидают ее с трепетным энтузиазмом, полагает основание эллинского перерождения. Она начинает новую эпоху, эпоху счастья и славы для греков и, конечно, оставит о себе в потомстве воспоминание более великое, нежели то, которое оставила братьям-русским славная ее бабка. Так крикнем же „ура” за русских и за великого их Монарха! Zito! Да здравствует Император Александр II! Да здравствуют братья наши русские!»

<sup>30</sup> По окончании речи г. Николаидиса г. Леонтьев сказал, обращаясь ко всем своим посетителям:

«Господа! Я надеюсь, что вы повеселитесь сегодня так, как следует веселиться молодцам-грекам!»

После этих речей и после заключительных слов г. Леонтьева восторг греков дошел просто до иступления, «Ура! Zito!» «Да здравствует Александр II-й!» «Zito Ольга!» «Да здравствует и цветет Россия, столб Православия наше-

го!» На дворе стреляли из пистолетов и карабинов так сильно, что по всему городу слышна была пальба. В то самое время, когда одни из греков падали, другие плясали на просторном дворе и пили вино, которого изготовлено было для них много. Так продолжалось часа два сряду.

Потом все утихло, но только до захождения солнца. Вечером, едва только стемнело, оба консульства осветились огнями и все дома и лавки греческих подданных были иллюминированы. До поздней ночи греки, богатые и бедные, веселились, танцевали, пускали ракеты и опять так много стреляли, что Сулейман-паша, губернатор Тульчинский, стал тревожиться и приглашал греческого консула принять меры против такого «бесчинства». Г. Николаидис возразил, что и сами турки стреляют во время Байрама каждый год и что полиция пусть хватает тех, кто позволит себе *действительные бесчинства*. Действительных бесчинств никаких и не было. Греки, которые, правду сказать, по праздникам любят ссориться и даже хвататься за ножи, в этот день — как будто нарочно согласились доказать, что народ может доходить до исступления в своей радости, не нарушая ничем благочиния и не вредя никому. Пока те из греков, которые победнее, веселились по кофейням и по своим домам, купцы собрались в небольшом здешнем греческом клубе. В одиннадцатом часу ночи они пригласили в клуб обоих консулов, и когда узнали, что они идут, один из здешних купцов, не славящийся обыкновенно щедростью и даже более чем экономный по природе — *разбил и вылил на пол 80 бутылок шампанского, чтобы вымыть им пол к приходу консулов*.

В клубе опять играла музыка и провозглашались восторженные тосты. Из клуба всех нас, с дамами, с фонарями, с музыкой впереди, повели в дом другого негоцианта по темным тульчинским улицам, и там мы протанцевали почти до 4-х часов утра.

Еще пример греческого энтузиазма. Один шкипер хотел зажечь (как будто бы случайно) свой собственный новый корабль в честь России, перед окнами русского консульст-

ва, которого дом на самом берегу Дуная. Но его отговори-  
ли, опасаясь каких-нибудь несчастий и тяжб.

Да, хорошо сделают славяне, если будут иметь всегда греков дружеским аванпостом на юге. Это такое малочис-  
ленное, но тонкое и страстное племя — еще не раз скажет  
свое громкое слово в истории. Мы веселимся теперь и бу-  
дем еще больше веселиться; но не нам, так нашим детям  
придется, конечно, отстаивать свои начала от напора меха-  
нически сильной цивилизации Запада. Запад, конечно,  
<sup>10</sup> приближается все более и более к чему-то вроде железной  
машины, восток Европы века и еще века будет полон све-  
жего сока... Западные писатели сами чувствуют это, и не-  
давно один из них говорил очень верно об антагонизме «en-  
tre la civilisation déterminée (или précise, не помню) de l'Oc-  
cident et la civilisation ondoyante de l'Orient».

#### [IV]

Говорят, и справедливо, что в жизни народа не следует  
все подчинять одному какому-нибудь началу: ни чисто по-  
литическому, ни религиозному, ни одним экономическим  
<sup>20</sup> интересам. Да оно, к счастью, и невозможно; чем сложнее  
народно-государственный организм, тем труднее принести  
в жертву одному отправлению все другие. Понятен и поле-  
зен охвативший русских нашего времени экономический и  
административно-юридический Sehnsucht. Понятно и про-  
ститительно в известной мере равнодушие публики к нашему  
творчеству отвлеченной мысли и искусства; понятен глубо-  
кий упадок вкуса, который становился было так возвышен  
во времена Пушкиных, Белинских и Грановских; понятно  
даже неизбежное измельчание умов, исключительно заня-  
<sup>30</sup> тых спешной практической работой... Но есть же и мера на  
все; есть общенародные вопросы, которые стоят выше вся-  
ких выгод частных лиц и отдельных компаний... Таковы,  
напр(имер), вопросы Восточный и Славянский. Эти во-  
просы таковы, что даже всякая частная жертва, которую

принесет Россия для них, будет не что иное, как расход благоразумного, но смелого и дальновидного купца, который щедро платит своим прикащикам и поверенным и вообще не боится тратить в меру, ибо знает, что вознаградит себя сторицей.

Все эти общие мысли, которые я даже готов назвать общими местами, пришли здесь на Дунае в голову не мне одному, а многим, когда разнесся слух, что наш прекрасный пароход «Таврида» сделал уже последний свой рейс и что даже... впредь (никто и верить этому не хочет!) русских пароходов на Дунае вовсе не будет. Говорят, будто бы Галацкая линия невыгодна акционерам Общества пароходства и торговли. Этого мы, конечно, не знаем. Но мы знаем, что Общество получает значительное пособие от Правительства, и думаем, что выгоды акционеров могли бы быть соблюдены, не уничтожая этой линии. Я постараюсь доказать это ниже. Но если бы даже и так? Пусть соблюдают экономию на другой линии и другими средствами, а не здесь и не этим путем. Неужели это невозможно?

Несколько лет тому назад из Одессы в Галац ходил только один австрийский пароход «Меттерних». В 1857 году, в первый раз, Русское Общество решилось ему конкурировать. Сначала «Митридат», а потом «Таврида» в короткое время убили репутацию «Меттерниха»; теперь «Меттерних» — грязный и медленный грузовой пароход. Когда показывалась вдали наша «Таврида», чистая, изящная, быстрая — все, не только русские на Дунае, но и болгаре, греки, румыны кричали: «Вот идет „Таврида“. Вот русский пароход. Его никто не обгонит!» И точно, не было здесь парохода, равного «Тавриде». Была буря в море, — «Меттерних» прятался, «Messagéries» заходили в порты; одна «Таврида» являлась в срок, как будто и не было волны. В узком рукаве от Сулины до Тульчи, полном мелей и судов, «Таврида» ни разу не села на мель, ни разу не заплатила штрафа Дунайско-Европейской комиссии. Хотя ей и случилось вначале, когда не привыкли еще остерегаться ее быстроты, ломать и топить суда; но и это она делала так прави-

льно и сообразно с навигационными уставами, что всегда оставалась права перед международным судилищем.

Капитана «Тавриды» А. М. Сухомлина знают и уважают здесь все. Все знают его за храброго, образованного, искусного моряка и за доброго хозяина дома, которого веселое, искреннее радушие нельзя сравнить с скучными и сухими манерами французских командиров. Что касается до австрийских капитанов, которые все далматы, то хотя они, конечно, как все славяне, приятнее французов, но и о них рассказывают, что до появления на Дунае русских и французских конкурентов они были довольно надменны и только в последнее время ils ont mis de l'eau dans leur vin. Пища, прислуга, простор, чистота, гостеприимство капитана — все на «Тавриде» привлекало пассажиров. На двух пароходах «Messagéries», которые ходят сюда из Константинополя, кормят скверно и мало, все какими-то салатцами да телячьей разварной кожей, которую французы очень хвалят. И я раз позавтракал ею — так словно ничего и не съел: на желудке и не слышать ничего. Прислуга не слишком опрятна; по палубе нельзя ходить, потому что баркасы висят не по ту сторону бортов, а по сю, над самой головой и ниже обыкновенного человеческого роста. На австрийских пароходах кормят также не завидно и *kellner*'ы лезут к вам под нос с грязными ногтями; — тогда как на «Тавриде» все слуги в ливреях и перчатках. Одним словом, повторяю, не одни русские — все единоверцы наши здесь гордились за нас этим пароходом; все иностранцы хвалили его. После ужасного дела на пароходе «Германия», будь здесь еще два русских плоскодонных парохода, которые могли бы ходить выше Галаца; будь даже эти пароходы гораздо хуже не только «Тавриды», но и австрийских пароходов Дунайской компании — можно наверное сказать, что на австрийских не осталось бы и десятой доли тех пассажиров, которые на них теперь ездят волей-неволей. Теперь время не уничтожать Галацкую линию, а усиливать ее; надо, чтобы русские пароходы ходили до Белграда и выше. Греки и болгаре только и думают, после дела на «Германии», какую

бы компанию сюда заманить? Дело же «Германии», можно ручаться, только «присказка, а сказка будет еще впереди».

Мы видели, что делалось в Крите и какую пользу принесли там «Генерал-Адмирал» и «Тамань». Мы видели, на что способны австрийцы и турки. Если и здесь придется целым толпам славян искать убежища, то что будет, если они не найдут его и за деньги? Не стыдно будет нам? Выгодно ли это будет для России? Частный человек, конечно, не может и не должен даже знать, о чем пекутся дипломатические кабинеты. Русское общество не отвыкло еще, слава Богу, доверяться слепо и искренно своему Правительству в делах внешней политики; оно знает, что русская дипломатия издавна славится в Европе своей дальновидностью, тактом и выдержкой. Но есть и в международных делах вещи, доступные пониманию каждого. Например, в сочувствии славянам все, кажется, заодно: и облеченный властью, и не облеченный ею...

Правительство наше объявляло не раз, что оно не ищет завоеваний, что оно желает сохранить целостность соседних ей Держав, но к страданиям и к стремлениям единовременных и единоплеменных ей народов — оно не может быть глухо. Оно доказало это в Крите. Можем ли мы ручаться, что на Дунае будет долго царствовать то глухое и тяжкое затишье, которое царствует теперь. И тогда?.. Повторяю, все видели в Крите, чего могут ожидать от турок беззащитные женщины, старики и дети. Все видели в Руссуке, чего могут ожидать не только турецкие или австрийские подданные от Австрии, но даже подданные сербские или румынские. Где же будет людям спасение от Митхадов и Мартиртов? Турецкое начальство везде благоприятствует австрийцам. В Гирсове оно недавно устроило на свой счет новую пристань, приглашая австрийские пароходы приставать бесплатно. Итак... что к тому прибавить еще? Что бы мы ни прибавили — все сведется к одному: вековое влияние России на Востоке, ее честь связаны с существованием русских паровых судов на Дунае... И неужели с экономической стороны исчерпаны все соображения и доводы? Отчего «Тав-

рида» не брала груза, например, в Тульче? Чьи интересы препятствовали устройству пристани в Тульче? Мы видим, что «Меттерних» и другие австрийские пароходы завалены грузом всякий раз, когда останавливаются в этом городке. Задержки пассажиров? Но для избежания этого стоит только часом раньше назначить выход из Одессы. Мне скажут наконец, что рейсы «Тавриды» были связаны с рейсами каких-либо других пароходов в Чорном море? В такие подробности не нам входить. Мы не можем взвесить этих <sup>10</sup> соображений и не можем ломать голову над изысканием мер к устранению непонятных нам экономических неудобств. Это — дело имеющих власть и специальные в том вопросе сведения.

Мы знаем только то, что великий народ и великое Государство, чтобы быть достойными этого титула, не имеют права жить для одних торговых и вообще экономических интересов. Забота об экономических интересах необходима, неизбежна и прекрасна в своих пределах; забота о желудке тоже необходима и похвальна в известной мере. Но не в <sup>20</sup> желудке краса и мировая роль человека (их имеет и червяк), а в высших отправлениях тела и души. Экономические интересы для благородной нации не должны быть сами себе целью; они должны быть лишь средством для служения идеям, и частное общество, раз согласившись принимать поддержку от Государства, не имеет права идти вразрез с общегосударственным историческим призванием. Если в иных странах уже дозрели и перезрели до того, что экономические интересы стали чем-то вроде искусства для искусства, то какая же нам нужда скоблить себе бороду <sup>30</sup> рочинным ножом прежде времени, подобно гимназисту, который не выучился еще дорожить своей молодостью? Другие страны имеют, наконец, и право думать теперь только о торговле; они и для всего другого в старину сделали столько, сколько мы не скоро еще сделаем... особенно если у нас будет царствовать долго то модное нищенство духа, которому, мне кажется, лучшего названия не придумаешь, как: *всемирно-экономический вигизм.*

Дунай открылся. Народ бежал несколько дней сряду смотреть, как плыли к морю большие плоские льдины. Для того, кто видал, как ломают свой страшный лед наши северные реки, — картина эта ничтожна. Суда уже надули паруса и тронулись в путь. Реморкеры уже визжат вниз и вверх по реке. Ждут со дня на день начала правильного пароходства. Недавно пронесся слух, что и наша русская «Таврида» возобновит свои поездки. Не только русские, но и молдаване, болгаре, греки, наверное, с радостью увидят снова белые трубы нашего изящного судна. Многие греки, говорят, только его и ждут, чтобы ехать в Галац, и не хотят ехать на австрийских.

Вы спросите, быть может, как мы провели здесь нашу короткую зиму? Мы провели ее тихо. Все притворяются, что не ждут ничего, — все идет как будто прежним порядком. Болгар не слышно; одного посадили турки на год в тюрьму за пустые разговоры в пьяном виде. Рассказывают, что под Рущуком 12-тилетний турок шел с отцом по дороге и, увидев старого болгарина, сказал отцу: «Убить гяура?» — «Убей», — сказал турок. Мальчик убил старика из пистолета. Когда родственники убитого пришли жаловаться в конак, им отвечали: «Ведь он дитя, — что с ним делать!» Не знаю, правда ли это, по крайней мере мне так передавали этот случай. Итак, болгары живут себе по-старому: простые люди пашут, платят подати, купцы торгуют и читают в казинах внушительные издания Царьграда и Рущука (с какими чувствами они читают их, не знаю), а когда пытаются быть светскими людьми, то дают нечто подобное балам.

Старообрядцы наши молятся и держат во всем крепко обычай старины. О молдаванах левого берега я напишу вам в другой раз подробнее. Молдаване правого берега (турецкоподданные) — почти все земледельцы и имеют здесь только механическое значение рабочих сил. Впрочем, из Букареста в Тульчу недавно прислали около 300 руб. и, ка-

жется, другие дары — в молдавскую церковь, которая скоро будет окончена и обещает украсить город. Греки жадно ждут весны: они все так же полны упований и огня, все так же хитры и шумны, возмущаются письмом Саваса-паши из Крита, ревностно, как и всегда, торгуют и читают газеты.

Турки понемножку пытаются заселять мусульманами берега Дуная. Около Исакчи зимой поселили 50 новых турецких семейств; сто семейств абадзехов расселились по разным селам около Бабадага и дальше. Окрестные селяне разных вер и племен строили, говорят, для них дома — конечно, не по своей воле. Прибытие свое абадзехи ознаменовали тем, что украли у одного болгарина двенадцать баранов; убили их и зажарили в лесной чаще. Однако бабадагский каймакам (вроде городничего) — человек распорядительный: он понял, что абадзехи понесут баранов домой не всех вместе; поставил у опушки заптие, и по мере того, как абадзехи выходили попарно с бараном на шесте, их брали и уводили в тюрьму. Болгарин, впрочем, как слышно, вознаграждения не получил: ему возвратили шкуры, а с кучей жареного мяса что ему было делать, если у него не было свадьбы?

Что еще вам сказать? Черкесы понемногу грабят и убивают там и сям; убили какого-то сапожника в старообрядческом селе Слава; переходили по льду и на молдавскую сторону, чтобы грабить. Нельзя сказать, чтобы они совершали особые ужасы и опустошали бы страну. Такие дела бывают везде; но есть подозрительные люди, которые уже слишком взыскательны и дальновидны. Такие люди находят, что черкесам администрация Добруджи слишком много спускает, что их наказывают не строго, находят, что такой хороший и добросовестный администратор, как тульчинский Сулейман-паша, мог бы давно обуздать их... если бы у турок не было задней мысли ласкать черкесов. Все видели, как быстро и ловко распорядился он осенью при поимке молдавских разбойников, как хорошо сам вел судебное следствие, как сумел раскрыть все подземные ходы

и сношения этой свирепой шайки. Отчего же он так мягок с черкесами? Я не думаю, чтобы эти слишком подозрительные люди были правы. Государственное обособление наций драгоценно для всякого, кто желает для человечества *истории*, т. е. *развития*, соединенного с известной долей благоденствия, и не одного тупого благоденствия. Став на эту точку зрения, можно было бы и объяснить (если не оправдать) турок, когда они слегка жертвуют административной и судебной абсолютной правдой временным политическим интересам. Но — дело в том, что им в этой стороне, конечно, никто не грозит. Христиане здесь так робки, так напуганы, и к тому же так разнохарактерны по вере и племенному происхождению, что от них ожидать чего-либо опасного для Турции — невозможно. Довольны ли христиане — это другой вопрос, на который ответить не берусь. Опять не знаю, правда ли — но рассказывают, будто в Добрудже недавно местная власть предложила христианам бить ворон и воробьев, как птиц, вредных для сельского хозяйства, и в виде премии назначила было по 10 пиастров за каждую птицу. В двух-трех селах обрадовались, настреляли птиц и принесли в конак; деньги им дали, но отобрали ружья. Дальше дело не пошло; в следующей деревне христиане ответили: «мы рады стрелять „вредную“ птицу, но пусть нам начальство даст оружие, которого у нас нет!»

## РАЗБОИ ПО ДУНАЮ

Людам, которые уверяют или верят, что парламентарные учреждения и так называемая политическая свобода суть необходимые условия всего порядочного, выгодного и даже благородного, я бы посоветовал побывать в Румынии и особенно в той части Бессарабии, которая отошла от нас по Парижскому трактату. Я бы желал также, чтобы такие люди встретились здесь с иными немцами и французами и послушали бы, что они говорят о неограниченном русском правлении и о пользе, которую извлекают румыны из своих льгот! Один из этих немцев (демократ, если не демагог) говорил мне с удивлением: «я бывал в болгарских колониях Бессарабии до Парижского трактата, и бываю теперь. Глядя на их упадок, я в первый раз усумнился в том, что парламентаризм есть безусловное благо, годное для всех народов. Были бы люди; а учреждения — вопрос сравнительно с этим второстепенный».

Скоро, вероятно, в Тульче будут повешены разбойники, которые давно свирепствовали в Бессарабии и Добрудже. Они были пойманы на правом берегу Дуная и судимы тульчинским губернатором Сулейман-пашею. Молдаване изъявляли на это претензию; — из Измаила даже ездил в Тульчу чиновник и пытался требовать выдачи разбойников (как молдавских подданных) для произведения над ними суда в Измаиле. Нам рассказывали, будто бы паша прямо

сказал ему, что в Измаиле им дадут средства бежать из тюрьмы, как и не раз уже случалось прежде. Чиновник будто бы клялся, что у разбойников есть «разрыв-трава», которой стоит только немножко взять под ноготь и коснуться железа: ни цепи, ни решетки против нее не устоят. Паша не обратил на эти требования внимания. Во все это время, пока еще не приступили к правильному суду, общественное мнение в Измаиле и Галаце было взволновано. Беспокоились о том, чтобы разбойники не возвратились в Молдавию, чтобы паша не уступил. И не мудрено! Кучера<sup>10</sup> в Измаиле не ложатся спать в конюшнях без заряженных пистолетов и ружей. Англичане и французы пишут, что в Греции разбой. Какая разница! Греческий разбойник — рыцарь, даже и тогда, когда он простой (экономический) разбойник; когда же он к этому прибавляет политический оттенок, когда при малейшей возможности он с радостью обращает свое оружие, свое бесстрашие, свою сметливость на врага отчизны — он становится уже не бичом, а драгоценным приобретением для края. В Греции еще возможны Ермаки; Румыния же, кроме холодных злодеев, вроде злодеев «Парижских Тайн», ничего не дает на этом пути. К тому же, нет сомнения, греческая администрация желает, но не может совладеть с бесчинствами в гористой, тесной и сравнительно бесплодной стране. До какой степени желает управиться с разбойниками низшая (не знаю про высшую) администрация Румынии, пусть лучше покажет рассказ самого дела, как оно было.

Прежде всего надо заметить, что со времени выхода русских из отошедшей части Бессарабии, простой народ в этой стране до такой степени избалован, что трудно себе представить подобный нравственный упадок в населении,<sup>30</sup> которое несколько лет тому назад честным трудом добывало себе кусок хлеба и жило, не чувствуя никаких нужд. Теперь все приняло иной оборот. Особенно жители городских окрестностей отличаются всевозможными дурными качествами. В Измаиле, например, мы видим образец и подтверждение всему вышесказанному. В предместьях его на 3—

4 тысячи населения едва ли найдется 200—300 честных хозяев; остальные — воры и разбойники. Воровство, грабеж и убийства сделались так обыкновенны, что при слухе о них жители несколько не выражают удивления, а только заботятся о мерах собственной безопасности. Прибегать к защите властей бесполезно; они слишком слабы и сверх того, как впоследствии увидим, из экономических расчетов смотрят сквозь пальцы на все происходящее вокруг них, и даже, если угодно, некоторым образом способствуют успехам выгодного для них промысла.

Никто не запомнит, чтобы хоть один из положительно уличенных преступников был бы наказан по заслугам. Каждый вор и разбойник занимается своим промыслом смело, в полной уверенности, что действия его не повлекут за собою особенно опасных для него последствий. Вот пример:

Уже года четыре сряду свирепствует здесь шайка воров, составившаяся большею частью из измаильских малороссиан, под предводительством некоего Николая Станчева, болгарина из Бессарабии. За несколько лет до организации этой шайки в отшедшей части Бессарабии свирепствовала другая шайка, известная под именем шайки Костаки-Барогана. О сей последней было много говорено и писано, но местное румынское Правительство не сочло нужным принять решительные меры для ее уничтожения до тех пор, пока она сама разошлась вследствие смерти своего предводителя.

Нам хорошо известно, что многие случаи разбоев и грабежа обеих шаек были неоднократно открываемы и виновники содержались в Измаиле под арестом, но румынская юстиция всякий раз требовала от ограбленных или от родственников убитых — свидетелей в том, что действительно преступление совершено именно теми лицами, на которых падало сильное подозрение и которые уже всем и каждому были известны как воры и разбойники. Само собою разумеется, что присутствие свидетелей в подобных случаях — дело невозможное, и таким образом преступники, после са-

мого кратковременного ареста, были освобождаемы и снова принимались за старое ремесло. В подтверждение вышесказанному много интересных сведений открыто при арестовании и серьезных допросах шайки Николая Станчева, захваченной турками в Тульче и ее окрестностях.

Не говоря уже о постоянных случаях грабежа и убийства по дорогам в степи, на которые, как я уже выше заметил, никто почти не обращал внимания (так к ним все привыкли), Николай Станчев с одним из своих товарищей решился на следующее дерзкое убийство.

В половине августа прошлого года, будучи в Измаиле, Станчев встретил на рынке двух колонистов из колонии Кубей (русских подданных), братьев Гавриила и Демьяна Бошняков. Люди эти только что приехали из Кубея в Измаил по торговым делам. Люди они были богатые и продали в то время большую партию пшеницы. Подойдя к ним (дело было в 10 часов утра), Николай стал расспрашивать: не пропало ли у них из табуна в апреле 1867 г. 18 лошадей? Те отвечали утвердительно. Затем Станчев, рассказав им приметы украденных лошадей и их марки, предложил Бошнякам указать им место, где они найдут своих лошадей, и потребовал от них за это 5 червонцев. Колонисты, без сомнения, пообещали ему не 5, а 25 червонцев, и тот же час Николай Станчев, с бывшим при нем товарищем Сергеем, и оба брата Бошняки в фургоне сих последних на паре хороших лошадей отправились отыскивать пропажу. Затем Бошняков уж больше никто не видал. Молдавская полиция, по обыкновению, ничего не открыла, хотя были следы побега разбойников на лошадях Бошняков. Были люди, которые видели, когда и куда они направились. Пошумели, поискали и оставили дело. Между тем братья убитых Бошняков, узнав помимо измаильской полиции, что разбойники переправились чрез Дунай и находятся в Тульче или ее окрестностях, явились сюда и стали, чрез посредство русского консульства, просить турецкое начальство о преследовании и поимке разбойников. Надо заметить, что за два-три дня до прибытия в Тульчу Бошняков в Тульче

все с изумлением говорили об убийстве, совершенном среди белого дня, двух здешних купцов-болгар на дороге между Тульчею и Измаилом. Это дело побудило тульчинского пашу принять всевозможные меры к открытию виновных. Энергические и благоразумные меры его увенчались успехом. Шайка была схвачена. Начались допросы, следствие. Оказалось множество лиц, уличаемых косвенным образом в содействии разбойникам, скрывавших награбленные вещи и самих преступников не раз от преследований закона.

<sup>10</sup> Тульчинская тюрьма наполнилась обвиняемыми. Паша, довольный успехом первых своих попыток, обнаружил явным образом намерение искоренить окончательно шайку, наводившую ужас на жителей обоих берегов Дуная. Он сам присутствовал, или вернее сказать — сам был главным действующим лицом во всей процедуре допросов и следствия. Нам удалось слышать подробный рассказ о ходе этого дела от лица, присутствовавшего при всех допросах.

Сперва начали допрашивать разбойников о братьях Бошняках, убитых в Измаиле. Разбойники упорно отказывались от этого преступления, говоря, что уже более пяти лет, как никто из них не был на левой стороне Дуная. Явились из Измаила свидетели, знавшие лично Николая Станчева; они готовы были под присягою показать, что в день исчезновения Бошняков они видели их ехавшими с Николаем и Сергеем из города. В числе свидетелей был, между прочим, содержатель моста чрез канал, соединяющий у самого Измаила ближайшие лиманы с Дунаем. Разбойники после полуночи проехали на лошадях Бошняков чрез этот мост, и содержатель его, получив от них плату за право <sup>20</sup> проезда, спрашивал их: откуда они достали таких хороших лошадей? Была одна девушка, которую они украли в ту ночь и хотели увезти в Турцию, но, услышав за собою погоню, выбросили ее из фургона и продолжали путь. Несмотря на то, что улики были так ясны и доказательства виновности их так неопровержимы, разбойники все-таки не сознавались в этом преступлении. Паша пробовал разными <sup>30</sup> способами привести их к сознанию. Он то ласкал их, сажая

около себя в бархатные кресла и угощая кофеем и папиросами, то грозил, то обещал простить первого, кто чистосердечно признается и откроет соучастников. Все было напрасно. Николай Станчев сознался во многих других убийствах и грабежах, совершенных им в Турции и Молдавской Бессарабии, и вместе с тем клялся в непричастности своей в последних двух убийствах. Он рассказал, с кем и каким образом, два года тому назад, он изжарил на костре одного православного священника в селении Караурмаке (в Турции, неподалеку от Сулина), как убил по дороге между Измаилом и Болградом нескольких проезжих, как ограбил в Болграде и Измаиле несколько магазинов, подробно объясняя, где и что было ими уворовано, кому перепродано и т. под. Хотя по турецким законам в уголовных случаях не требуется непременно собственного сознания преступников, если улики против них не оставляют никакого сомнения в их виновности, но паше хотелось непременно добиться их сознания и потом заняться исследованием и истреблением способов к продолжению разбоев. К достижению этого оставалось мало надежды. Но следующий случай облегчил дальнейший ход дела. <sup>10</sup>

Само собою разумеется, что все лица, арестованные по подозрению в последних двух убийствах, содержались и допрашивались каждое отдельно. На другой или на третий день допросов пригнали из Кюстендже бежавшего отсюда и подозреваемого в сообществе с разбойниками некоего Демьяна. Утомленный ускоренною ходьбою на расстоянии более 100 верст, отягченный по меньшей мере двухпудовыми цепями, Демьян был введен прямо в залу уголовного суда. Паша обратился к нему очень ласково и сказал: <sup>20</sup>

— Послушай, твои товарищи сознались во всем. Они указали на тебя как на участника в убийстве у Красного моста (по дороге от Тульчи к Измаилу) двух здешних болгар. Теперь от тебя самого зависит большая или меньшая степень наказания, которого, само собою разумеется, тебе не избежать. Сознайся чистосердечно во всем и расскажи <sup>30</sup>

подробно, как было дело. Чем больше скажешь правды, тем легче будет твое наказание.

Демьян, как видно, не совсем опытный в юридических тонкостях, поверил паше и стал уверять, что у Красного моста сам не был, но знает подробно, как было дело. Паша велел снять у него с шеи цепи, спросил: не голоден ли он, дал ему несколько минут отдыха и потом велел начать рассказ.

Демьян объявил, что на Красном мосту были Николай<sup>10</sup> Станчев, Сергей, Матвей, Яшка Воронов и еще один их товарищ — все известные разбойники. Они отправились туда с целью ограбить именно этих болгар. О том, что эти люди должны были там проехать, они узнали в Тульче от корчмаря Василия, который, разменяв этим болгарам мелкой монеты на 400 турецких лир (2400 р. сер.), созвал к себе разбойников, которые всегда имели у него приют, и предложил им подстеречь этих болгар, прибавив, что охота будет хорошая: будет и им, достанется что-нибудь и ему. Позвали Василия (он был уже арестован). Тот отказывался от всего и даже говорил, что никогда никому не менял 400 лир. Демьян сослался на 12—13-летнего мальчика, прикащика Василия, который видел, как меняли болгаре у его хозяина деньги. Привели и мальчика. Босой, в одной рубашке, а дело было в сентябре, мальчик дрожал. Паша стал его расспрашивать и ласкать, думая, что он дрожит от страха; но мальчик очень простодушно заметил паше, что он никого не боится, потому что ни в чем не виноват, но что дрожь у него происходит от холода, и подтвердил все показания Демьяна относительно размена денег.<sup>20</sup> Затем был опять введен Станчев на очную ставку с Демьяном.<sup>30</sup> На вопрос паши, знает ли он Демьяна, Станчев отвечал, что первый раз его видит. Надо было удивляться упорству и нахальству разбойников и в особенности Станчева. Все они — люди молодые: Станчеву только 21 год, и он, по его собственному сознанию, разбойничал уже 6 лет. Собой он недурен, черноволос и бледен, — но взгляд его жесток, холоден, бесстрашен. Надо было удивляться терпе-

нию паши, который две недели сряду, с утра до поздней ночи, следил за ходом дела.

Когда брат убитых в Измаиле Бошняков стал просить Станчева, чтобы он сказал ему, где находятся трупы убитых, обещая даже дать ему за это 20 червонцев, Станчев отвечал:

— Ты, должно быть, сумасшедший! Ни тебя, ни братьев твоих я никогда не видал и не знаю. И кроме того, ты обвиняешь меня в убийстве, как будто убить человека — легкое дело: ведь это грех, и надо будет отвечать пред Богом!<sup>10</sup>

Тогда паша не утерпел, вскочил с дивана и говорит Станчеву: «а священника жарить не грех? за это не надо отвечать пред Богом? Вот как прикажу я тебя прижечь, как ты прижигал многих, так ты всю правду скажешь!»

— Конечно, если станете жечь, так скажу и то, чего никогда не делал. Вынужденное показание в резон не принимается.

Паша немного сконфузился.

В продолжение 12—13 дней ни один из разбойников, кроме Демьяна, не сказал ни одного слова о последних двух убийствах; наконец (вследствие чего, неизвестно), стали рассказывать со всеми мельчайшими подробностями обо всех ужасах и неистовствах, каким они подвергли братьев Бошняков и потом тульчинских болгар на Красном мосту. Нашлись люди, которые уверяли, что внезапное смягчение упорных злодеев произошло от *особых шкапов*, в которых их ставили на ночь и в которых нельзя было ни лечь, ни стать, ни уснуть. Обремененный страшными цепями, после двух-трех ночей, сам непреклонный Николай Станчев решился уступить... Тут-то стоило послушать от разбойников о доблестях измаильской полиции! Для примера приведу следующий случай. Эта же шайка, в начале августа прошлого года, ограбила дом одного зажиточного еврея в Измаиле. Он много хлопотал, но с румынскими властями не добился толку, между тем наверно знал, что был ограблен и прибит шайкою Станчева. Услыхав о его аресте<sup>30</sup>

в Тульче, еврей явился сюда и как раз в то время, когда разбойники сами рассказывали обо всех своих деяниях. У еврея было уворовано вещей более чем на 2000 руб. сер. Он обратился к папе с просьбою: разузнать от Станчева, где находятся ограбленные у него вещи. Вошел и еврей в залу суда. Увидав его, Станчев улыбнулся. Еврей стал просить его указать местонахождение своих вещей. Станчев указал. Тотчас отправились жандармы и принесли вещи. Большею частью это было серебро; кроме того, было двое <sup>10</sup> золотых часов с цепочками, браслеты, кольца и другие драгоценности. Еврей так обрадовался, увидя свои вещи, что с ним сделалось что-то вроде лихорадки. Он бросался то к папе, целуя ему руки и уверяя, что, после Бога, лучше паши уж не может быть ничего; старался доказать, что вещи эти действительно ему принадлежат, и как бы в подтверждение своих слов — говорил, что у него в доме еще остались четыре серебряные ложки, точно такие, как и те, которые были украдены и теперь найдены.

<sup>20</sup> Станчев смеялся над евреем очень хладнокровно и заметил: «Странно, как это могли у него остаться еще 4 ложки после нашего визита». Успокоившись немного, еврей опять обращается к Станчеву и просит его открыть, кто рекомендовал ему ограбить его дом.

— Можно и это сказать, — говорит Станчев, — только уж с тебя хоть один червончик надо взять на табак.

— Дам тебе и два, — только скажи пожалуйста.

— Давай, брат, вперед; здесь кредиту нет.

Вынул еврей червонец и дал Николаю.

<sup>30</sup> — Тайный агент измайльской полиции, — продолжает Станчев, — Ицек-Вагабонд (беглый русский солдат) сказал мне, что у тебя в доме можно было найти тогда 1000 червонцев наличных денег, и предупредил, что надо быть осторожнее, потому что у тебя есть револьвер и другое оружие. Поэтому-то мы и отправились к тебе в числе 13 человек, все с саблями и пистолетами; а полицмейстер еще с одним чиновником пошел в то самое время в отель, напротив твоего дома, и кутил там, пока мы окончили дело.

— Где ж остальные мои вещи? — спрашивает еврей.

— Должны быть у полицмейстера, но наверное не могу сказать, потому что с тех пор, как я арестован, не имею никаких сведений из Измаила.

Затем Станчев указал еще одиннадцать человек своих товарищей в Измаиле; назвал их по именам и фамилиям, указал место жительства каждого из них, указал место, где они собираются для совещаний, для дележа награбленного, указал мины, служащие складочным местом для добычи и т. под.

10

Паша тотчас же передал все эти сведения измаильскому префекту. Что счел нужным сделать сей последний — мы не знаем; знаем только, что указанных людей никто даже и не побеспокоил: они свободно продолжают свое ремесло; знаем также, что в Измаиле и до сих пор не проходит ни одной ночи без случаев грабежа и разбоя.

Николай Станчев и, если не ошибаемся, двое других его товарищей — приговорены к смерти; другие — на каторгу, смотря по степени вины. Конфирмация Султана еще не пришла.

20

Письмо вышло слишком длинное; иначе можно было бы еще многое рассказать; например, как в урнах, запечатанных печатями избирателей, вдруг оказывается совсем не то, чего желали избиратели; как в одних только болгарских колониях воры не смеют воровать и грабить, ибо болгары не обращаются к властям, а подвергают сами, патриархально, пойманных мошенников такому строгому телесному наказанию, что у них пропадает всякая охота к новым попыткам в том же роде...

# ГРАМОТНОСТЬ И НАРОДНОСТЬ

## I

Много мы читали и слышали о безграмотности русского народа и о том, что Россия есть страна, где «варварство вооружено всеми средствами цивилизации». Когда это пишут и говорят англичане, французы и немцы, мы остаемся равнодушными или радуемся тому внутреннему ужасу за дальнейшее будущее Запада, который слышится под этими затверженными без смысла строками.

<sup>10</sup> К несчастью, подобное неосмысленное понятие о России и русских существует и у тех народов, которых связывают с нами племенная близость или вера и политическая история. Случай заставил меня довольно долго прожить на Дунае. Жизнь на берегах Дуная очень поучительна. Не говоря уже о близости таких крупных национальных и политических единиц, как Австрия, Россия, Турция, Сербия, Молдавия и Валахия, — посещение одной такой области, как Добруджа, не может пройти бесследно для внимательного человека.

<sup>20</sup> В этой турецкой провинции живут под одним и тем же управлением, на одной и той же почве, под одним и тем же небом: турки, татары, черкесы, молдаване, болгары, греки, цыгане, евреи, немецкие колонисты и *русские нескольких родов*: православные малороссы (удалившиеся сюда отчасти из Сечи Запорожской, отчасти позднее во времена крепостного права), великороссы-старообрядцы (липоване),

великороссы-молоканы и православные великороссы. Если прибавить сюда и берега Молдавии, которые так близки — Измаил, Галац, Вилково и т. д., то этнографическая картина станет еще богаче, и в молдавских городах, сверх вышеисчисленных русских иноверцев, найдем еще и скопцов в большом количестве. Между извозчиками, например, которые в фаэтонах возят по Галацу, очень много скопцов. То же самое, как слышно, было до последнего времени в Яссах и Бухаресте.

Систематическое, сравнительное изучение быта племен, <sup>10</sup> населяющих берега Нижнего Дуная, могло бы дать, я уверен, замечательные результаты. Обстоятельства не позволили мне этого сделать, но я уже доволен и тем, что сама жизнь дала мне без внимательного и правильного исследования. Я дорожу особенно двумя добытыми результатами: живым наглядным знакомством с русским простолюдином, *перенесенным на чужую почву*, и еще знакомством *со взглядами наших политических друзей на нас и на наш народ.\**

Один афинский грек, весьма способный, образованный <sup>20</sup> и занимавший в течение своей жизни должности не совсем ничтожные, известный, сверх того, как человек русской партии, вступил однажды со мной в разговор о нашей родине вообще.

---

\* В 68 году я имел еще право называть греков «нашими политическими друзьями». Это было, может быть, лучшее время в истории новейших сношений наших с греками (этими главными и самыми сильными представителями Православия на Востоке). В то время еще не кончилось геройское восстание критян, и брак Короля Георгия с Русской Великой Княжною считался тогда наилучшим выражением вековых греко-российских симпатий и залогом крепкого союза в будущем. Легкомысленная демагогия афинских политиков с одной стороны, а с другой — простодушное потворство нашего общества болгарскому либеральному и *антицерковному* движению — испортили все дело, если не вконец, то надолго. Правда — рано или поздно мы и без того столкнулись бы с греками за обладание Босфором. Но тут *есть из-за чего! Царьград и вольности болгарской буржуазии* — разве можно это равнять?

Он горячо жаловался на то, что «Россия велика, да не сердита», ставил в пример нам свою маленькую Грецию, которая схватывается с огромной Турцией. (Этот разговор происходил в 1868 году еще до несчастного исхода Критских дел.) Я защищал умеренную русскую политику, доказывал ему, что самое бессилие Греции есть в известном смысле сила и что всякое несвоевременное движение наше свергло бы и греков в неисчислимые бедствия. Он все стоял на своем и приписывал умеренность нашей политики *необразованности нашего народа*. «Оттого, — говорил он, — Россия и не сердита, что народ пробудить трудно на жертвы в пользу идеи... *Подите, пробудите русского мужика!*»

Я не стану излагать здесь своих возражений, скажу только, что он изменил потом свои взгляды и, уезжая в Афины, благодарил меня за то, что я открыл ему много, чего он и не подозревал в России.

Немного погодя, после первой моей беседы с этим *весьма просвещенным греком*, я шел вечером в Галаце по площади, которая прилегает прямо к набережной Дуная. У самого берега этого стоят постоянно, по договору, небольшие военные суда великих Держав. Они все стоят подряд; но экипажи живут особняком и каждый по-своему. Поют матросы на всех судах, но чаще и лучше всех поют хором наши.

Каждый вечер они поют то церковные стихи, то народные грустные песни, то удалые солдатские. На берегу около канонерской лодки «Чатыр-Даг» — всегда в это время собирается народ послушать русских. Сидел и я долго на камне и слушал.

Совсем было уж темно, когда я удалился; передо мной шли, разговаривая, *два грека, простые матросы с купеческих судов*.

— Хорошо поют русские! — сказал один.

— Только поют! — отвечал другой.

— Погоди, *проснутся и они*, — возразил первый.

— Дождидайся, чтобы они *проснулись!*..

С этими словами греки вошли в переулок, а я пошел в другую сторону и, когда вспомнил слова моего афинского друга, столь сходные со словами матросов, мне стало больно не за русских и за их безграмотную простоту, а за греков и за их грамотное незнание. Я греков люблю, и мне жаль, что они, влачась во всех понятиях за политически ненавистной им Европой, просмотрят и проглядят сами великую, назревающую славяно-русскую культуру, которая одна только в силах обновить историю.

Спустя несколько времени мне случилось быть в Измаиле и гулять по бульвару, на котором *еще целы* полосатые *русские столбы* под фонарями. 10

В Измаиле все еще пахнет Россией: пролетки и телеги с дугами, рубашки на выпуск (так же как и в Тульче), бюрократически-правильные бульвары, гостиный двор, в котором продают и теперь русские купцы даже и *кумач красный*... Посреди площади стоит около бульвара собор, выстроенный по плану, сходному с планом калужского и других губернских соборов новейшей казенной постройки. 20

В соборе половина службы идет по-русски, а половина по-румынски; на колокольне соборной звучат густые русские колокола...

Многие из румын и греков, живущих в Измаиле, говорят по-русски...

О русском управлении многие сохранили здесь недурную память...

Итак, я гулял на бульваре; со мной ходило двое молодых людей; один был грек полурусского воспитания; другой — молдаван полуфранцузского воспитания. 30

Не помню, который из них начал сравнивать Тульчу с Измаилом и, вероятно, желая угодить моему русскому чувству, сказал:

— Конечно, на каждом шагу видно, что Измаил был в руках просвещенной нации, а Тульча — турецкий город. Здесь *прямые* улицы, бульвар *правильный*... и т. д.

Я отвечал ему на это:

— Тульча нисколько не похожа на турецкий город, и это очень жаль; турецкие города крайне живописны; Тульча похожа на новороссийский уездный городок, беспорядочно построенный *самим народом*; и этим она, пожалуй, — лучше Измаила, в котором Россия являлась не столько народными, сколько полуевропейскими своими сторонами. Нет спора, — я сам вырос в губернском городе, и вид Измаила как нельзя более близок душе моей, — но это не мешает мне желать, чтобы русское начальство, когда ему впредь придется украшать или строить города, менее бы увлекалось геометрическими вкусами новейшей Европы.

Молодые единовѣрцы наши, видимо, не поняли меня и возражали совсем не на то.

Таким образом завязался разговор, который кончился так:

— Сознайтесь, — сказал я молдавану, — что душе вашей ближе французы, чем русские; вы цените больше французский ум и характер, чем наш; я не говорю о политических отношениях... Это совсем другое...

Молдаван отвечал мне на это искренно:

— Я сознаюсь вам, что я простолюдина французского ставлю выше русского мужика; но русского, равного образованием с французом, я ценю и люблю больше и француза, и англичанина, и всякого другого европейца!..

Я тогда спросил у него: кто ему больше нравится, — русский ли учитель или молодой чиновник нового поколения, честный, скромный, трудолюбивый, но безличный, живущий последними модными мыслями Запада; человек, которого по образу жизни, по манерам, по разговору, одежде, симпатиям можно отнести к буржуазии всякого народа, — *или же...*

Тут я указал молдавану на одного придунайского старобрядца, старца в высшей степени замечательного по личному своеобразному характеру своему, по политическому влиянию и, наконец, потому, что, вращаясь во всех возможных слоях общества, вступая в течение долгой своей

жизни в сношения с людьми высшего круга различных наций, он остался верен своему русскому старообрядчеству во всем, начиная от рубашки навывпуск и кончая отречением от табаку и чая.

Молдаван сказал, что он, конечно, предпочитает первого русского второму.

— После этого разговор между нами невозможен, — отвечал я. — Чтобы вы могли понять меня, вам надо забыть все, что вы знали, и слушать меня долго и часто, увлекаясь не желанием переспорить, а жаждой понять...<sup>10</sup>

Молодые люди молча подивились моим претензиям, и мы расстались.

Я рассказал о греках и молдаванах; я мог бы рассказать то же о болгарах и, вероятно, о сербах, которых, впрочем, я знаю меньше.

Все единоплеменники и единоверцы наши ценят нас настолько, насколько мы европейцы: им и в голову не приходит ценить в нас то, что в нас собственно русское.

Те из них, которые расположены политически к нам, ценят в нас: во-1-х, православное или славянское Государство с миллионом штыков; во-2-х, по-европейски воспитанных светских людей, которые шириной своей образованности, по словам самих европейцев, превосходят многих; во-3-х, наши военные способности; во-4-х, они ценят чрезвычайно высоко, в один голос с европейцами, наши дипломатические способности и дальновидную глубину нашей политики. (Правы ли они или нет, не знаю!)

Наконец, они признают все «свободолюбие» и всю серьезность реформ, предпринятых нынешним Правительством нашим.<sup>30</sup>

Но что такое наш народ? Что такое эта масса, этот океан, который они считают безгласным и бессмысленным, потому что он чужд мелочным и сухим демагогическим движениям? — Этого они не знают и не могут узнать, пока мы сами еще немногим в этом отношении стоим выше их.

Некоторые из славян и греков, с которыми я говорил об этих предметах, считали меня каким-то демократом; им это

простительно, но как простить русских, которые до сих пор не понимают, что здесь дело о *народном*, а не *просто-народном*.

Будь наше высшее общество своеобразнее нашего народа, надо было бы предпочесть его дух, его образцы, его обычаи, его идеалы, а не простонародные.

Такие примеры есть в истории. Парижанин *более француз*, чем хлебопашец французский. У хлебопашца французского серьезного, тяжелого, упорного в земельном труде, больше сходства с немецким хлебопашцем, чем у парижского франта и демагога с немецким ученым (особенно прежних времен).

Лорд английский (особенно прежний лорд) как физиономия, как тип, как характер, быть может, более олицетворял собою Англию, чем английский матрос; или по крайней мере столько же.

У нас вышло наоборот. Это чувствуется всеми.

Во время последней Восточной войны в одном из итальянских городов на карнавале, выехала на площадь колесница с комической группой, изображавшей борцов Восточного вопроса: турок был в классической своей одежде; англичанин, кажется, изображен был в виде матроса; француз (это я помню наверное) в виде парижского франта, а «русский в виде *мужика*».

Так писали тогда в газетах.

## II

Из всех расположенных к нам политически единоплеменников и единоверцев наших — чехи, мне кажется, скорей других могли бы понять и оценить Россию с той точки зрения, на которую я лишь намекнул в первой нашей главе.

Они это могут именно вследствие большей своей образованности, вследствие большего *пресыщения* западничеством.

Европейская образованность других политических друзей наших еще слишком зелена, чтобы они были в силах

пресытятся однообразным идеалом западной культуры. Они еще *parvenus* европеизма и не в силах еще даже и теоретически подняться над ним...

Повторяю, это им извинительно; в этом виноваты много и мы сами.

К несчастью, и между чехами много есть людей, *пропитанных*, но не *пресыщенных* европеизмом. Это видно по печатным мнениям некоторых из них.

К тому же западная публицистика, упоенная вещественной силой совокупно взятого Запада, его механическими<sup>10</sup> открытиями и распространением в нем мелкого знания (в ущерб высшему творчеству духа), поет дифирамб сама себе и своей мещанской почве, не подозревая, что *душа убывает* вокруг нее, не замечая, что гений жизни с грустью собирается угасить свой факел...

Западная мысль поет на старые (когда-то юные) мотивы дифирамбы Западу и с презрением относится к нашему народу.

Славяне слушают это, и мысль их колеблется...

Еще не так давно в одной из стольких враждебных нам газет был представлен краткий отчет состояния грамотности в русской армии. Отчет этот был взят иностранным писателем из наших «Московских Ведомостей» и заключал в себе следующее обращение к чехам: «Сам г. Катков сообщает в своей газете, что грамотных солдат в русской армии 5 на *сто!*\* Что может быть общего у чехов, столь ученых, столь образованных и т. д. с русскими? Чехи говорят, что они в России ищут лишь *умственного вождя*... Нам кажется, что первое необходимое качество путеводаителя есть способность ясно видеть. *Dans le royaume des aveugles les borgnes sont gois* и т. д.»<sup>20</sup>

Иностранный порицатель нашей безграмотности указывает на *самого* г. Каткова, т. е. на одного из самых знаменитых и влиятельных русских патриотов...<sup>30</sup>

---

\* Наверное цифры не помню.

Не знаю, что ответил бы г. Катков на это, если бы он обратил внимание на эту заметку. Может быть, и он, и многие другие находят лучшим отвечать презрительным молчанием на все подобные нападки. Русские привыкли к ним; но я думаю, что не всегда эта метода хороша: молчание может быть приписано смущению перед горькою правдой.

<sup>10</sup> Я же нахожу, что эта правда не горька. Да! В России еще много безграмотных людей; в России много еще того, что зовут «варварством». И это наше счастье, а не горе. Не ужасайтесь, прошу вас; — я хочу сказать только, что наш безграмотный народ более чем мы хранитель народной физиономии, без которой не может создаться своеобразная цивилизация.

Я не хочу сказать, что народ наш совсем не надо учить грамоте, что его не следует просвещать; — я скажу только: наше счастье в том, что мы находимся «im Werden», а не стоим на вершине, как Англия, у вершины, как немцы, и, тем более, не начали еще спускаться вниз, как французы.

<sup>20</sup> Герцен вначале выражал какие-то надежды на будущее французского работника; и в этом, как и во многом, он ошибался. Не раз уже было замечено, что французский работник портится и пошлеет, когда он делается зажиточным буржуа.

У самого Прудона вырвались следующие слова: «la fortune loin d'urbaniser l'homme du peuple, ne sert le plus souvent qu'à mettre en relief sa grossiereté» (La Guerre et la Paix; т. I, глава IV).

<sup>30</sup> Итак, вообразим же себе, что самый, столь несбыточный во Франции революционный и социальный идеал удался бы и пустил в этой стране прочные корни; что крупная собственность была бы запрещена законом, как запрещены теперь рабство и убийство. Что же бы вышло? Обновилась ли бы народная физиономия француза? Ничуть; — она стерлась бы еще более. Вместо нескольких сотен тысяч богатых буржуа мы бы получили миллионов сорок мелких буржуа. По роду занятий, по имени, по поло-

жению общественному они были бы не буржуа; по уму, по нравам, по всему тому, что, помимо политического положения, составляет сумму качеств живого лица и зовется его духовной физиономией или характером, — они были бы буржуа.

Личность у людей, сила живого своеобразия была бы еще более убита, чем теперь во Франции.

Не таково положение наше!

Не обращаясь вспять, не упорствуя в неподвижности, принимая все то, что обстоятельства вынуждают нас при-<sup>10</sup>нять разумно, без торопливости деревенского «рагвену», принимающего медь за золото, лишь бы медь была в моде у европейцев, мы можем, если пойдем вполне и сами себя и других, не только сохранить свою народную физиономию, но и довести ее до той степени самобытности и блеска, в которой стояли поочередно, в разные исторические эпохи, все великие нации прошедшего.

Замечательно, что в последнее десятилетие всякий шаг, который мы делали по пути *европеизма*, более и более приближал нас к нашему народному сознанию. Бесцветная и<sup>20</sup> безвкусная, но видимо полезная (за неимением другого) вода всеобщего просвещения только подняла и укрепила русские всходы, поливая наши, нам самим незнакомые поля. Чтобы это было яснее, я обращусь к примерам. Их множество.

Крепостное состояние и крепостное право в России было, конечно, явление весьма своеобразное. (Худо ли оно, хорошо ли было, не о том здесь речь.) Во всей Западной Европе уже не было ничего подобного ко второй половине 19-го века. Казалось бы, что, уничтожая крепостную зави-<sup>30</sup>симость наших крестьян, мы приблизились к Европе... С одной стороны — да; с другой, напротив, отдалились. О нашей земской общине до окончания Крымской войны никто не думал. Помещики и чиновники видели ее бессознательно, не думая о ней. Литераторы или вовсе не знали о ней, или смеялись над горстью славянофилов, «которые, Бог знает, о чем думают и заботятся». Полемика журналов

от 56 года до нашего времени, труды комиссий по осво-  
бождению крестьян уяснили вопрос «общины». Она стала  
краеугольным камнем нашего земского и государственного  
быта. — Порицают ее только немногие, крайние «европе-  
исты», которые не верят в возможность иной цивилизации,  
кроме германо-романской; да те землевладельцы, которые  
бы желали ввергнуть крестьянина в нищету, чтобы он де-  
шевле брал за работу и зависел бы от их воли, как зависит  
в Англии фабричный работник от произвола жестокого и  
10 грубого фабриканта.

Европейцы, чуя в нас для них что-то неведомое, прихо-  
дят в ужас при виде этого грозного, как они говорят, «со-  
единения самодержавия с коммунизмом», который на За-  
паде есть кровавая революция, а у нас монархия и вера  
отцов.

Другой пример — наш нигилизм. Нигилисты хотели бы,  
между прочим, чтобы Россия была «plus eugoréenne que  
l'Еugоре». То, что дома Добролюбов, Писарев и другие об-  
лекали ловко в иносказательные, то легкие, то серьезные  
20 формы, Герцен из-за ограды английского «habeas corpus»  
проповедовал на весь мир.

Людам этим недоставало истинного понятия о национа-  
льности; им не претил европеизм, если он только проявлял-  
ся в революционной форме.

Даже Герцен, который гораздо выше по своему фило-  
софскому воспитанию, чем были его доморожденные и моло-  
дые помощники (ибо он развился в 40-х годах), и тот дол-  
го восхвалял, например, французского работника, тогда как  
хорошему русскому — вид французского блузника с его  
30 заученными сентенциями и дерзкими ухватками должен  
быть крайне противен и скучен... Наконец и он, сам Гер-  
цен, разочаровался в европейском простолюдине; он понял,  
что ему, этому рабочему, хочется стать *средним буржуа* и  
*больше ничего*. Такой пошлости Герцен, человек изящно  
воспитанный и глубокий — любить, конечно, не мог, но  
наши «домашние» отрицатели из разночинцев не были раз-  
борчивы.

Итак, что же могло быть опаснее подобного космополитического направления для нашей народной физиогномии?

И что ж? В то время, когда в Петербурге издатели «Современника» восхищались страстную, но оторванную от народной почвы молодежь и изумляли даже весьма умных провинциалов, которые не могли постичь, за что они все бранят и чего им хочется; в то время, когда кроткий Михайлов печатал свои кровавые прокламации, советуя в них идти дальше французов времен террора, и Бога звал «мечтой», в Москве являлись «Парус», «День» и «Русская Бе-<sup>10</sup>седа». — Славянофилы из «старинных» мечтателей обратились в людей-утешителей, в людей «положительного идеала» посреди этой всеобщей моды отрицания.

Славянофилы явились на защиту «народной святыни», на защиту Церкви, общины, народных нравов и преданий. И множество людей помирились с их мечтами за некоторые практические их выводы.

В то же время Кохановская печатала свои прекрасные и пламенные повести; в них с неслыханной дотоле у нас смелостью и жаром изображались старинные русские нравы и не столько нравы простолюдина, сколько нравы деревенских дворян, по многому, однако, близких к национальной почве. Не был при этом забыт и простолюдин. Повесть: «Кирило Петров и Настасия Дмитриева» (мещанин и мещанка) навеки украсила нашу словесность.

В этих повестях «европеизм» только выносился местами; ненависть к нему и дышала между строчками, и выражалась явно.

В самом Петербурге начал тогда же выходить журнал «Время», который шел в упор «Современнику». В нем, по-<sup>30</sup>жалуй, положительное направление было еще шире, чем у славянофилов; в нем участвовал критик, до сих пор у нас не оцененный как следует, Аполлон Григорьев. Придет время, конечно, когда поймут, что мы должны гордиться им более, чем Белинским, ибо если бы перевести Григорьева на один из западных языков и перевести Белинского, то, без сомнения, Григорьев иностранцам показался бы более

русским, нежели Белинский, который был не что иное, как талантливый прилагатель европейских идей к нашей литературе.

Но «Время», хотя имело большой успех, только постепенно уясняло свою задачу и скоро погубило себя одной умно написанной, но бестактно напечатанной статьей.\* Нигилизм «Современника» побудил в одних задремавшие воспоминания о Церкви, столь родной семейным радостям детства и молодости; в других чувство государственное; в третьих ужас за семью и т. д. «Современник» и нигилизм, стремясь к крайней всегражданственности, насильно возвращали нас к «почве».

Наконец поднялась буря в Польше; полагая, что Россия потрясена Крымским поражением и крестьянским перево-

---

\* Во «Времени» же была раз высказана мысль, что Белинский, если бы дожил до нашей эпохи, то бросил бы ту плоскую положительность, которой он стал было поклоняться последнее время, и сделался бы славянофилом. Мне замечание это кажется верным. Как бы ни был умн и даже гениален мыслитель, он очень часто не предвидит крайних последствий того учения, которому он служит; я тоже думаю, что такой пламенный эстетик, каковым был Белинский, обратился бы к московскому духу при первом появлении Добролюбова и Писарева. Все это так, но этого не случилось; Белинский, так же как и Григорьев, скончался не в года упадка, а в полной силе развития ума и таланта. Поэтому *последнее слово* их особенно важно для определения их исторической роли. Последнее слово Белинского было: *крайний европеизм и положительность*. Таков он был в статьях «Современника» и особенно в отвратительном письме своем к Гоголю, с которым знакома вся Россия. Последнее слово Апол. Григорьева было, напротив, *народность и своеобразие русской жизни*. Незадолго до смерти своей в маленькой газетке «Якорь», не имевшей успеха (как и следовало ожидать по национальной незрелости нашей публики), он хотел развивать такую мысль: «Все, что прекрасно в книге, прекрасно и в жизни, и прекрасного в жизни не надо уничтожать»; в частности, он приложил эту мысль к защите юродивых, столь поэтичных в точных и реальных описаниях наших романистов, но имел в виду развить ее и шире.

ротом, надеясь на нигилистов и раскольников, поляки хотели посягнуть на целость нашего государства!

Не довольствуясь мечтой о свободе собственно польской земли, они надеялись вырвать у нас Белоруссию и Украину... Вы знаете, что было! Вы знаете, какой гнев, какой крик негодования пронесся по всей России при чтении нот наших непрощенных наставников... Какой восторг приветствовал ответы князя Горчакова и адреса Царю со всех концов Державы.

С тех пор все стали несколько более славянофилы...<sup>10</sup> Учение это «в раздробленном виде» приобрело себе больше прежнего поклонников. И если в наше время трудно найти славянофилов совершенно строгих и полных, то и *грубых европейцев* стало все-таки меньше, я думаю...

Вот к чему привела у нас общечеловеческая демагогия...

Еще два примера. Земские учреждения наши в частности сами по себе довольно своеобразны; но все-таки общая идея их была к нам занесена с Запада и вызвана освобождением крестьян. Это приложение западной идеи к нашей жизни сблизило наше просвещенное сословие с простым народом: дворянство, оторванное от него эмансипацией, сошлось с ним опять на основаниях более гуманных. Волей-неволей, встречаясь с крестьянами в собраниях, оно должно стать более русским не только по государственному патриотизму (в чем не было никогда у нас недостатка), но и вообще по духу и, Бог даст, по бытовым формам...\*

---

\* *Примечание 1885 года.*

Я напоминаю еще раз, что писал эту статью за границей, в 68-м году, и в Россию вернулся только в 74-м. Во многом мне на родине пришлось разочароваться; я воображал, что «свобода» даст нам больше того *своеобразия*, о котором я мечтал. — Но увы! я слишком скоро убедился, что хотя *прежние правительственные системы* наши со времен Петра I-го и вносили в нашу жизнь слишком много *европейского*, но все-таки и с этой стороны взятое, — государственное начало в России оказалось *самобытнее* *свободно-общественного*.

Суды наши уже, конечно, вовсе не своеобразны; они заимствованы целиком. Но в судах являются люди всех сословий и стран нашей великой отчизны, всякого воспитания; в них рассматриваются и судятся всевозможные страсти, преступления, суеверия, и всякий согласится, что не всякое преступление низко и что многие суеверия трогательны и драгоценны для народа.

Образованный класс наш в судах изучает быт и страсти нашего народа. Он и здесь учится более понимать родное, <sup>10</sup> хотя бы в грустных его проявлениях.

Вот любопытные образцы, взятые из газет:

## 1. ДЕЛО РАСКОЛЬНИКА КУРТИНА

По словам Владимирского корреспондента газеты «Голос», в местной уголовной палате производилось дело о некоем Куртине, раскольнике Спасова согласия, *заклавшем родного сына своего в жертву...* Спасово согласие есть один из толков беспоповщинских и самых крайних. Он иначе называется *нетовщиною*, потому что раскольники этого толка учили и учат доселе, что нет ныне в мире ни

---

Общество русское истекшего 25-летия везде, где только ему давали волю, ничего самобытного и созидającego не сумело выдумать. — Ни в земстве, ни в судах, ни даже в печати!.. «Гнилой Запад» (*да! — гнилой!*) так и брызжет, так и смердит отовсюду, где только «интеллигенция» наша пробовала воцаряться! — Быть может, «Земству» и предстоит будущность и даже многозначительная, но это возможно, мне кажется, только при двух условиях: во-1-х, чтобы распределение поземельной собственности приняло более органический (т. е. *принудительный*) вид, чтобы, с одной стороны, крестьянская (общинная) земля стала бы на веки *неотчуждаемою* и никогда на личные участки недробимою; — а с другой, чтобы и дворянское (личное) землевладение приняло бы тоже, при понуждающем действии законов, более *родовую и сословную форму*, т. е. чтобы *отчуждение из пределов рода и сословия* тоже все более и более затруднялось. Во-2-х, нужно, чтобы церковные школы исподволь совершенно бы вытеснили либерально-земские.

православного священства, ни таинств, ни благодати и желающим содержать старую веру остается только прибегать к Спасу, который Сам ведает, как спасти нас, бедных. Раскольнику Спасова согласия не остается, таким образом, ничего в жизни; эта безнадежность приводит фанатиков часто к самым ужасным результатам. Вот содержание истории детоубийства, совершенного Куртиным. Вязниковского уезда, деревни Слабодищ, крестьянин-спасовец Михаил Федоров Куртин (57 лет) зарезал родного сына своего, 7-милетнего мальчика, Григория, в убеждении, что это 10  
угодно Спасу. Подробности этого кровавого процесса ужасны, но в то же время очень естественны в спасовце. Вот как рассказывал сам Куртин на суде о своем детоубийстве: «Однажды ночью печаль моя о том, что все люди должны погибнуть в нынешние времена, сделалась так велика, что я не мог уснуть ни на минуту и несколько раз вставал с постели, затепливал свечи перед иконами и молился со слезами на коленях о своем спасении и спасении семейства своего. Тут мне пришла на ум мысль спасти сына своего от гибели вечной, и так как сын мой Григорий, 20  
единственное дитище, был очень резов, весел и смышлен не по летам, то я, боясь, чтоб он после смерти моей не возвратился в веру и не погиб навек в геене вечной, решил его зарезать. С этой мыслью я вышел на заре в задние ворота и стал молиться на восход, прося у Спаса знаменья, что если после молитвы придет мне снова мысль эта в голову с правой стороны, то я принесу сына в жертву Богу, а если слева, то нет, потому что, по мнению нашему, помысл с правой стороны есть мысль от ангела, а с левой — от дьявола. По окончании длинной молитвы помысел этот 30  
пришел с правой стороны, и я с веселием в душе возвратился в избу, где сын мой спал вместе с женою моею на коннике (род широкой лавки). Опасаясь препятствий со стороны жены, я нарочно разбудил ее и послал за овчинами в дер(евню) Перово, а сам, оставшись с сыном, сказал ему: „встань, Гришенька! Надень белую рубаху, я на тебя люблюсь”». Сын надел белую рубаху и лег на лавку в перед-

ний угол. Куртин подложил ему его шубку в головы и, заворотив вдруг подол рубашки, нанес ему несколько ударов ножом в живот. Мальчик затрепетал и начал биться, так что постоянно натыкался на нож отца, отчего на животе его оказалось множество ран. Тогда отец, желая прекратить страдания сына разом, распорол ему живот сверху донизу... Мальчик потерял силу сопротивляться, но не умер в тот же момент. Заря, занявшаяся на востоке, светила детоубийце в окно при совершении преступления; — но когда сын был зарезан, то в окнах вдруг появились первые лучи восходящего солнца и багровым светом упали на лицо невинной жертвы. Куртин, по его словам, при этой случайности встретился, руки его дрогнули, нож выпал из рук, и он упал перед образом на колени с молитвою, прося Бога принять милостиво новую жертву. «Когда я, — говорил Куртин в суде, — стоял перед образами на коленях и сын мой плавал в крови, то вошла вдруг в избу возвратившаяся жена моя и, с первого взгляда узнав все случившееся, упала от страха на землю перед мертвым сыном. Тогда я, поднявшись с пола, на котором стоял на коленях, сказал жене: „иди и объявляй обо всем старосте. Я сделал праздник святым”».

Детоубийца Куртин, заключенный в острог, прежде решения дела уморил себя голодом...

## 2. ДЕЛО КАЗАКА КУВАЙЦЕВА

*Из Оренбурга.. (Кор(респондент) «Голоса»).* В одной из казацких станиц жил казак Войков; у него была жена-красавица. Стар ли был, некрасив ли Войков, но только полюбился ей другой казак, Кувайцев. Кувайцев был женат и имел детей, но жены своей он не любил, хотя она была женщина не старая и работающая, женился он на ней из жалости — сирота была круглая; до встречи с женою Войкова они жили душа в душу. Раз войсковой старшина, проезжая через деревню, где жили Войков и Кувайцев, остановился у Войкова отдохнуть, старшине стало скучно;

услужливый Войков, ничего не подозревавший о связи Кувайцева со своею женою, предложил позвать Кувайцева, который был известен в деревне за потешника. Позвали Кувайцева, выпили водочки, Кувайцев посмешил компанию, сказок насказал и затем разошлись. В эту же ночь у Войкова из чулана, припертого только чуть державшимся засовом, было похищено разное носильное платье, *большую часть принадлежавшее к гардеробу жены*. Кто украл, искали и не нашли. Вскоре после этого жена Войкова умерла. Скучен стал Кувайцев, не слышать его лихих песен, не рядится он в шутовской костюм (г. докладчик показывал его публике; Бог знает что такое: тут и бархат, и золото, и кости, и все это перемешано самым затейливым образом) на потеху села; на жену и смотреть не хочет; только с детьми нежен, ласкает их.

Прошло много времени после этого, как вдруг Кувайцев, без всякой видимой причины, стал по-прежнему весел и песни запел. Утром как-то раз жена Кувайцева, перестилая постель, находит под тюфяком отрубленные человеческие палец и руку; тут же и клочок волос длинных и маленьких курчавых. Кожа руки высохла и набита была хлопком и разною дрянью. Она этот палец, руку и волосы представила в волостное правление. Началось дело. Кувайцева арестовали; сделали обыск в его доме и нашли те вещи, которые пропали у Войкова, кроме того, нашли печать, на которой было вырезано: «*Оренбургское полицейское управление*» и бумажку, на которой было *написано* (подлинное выражение докладчика) то же, что и на печати; нашли много разных книг, *большую часть духовных, или же песенники*.

При допросе Кувайцев, не отпираясь нимало, показал: 1) что найденная рука, палец и волосы принадлежат умершей жене Войкова. Отыскали могилу, откопали и нашли труп Войковой, почти разложившийся, с отрубленною левою рукою и без пальца на правой; волосы с головы и других мест были обрезаны. На Войковой не нашли тех одежд, в которых она была похоронена.

— Зачем ты сделал это? — спрашивает Кувайцева судебный следователь.

— Зачем? Тоска меня мучила, покоя не знал я; свет Божий не мил стал — что было делать! Раз цыгане селом проходили; одна цыганка, видя мою кручину, взялась вылечить меня: «ступай ты, говорит, на могилу к ней, отрой тело ее, отсеки левую руку и большой палец с правой и обрежь волосы. На утренней и на вечерней заре выходи ты в поле и отсеченною рукою ее обчерти около себя круг, пальцем ее с другой руки очерти, а а волосами в это время обкуривайся». Я поблагодарил цыганку и сделал, как она приказала. Ходил я три дня на зарях, и на четвертый все как рукой сняло. Разве иногда, и то редко, грусть прошибала.

— А одежду зачем снял с нее?

Нужно заметить, что одежда была так плоха, что на нее не польстился бы и нищий.

— Так, для памяти, — уж больно мила была мне, Войкова-то.

20 — Ты украл у Войкова из чулана платье?

— Я вещей Войкова не воровал. Ссора у нас была раз с нею; она мне и говорит: возьми ты все, что подарил мне, не хочу я от тебя ничего, и указала мне, что все это лежит в чулане. Я тоже был в сердцах на нее и, выходя от мужа-то ее, тронул запор у чулана, — он подался, я и забрал те вещи, которые я же подарил. Воровства, значит, здесь нет: свое взял.

— А как же у тебя очутились вещи не только жены Войкова, но и самого Войкова?

30 — Темно было тогда, я вещи-то брал, ну и торопился больно — впотьмах-то и захватил мужнины вещи.

— Что ты делал с печатью, и каким образом она к тебе попала?

— Что за печать и что с нею делать можно было, я не знаю, нашел я ее в Оренбурге, вот и все.

Песенники, найденные у Кувайцева, почти все с поправками, прибавлениями и заметками, сделанными рукою Ку-

вайцева; некоторые песни вовсе изменены, а другие местами. В поправках и изменениях видно грустное настроение Кувайцева. Председатель, докладывавший дело, прочел некоторые из этих поправок. На вопрос, зачем он делал эти поправки, Кувайцев отвечал, что слова песен часто не подходят под музыку, которую он сочинял на эти песни, ну он и изменял их. Находясь в тюрьме, Кувайцев писал письма к своим детям; письма эти писаны стихами.

Мои милые орляточки,  
По отце своем стосковалися и т. д.

10

Во время своего заключения Кувайцев собирался бежать, для чего и приглашал, как видно из письма, отобранного у него в тюрьме, товарищей; бежать хотел он на Кавказ и говорил, что у него и оружие заготовлено под полом. Несколько ружейных стволов и порох действительно найдены в подполье. При повальном обыске о нем отозвались одни с пренебрежением, как [о] шуте, другие сказали, что он плохой работник и казак и что даже (?) он сам бабье дело делает, т. е. белье и платье себе шьет.

20

Предложены на решение следующие вопросы:

1) Как смотреть на раскрытие могилы? Как на преступление или как на суеверное безумство? и т. д.

Конечно, никто не станет оспаривать у суда права карать поступки, подобные поступкам Куртина и Кувайцева. Но, по высокому выражению московских славянофилов, обыкновенный суд, точно так же, как и справедливая полицейская расправа, суть проявления лишь «правды внешней», и ни государственный суд, ни суд так называемого общественного мнения, ни полицейская расправа не исчерпывают бесконечных прав личного духа, до глубины которого не всегда могут достигать общие правила законов и общие повальные мнения людей.

30

Судья обязан карать поступки, нарушающие общественный строй, но там только сильна и плодоносна жизнь, где почва своеобразна и глубока даже в незаконных своих про-

изведениях. Куртин и Кувайцев могут быть героями поэмы более, чем самый честный и почтенный судья, осудивший их вполне законно.

В Бельгии, Голландии, Швейцарии *порядка и благочиния*, быть может, более, чем в среде других более крупных политических единиц; в них невозможны, конечно, не только Куртины, но и Кувайцевы, но зато в Бельгии, Голландии и Швейцарии невозможны и великие своеобразные поэты, и если бы Бельгию и Швейцарию завоевала Франция, а Голландию — Германия, человечество могло бы почувствовать лишь *механическое* потрясение, но не ощутило бы ни малейшей духовной утраты.\*

Характер трагического в жизни народа в высшей степени важен. Иной характер имеет трагическое в благородных ущельях Черногории и Крита, иной в парижских и петербургских «углах»!

Ужасно проявление веры в преступлении Куртина! Но ужасное или благотворное, все же это проявление *веры*, веры, против которой XIX век ведет холодную, правильную и беспощадную осаду! Куда обратится взор человека, полного ненависти к иным бездушным и сухим сторонам современного европейского прогресса? Куда, как не к России, где в среде Православия еще возможны великие Святители, подобные Филарету, и где самый раскол представляет не одни ужасные (хотя и трогательные в своем роде) явления, но и картины в высшей степени утешительные и почтенные, подобные следующей, взятой тоже из газеты:

## ДУХОВНЫЙ СУД У МОЛОКАН

В 51 № «Современных Известий» помещена интересная статья о наказаниях, существующих у молокан за дур-

---

\* Самые либеральные учреждения этих стран, в смысле поучения (если уж признавались в равенстве и «говорильнях» поучительность...) вовсе не нужны для этого, и без них есть Англия, Соединенные Штаты и даже новая Италия.

ное обращение мужей с женами; приводим из этой статьи следующий рассказ: когда муж оскорбит жену своим словом или ударит хотя слегка в горячку, то жена в первое же воскресенье, — если муж до сего времени не испросит у ней прощения, — заявляет о сем при молитвенном воскресном богослужении совету, состоящему из лиц самой глубокой древности, старше которых нет на селе, которые публично, *судотворением* после богослужения разбирают обиду и на основании Библии решают этот вопрос безапелляционно. При этом, если муж и жена не заявляют о разводе, они налагают на виновного наказание церковное (гражданских наказаний у них не существует). Лестница этих церковных наказаний довольно длинная. Виды наказаний, между прочим, следующие: 1) торжественное извинение обидчика пред обиженным; 2) пост на 10, 20, 30, 40 дней и на год; 3) раздаяние милостыни бедным; 4) вклад на обеспечение вдов и сирот околodka; 5) покаяние при богослужении пред собранием; 6) отлучение от участия при общественном богослужении в продолжение недели, месяца, полугода и года (это наказание полагается за тяжкие вины); 7) присутствие при богослужении общественном, но с обязанностью стоять, обратясь в угол к стене; 8) лишение права на братское приветствие на улице при встречах; 9) лишение права петь при богослужении и читать Библию и т. п.

Нам удалось быть при одном общественном богослужении молокан и слышать разбирательство жалобы молоканки на мужа, который обозвал ее словом бранным (бранное слово вообще у молокан редкость); разбирательство производил церковный совет публично, пред 300—400 человек, пришедших на богослужение, состоявший из убеленных сединами старцев, из коих некоторым было за 100 лет. По выслушании жалобы тотчас развернута была Библия (огромного формата, известная у нас под именем параллельной) и из нее прочитаны тексты об отношениях мужа к жене и жены к мужу. «Муж, — читал седой, как лунь, член церковного совета, — отдавай жене должное, подобно и жена мужу; жена не властна над своим телом, а муж,

равно и муж не властен над своим телом, а жена. Внемлите сему, — взывал старик, — не свои слова говорю вам, а слова Библии вечныя и неизменныя». Жены, дочери, парни, дети, бывшие при богослужении, слушали внимательно слово наставления, произносимое старцем, коему было за плечами 96 лет. «Худое обращение мужа с женой легко может повести жену к нарушению брачного союза, — говорил другой член совета, такой же, как и первый, — и тогда хотя жена не будет без вины пред Господом Богом, но муж <sup>10</sup> сам *первый даст ответ* пред Господом Богом за грехи жены, ибо ему было повелено любить жену свою, как Христос возлюбил Церковь, а Христос самого Себя предал за нее, чтобы освятить ее, очистить и представить ее Себе славную Церковью, не имеющею пятна или порока... А ты не только не исполняешь заповедей Бога, но и вводишь жену во искушение. Не помилует тебя Господь! Покайся по-христиански и <и>спроси у жены твоей прощение! Утешь нас и не посрами наше общество истинных христиан, которого ты сделался недостойным!»

<sup>20</sup> Признаемся, мы были поражены этой сценой разбирательства мужа и жены, и когда муж обнялся с женою, поцеловал ее публично, в виду всего собрания, и испросил у нее прощение в своей вине, собрание запело благодарственный Богу гимн, то были тронуты не шутя.

При подробных расспросах мы узнали, что ссоры мужа и жены у молочан до того редки, что некоторые, прожившие весь век свой, не сказали друг другу бранного слова.

<sup>30</sup> Согласитесь, что как в 1-й трагической картине, так и во 2-й, трагикомической и грустной, и в последней утешительной нет ничего избитого и пошлого. И в той, и в другой, и в третьей слышится что-то новое и неслыханное, чувствуется присутствие нетронутых и самородных сил...

Наконец еще один и последний пример.

Что может быть более всегражданственного, как Всемирная промышленная выставка?

Однако что мы видим?

Русская изба, ее кружевные убранства, созданные простым топором мужика, привлекли внимание иностранцев; все хвалят одежду русскую, которую, конечно, для выставки постарались показать лицом (а это-то и есть развитие своего; не в том дело, чтобы быть просто-народным, а в том, чтобы быть народным!).

Русский трактир Кореженка был всегда полон, русская кухня всем понравилась. Еще небольшой пример того, что я зову народным творчеством, развитием своего; у нас в трактирах нет обычая держать за конторками женщин...<sup>10</sup> Это обычай европейский. Чтобы картина русская была полнее, чтобы привлечь в трактир еще более иностранцев, г. Кореженко принял этот чуждый обычай; но красавица его была не в кринолине и чепчике; она была в сарафане и кокошнике.

Национальное своеобразие не может держаться одним охранением; обстоятельства вынуждают нередко принимать отчасти что-нибудь чужое для полного развития своего народного в высшее национальное.

После Всемирной выставки появилась в России, между прочим, мода на разную деревянную утварь, росписанную золотом и красной краской. К сожалению, надо заметить, что мода эта принялась оттого, что иностранцам понравилась на выставке эта русская утварь; самим бы нашим и в голову не пришло полюбить эти мужицкие миски. Жалко это видеть, но что же делать? В широких государственных, промышленных и вообще национальных вопросах нельзя брать в расчет одни избранные души; надо брать в расчет большинство людей, и потому надо радоваться всякому средству, хотя бы и мелкому, но наводящему на добрый путь.<sup>20</sup>

Понятна заботливость Правительства и хлопоты общества о новых таможенных уставах и вообще понятно желание определить, что выгоднее той или другой нации: свобода ли ввоза, или покровительственная и запретительная система. Но все подобные вопросы принимают иной вид, как только подумаешь, что было бы, если бы вкусы и потребности самого общества изменились?<sup>30</sup>

*Наклонности потребителя, его выбор, его вкус — вот основа всего.* Оставляя в стороне вопросы о том, что выгодно и невыгодно для производителей, о внешнегосударственных условиях, при коих они своей деятельностью могут обогащать страну, любопытно и плодотворно было бы не только научно рассмотреть историю развития национальных вкусов и мод, но и вести особую пропаганду для утверждения самобытных вкусов у славян, столь падких на чужое.

- <sup>10</sup> Возьмем пример из соседней страны. В Турции и христиане, и мусульмане, и евреи носят фески. Вследствие дурных распоряжений турецкого Правительства большинство фесок ввозится из Австрии вместо того, чтобы производиться в самой Турции. Я слышал много жалоб на это. Но положим, что турецкое Правительство распорядилось бы иначе, и все фески, потребляемые турками и христианами, делались бы в Турции; фабрики фесок достигли бы высокой степени богатства, и деньги были бы в руках турецких подданных. Но если бы в то же самое время христиане, <sup>20</sup> *движимые ненавистью ко всему, что им напоминает Восток и рабство, и по слабому развитию в них чувства изящного сбросили бы этот головной убор,\** и если бы в то же время молодое поколение влиятельных турок надело бы безобразный европейский цилиндр, дабы блеснуть свободолюбием и европеизмом, — что бы случилось с фабриками и к чему привели бы все правительственные меры?.. Теперь хоть часть фесок делается в Турции, а тогда бы никто не делал их и еще бы одним своеобразным предметом стало меньше на свете...

---

\* *Примечание 1885 года.* Систовские болгары так и сделали в 77-м году. Едва только наши перешли Дунай, они в ознаменование «свободы» сняли пунцовые фески и надели черные европейские шляпы. — Хороша свобода! Лакейская зависимость от вкусов или от идеалов во всем (кроме всеразрушающих машин) измельчавшей и выцветшей Европы! Хороши, впрочем, с этой стороны и мы, русские! чего же требовать от болгар...

От развития *народного вкуса* в высшем русском обществе, которое везде славится тонкостью своего *общечеловеческого вкуса*, зависит будущность не только русской, но, вероятно, и всей славянской промышленности.

### III

Теперь, когда мы на ясных примерах показали, что с 1856 года и до сих пор все, что, казалось, должно бы нас приблизить к Западной Европе, отдаляло нас от нее и служило к большему нашему обращению внутрь себя самих, мы можем сказать, что всеми этими результатами мы обязаны нашему простому великорусскому народу и, до известной степени, его *безграмотности*.<sup>10</sup>

Удаленный от высшего сословия, нисколько не сходный с ним ни в обычаях, ни в одежде, ни в интересах, страдавший нередко от самовластия помещиков и неправосудия чиновных властей, народ наш встречался с европеизированным дворянином, как соотечественником, только на поле битвы и в Православной Церкви.

Нравы дворянства и чиновничества смягчались постепенно под влиянием идей (конечно, гуманных), выработанных западным просвещением; уже задолго до 1861 года обращение с низшими стало лучше; но оно еще было недостаточно хорошо и зависимость была еще слишком велика, чтобы народ мог чувствовать себя не чуждым этому европеизированному фракко-сюртучному миру, прощать ему его иноземные формы.<sup>20</sup>

Жалок тот историк, который не умеет видеть, что в бесконечной сложности и глубине всемирной жизни известное зло нередко глубокими корнями связано с известным добром!<sup>30</sup>

Разъединение сословий в России было велико; вражды систематической, положим, между ними не было; но, повторяю, разъединение их было так велико, что Белинский (в 1847 или 1846 г., в «Петербургском Сборнике») выра-

жался, насколько помню, так: — «если у нас собрать в одну комнату художника, купца, писателя, чиновника, военного и светского человека, то они не найдут о чем между собой говорить».

Если такое отчуждение существовало не только между теми слоями народа, которые были определены в нашем Своде «Законами о Состояниях», но и между людьми одного состояния (напр<имер>), чиновником и художником, чиновником-дворянином и военным-дворянином), то на каком же отдалении должны были стоять друг от друга, например, земледелец и знатный петербургский бюрократ?

Нет спора, Церковь и Государство и, отчасти, помещичье право, заставлявшее многих дворян жить в деревне, поддерживали связь, но эта связь в обыденной жизни была не так заметна, как отчуждение.

Что это происходило не от одной разницы прав и не от одного преобладания сильных над слабыми, на это доказательств много. Купец первой гильдии и миллионер, конечно, имел больше, по крайней мере, фактических прав сравнительно с своим рабочим, чем какой-нибудь бедный чиновник или учитель-дворянин. Однако народ на купца, который не носил фрака, содержал посты и строил церкви, смотрел более как на своего человека, чем на такого чиновника или учителя, какие бы добрые и честные и бедные люди они ни были. Здесь не было, как в новой Франции, антагонизма между бедностью и богатством (и не могло быть по самой сложности нашего прежнего устройства); здесь был антагонизм между европеизмом и народностью.

Гуманность тут не помогала. Гоголь, Тургенев и другие верно изображали, как холодно принимал наш народ неловкое добродушие европеизированных дворян-прогрессистов.

Солдаты, и те нередко звали «бабой» и не любили начальника мягкого и предпочитали ему «молодца» сурового, грубого, но в приемах, в речах, в обычаях которого дышало русское начало.

Итак, если не брать в расчет переходные оттенки, а только одни резкие крайности, то вообще можно было раз-

делить русское общество на две половины: одну народную, которая ничего, кроме своего русского, не знала, и другую космополитическую, которая своего русского почти вовсе не знала.

Это зло (если только неравенство прав есть зло) при помощи наших нынешних преобразований принесло бесценные плоды, и мы теперь можем обратиться к нему с исторической благодарностью.

Законное отделение «Состояний» и бытовое различие слоев внесло в нашу слишком простую и несложную славяно-русскую жизнь ту сложность и то разнообразие, без которых невозможно *цивилизованное, т. е. развитое своеобразие*, без которых немыслима полная и широкая жизнь, достойная великого народа.

Истина этой последней моей мысли доказывается историей как нельзя поразительнее. Как бы ни были в подробностях своего строя и своей жизни различны друг от друга: древний Египет, древняя Греция и Рим, *прежняя Франция, прежние Германия и Англия, Италия Средних веков*, мусульманские государства, достойные внимания историка; — все они имели одну общую черту: они были сложны, и в национальных пределах их кипело более или менее глубокое разнообразие.

Сверх этого вообще необходимого для истинной цивилизации условия, *прежнее сословное отдаление сознательной части нашего общества от наивной его части* принесло ту пользу, что сохранило простой народ в бóльшей неприкосновенности.

Считая дворян и чиновников почти не русскими за их иноземные формы, народ и не думал подражать им и, упорно сохраняя свое, глядел на нас нередко с презрением.

Европеизм Петра Великого, Екатерины II и Александра I-го утончил нервы России; народ в удалении своем сохранил нам то полносочие, которым мы можем изумить весь мир, если сумеем им воспользоваться.

Сначала, в Московский период нашей истории, нам мешали развиваться излишняя простота и однообразие нашей

жизни и недостаток общей сознательности. Потом, в тот период (до 1856 года), который можно назвать чисто Петербургским, нам по-своему мешало развиваться излишнее разъединение, несходство людей между собою. Только теперь, когда различные слои нашего общества еще хранят свою физиогномию, а стены, начавшие уже под конец бесплодно теснить их, рушились по мановению Державной руки, мы можем выработать с течением времени что-либо *мировое свое*.

<sup>10</sup> Европеизированная часть нашего народа уже усвоила себе все высшие (философские) и низшие (временно-практические) плоды всемирного сознания, а народ еще хранит в столь многом свято свое родное (как бы грубо оно ни было, это не беда), и *облечение общих идей в родные формы может принести и уже во многом принесло богатую жатву*.

Эти общие идеи, какого бы они ни были порядка: философского, художественно-творческого или просто жизненно-практического, проходя сквозь народные, местные формы, могут приобрести ту степень новизны и оригинальности, которая со временем может обновить несомненно стареющий мир.

<sup>20</sup> *Тот народ наилучше служит и всемирной цивилизации, который свое национальное доводит до высших пределов развития; ибо одними и теми же идеями, как бы ни казались они современникам хорошими и спасительными, человечество постоянно жить не может.*

#### IV

Я скажу заблаговременно мое общее заключение; ибо я знаю, что взгляд мой на это так уклоняется от принимаемых ныне более или менее всеми взглядов, и любовь к смелости и своеобразию мысли так остыла в наше время, что я боюсь заставлять ждать читателей до конца.

Мое общее заключение не безусловное против грамотности, а против *поспешного* и тем более против *обязатель-*

ного обучения. И это я говорю не с точки зрения *свободы: развитие* не всегда сопутствует *свободе*\* — а с точки зрения народного своеобразия, без которого, по-моему, великому народу не стоит и жить.

Надобно, чтобы образованная часть русского народа (так называемое общество) приступила бы к просвещению необразованной части его только тогда, когда она сама (т. е. образованная часть) будет зрелее. Обязательная грамотность у нас тогда только принесет хорошие плоды, когда помещики, чиновники, учителя, т. е. люди *англо-французского* воспитания, сделаются *все еще* гораздо более славянофилами, нежели они сделались под влиянием нигилизма, польского мятежа и европейской злобы. Если так — то как же я сказал в начале статьи, что мы все стали несколько более славянофилы, чем прежде? Да, я сказал: — *несколько более*; но это еще очень мало, это *ничтожно* в сравнении с тем, что могло бы быть.

Чистых, строгих славянофилов, в которых были бы совокуплены все элементы, составляющие полную картину московского славянофильства, у нас очень мало; но нет сомнения, что учение это, в *раздробленном виде* сделало у нас значительные успехи в последние 10 лет.

Но этого не достаточно. Если и в раздробленном виде славянизм или руссизм несколько более прежнего разлились по нашему обществу, то это, как уже выше было доказано, благодаря тому, что *корни* у нас *свои*. — Если же не доросшее до полного руссизма общество примется *менять нектати* самые *корни* эти, то уже тогда «бесцветная вода» всемирного сознания будет поливать не национальные всходы, а космополитические, и Россия будет столько же отличаться от других европейских государств, насколько, напр<имер>, Голландия отличается от Бельгии. Но мы желали бы, чтобы Россия ото всей Западной Европы отличалась настолько, насколько греко-римский мир отличался от азиатских и африканских государств древней истории или наоборот.

---

\* Смотри I-й том «Византизм и Славянство».

Самый неуспех «Дня», «Русской Беседы», «Времени», «Эпохи» и «Якоря» сравнительно с другими более космополитическими изданиями доказал, между прочим, что даже и *теоретически* наше общество еще не доросло до настоящего руссизма, не говоря уже о практических его приемах. Надо, чтобы за народ умели взяться; *надо, чтобы нам не испортили эту роскошную почву, прикасаясь к которой мы сами всякий раз чувствуем в себе новые силы.*

<sup>10</sup> У нас уже были поразительные примеры из другого разряда дел в подтверждение моего мнения. Если не ошибаюсь, в «Дне» было раз замечено, что крепостное право хотя и было великое зло, но, чтобы быть исторически справедливым, нужно прибавить, что оно послужило для крестьянской общины «предохранительным колпаком от посягательства просвещенной бюрократии».

Действительно, значительная часть помещиков была, лет 50—60 тому назад, немногим учнее собственных крепостных; другая думала лишь об увеселениях и военной <sup>20</sup> службе; третья, более солидная, о практических пользах своих. На ту часть земли, которая по указу 1861 года досталась ныне крестьянской общине, всякий из дворян смотрел как на свою неотъемлемую собственность, и никому, конечно, не было и нужды раздавать крестьянам участки в личное владение.

Случись тогда разрешение крестьянского вопроса, народ наш или был бы свободным пролетарием, или владел бы мелкой собственностью, которая быстро стала бы переходить в руки ловких людей, особенно при некоторых кочевых <sup>30</sup> наклонностях русского селянина. (Впрочем, эти кочевые наклонности ему до сих пор очень полезны в других отношениях.)

В то время государственные люди наши еще не выучились искать спасения в чем-либо *незападном*; высшее общество стыдилось всего своего; славянофилов еще не было; не писали Хомяков, Аксаковы, Киреевский. Нигилистов также еще не было; а нигилисты, помимо косвенной неоце-

ненной пользы, которую они принесли, возбудив против своего крайнего космополитизма государственное и национальное воздействие, принесли еще и прямую пользу, поддерживая учреждение земской общины; конечно, они ожидали не того, что случилось; все почти они были люди очень молодые и в практической жизни неопытные; они спешили только опередить коммунизмом Европу на пути ее же мечтаний; они не предвидели, что земская община будет у нас в высшей степени охранительным началом и предупредит развитие буйного пролетариата; ибо в ней некоторо-<sup>10</sup>го рода коммунизм существует уже «de facto», а не в виде идеала, к коему следует рваться, ломая преграды.

На самом Западе тогда еще толков о социализме, о нищете рабочих не было так много; — не было еще страха *экономических революций*.

Теперь же, когда в 1861 году был издан указ об освобождении крестьян, общество наше было зреее и этот переворот совершился на мудрых основаниях, изучение которых только более заставляет удивляться глубине и широте задуманного и исполненного плана. Итак, в 1861 году общество наше было зрело для эмансипации, но для обучения народа, повторяю, мне кажется, оно еще не достаточно подготовлено; — как-то страшно поручить ему святыню народного духа, страшно дать ему волю обрабатывать *самую почву* нашу, изменять самые корни наши.

Говоря «общество», я не разумею только людей независимых, не служащих, не противопологаю «общество» «Государству»: я говорю и об учителях-чиновниках, или, лучше сказать, о целой системе учения, будет ли это обучение в руках вольных воскресных школ или в руках учителей, со-<sup>30</sup>держимых казною. Если бы дело шло только о том, чтобы обучить людей географии или арифметике, или о том, чтобы поддерживать в них общие понятия моральности, честности и т. п., то, конечно, все русское общество служащее и неслужащее зрело для этого.

Если бы даже дело шло только об общеевропейском прогрессе, то нет наивысших его проявлений, которые нам

не были бы доступны и легки в виде простого подражания. Но тут дело идет о предмете, который для нас, славян, должен быть если не дороже, то по крайней мере не дешевле общей нравственности и общей науки. И зачем робкие уступки! Предмет этот — национальное своеобразие, без которого можно быть большим, огромным государством, но нельзя быть великой нацией. Предмет этот должен быть нам дороже всего... Почему же? А потому, что общая нравственность и общая наука не уйдут от нас; а национальное своеобразие легко может уйти у славян в XIX веке!

10

Здесь не место доказывать, почему национальное своеобразие может быть не только *средством*, но и *целью само себе*; это повлекло бы нас далеко.

К тому же я уверен, что многие поймут меня теперь и с полуслова.

Тех же, которые не согласятся, что *национальность* может быть, а у славян и *должна быть пока сама себе целью*, я попрошу согласиться хотя с тем, что *грамотность* уже сама себе целью никак не может быть...

20

Всякий согласится, что она есть лишь средство.

Все сторонники грамотности смотрят на нее с этой точки зрения. Одни надеются укрепить в народе чувство религиозное и нравственное; надеются сделать народ более мягким в домашних нравах его, более благочинным и добропорядочным; другие, напротив, под разными благовидными предлогами, имеют в виду рано или поздно всучить простолюдину Бюхнера или революционные книги.

Но никто не довольствуется тою мыслью, что народ будет уметь читать и писать и знать четыре правила арифметики.

30

Сражение при Садове, где грамотные прусские солдаты разбили менее грамотных австрийских солдат, дало новое орудие в руки защитников грамотности «à tout prix».

Конечно, поклонники реализма, которым особенно хотелось бы объевропеить наш народ, радуются этому примеру больше других; — но они забывают одно из основных правил науки весьма реальной — медицины, которая говорит:

«post hoc» не значит «propter hoc». Битва двух больших армий есть явление такое громадное и сложное; — здесь в течение нескольких часов решаются исторические судьбы двух государств или народов, и если последствия таких битв неисчислимы, то и причины их, конечно, очень сложны. Никто не станет отрицать, что талант генерала, способ вооружения, усталость или свежесть и сытость грамотных или безграмотных солдат, позиция, наконец, самые ничтожные случайные причины решают судьбу битв. Известно, что мы в Крыму проиграли сражение при Чорной речке от пустых недоразумений между начальниками; под Ватерлоо растолстевший Наполеон оказался более нерешительным и медленным, чем сухой Блюхер; и самая битва при Садове имела бы, вероятно, иной исход, если бы вторая прусская армия не подоспела около полудня. Все это известно и ясно; но *газетная* публицистика думает о целях, а не об истине: это ее неизбежный порок; видеть можно по разным сторонам в одно время, — но идти и вести других можно только в одну сторону, — одна же сторона никогда не исчерпывает предмета.

Итак, военный вопрос не решает в пользу грамотности.

Посмотрим, что скажет вопрос о нравственности и домашнем благочинии, о трудолюбии и т. п. вещах. Нет спора, наш великоросс по природе «вивер». — Пламенная религиозность его сочетается, как у итальянца, нередко с большим женолюбием и любовью к кутежу. (В характере русского простолюдина есть нечто до сих пор для нас самих неуловимое и необъяснимое, нечто крайне сложное, заставившее, напр(имер), Тургенева сказать в одном из своих романов: «русский мужик есть тот таинственный незнакомец, о котором говорит г-жа Радклиф».)

Как бы то ни было, православный и безграмотный русский земледелец любить «жить», как парижский грамотный работник; а православный и безграмотный болгарин обстоятелен, экономен и аккуратен, как грамотный немецкий крестьянин. Безграмотный русский крестьянин охотно почитает власти, подобно грамотному старому духа немцу и

безграмотному болгарину.\* А грек, и городской и деревенский, и грамотный и неграмотный, одинаково сдерживается с трудом, подобно городскому французу.

В Добрудже недавно умерли двое стариков — один сельский болгарин; другой — тульчинский рыбак-старообрядец. Оба были в высшей степени замечательны как представители: один — узкой болгарской, другой — широкой великорусской натуры. К несчастью, я забыл их имена; но если бы кто-нибудь усомнился в истине моих слов, то я мог бы сейчас же навести справки и представить самые имена этих своеобразных славян.

Оба были для простолюдинов очень богаты.

Болгарину было под 80 или даже под 90 лет. Он безвыездно жил в своем селении. Работал сам без усталости; при нем жила огромная семья его. У него было несколько сыновей: все женаты, конечно, с детьми и внуками; старшие из сыновей сами уже были седые старики; но и эти седые старики повиновались отцу, как дети. Ни одного пиастра, заработанного ими, не смели они скрыть от своего патриарха или израсходовать без спроса. Денег было в семье много; большая часть зарывалась в землю, чтобы не добрались до них турецкие чиновники. Несмотря на всю зажиточность свою, огромная семья эта по будням питалась только луком и черным хлебом, а баранину ела по праздникам.

---

\* *Примечание 1885 года.*

Болгары под влиянием «свободы и цивилизации, надевшей на них шляпы и панталоны», очень скоро исправились от этого порока, от почтения к властям, которое покойный Карлейль считал *высшим качеством* в народе. Недавно болгарское простонародье в Филиппополе нагрубило даже Русскому Генеральному Консулу, когда он на улице увещевал людей оставить в покое греков, вывесивших свои национальные флаги в день рождения Короля. Кто-то из этой злой уже «просветившейся» толпы сказал даже г. Сорокину так: — «Приказывай своим русским, а мы свободные болгары!» Это называется народная признательность братьев славян за пролитую нами кровь! Вот что значит — *шляпа и панталоны!*

Старообрядец наш жил иначе; он был бездетен, но у него был семейный брат. Брат этот постоянно жаловался, что старик дарит и помогает ему мало; но старообрядец *предпочитал товарищей родне.*

У него была большая рыбацья артель. К зиме рыбная ловля кончалась, и огромные заработки свои старый великоросс распределял по-своему. Рассчитывал рыбаков, отпускал тех, кто не хотел с ним остаться; давал что-нибудь брату; закупал провизию, водки и вина на целую артель и содержал всю молодежь, которая оставалась при нем на всю зиму *без обязательной работы.* С товарищами этими здоровый старик кутил и веселился до весны, проживал все деньги и снова весной принимался с ними за труд. Так провел он всю свою долгую жизнь, возражая на жалобы брата, что *«он любит своих ребят»!* Часто видали старого рыбака в хохлацком квартале Тульчи; он садился посреди улицы на земле, обставлял себя вином и лакомствами и восклицал:  
— Хохлушки! идите веселить меня!

Молодые малороссиянки, которые хотя и строже нравами своих северных соотечественниц, но пошутить и повеселиться любят, сбегались к седому «коммунисту», пели и плясали около него, и целовали щеки, которые он им подставлял.

Все это, заметить кстати (и весьма кстати!), не мешало ему быть строгим исполнителем своего церковного устава.

Любопытно также прибавить, что про рыбака-старообрядца мне с восторгом рассказывал старый польский шляхтич, эмигрант 36 года; а про скупого хлебопашца-болгарина с уважением говорил грек-купец.

И греки и болгары по духу домашней жизни своей одинаково *буржуа*, одинаково расположены к тому, что сами же немцы обозвали филистерством.

Тогда как размашистые рыцарские вкусы польского шляхтича ближе подходят к казачьей ширине великоросса.

Я не хочу этим унижить болгар и через меру возвысить великороссов. Я скажу только, что болгары даже «коренные», сельские, — по духу своему менее своеобразны, чем

простые великороссы. Они более последних похожи на *всяких других* солидных селян.

Серьезные и скромные качества, отличающие болгарский народ, могут доставить ему прекрасную в своем роде роль в славянском мире, столь разнообразном и богатом формами.

Но «творческий» гений (особенно в наше столь неблагоприятное для творчества время) может сойти на голову только такого народа, который и разнохарактерен в самых недрах своих и во всецелости наиболее на других не похож. Таков именно наш великорусский великий и чудный океан!

Быть может, мне бы возразил кто-нибудь, что русские (и особенно настоящие москали) именно вследствие того, что они разгульны и слишком расположены быть «Питерщиками», мало расположены к капитализации, а капитализация нужна.

На это я приведу два примера: один из Малороссии, другой из великорусской среды:

В «Биржевых Ведомостях» рассказывают следующее происшествие, бывшее недавно в Полтаве. В тамошнее казначейство явились одетые по-простонародному крестьяне — муж и жена. У обоих полы отдулись от какой-то ноши. Муж обратился к чиновнику с вопросом: можно ли ему обменять кредитные билеты старого образца на новые?

— А сколько их у тебя? — спрашивает чиновник.

— Як вам сказать?.. право, я и сам не знаю.

Чиновник улыбнулся.

— Три, пять, десять рублей? — спрашивает он.

— Да нет, больше. Мы с женою целый день считали да не сосчитали...

При этом из-под полы оба показали кипы ассигнаций. Естественно, явилось подозрение относительно приобретения владельцами такой суммы. Их задержали и сочли деньги: оказалось 86 тысяч.

— Откуда у вас деньги?

— Прадед складывал, складывал дед, и мы складывали; — было ответом.

По произведенному дознанию подозрения на них не оправдались, и крестьянину обменяли деньги.

Тогда они вновь являются в казначейство.

— А золото меняете, добродию?

— Меняем. Сколько его у вас?

— Коробочки две...

Живут эти крестьяне в простой хате и неграмотны.

Но скажут мне: «это очень не хорошо»; надо, чтобы деньги не лежали, как у этого хохла или у старого болгарского патриарха; надо, чтобы они шли в оборот. Когда бы эти люди были грамотны, они поняли бы свою ошибку.

Но в ответ на эти слова я возьму в руки новый факт и стукну им тех бедных русских, которые не в силах мне сочувствовать.

В Тульче живет и теперь один старообрядец Филипп Наумов. Он грамоты не знает; умеет писать только цифры для своих счетов. Он не только сам не курит и не пьет чая и носит рубашку навывпуск, но до того тверд в своем уставе, что, бывая часто в трактирах и кофейнях для угощения людей разных вер и наций, заключающих с ним торговые сделки, он, угощая их, не прикасается сам ни к чему. Даже вина и водки, которые старообрядством не преследуются, он никогда не пьет. Он не любит никого приглашать к себе, ибо, пригласив, надо угощать, а угостив, надо разбить, выбросить или продать посуду, оскверненную иноверцами (хотя бы и православными). Он имеет несколько сот тысяч пиастров капитала в постоянном обороте, несколько домов; из них один большой на берегу Дуная отдается постоянно в наем людям со средствами: консулам, агентам торговых компаний и т. п. Сам он с семьей своей, с красавицей женой и красавицей дочерью и сыном живет в небольшом домике, с воротами русского фасона, и украсил премило и преоригинально белые стены этого дома широкой синей с коричневым шахматной полосой, на половине высоты.

Он очень честен и, несмотря на суровость своего религиозного удаления от иноверцев, слывет добрым человеком. По многим сделкам своим он расписок не дает; — по-

стояльцы, когда платят ему за дом, не требуют с него расписки в получении; *ему верят и так*. Сверх всего этого он один из *первых* в Тульче (где столько предприимчивых разноплеменных людей) задумал выписать из Англии *паровую машину* для большой мукомольной мельницы, и, вероятно, богатство его после этого утроится, если дело это кончится успешно.

Один весьма ученый, образованный и во всех отношениях достойный далмат, чиновник австрийской службы, с которым я был знаком, всегда с изумлением и удовольствием смотрел на Ф. Наумова.

— Мне нравится в этом человеке то (говорил мне австриец), что он при всем богатстве своем ничуть не желает стать буржуа; но остается казаком или крестьянином.

Вот и эта черта великорусская.

Болгарин или грек как завел бакалейную или галантерейную лавочку и выучился грамоте, так сейчас и снял восточную одежду (всегда или величавую или изящную), купил у жида на углу неуклюжий сюртук и панталоны такого фасона, какого никогда и не носили в Европе, и в дешевом галстуке (а то и без галстука) с грязными ногтями пошел себе делать с тяжелой супругой своей визиты à l'euroéenne; европейские визиты, в которых блеск разговора состоит в следующем: «Как ваше здоровье?» — «Очень хорошо! А ваше как здоровье?» Очень хорошо! «А ваше? Благодарю вас». Что вы подельваете? «Кланяюсь вам». А вы что подельваете? «Кланяюсь вам». А супруга ваша что делает? «Кланяется вам».

Нет! Великоросс может все, что может другой славянин; но он сверх того способен на многое, на что ни другой славянин, ни грек или француз и др⟨угие⟩ европейцы не способны!

Возьмем хоть опять того гуляку-старообрядца, о котором я говорил в начале этого примечания. Болгарин или серб, если склонен к сластолюбию и женолюбию, то из него скорее выйдет лицемер вроде «Jacques Ferrand» в «Парижских Тайнах», чем «Лихач Кудрявич» Кольцова.

Я с ужасом слышал на Востоке от 18—20-летних едва обученных грамоте мальчиков такие слова:

— Надо есть дома постное для *слуг* и *простого народа*; а потихоньку от них отчего же не есть скоромное. Какой же образованный человек может выносить постное кушанье? Это в пору желудку рабочего человека!

На Востоке в грамотном сословии нет *идеализма* ни личного, ни религиозного, ни философского, ни поэтического.

Развить и возобновить его на Востоке могут только русские, когда у них самих пройдет нынешнее утилитарное одурение!

Итак, судя по этим кратким и спешно изложенным примерам и по множеству других, можно сказать, что грамотность сопутствует всевозможным нравственным качествам как из круга семейной, так и государственной жизни.

Теперь обратимся к уму.

Неужели мы смешаем грамотность с развитием ума и талантов?

Кто же это сделает? Грамотность может отчасти способствовать их развитию, как и развитию нравственных свойств; но этому развитию способствуют и тысячи других обстоятельств помимо грамотности.

Русский мужик *очень развит*, особенно в некоторых губерниях. Он умен, тонок, предприимчив; в нем много поэтического и музыкального чувства; местами он неопрятен, но местами очень чист и всегда молодец. Он умеет изворачиваться в таких обстоятельствах, в которых растеряются грамотные, но тупые французские или немецкие поселяне.

Герцену надо отдать при этом случае справедливость; он тоже говорил про русского мужика: «он не образован, но он развит».

Почему же, за немногими исключениями, у нас люди почти всех учений нередко и бессознательно с любовью обращаются к нашему простолюдину? Неужели только из демократической гуманности? Нет, здесь есть другое... Всякий член, оторванный быстрым и сначала насильственным

европейским воспитанием нашего общества, понимает, что в нашем простом народе отчасти скрыт, отчасти уже ясен наш национальный характер.

И действительно, в гармоническом сочетании наших сознательных начал с нашими стихийными, простонародными началами лежит спасение нашего народного своеобразия. *Принимая европейское, надо употреблять все усилия, чтобы переработывать его в себе так, как перерабатывает пчела сок цветов в несуществующий вне тела ее воск.*

<sup>10</sup> Для всякой живой цивилизации столько же необходимы начала наивные, как и сознательные. Без наивных элементов жизни разве возможны были бы Кольцов и Шевченко? В области чистой логики и математики нет ничего национального и поэтому ничего живого; живое сложно и туманно.

Сложные обстоятельства в жизни великих народов, неподдающиеся чистому расчету, разнообразие страстей, степени родов воспитания влияют не только на развитие живых и полных характеров в самой жизни, но и на искусство и на мышление, и даже на науку. В одном из наших русских журналов (кажется, во «Времени») было сказано, что все произведения искусства и мысли, которые приобрели мировое значение, потому именно и стали мировыми, что они были *в высшей степени национальны.*

Поэтому здесь следует такой род доводов:

Если мы допустим, что великому народу не стоит жить только в виде *большого государства* и что ему должно иметь хотя сколько-нибудь *свою культуру*, то из этого будет ясно, что *надо самой жизни быть своеобразной.*

<sup>30</sup> Если же жизнь должна быть своеобразна, — а своеобразие сохранилось в нашем народе лучше, чем в нашем высшем и ученом обществе, то надо дорожить этим своеобразием и не обращаться с ним торопливо, дабы не погубить своей исторической физиономии, не утратить исторических прав на жизнь и духовный перевес над другими.

Итак, мы возвратились к тому, откуда пошли.

Я думаю, что *даже и теперь* усердствовать с просвещением народа à l'euroéenne вовсе нет нужды.

# ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА С АФОНА

(1872 года)

## ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

(1884 года; Москва)

Двенадцать лет тому назад я гостил долго на Святой Горе. — Все, не только подвижническое, но и просто сказать — христианское, для меня тогда было как *будто* ново; но это, новое, было не в самом деле чем-то новым, но непростительно и легкомысленно забытым; — и вот, живя на Афоне, я постепенно опять научился всем сердцем понимать те самые мысли и слова, которые я слышал давно и знал с детства, но которых истинный смысл был мною пренебрежен и не понят. — Мне хотелось *по-своему* писать об этих словах и мыслях, об этих названиях и чувствах. — Хотелось писать на память, как вздумается. И вот я представил себе человека русского, образованного, *думающего*, — который долго (подобно мне) жил без руководства веры... и, наконец, почувствовал потребность этого руководства. — Обстоятельства жизни этого человека могли быть иные, чем мои, — чувства — те же. — Мне хотелось передать эти чувства, эту радость первого обращения и если не всю ту работу мысли, которая помирила во мне *реалиста с христианином*, то хоть часть ее...<sup>10</sup>

Я желал, чтобы эти письма были легки, и доступны, и живы. — Я вообразил себе, что у моего вымышленного автора этих писем осталась в России молодая подруга — жена, невеста, дочь, младшая любимая сестра — это все равно... что, покинув ее *для Бога* (навсегда ли, если он должен стать монахом, на время ли только, — если он дол-

жен вернуться «в мір») — он хочет передать ей свои мысли; обратить и ее на свой путь для того ли, чтобы необходимая разлука и разрыв стали бы ей легче, или для того, чтобы духовная борьба и христианское сожительство впоследствии были бы им приятнее при полном единомыслии. — Поэтому я и выбрал форму изложения самую свободную, почти беспорядочную, я предпочел писать — *что писалось и как думалось...* без системы и очереди.

<sup>10</sup> Долго лежали у меня эти письма, — я находил их незрелыми и не стоящими внимания; — я думал, что они ценны только для меня; но недавно мне случилось прочесть эти избранные четыре письма в довольно многочисленном обществе *молодых людей...* Я увидел гораздо больше сочувствия, чем, признаюсь, мог ожидать от «современных» юношей.

Эта случайность навела меня на мысль — напечатать эти отрывки. Вреда от них, вероятно, никому не будет; — а если будет хоть малая доля душевной пользы, — то вот больше ничего и не нужно!

<sup>20</sup>

К. Леонтьев

## ПИСЬМО 1-е

*1-го июня; 1872 г. Св. Гора*

<sup>30</sup> Вот уже более полугодом как я живу на Афоне или скитаюсь по его окрестностям; но самое даже краткое пребывание за чертой его для меня тяжело.

Я многому научился и многое забыл. — Я понял вещи, которые прежде мне были странны и чужды, и дивлюсь теперь, как могли они быть мне чужды.

Я многое видел и многое прочел. На столе моем рядом лежат Прудон и Пророк Давид, Байрон и Златоуст; — Иоанн Дамаскин и Гете; — Хомяков и Герцен. — Здесь я покойнее, чем был в міру; — здесь я и мір люблю, как да-

лекую и безвредную картину... Я с удовольствием думаю иногда о жизни больших городов, о далекой родине нашей, о прежних друзьях, об умерших и близких нам людях...

Афон и от политических вопросов не отдаляет вполне человека, если он *хочет* сам за ними следить; конечно, гораздо менее, чем жизнь иных округов в России. — Здесь ежедневно слышишь новости о Болгарском вопросе; — о переменах министерств в Царьграде; — есть *оттенки* и на самом Афоне; — газеты приносят европейские известия; — беспрестанно приезжают из России поклонники и слышишь их суждения о наших внутренних делах... А между тем все тихо; — жизнь течет правильно без суеты и грома. — Застоя нет; — жизнь не засыпает, и труд виден везде. — В лесах встречаются тебе пешеходы, монахи, рабочие болгаре или греки; — бородатые поклонники русские; — кавассы монастырские в фустанелле воинственной и с ружьем; — встречаются мулы, навьюченные камнями, досками или чем-нибудь иным. Дороги чинят; — над ручьями и пропастями поделаны прочные мостики; — беспрестанно попадаются кресты на поворотах и границах; — фонтаны для проходящих и на них надписи благочестия; — иногда в глуши леса видишь около дороги небольшую икону, вставленную в кору платана или дуба. — На далекие расстояния проведена с гор хорошая вода по простым деревянным желобкам... Путник идет, и вода — то бежит рядом с ним по земле, то журчит и каплет сверху, когда желобок поднят на столбах и перекинут над дорогой... Везде из зелени кустарников и леса видны белые домики; это пустынные *келлии*, целые хозяйственные жилища с домовыми церквами, и хижины, *пустыньки* без церквей. — Там и сям воздвигаются новые постройки; строятся новые храмы, новые скиты и новые келлии. — Слышишь много жизни, но не видишь грома и суеты. — Все здесь растет как-то незримо и без того шума неосмысленного и холодного, который так нестерпим иногда и в небольших городах, если только они увлеклись промышленным потоком...

Я многому здесь научился и многое узнал; — впрочем, многого я и не видел; — иные, приезжая на Афон, ищут с особенной любовью древностей; — но я еще ни в одну монастырскую библиотеку не входил; — рукописей древних не смотрел и смотреть не буду. — Я верю на слово, что это все поучительно и драгоценно.

Легкая или тяжелая постройка собора; изящество купола; — выбор цветов для окраски стен церковных и крыш, конечно, занимают меня гораздо более. Любопытно сравнивать древневизантийские здания с новыми постройками; — или древнюю иконопись с нашей нынешней русской, или даже замечать разницу в убранстве монастырских приемных у греков и русских. — Можно легко убедиться, наблюдая все это, как почти все, что касается до внутреннего убранства храмов: иконопись, иконостасы, облачения у русских лучше, чем у греков, как-то изящнее, *живее*, так сказать, и благолепнее. Пение наше Церковное с греческим, ты сама знаешь, и сравнить нельзя! Зато у греков и болгар постройки лучше, больше вкуса, больше прочности, больше фантазии восточной и архитектурной поэзии; — наши, к несчастью, слишком склонны, следуя полунемецкой казенщине нашей, к казарменным линиям, к белым штукатуренным прямым стенам, к зеленым крышам и куполам, тогда как зеленый цвет и для виду на *естественной* зелени самый невыгодный и неприятный и уже слишком напоминает загородный дом разжившегося русского немца. — Вообще на русских постройках заметны слишком следы наших казенных архитекторов, воздвигавших по всем уездам и губерниям станции желтые, казармы белые, церкви белые с зеленым...

В греческих и болгарских комнатах и приемных также больше восточного простора и величавой турецкой простоты: ковер, диван вокруг стены, камин хороший в средней стене или даже русская печка; в иных приемных колонки, разделяющие комнату надвое, на возвышенную половину, на ту, где почетный диван, и на небольшое преддверие. На русских гостиницах для приезжающих очень тепло и во

многим удобно; — но русские уж слишком падки до плохой европейской мебели, до маленьких, неудобных диванчиков с разными зигзагами, до множества стульев, которые гораздо более были бы на месте в пещерах аскетов, чем в комнатах, которые назначены для успокоения и приема гостей. Большая также страсть к маленьким картинкам и множеству мелких фотографий по стенам; к вязанным *à jour* скатертям и к женским печатным дешевым платкам, которые служат здесь вместо столовых покрывал... Одним словом, — в приемной греческой или болгарской как будто видишь перед собой почтенного турка в чалме и широкой одежде, курящего чубук; — а в русских гостиницах скорее вспомнишь своего знакомого Карла Иваныча, которому Марья Ивановна готовит к именинам вязаный или вышитый по канве сюрприз.

Разумеется, изящество и *хорошая*, а не ложная простота в этом случае на стороне восточных жителей. Впрочем, относительно построек надо сказать в оправдание русских монахов две очень важные вещи. — Конечно, я того мнения, что *комната*, жилище самого монаха, должна быть сурова, проста, пуста, даже тесна... Но весь *монастырь*, если он имеет средства, его храмы, все здания его должны быть красивы, изящны и величественны. — У греков и болгар обители или давние, построенные еще по хорошим образцам и под влиянием более свободного полета идеальной мысли, чем нынешний ее полет, подстреленный утилитаризмом. — Но наши монахи принесли сюда из России в воспоминаниях какие образцы?.. Можно ли их винить за недостаток вкуса, когда едва-едва с половины прошлого царствования высший круг наш, люди власти, и сами художники наши обратили более серьезное внимание на византийский стиль?.. После *голландских* скромных вкусов Петра Великого мы пережили Renaissance Казанского собора и *рососо*, и только очень недавно стало заметно более самобытное движение архитектурной мысли.

Иные люди находят, что попытки эти новые все еще довольно слабы, что Исаакиевский собор представляет нечто

вроде верха Св. Петра Римского на корпусе какого-то английского банка; — что милая, теплая, пестрая часовня, построенная на Невском проспекте, не легка, вдавлена в землю, что новая, Греческая Церковь на Лиговке тоже имеет свои недостатки...

Я не архитектор и не археолог; — я в этом деле только *один голос из толпы*, но имею глаза и чувства. — Я кой-что знаю и очень многого *не* знаю. — Помню многие названия без смысла и знаю нередко мысль, но не умею ее <sup>10</sup> назвать как следует. — Но я, мне кажется, *все понимаю*, когда со мной говорят художники и археологи. — Я хочу только сказать одно, что *нынешнее направление* архитектуры русской лучше, плодотворнее прежнего. — Есть стремление к *личному творчеству в пределах обычая* или устава; — а это, мне кажется, и есть *существенное условие своего стиля*. — Чтобы яснее представить это направление, лучше всего сравнить Зимний Дворец с Новым Московским в Кремле; или вспомнить, как недавно у нас стали возможны такие дома, как дом Иерусалимского Подворья <sup>20</sup> в Петербурге, около дома Белосельской. — Итак, если наше высшее общество, наше Государство, наш Двор, наша художественная интеллигенция, наша Академия только что вышли на лучший путь... то какое же право имеем мы строго судить вкус наших Афонцев, которых вожди пришли сюда в 30-х и 40-х годах и дали что могли...

Другое оправдание для них вот какое.

Старые здания у греков и болгар — старые; они оригинальны. — А новые, например, в Зографе болгарском и в Ватопеде греческом, положим, прекрасны; — они <sup>30</sup> построены из хорошего тесаного камня, *не спеша*, со вкусом, с простором, с прочностью... Особенно зографские новые постройки великолепны, царственны!.. Но обе эти обители имели издавна большие имения в Бессарабии с определенными и верными доходами. Братия у них сравнительно не очень многочисленна. — А русские монахи все почти теснятся в двух больших Киновиях: в Руссике и в Серае, или Андреевском Скиту. Вообще на Св. Горе русских немно-

го; — на семь или восемь тысяч монахов наших, кажется, тысяча с небольшим; — иные говорят, что и того не будет! Греки и болгаре, хотя и в бóльшем числе, но рассеяны по 19-ти монастырям, по нескольким зависимым скитам и по множеству пустынных келий, хижин, шалашей, пещер; — русских же в Руссике около 400 (не считая постоянных поклонников, которых надобно поместить), а в Андреевском Скиту больше 200. — Имений больших нет ни у Руссика, ни у Андреевского Скита. — Устроились они очень недавно все на добровольные подаяния из России. — Скит воздвигся необычайно быстро и вырос в целую обитель из одного Патриаршего дома. — В Руссике наши монахи, приглашенные греками, нашли почти одни развалины и бедность. — Теперь это самый многолюдный и оживленный монастырь. И монастырь этот, и Скит Св. Андрея и теперь все еще строятся, и все еще в них тесно.

Понятно после этого, почему в постройках русских видна спешность, потребность дешевизны и первых удобств; — узкие темные коридоры вместо широких и открытых зографских галерей; — кирпич и штукатурка белая или сероватая или желтая вместо прекрасного тесаного камня Зографа и Ватопеда; — простые четырехугольные окна на казарменных стенах вместо окон изящных, окруженных и широких, иногда двойных с колонкой посредине, которыми любуешься в греко-болгарских обителях. — У русских обыкновенно приземистые трубы на крышах, в них и видишь только скучные обыкновенные трубы, видишь пользу, теплоту печей... Тогда как, подъезжая к Ватопеду, дивишься на целый лес мелких, круглых и высоких колонок с красными капителями наверху, покрывающих крыши солидных корпусов... Что такое это? — Это тоже трубы, но трубы *неспешные*; это трубы художественные...

Да! если рассматривать дело только с точки зрения результата и красоты — русские обители не очень хороши. — Но если знать и помнить все трудности, с которыми русские монахи боролись, всю вынужденную обстоятельствами спешность созидания, быстрый рост их обителей;

бесчисленные и сложные заботы, которые обременяли их духовных вождей на чужой стороне: неопределенность доходов, долги, требования некоторого рода дипломатии при всем этом, то критическая строгость умолкает и остается одно чувство — уважение к их практическому уму и нравственной силе.

Скажу еще вот что: и в Руссике, и в Андреевском Ски-ту *прежде всего* позаботились о красоте и богатстве храмов, а *потом* об удобствах для посетителей и о помещении<sup>10</sup> для братии. — В обеих обителях иноки, видимо, считали долгом деньги благотворителей употребить прежде всего на украшение Церквей своих.

Так понимают афонские монахи свой долг! Чтобы яснее видеть, что такое *честное* монашество, стоит только из Церкви, где блистает золото, серебро, хрусталь, дорогие иконы, облачения дорогие, — пойти в тесную, душную комнату монаха или спуститься в трапезу, где братия ест «*травку и травку*», как писал и жаловался г. Благовещенский в своей книге об *Афоне*.

<sup>20</sup> ПИСЬМО 2-е

Июнь. 24. 1872 г.

Монашеские характеры, я, кажется, писал тебе, на Афоне очень разнообразны. — Правила и образ жизни, уставы, степени отречения, подчинения и свободы также очень различны.

Как ни грустно мне, как ни занят я сам собою и тысячей вопросов, которые теперь для меня вопросы жизни и смерти, я не могу не видеть того, что меня окружает здесь.

<sup>30</sup> Самые эти вопросы, которые я беспрестанно должен задавать себе, вынуждают меня иногда быть внимательным к тому, что происходит вокруг меня. Я хочу поучаться примером других и испытывать себя путем сравнения.

Я не стану говорить тебе, сколько здесь монастырей, скитов, монахов. Ты все это найдешь, если захочешь, подробно изложенным в других книгах и статьях... Отыщи их, если тебя это занимает. — Можешь прочесть, например, небольшую статью «Панславизм на Афоне» в «Русском вестнике» за этот год. Там это все есть.

Святогорец говорит, что на Афоне монаху предстоит по крайней мере до восьми различных образов жизни. — Я нахожу, что их гораздо больше, если считать уклонения и оттенки.

Но пусть будет 8. Я перечту на память:

1. *Киновии*; общежительные монастыри, — где все общее, где все равны. — Большая строгость.

2. *Идиоритмы*, монастыри своеобразные; — не строгие; — где не все общее и где каждый имеет значительную долю свободы.

3. *Отдельные келлии* (дома с домовыми церквями) вне монастырей. Жизнь вдвоем, втроем и т. д. без определенного устава.

4. *Каливы* — пустынные хижины без домовых церквей.

5. Жизнь в *скитах русских*, наподобие общежительных монастырей; в общих «корпусах» зданий.

6. Жизнь в *скитах греческих*; — наподобие села, состоящего из отдельных домов или келлий; — устав строгий, но образ жизни, подходящий с некоторых сторон на идиоритмы.

7. Отдельные монашеские квартиры на *Карее*, афонском городке.

8. *Пещеры* в лесах, по берегу моря, в безлесных скалах; — просто под камнями, под открытым небом.

Поговорим — о самой главной форме святогорской жизни — форме *киновальной*.

В Киновиях все более или менее равны, все подчинены одинаково и безусловно избранному обществом игумену и помощникам его, главным духовникам. — *Собственности* не сохраняет при себе никто. — Все отдается в *общую* кассу; — но в случае неудовольствия и твердой решимости

оставить монастырь хорошее монастырское начальство выдает обратно непокорному сыну внесенный им вклад.

Киновии могут служить прекрасным предметом изучения для самих коммунистов. — Изучая Киновии, можно допустить, что коммунизм, не как всеобщий закон, а как *частное проявление общественной жизни*, возможен, но лишь под условием величайшей дисциплины и даже, если хочешь, страха. — Эта дисциплина, этот страх не материальной природы; — это несокрушимая *идеальная* узда веры, любви и почтения. — В страхе христианском если и есть эгоизм, т. е. забота о загробном спасении души при *разочаровании во всем земном и непрочном*, то называть этого рода заботу эгоизмом (как выдумали многие и не из крайних просветителей нынешнего человечества) — было бы уже слишком недобросовестной натяжкой! Положим, думать о *загробном* спасении — эгоизм; — но благодаря этому воздушному, туманному, отдаленному и неосязательному эгоизму от скольких движений эгоизма грубого, *земного*, ежедневного освобождается хороший христианин! — Какое высокое забвение личного своенравия! — Какая покорность *идее!* — Солдат, и не слишком плохой, быть может, и патриот, в иную минуту не бежит из полка от материального страха, от боязни, что его расстреляют, прогонят сквозь строй или сошлют на каторгу. — Монах-киновиат в самую тяжкую минуту (а как часты эти тяжкие минуты в многолюдной и трудовой общине!) не бежит из обители от одной *идеальной* боязни *греха*, то есть от страха оскорбить и прогневать Божество, Которое его создало и дало ему разум и волю для внутренней борьбы против злого начала, присутствующего мирозданию.

Уничтожь в себе *волю!* — Тебе не хочется сегодня молиться? — Молитвы тебе кажутся сухими; — они ничего не говорят твоему воображению и сердцу. — «Молись! — говорит духовник, — поверь мне, сын мой, что начнешь ты с досадой и тоской, а встретишь потом одно или два слова в этих заказных молитвах, от которых вдруг раскроется душа твоя в радости, и ты будешь утешен и награжден

тут же за твое усилие». — И это правда. — Я это сам испытал...

Уничтожь в себе *волю!* — Ты хочешь спать? — Звонят к заутрене в полночь. — Ты хочешь есть? — Потерпи. — Ты хочешь разговаривать вечером с другом, особенно если ты молод? — *Старый батюшка*, старший духовник, обходит коридоры и стучит в вашу дверь, предлагая разойтись и не договариваться по неопытности до предметов, которые могут после смутить вас и быть вам вредны. — Хочешь ты прочесть новую книгу? — Без *благословенья*<sup>10</sup> нельзя. — Сижу я теперь, перед вечерней, в моей келье; минута свободная нашлась. — Я видел у приезжего мирянина, кажется, хорошую книгу на столе; — духовную, вероятно, книгу, писанную светским человеком: «*Сущность Христианства*». Отчего бы не прочесть ее? — Но духовник, измученный недугами и бдением ночным, лег отдохнуть. — *Старец* мой (особый наставник иноческой жизни, которому я поручен) занят теперь делом. — Я не смею прочесть эту книгу. — Потом, улучив минуту, прошу благословить. — «Нет благословения читать тебе эту книгу».<sup>20</sup>

Я огорчен и сообщаю мимоходом свое горе другому монаху, ученому; он был в Академии, и книгу эту недавно я видел в его руках.

— Ты не *понесешь* этой книги, — отвечает он мне; — ты еще легкомыслен.

Вот и оскорбление! — Горе? — Нет! — Оскорблению надо радоваться; — и еще больше, когда оно *незаслуженно*. — Чем же я легкомыслен? — Не тем ли, что, покинув мать, отца, дом в дальней родине и деньги, быть может, и молодую невесту, театры и гулянья городские?!. Да! быть<sup>30</sup> может, этот монах, который меня, бедного, назвал легкомысленным, и не прав. — Но я не знаю этого *навверное*, и потому лучше думать, что он прав; — не гневаться мне на него надо, а благодарить и благословлять его. — Я иду к нему и падаю ему в ноги: «простите, отец, я осуждал вас сегодня за ваши слова о моем легкомыслии». — Он отвечает мне тоже земным поклоном. — Мы примирены. —

Я рад, я счастлив! — Но надолго ли я спокоен со-  
вестью? — По природе моей я или вовсе незлобив и не  
вспыльчив, или обладаю твердой волей, которая иногда до-  
вольно легко овладевает моими увлечениями. — Такие слу-  
чаи, в которых я обнаруживаю мое смирение, мою доброту  
и покорность, повторяются часто. — Я как будто счастлив  
и спокоен; — здоровье мое крепко и позволяет мне выно-  
сить без худых последствий долгое пение в церкви, бдения  
ночные во храме в обыкновенные дни по четыре часа, а под  
10 иные праздники по тринадцати часов, до самого рассве-  
та. — Силы мои, слава Богу, так свежи, привычка к телес-  
ным, монашеским подвигам у меня уже так сильна, что я,  
простоявши всю ночь на ногах в *стасидии*,\* могу еще на-  
слаждаться тем, что утренняя заря за морем занимается  
именно в ту минуту, когда во храме нашем возглашают:  
«Слава Тебе, показавшему нам свет!»

Да, я счастлив; — братия хвалит мое усердие и мое не-  
злобие; — сам старый батюшка иногда улыбается милости-  
во, благословляя меня, когда я ему кланяюсь, и говорит:  
20 «Ну, что ж ты, ветрогон, благодушествуешь теперь, я  
вижу, мирствуешь, благодаря Господа?»

И вот... неслышно, незаметно начинает поедать душу  
мою тайный червь — *гордости*; — но какой гордости? —  
Не мирской вашей гордости, которая кичится властью, де-  
ньгами, победами над *другими людьми* в спорах, в делах, в  
торговле, по службе государственной или в общественных  
успехах... Здесь идет речь не о той гордости, которая у  
мужчины говорит ему: «Ты молодец!» — А у вас, жен-  
щин: «ты красива, ты мила, умна, обворожительна и т. п.»  
30 или более *по моде*: «ты современна, ты развита, ты незави-  
сима, не подчиняешься обществу, в котором живешь». —  
Нет, здесь поедает душу гордость иного направления, *гор-  
дость христианская, подвижническая*; воображение, что  
я уже *безукоризнен*, что я *почти святой!*

---

\* *Стасидия*; в греческих церквях вокруг стен устроены особые  
места, чтобы облакачиваться.

«Вот, — говорит мне внутренний соблазнительный голос, — ты лучше других. — Тот из простых мужиков, а не может стоять так долго, как ты стоишь в Церкви; — тот ленивее тебя; — тот помнит зло; — тот все хитрит... А ты? — Ты незлобив, ты всем покоряешься, ты все выносишь; — у тебя нет гордости, нет своеволия; — ты не лукав, ты прост, как Св. Павел, сподвижник Антония Великого, которого прозвали *препростой*. Ты вынослив на телесный труд, как Даниил Столпник, которого буря качала на столбе, а он молился, которого дождь обливал и мороз доводил до полусмерти, а он лишь благословлял Бога за все это. — Ты ласков и добр с людьми, как Св. Моисей Мурин (ефиоплянин); — он был разбойником прежде, покался и подвизался в одной обители с суровым Арсением Великим и, сверх святости его строгой жизни, в монастыре его все любили за ласковый и приветливый нрав. — Да, Св. Моисей был из разбойников; он до покаяния своего был многогрешен. — А я покинул юношей кров родительский и пришел сюда таким же девственником, как Св. Иоасаф, юный сын Царя Индийского, который устоял против всей роскоши и против целого гарема молодых красавиц, окружавших его по желанию отца».

«Вот сколько у меня добродетелей!»

Чего же было бы лучше этого внутреннего самодовольства, мой друг? — Не именно ли того ищут в миру у нас самые лучшие, умные, благородные люди?

Не имеем ли мы право уважать человека, который предпочитает внешним успехам, богатству, блеску, наслаждениям веселого разврата — свою *внутреннюю гордость*, свое сознательное, честное самодовольство? — Ведь это почти идеал, ты скажешь мне, по нынешним понятиям. — Да, я с тобой согласен, что в миру иногда нельзя и требовать большего от хорошего христианина. — Когда бы было побольше и таких! Жизнь светского человека слишком шумна и заботлива; особенно нынешняя жизнь, в которой столько и развлечений, и нестерпимого, спешного труда, в которой так слабы впечатления Церковные, так отстранены на вто-

рой план множеством других сложных и обременительных впечатлений; — воспитание истинно христианское, осмысленное так редко! — Знание истинного духа Христианства ныне так мало распространено! — Возможно ли при этих условиях требовать, чтобы люди, обремененные семейными, государственными, учеными и хозяйственными заботами, успевали вникать ежечасно в смысл своих внутренних чувств? — Да многие ли нынче из образованных людей ясно понимают этот дух Христианской Церкви?

<sup>10</sup> Люди, вовсе не признающие Ренана авторитетом, люди, не дерзающие и сомневающиеся в божественности Иисуса Христа; — люди, которые, с другой стороны, готовы стереть с лица земли всякого, кто бы коснулся иноземной, вражеской или революционной рукой *народной, русской* Святыни Православных храмов, мощей, икон (я говорю *народной* святыни — понимаешь?), — и эти люди, вследствие легкомыслия, незнания или каких-нибудь обстоятельств, воображают, что они поняли Христа, если знают твердо, что Он *простил блудницу*, что Он оправдал *грешного мытаря*, что Он велел быть добрым к ближнему, благословил иноверного самарянина за его доброту и осудил еврейских — Священника и Левита, за то, что они не помогли израненному путнику.

<sup>20</sup> И только! — Доброта, прощение, милосердие... Они взяли лишь одну сторону Евангельского учения и зовут ее *существенной стороной!* — Но *аскетизм* и суровость они забыли? — Но на гневных и строгих Божественных словах они не останавливались? — О том, что Иоанн Предтеча, у которого Спаситель крестился, был *монах в высшей степени*, они не знают? — О сорокадневном посте Самого Христа в пустыне они не думают? — О догмате греха первородного, о духе тьмы, о догмате Троицы христианской они молчат; — а это все есть в Евангелии и в Апостольских письмах.

<sup>30</sup> Нельзя, принимая *святость* Евангелия и божественность Христа, отвергать одно место в книге и выбирать *по вкусу* другие. — Все мягкое, сладкое, приятное, облегчаю-

щее жизнь принимать, а все грозное, суровое и мучительное отвергать, как несущественное. — Что-нибудь одно: или Ренан и Штраус — *правы*, или все *существенно!*

Религия *всепрощения*; — да! — Но вместе с тем и религия самобичевания, покаяния, религия не только неумолимой строгости к себе, но и разумной строгости к другим.

«Иди и не греши»... — сказал Христос, прощая блуднице. — Он не сказал: «Иди, ты права!»

Первоначальная, Православная Церковь, эта *Византийская*, высокая культура, столь оклеветанная враждебными ей Церквями и так плохо понятая теми прогрессистами, которые с половины прошедшего века поверили в осуществление реального Эдема на этой земле, — вся эта *особого рода* культура, весь этот особый род просвещения был лишь *развитием*, объяснением основного Евангельского учения, а никак не искажением его, как думают те, которым бы хотелось из Христианства извлечь один лишь осязательный практический утилитаризм. — Впрочем, не одни утилитаристы так думают; так думают нередко и люди религиозные.

Ты помнишь, мой друг, мою воспитательницу? — Ты сама любила и уважала ее. — И, конечно, она в высшей степени заслуживала этих чувств. — Всю жизнь в борьбе с нуждою, вскормленная у отца в богатстве, самолюбивая, умная, высокообразованная, привычная ко вкусам и понятиям самого высшего общества времен Александра I-го, — она должна была всю жизнь свою пересоздать, перестроить не так, как хотело ее воображение; — окружающие не умели вполне ценить и понимать ее; — большинство детей ее было гораздо глупее и ниже ее; — они больше боялись, чем любили ее, и не постигали ее изящных и вместе с тем строгих требований. — Она стала *взыскательна*, раздражительна, иногда несправедлива в гневе; ты это все знаешь, но ты знаешь также, какая глубина благородства, любви и какой-то *мрачной доброты* проявлялась в ней до последнего издыхания...

Мир ее высокой душе! мир подай, Господи, ее страдальческому праху!

Однако... и эта просвещенная, эта необычайно умная женщина платила дань тому полулиберальному, полухристианскому веку, в котором выросла и жила.

Она, например, не любила постов и не содержала их, кроме дней говения, не любила монахов, не любила духовенства вообще. Говеть — она говела, как ты знаешь, и плакала даже почти всегда на исповеди у простого сельского духовника своего. — Она утром и вечером понемногу молилась и, закрывая Ж. Санд или Дюма, бралась нередко за Евангелие с большой любовью. — Но я замечал, что *житий* она не читала, хотя, конечно, с детства кой-что помнила из них. — К мощам на поклонение, впрочем, она ездила не раз в течение своей жизни, но и тут, я помню, она полушутя говорила мне: «Я гораздо больше люблю своего милого Дмитрия Ростовского, чем Св. Сергия Чудотворца. — *C'est plus comme il faut à Ростов.* — Тихо так; — зайдешь и помолишься. А уж Сергей такой демократ! — Мужиков и нищих бездна! — *Je ne puis pas souffrir tout cela;* — хотя я и знаю, что это грешно!..»

Милая и строгая тень моей благородной благодетельницы! — Я верю в загробную жизнь; но *какова она* — кто знает?

На крест, на могилу;  
На небо и землю  
Творец Всемогуший  
Печать наложил...

Видишь ли ты, как я пишу эти строки? — И если видишь, то как? — Так, как мы: с участием? — с улыбкой? — с прощением? — с человеческим чувством? — Или иначе — я не знаю!..

Но я прошу тебя, тень святая моей памяти, прости мне, если я скажу, что и ты платила дань веку, не понимая иногда Православия и отделяя его от какого-то особенного, *простого и чистого* Христианства! И от тебя я слышал не раз, что учение Евангельское просто и доступно, но что духовенство исказило его, прибавив слишком много *сложного*...

Боже! — Но мог ли краткий и простой *рассказ* Евангелистов, не развиваясь далее, объединить в едином *учении*

такое множество разных народов: греков, евреев, галлов, славян, египтян, римлян и сирийцев?..

*Сложность необходима для единства, по мере расширения поприща во всем.* — И Христу угодно было предоставить первоначальное учение Свое обыкновенным законам развития всего земного.

Именно слишком свободное понимание первоначального учения и породило столько вредных ересей, борясь против которых Церковь развивала постепенно и естественно трудную философию, единый, но изящный и сложный обряд; нравственность — одну по цели и духу, но разнообразную и сложную по частным, живым оттенкам... Да! миряне, и верующие даже, нынче плохо знают свою веру. — И потому, отчасти извиняя им, Церковь говорит: «Иное — мирянин, обремененный в наше время такой бездной настоятельных забот и потребностей; иное дело — монах, которому вся обстановка его должна помогать для достижения высшего христианского идеала, который выразился в словах — „Царство Мое не от мира сего”».

И мирянин, который воображает, что он всегда прав, и никогда не имеет мужества или простодушия сознаться громко в своих ошибках и проступках, возмущает нас и внушает нам отвращение, помимо всякого религиозного чувства. — Не раз, я думаю, и тебе случалось предпочитать человеку, который во всем себя оправдывает, такого, который говорит грубо и твердо: «да! я знаю, что не прав, но я так хочу и сделаю по-моему!»

Тебе, конечно, нравилась эта прямота и самобытность в зле. — Но суждение это не нравственное, а эстетическое. И демон привлекателен; — иначе он не был бы искусителен...

Господень Ангел тих и ясен,  
Его живет смиренья луч,  
Но пышный демон так прекрасен,  
Так лучезарен и могуч.

Помню я, что Белинскому не нравился этот стих: «Его живет смиренья луч». — Он, кажется, находил смысл его неясным.

Для меня (*теперь*) он очень ясен. — Искреннее смирение, вечная тревога неопытной совести о том, чтобы не впасть во *внутреннюю гордость*, чтобы, стремясь к безгрешности, не осмелиться почесть себя святым; — чтобы, с другой стороны, преувеличенными фразами о смирении своем и о своем ничтожестве не возбудить греховного чувства отвращения в другом, который мою неосторожную *выразительность* готов как раз принять за лицемерие... Эта сердечная борьба, особенно в монахе молодом, — исполнена необычайной жизни, драмы внутренней и поэзии. — Идеал искреннего, честного монаха — это приблизительная бесплотность на земле; гордость, самолюбие, любовь к женщине, к семье, к спокойствию тела и даже к *веселому спокойствию духа постоянному* — должны быть отвергнуты. *Бесстрастие* — вот идеал. — Истинное, глубокое, выработанное бесстрастие придает после начальной борьбы самому лицу хорошего инока *особого рода выразительность и силу*... «Его живет смиренья луч...»

20 Да! путь и просто христианский, а тем более монашеский труден!

Раскрой книгу Иоанна Лествичника о монашеской жизни. — Что ты увидишь? — Каждая добродетель грозит тебе грехом. — Уединение в особом жилище пустынном, в лесу или в горах, — грозит тебе то *внутренней гордостью*: «Я свят»; — то *унынием* и отчаянием: «О, я погиб, я ни на что не годен; не хочу ни молитвы, ни рукоделья, ни размышлений о Божестве!» — Жизнь в многолюдной обители угрожает тебе: тщеславием (Посмотрите, братия, и вы, мои добрые миряне-посетители, какой я набожный, смиренный, какой я примерный инок!); — завистью, при виде какого-нибудь малейшего предпочтения или внимания другому; — гневом — при каких-либо столкновениях, неизбежных в тесно живущем обществе.

У свободного пустынножителя доброта душевная, желание раздавать милостыню нищим монахам или мирянам может тоже переродиться или в сребролюбие для себя, или в

тщеславие и гордость, вследствие лести и благодарений, которыми бедные начнут меня осыпать. — Под предлогом приобретения для раздачи *другим* я могу начать приобретать побольше и для себя и буду радоваться, как осужденный Христом фарисей, что *десятую* часть раздаю нищим.

Во всем и везде нравственная опасность. — «Рассудительность, говорят опытные иноки, располагает к жестокости; снисходительность — к греховному потворству себе и другим; — недостаточные телесные подвиги, слабый пост, малая молитва, неустойчивый телесный труд, — дают в организмах сильных слишком много простора плотским страстям и сладострастной фантазии... И наоборот — чрезмерное утомление тела, не по силам природным, наводит духовную усталость, уныние, отвращение от начатого пути, располагает к фантазиям, характера более мистического, положим, но все-таки лживым и вредным для здравого и постепенного совершенствования в монашеской жизни».

Такова постоянная внутренняя борьба, преследующая добросовестного инока иногда и до гроба.

Если ты, читая мои первые письма, подумала, что монастырь есть всегда «тихая пристань» для нашего внутреннего мира, — ты ошиблась.

В монастыре или в пустыне ищут, правда, спокойствия; но какого?

Спокойствия христианской совести, сознавшей свои прежние проступки или испуганной еще при самом вступлении в жизнь водоворотом страстей, обманов, огорчений, водоворотом, который кипит и клокочет вокруг каждого человека со дня его вступления в эту горькую жизнь земную!

В обители многолюдной, но стройной, дисциплинированной разумно и добросовестно, в скиту лесном с тремя-четырьмя товарищами, в хижине — старец вдвоем с покорным послушником или молодой послушник вдвоем с любимым старцем-повелителем — везде монахи ищут забвения мира и его борьбы, его горя и его наслаждений; — но лишь для того, чтобы, отдохнувши ненадолго, начать новую, иного рода внутреннюю борьбу, — для того, чтобы узнать новые

горести крайне жгучие и новые радости, новые наслаждения, которых тебе и не понять, пока сама их не испытаешь!..

Знаешь ли ты, например, что за наслаждение отдать все свои познания, свою образованность, свое самолюбие, свою гордую раздражительность в распоряжение какому-нибудь простому, но опытному и честному старцу? — Знаешь ли, сколько *христианской воли* нужно, чтобы убить в себе *другую волю*, светскую волю?..

<sup>10</sup> Я улыбаюсь отсюда, воображая твой гнев и твое удивление при чтении этих *моих* строк...

Не правда ли, ты восклицаешь: «Хорошо! Но — какая же *польза* во всем этом?»

На этот вопрос я тебе отвечу тоже вопросом: «А ты знаешь, что такое *всеобщая польза*?»

<sup>20</sup> Если ты в силах ответить мне на это серьезно, *глубоко* и *научно*, если ты можешь сказать мне о пользе что-нибудь убедительное, *математически* точное, а не *социально-чувствительное*; что-нибудь такое ясное, перед чем я бы задумался, — то я согласен не хвалить более ни того, что вы зовете *мистицизм*, ни монахов, ни Афонскую Гору.

А так как я знаю, что ни ты, ни вся стая ваших прогрессивных пустозвонов, все сотрудники «Вестника Европы», «Голоса» и «Дела» не в силах объяснить мне научно и точно, что такое *по-ихнему всеобщая польза*, то я предлагаю тебе избрать лучше путь смирения, молчать и *слушать меня внимательно*.

Прежде всего, кончая это письмо, я спрошу тебя, понимаешь ли ты, что значит слово *эвдемонизм*? — Конечно, нет!

<sup>30</sup> У греков для выражения идеи *счастья* есть два слова. Одно *эв-тихия*; — это значит *внешнее* счастье, удача, хорошая судьба; — а другое *эв-демония* — *внутреннее* счастье, субъективное довольство, *благоденствие*... Ты согласишься, что это огромная разница?

Потрудись же запомнить, мой друг, слово *эвдемонизм*; я буду часто употреблять его; ибо так лучше всего назвать ту новую *религию*, которую проповедуют нам либералы и прогрессисты всех стран еще с XVIII века. — По-моему,

все остальные названия неверны; — они все менее широки и не касаются самой сущности, самого основного догмата этой новой веры во *всеобщее земное благоденствие*, которое отныне должно составлять *конечную цель* человечества.

*Реализм* обозначает в науке лишь *методу*; — в искусстве — *любовь к осязательным мелочам будней наших*; отсутствие лиризма в приемах и духе. — Реализм сам по себе не отвергает и не принимает никакой религии, никакой социальной тенденции, никакой философии. Он *игнорирует* их; — с чистым реализмом ум наш *свободен за пределами явления*.<sup>10</sup>

Если мы скажем *прогрессизм*... Это будет неверно. — Прогресс — значит *движение вперед*. — Но я имею право спросить, что такое движение вперед? — Вперед можно идти к старости, к смерти, к разорению; — вперед можно идти не к лучшему, а к худшему. — Человек может верить в нынешний прогресс, не сочувствуя ему; — француз умный может верить, например, *прогрессу своей Франции*... но куда?.. к разложению... Так верил бедный Прево-Парадоль, который застрелился. — Он, конечно, не сочувствовал этому прогрессу Франции.<sup>20</sup>

*Демократизм* — слово одностороннее и выражает только юридическую или политическую сторону вопроса. — *Равенство прав* считается лишь одним из главных условий для торжества новой *эвдемонической религии*.

То же самое и *либеральность*.

*Коммунизм* — экономическое понятие.

Коммунистами можно назвать и монахов *общежительных монастырей*; но они коммунисты для отречения, для *аскетизма*, а не для земной чувственной *эвдемонии*, которой аскетизм христианский есть *сильнейшая антитеза*.<sup>30</sup>

*Матерьялизм* есть термин столь же односторонний, сколько и *демократизм*, например; — последний имеет смысл только юридический, а первый — только философский. — Можно быть материалистом и *не верить* в земное благоденствие и даже не любить его. — Любопытно, что из *поэтов* многие были *материалистами*; — но *всеоб-*

ще-сухой эвдемонии все они, видимо, терпеть не могли. — *Нигилизм* еще хуже; — во-1-х, Кельсиев еще прежде меня хорошо возражал, что это слово значит *отрицание всего*, а люди, которых прозвали *нигилистами*, имели хотя бы и ложный или вредный идеал, но очень ясный, *положительный*; республика, атеизм, экономическое равенство... А во-2-х, слово «нигилизм» соединилось в наших русских привычках и представлениях, с легкой руки Тургенева, с чем-то отчаянным, свирепым, всеразрушающим, сибирским, революционным...

<sup>10</sup> Но *нигилистов* таких бурных мало везде, — а *эвдемонистов* множество и очень честных, скромных, везде тающихся, пишущих, служащих, торгующих, даже... даже... у нас, в России, я боюсь, в среде молодых людей, одетых в *рясу иереев*...

Эвдемонизм — это вера в то, что человечество должно достичь тихого, всеобщего блаженства на этой земле.

Разве только революционеры и государственные преступники верят этому идеалу? — Не служат ли ему тысячи людей везде полусознательно... подкапывая наивно то <sup>20</sup> один, то другой оплот, то из честолюбия личного и моды, то из вялого и незоркого добросердечия.

Прогрессист, пожалуй, в известном смысле может вовсе не быть *эвдемонистом*.

Например — *православный* человек может думать так: «За днем следует ночь, за ночью опять утро. — Теперь вечер... Итак, если *поток* уже неотвратим, то пошли Бог, чтобы *скорее* уже настала ночь, чтобы я видел зорю возрождения той Веры, которую я считаю истинной. — Ибо, даже говоря исторически, лучше ее не было и не будет на <sup>30</sup> земле... Вперед! Вперед! Слава Богу...

*Умеренные эвдемонисты* ужаснулись горящего Парижа. *Либерал-эвдемонист* Жюль Фавр послал циркуляр, повсюду привлекая внимание *монархических* Правительств на замыслы международной ассоциации, желающей тоже *общего блага*, но не по-фавровски.

Ренан простирает с отчаянием руки к *католическому* прошедшему Франции... Тем лучше. Вперед, вперед!»...

Запомни же, прошу тебя, это имя новой веры, обещающей все-буржуазный, все-тихий и все-мелкий Эдем на нашей, до сих пор еще, слава Богу, как будто бы капризной и причудливой земле.

Цель — *всеобщая польза*, понятая как *всеобщее, внутреннее, субъективное довольство*; средства — у дерзких — кровь, огонь и меч, словом, новые страдания; — у осторожных, лицемерных или робких — проповедь однообразного реализма, всеобщего ограниченного знания, всеобщей бездарности и прозы!

Если бы я хотел все это забыть здесь на Афоне, то не мог бы.

Субъективный эвдемонизм есть в высшей степени *антитеза* христианского аскетизма, как я уже сказал.

И тот, и другой имеют в виду прежде всего *личность, душу* человеческую (*индивидуума*); — но один говорит: *все на земле и все для земли*; — а другой — *ничего на земле; ничего для земли*. — «Царство Мое не от мира сего!»

И в то же время (какая странная игра идей! какое пере-  
крещивание исторических законов!) — в то же время аскетизм христианский подразумевает борьбу, страдания, неравенство, то есть остается верен *феноменальной философии* строгого реализма; а эвдемоническая вера мечтает уничтожить *боль*, этот существенный атрибут всякой исторической и даже животной *феноменальности*... Христианство сообразнее на практике и с земной жизнью, чем эти — холодные надежды всеполезного прогресса!

### ПИСЬМО 3-е

Июля 16; 1872

Я очень люблю отыскивать у наших светских поэтов православные христианские мотивы. — Ты уже заметила, я думаю, из моих прежних писем.

У Кольцова, у Пушкина их много. — Но у Лермонтова больше всех. — «По небу полуночи Ангел летел» прекрасно, но христиански не совсем правильно. — В нем есть нечто еретическое; — это идея о душе, приносимой извне на эту землю «печали и слез». — Это теория Платона, а не христианское понятие о появлении души земного человека впервые именно на этой земле.

<sup>10</sup> Зато «Молитва», «Ребенку», «Ветка Палестины», некоторые места из «Купца Калашникова», из самого «Демона» могут выдержать самую строгую православную критику и благоухающей поэзией своей могут сделать иному сердцу больше пользы (видишь, как это понимание пользы шатко: статистик твой скверный сказал бы — вреда), больше пользы, я говорю, чем многие скучные проповеди.

Есть у Лермонтова одно стихотворение, которое ты сама, я знаю, любишь... В нем надо изменить одну лишь строку... (и, мне кажется, он сам изменил бы ее со временем, если бы был жив) и тогда оно прекрасно выразит состояние моей души теперь. — Без этого изменения, сознаюсь тебе, оно теперь было бы мне противно, ибо напомнило бы мне все то, о чем я так рад забыть:

Выхожу один я на дорогу —  
Сквозь туман кремнистый путь блестит.  
Ночь тиха; — пустыня внемлет Богу.  
И звезда с звездой говорит...

Да! для меня теперь жизнь на Афоне почти такова.

<sup>30</sup> В последнем письме моем я говорил о том, что и в обителях, и в пустыне человек не может достичь полного спокойствия. — Борьба и горе, ошибки и раскаяние не чужды ему везде. — Я говорил о той внутренней, духовной борьбе, которая есть удел каждого честного, убежденного инока.

Но ты не думай опять-таки, что монастырь есть какой-то ад. — Это опять будет крайность. — Не Эдем нерушимого земного спокойствия, и не ад. — Монастырь есть жилище человеческое, с особыми горестями и особыми

наслаждениями. — Человек, чтобы иметь эти особые радости, решается на особые, сопряженные с ними горести, стеснения, падения и подвиги. — Вот и все.

Мне, как *непостриженному*, как гостю, достался пока еще один только *благой удел*... Созерцание, беззаботность обо всем внешнем, о материальных нуждах, например, по временам почти полное приблизительное спокойствие...

Уж не жду от жизни ничего я,  
И не жаль мне прошлого ничуть,  
Я ищу свободы и покоя,  
Я б хотел забыться и заснуть. —  
Но не тем холодным сном могилы  
Я б желал навеки тут заснуть.  
Чтоб в груди дрожали жизни силы.  
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь, —  
Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея,  
«Мне про Бога» сладкий голос пел;  
Надо мной, чтоб, вечно зеленея,  
Темный дуб склонялся и шумел.

10

Не думай, однако, что и вид других, вид настоящих монахов внушает скуку, тоску или какое-нибудь постоянное сожаление.

Есть минуты, в которые действительно на них тяжело смотреть. — Например — Великим постом; и особенно в Страстную неделю. — Тогда в самом деле непривычному человеку страшно немного смотреть на эту нескончаемую службу в храмах, на эти бессонные ночи и на полное воздержание от пищи и питья в иные дни. Только певчим, для поддержания их сил, дают в такие дни по куску хлеба.

Но когда вспомнишь, что этих людей никто здесь настолько не может удержать, что у многих есть даже и хорошие средства к жизни, которые они могли бы себе вернуть из кассы без всяких *юридических* препятствий (о нравственных я не говорю)... тогда и эти дни слишком тяжелого, хоть самовольного подвига производят совсем иное впечатление. — Люди хотят этого сами; — они рады этим тягостям, они не хотят отказаться от них...

30

Воля твоя! но презренны и смешны становятся рядом с такой идеальной жизнью, с такими идеальными радостями ваши «каскадные» увеселения, ваша нынешняя, средней руки, мелкая, дряблая роскошь из картона, бронзы и папье-маше!..

Зато как все веселы на Пасхе! — Впрочем, о Пасхе я уже прежде писал тебе.

В обыкновенное время многолюдная, хорошо управляемая киновия производит на посетителя успокаивающее и скорее даже веселое впечатление. — В киновии унынию мало места. — Взаимные примеры, обоюдное возбуждение; — довольные, спокойные лица; — каждый знает свое дело, у всякого свое разумно выбранное назначение. — Самый вещественный из трудов облагорожен своим духовным смыслом. — Дрова ли ты рубишь, или землю роешь в саду и винограднике, комнату ли ты метешь, хлебы ставишь в печь, управляешь ли ты небольшим имением монастырским, даже за чертой Афона, и тамходишь в сделки с мирянами, продаешь и покупаешь, нанимаешь работников и рассчитываешь их; быть может, иногда даже споришь и ссоришься с ними; — при всех этих трудах, вовсе не духовного свойства, тебе ежеминутно присуща мысль, что ты трудишься не для себя и не для труда самого (как советуют многие нынешние материалисты; — что за скука!), но для обители, которая тебя приняла в свою среду. — И если ты при этом хоть сколько-нибудь самосознателен, опытен, начитан в Писании, то тебе на ум легко при всякой работе может прийти такой ряд мыслей: «Мой простой, рабочий или торговый труд нужен обители, обитель нужна Церкви, ибо монастыри суть лучшие склады преданий и обычаев Церковных; — они — средоточия, из которых обыкновенно исходят, по совершении общежительного испытания, и самые высшие аскеты в лесные хижины и пещеры; — монастыри суть неподвижные звезды Церкви, от которых далеко льется свет на весь Православный мир». — Свет этот может быть бледнее, тусклее по временам; монашество может слабеть и падать нравственно; оно может даже вырож-

даться и становиться грубым и порочным; но в этом виновато мірское же общество, не отдающее в обители лучших своих представителей; виновато большинство, не выносящее даже и подобие аскетической жизни, а не сам аскетический этот идеал и те немногие, которые остались ему верными слугами!.. И вот, когда случится мірянину, погруженному в «житейские попечения» до невозможности какого бы то ни было богомыслия, увидеть перед собой в *наше время* высокого подвижника в пещере или лесной хижине, подвижника, которого вся жизнь, — все попечения — только одно это богомыслие, — как бывает поражен и тронут этот далеко удалившийся от духовного настроения человек!.. Мне скажут на это: «Да, пустынный монах? Монах рабочий, хозяйственный, практический монах, хлопотун по сборам и доходам обители? В нем-то какая святость!?» Пустынный этот (повторяю я) вышел на свободное пустынножителство, послуживши смолоду покорно или другому пустыннику-старцу, или многолюдной общине. — Аскет нужен, как путеводная звезда, как *крайнее* выражение православного отречения и нам, монахам-непустынникам, и многим мірянам, которых воображение требует сильных впечатлений. — Аскет нужен мірянам и Церкви; монастырь нужен аскету; — он изредка придет в обитель; — он причастится в ней, он побеседует с духовниками; — он и сам подаст им советы, если они его спросят. — Монастырь нужен и мірянину, как посредствующее звено между городской роскошью и сырой пещерой пустытника. — Богатый горожанин хочет видеть пустытника. — Он приехал издалека. — Где он успокоится и отдохнет? — Где ему будет ночлег, гостеприимство; — где та беседа, которая ему нужна? — Конечно, не в самой пещере или хижине аскета. — Строгие, истинные аскеты (какие и теперь существуют, слава Богу) не любят посещений. — Они как огня боятся репутации святости. — Придите, — они не прогонят вас, они будут и говорить с вами, но, конечно, не будут зазывать к себе. — Зачем им посетители? — Одно сму-

щение! — Денег они не берут; питаются иные от какого-нибудь рукоделья, посылая, например, послушника своего продать на базар деревянные ложки своей скромной работы; — другие и того не имеют, а ожидают, чтоб им из монастыря соседнего дали сухарей. — Живут они на Афоне в таких местах, которые доступны не всякому человеку и не всякому здоровью. — Вот, например, как описывает один лично знакомый мне автор, человек очень правдивый и умный, образ жизни и жилище строгого афонского отшельника.

«Испытавши все степени трудов и лишений пустынной, в диких местах, жизни, о. Пахомий, наконец, вселился в упоминаемой выше пещере, в которой никто из обыкновенных людей жить не может; — так что самые строгие отшельники дивятся его необычайной решимости и самоотвержению.

Но нужно было о. Пахомию получить еще от духовника благословение на водворение в новой пещере. — Желая, чтобы духовник выслушал его без предубеждения и отечески, о. Пахомий стал говорить, что, проживая временами в такой-то пещере, не ощущает никакого вреда и проч., — и убедил, наконец, духовника пойти с ним и посмотреть его пещеру. — На месте, выслушав опять исповедные слова старца, — что он ощущает великую пользу от совершенного удаления от всяких попечений и что избранная им пещера вполне соответствует его духовному настроению, духовник соизволил его желанию и благословил водвориться ему в этой пещере, но только в виде опыта, а если не сможет жить, то переселиться вниз — ближе к морю. — Много прошло времени, пока духовник окончательно благословил о. Пахомию водвориться в пещере.

В этой пещере сухо и тепло бывает только зимою, когда заметает ее всю совершенно снегом. — Недавно кто-то снабдил о. Пахомию рубашкою или двумя, обувью, подстилкою, подрясником и рясою; все это вместе с священными книгами, какие он имеет, бывает тогда только сухо, когда вывешивается на солнце, ибо в пещере сырость, и сы-

рость всегдашняя. — Некоторые из ревнующих подражать жизни его решались проводить у него малое время; — но, как видно, не стужали еще веры неколеблущейся, и все, при виде холодного и сырого камня пещерного, усомневались и пострадали различно: у одного иеромонаха в одну ночь все тело покрылось волдырями, как бы кто усыпал его горохом; — другой простудил половину тела с той стороны, какою лежал к стене пещеры, успокоившись после мирного ночного подвига; — а некоторые пострадали расстройством желудка и теперь боятся Пахомиевой пещеры как огня.<sup>10</sup>

Проводя подвижническую жизнь в таких местах, где не откуда было достать хлеба, о. Пахомий приучил себя к такой пище, которую редко кто может кушать! — И доднесь он употребляет почти одно и то же; натолчет, например, камнем гнилых каштанов, прибавит, если есть, сухарей, тоже зацветших, положит все это в воду и, заболтав мукою, иногда варит, а то и так, — и кушает себе на здоровье, прибавляя иногда дикие сухие плоды, которых никто не станет кушать и свежими, — и удивительно, остается здоровым!!<sup>20</sup>

Удивительная в нем черта всецелой преданности Промыслу Божию! — Как бы в чем он ни нуждался, никому не скажет о своей нужде, оставаясь и теперь нередко без сухарей; — а если сам кто вызовется что дать ему, усмотрев его крайнюю нужду, то старец примет, как посылаемое ему от руки Божией. — Разительнее всего преданность воле Божией, как плод живой, действенной веры, обнаруживалась в о. Пахомии во время болезней; — тут ни лекарств, ни удобств больному никаких нет, да что говорить об удобствах, когда и воды подать некому и неминуемо приходится умереть от одного только голода и жажды! — О. Пахомию только и зрится один Бог, Который послал ему болезнь, Который силен исцелить его или призвать его к вечной жизни; он в руках Божиих как бы весь, выражаясь в словах, часто им произносимых: „да будет воля Твоя! — Слава Тебе, Господи!“ — Что бы с ним ни слу-<sup>30</sup>

чилось, он все примет одинаково — с благодарностию и преданностью Господу.

Родом о. Пахомий — сербин; — говорит по-славянски, примешивая немного болгарских слов; — беседу его понимать русскому можно. — Но как сладка его беседа, выражаемая самым простым сердечным словом, — это можно только испытать, а передать почти невозможно. — Судя по настоящей обстановке о. Пахомия и неразвитости его в прежнее время, нужно бы заключить, что ему естественно <sup>10</sup> дойти до состояния звероподобного и потерять самую способность мыслить по-человечески, но опыт показывает другое. — Господь может, видно, и без книги отверзать ум к уразумению таких тайн, кои навсегда останутся недоступны для мудрецов века сего. — Да и как же иначе? — Они, эти дикари, полузвери пустынные, верят от всего сердца всему сказанному Господом в Евангелии; — сомневаться по-ученому они не умеют и приступают в полном смысле слова — в простоте сердца ко Господу, сказавшему: „научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим!“ <sup>20</sup>

Святая улыбка всегда сияет на лице о. Пахомия, как будто всем он обилует, все ему служат, над всеми он царь! — Да и в самом деле — о чем ему скорбеть и сокрушаться? — Нет у него сухарей, одежды или обуви?.. Что ж? — У него есть Бог, Который все это видит и, как Ему угодно, так о нем и промышляет. — В сем старец уверен так же, как и в том, что имя ему Пахомий. — Сыро и холодно в его пещере, и нечем защитить ее, по крайней мере от снега, так что все у него мокро и плесневеет?.. <sup>30</sup> Зато у него есть терпение, в которое он облекся как в броню! — Постигают его существенные бедствия, скорби монашеские и искушения от злокозненного врага? — Зато у старца столько преданности воле Божией, что хоть пусть столкнутся небо и земля и все превратится, — его ничто не потрясет и не поколеблет! В самом деле, — что может поколебать эту адамантову душу, если он в Боге и Бог в нем?!

В апреле 1869 года мы нарочно ходили к о. Пахомию. — О, как мы утомились, пока достигли его обиталища! — Это неизобразимо! — И ноги подламывались, во все отказываясь двигаться, и утомление было такое, что хоть ложись среди дороги! — К нашему горю, или испытанию, пришедши, мы не застали о. Пахомию в нижней его пещере; — он должен был находиться или в отлучке, или в верхней пещере. — При взгляде на подъем туда я и другие спутники окончательно отказались взбираться туда; — вызвался же сходить один пустынножитель-пещерник, бывший на этот раз нашим проводником. — Как он взбирался туда, — это нужно было видеть!.. Тут мы еще больше убедились в невозможности взойти туда нам, хотя бы мы вовсе были не утомлены; — ибо, кроме невероятной трудности подъема, угрожала еще опасность опрокинуться, скатиться вниз и жестоко разбиться. — Долго мы дожидались, разместясь в нижней трехэтажной пещере о. Пахомия, где горела лампадка пред иконою Божией Матери, разливая свой тихий свет на мрачные стены сырой пещеры и проливая в душу иной, тихий и сладостный свет от Самой Благодатной Игуменнии Афона. — Желая рассмотреть, далеко ли протягивается пещера о. Пахомия, мы стали взбираться по камням вверх, но свечи наши скоро потухли от густоты спертото сырого воздуха, и мы не могли потому дойти до конца пещеры. — После долгого ожидания я стал опасаться за целостность посла и отправился посмотреть, не увижу ли кого. — И что же? — В это время ожидаемые нами вдвоем спускались по скале: старец был впереди и полз уже от места, где кончилась веревка, а проводник-пещерник спускался, держась еще за нее и подвигаясь к концу ее. — Ужас и оцепенение овладели мною. — Я смотрел на них несколько минут, и, пока они не стали уже твердою ногою на землю, у меня заболело сердце! — Что, если ради нас спускаясь, старец или посланный за ним поскользнутся и разможат себе головы?.. Я был между каким-то неизъяснимым страхом и радостным ожиданием и упал бы в ноги старцу, прося простить, что мы его обеспокоили и подверг-

ли опасности спускаться для нас, если бы не знал, что выражением уважения и особенного внимания к его жизни можно оттолкнуть его от искренности и простоты обращения. — Почему, сдерживая слезы радости, начал я упрекать его, предваряя свидание свое с ним и говоря: „зачем ты, отче, забрался в такую даль? — Мы так утомились, идя сюда, что сил не стало и едва добрались до тебя!“ — Это я говорил, пока он приближался по тропе ко мне. — За плечами у него была торба; — одежда на нем была хоть худенькая, но полномонашеская; — под ряскою виднелась ветхая схи́ма, на камилавке толстого сукна накинута худая наметка (креп). — Постническое лицо его выражало строгость его жизни и невольно производило какое-то благоговейное впечатление. — Приняв вину на себя, старец с удивительным сердоболием стал кланяться и просить прощения за утруждение нас. Говорил же это с такою убедительностью, что я уже и пожалел о высказанных вольно словах, видя, как старец искренно испрашивал прощение, будто действительно был виновен».\*

20 Вот каковы афонские пустынники и вот как они живут! Разве может при таких условиях всякий мирянин, поклонник проникать к таким людям?

Поклоннику нужно гостеприимство обители, нужна литургия, иконы, мощи Святые, ему нужна еще прежде созерцания и оценки подвигов аскетических поэзия богослужения нашего и хоть немного философия Православия, книга хорошая, разговор неспешный и досужный с знающими людьми... Вот это все он найдет в обители.

Итак, если я служу лишь одним телесным или практическим трудом на вещественные нужды киновии, — я косвенно служу всей Церкви, которая есть не что иное, как земное, реализованное в общественной жизни Слово Самого Христа. — Копаю виноградник — я служу Христу; — управляя имением, которое дает пшеницу и хлеб на-

---

\* См.: «Письма с Афона о современных подвижниках афонских». Соч(инение) Пантелеймона, монаха. Киев; 1871 г.

сущный братии монастырской, я служу Христу; — еду я через моря на острова греческие покупать масло или машину для выделки того же масла дома из наших афонских олив, — переносу я бури и непогоды, торгуюсь с купцами, знакоплюсь поневоле и дружусь с мирскими людьми, волей-неволей иногда живу их жизнью, ем иногда и сплю не по-афонски, говорю иное, чем на Афоне, вижу вещи, которые меня борят и оскорбляют... Во мне теперь как будто и следа аскетизма не осталось... Я в ужасе, я каюсь, я утомлен; — но воспоминание о том, что меня послал начальник, избранный братиею, ободряет и утешает меня. — Вспоминая о словах игумена и о нуждах братии, я и в шумном городе, где рядом с моей комнатой играет музыка и слышны песни и пьяные крики из дома терпимости, — могу, помолясь, успокоиться мыслью, что служу обители, одной из неподвижных звезд, рассеянных по миру православному и озаряющих его. — Монах нейдет на проповедь, правда; — но монастырь принимает набожных гостей, и несколько недель или месяцев жизни при хорошем благочинном монастыре поучает лучше всякой навязчивой проповеди на миру. — Прекрасно ходить со светильником между людьми; — но хорошо организованная обитель есть уже своего рода пропаганда не словом, а делом самим. — Монашество есть, положим, крайнее выражение Христианства. — Но сила крайности подразумевает неизбежно, *органически*, так сказать, и прочность чего-то среднего, однородного с ним; но не крайнего, за сим стоящего в порядке развития.

С первого взгляда кажется, например, что монашество, отрекающееся от семьи, есть логическая антитеза семьи. — Однако на деле оказывается иное. Брак есть своего рода аскетизм, своего рода отречение. — Строгий, религиозный, нравственный брак есть лишь смягченное монашество; — иночество вдвоем или с детьми-учениками. Если отвергнуть *Таинство* в браке, если лишить его церковного смысла, то что можно противопоставить изящному жорж-сандизму или вольным и веселым сходкам в хрустальных дворцах (?) Чернышевского (?), или дружеской аристократической

сделке людей хорошего общества, подобной тому соглашению, которое, говорят, существовало между знаменитым Меттернихом и его женой? — Они, говорят, согласились помогать друг другу в карьере и не мешать друг другу в сердечных делах.

С точки зрения счастья, эвдемонизма, — чем они были не правы? — Кому они мешали? — Они были довольны друг другом, *приблизительно*, как только можно быть довольным на земле?

<sup>10</sup> Какую логику, какую идею мы противопоставим идее эвдемонического согласия двух лиц? — Долг? — Какой? — Против кого? — Противу светского общества? — Что ему за дело, если мы никого не оскорбляем? — «Vivons et laissons vivre!» — Мы добродушны, с нами весело, мы изящны даже; — у нас в доме хорошо, еще приятнее от той свободы, которая в нем царствует... Не беспокойтесь, образованное общество ловких людей в этом роде не могло и не умело никогда казнить.

<sup>20</sup> Лучшие поэты их воспевали, мыслители считали за честь бывать в их доме; — им никто не отказывал во внешнем почете, если они умели быть полезными государству или приятными народу...

Какой же еще долг? — Долг относительно друг друга? — По понятиям эвдемонической прогрессивной религии, долг состоит лишь в том, чтобы сделать избранную подругу *счастливой*; надо стараться, чтобы она как можно веселее и приятнее провела молодость свою.

<sup>30</sup> Что еще мы можем противопоставить идеалу такого веселого сожительства или требованиям фантазии, уже слишком широко и необузданно развитой?

Чувство *чести*? — Это чувство условно, и сколько мы видим людей высокообразованных, но христиански неразвитых, которые за косою взгляд или грубое слово вызовут на поединок друга и в наше не рыцарское время, а скажи иному из этих светских людей в минуту полной искренности о *чести* его жены, и он, может быть, ответит тебе: «ах, батюшка, ну что за честь? Жена моя, к несчастью, не хоро-

ша и не ловка, на нее никто и не смотрит... Какая там честь! — Что за предрассудок!.. Est-ce qu'un homme distingué peut avoir le mauvais goût d'être bourgeoisement jaloux de sa femme légitime? — Это хорошо моему управляющему Карпу Федоровичу. — Он ничего лучше своей Шарлотты Егоровны не видал. — Так, разумеется, ему и она в диво».

Еще что? — Полицейские меры? — Государственные? — Гражданский брак? — Да, если мы хотим строить общество *в принципе* на лицемерии, на обмане, на внешнем формальном соглашении. — Но не будут ли правы комму-<sup>10</sup>нисты, когда скажут на это: «хорошо и это пока; это еще шаг по нашей дороге; — Святыня убита в принципе. — Квартальный или мэр какой-то записывает в книгу, с какой именно женщиной вы желаете приживать таких детей, которых общество назовет „законными“. — Но так как везде уже права сословий более или менее сравнены и долго стоять на месте нельзя, то скоро не будет никакой особенной разницы между законным и незаконным ребенком. — Гражданский брак должен будет пасть как бессмысленное, само себя пережившее учреждение...»<sup>20</sup>

Octave Feuillet прав в своем романе «Sybelle», утверждая, что только в религии, в идеале Церковном брак тверд и осмыслен... Частные, случайные ошибки и уклонения, увлечение страстью мгновенное — не разрушат ничего, если основа цела. — Церковь прощает; — и супруги могут простить друг другу... Но как? — «Иди теперь и не грешь!» — «Боже! прости ему или ей! — Прости так, как я простил!»

Это другое дело.

Об этом я мог бы еще много, много говорить. — Я воз-<sup>30</sup>держиваюсь, чтобы не забыть надолго Афон и монахов.

Теперь, кончая это письмо, я скажу тебе только еще раз вот что. — Для семьи нужна Церковь, для Церкви Православной необходимы примеры крайнего аскетизма; — для аскетизма нужны монастыри, — для монастырей необходимы не только духовники, богословы, иеромонахи, служащие в церкви, певчие, поющие псалмы, — для них необходимы

и экономы, практические иноки, которые заботятся о хозяйстве монастырском, о приобретении средств на убранство храмов, на воздвижение жилищ, на утварь, на пропитание самое скромное и нередко даже на угощение посетителей, из которых многие молиться желают и видеть постящихся очень рады, но сами поститься слишком серьезно не хотят.

Итак, скажи доброму семьянину, которому судьба послала дом и хороших детей, чтоб он не оскорблялся, когда такой *практический* инок стучится в его дверь за подаванием. — Пусть он не возмущается тем, что этот инок ему не кажется строгим *аскетом*. — Строжайший аскет остается дома; он и не сумеет пойти на сбор; — монастырь вынужден на это благословлять людей иного рода. — И почему еще знает наш добрый семьянин, каков этот самый инок дома, в обители? — Какую жизнь он ведет там, возвращаясь в свою настоящую привычную среду?.. Быть может, — он и аскет высокой степени?.. Но он умен, и здесь он не хочет быть педантом, боится прослыть лицемером и испортить тем отчасти дела своей обители?..

Великое дело монастыри в Православной Церкви! Пусть в них есть свои недостатки, свои страсти и пороки...

Если войско страдает недостатками правителя и нации, — ищут исправить их, а не *распускают* армий.

Без монастырей, без этих *скопищ*, так сказать, *крайнего отречения*, пали бы последние основы для поддержки того *среднего отречения*, которое необходимо для хорошей семьи...

*Сизигос* (супруг) по-гречески значит *со-яремник*, *со-яремница*, если переводить яснее и ближе к современному языку. — Вот как понимала брак всегда Православная Церковь.

И не вернее ли это аскетическое понимание, не ближе ли оно к действительности, чем всякая *эвдемоническая* идеализация брака? — нежели все еще мечтать об игривом и тихом, о нерушимом счастье и согласии, после которых настает почти всегда разочарование и раздор или полная,

ровная проза, если нет в углу лампы пред образом...  
Понимаешь?

Для некоторых, в других отношениях весьма благородных натур, брак сам по себе был и будет всегда прозаичен и скучен, если рассматривать его только с точки зрения наслаждения или полуромантического сладострастия.

Ведь это истина жизни. — Как ее отрицать? — И кого мы обманем, отрицая это? — Напротив того — поэзия брака и семьи необычайно возвышенна, когда каждый шаг семейной жизни, каждый обычай, каждая черта при воспитании детей озарены идеей Православия и украшены всеми милыми преданиями народной Святыни...<sup>10</sup>

Самая непривлекательная чета, если в ней сильно чувство религиозное, в иные минуты внушает такую глубокую симпатию всякому благородному сердцу, какую не может внушить никогда «рациональный» супруг, Бог знает почему верный своей «рациональной» супруге!..

— Что ж сказать? — Видно, вкус такой. — А мне бы давно надоело ее честное «рациональное» лицо; — у всякого свой вкус... И больше ничего!..<sup>20</sup>

## ПИСЬМО 4-е

Июля. — 23

Я замечал в тебе не раз еще давно, когда ты только что начала выходить из детства, что монахини, особенно молодые, тебе нравятся, а монахи нет. — Я помню не раз, как ты, сама ничему не молясь, хвалила мне пение и службу в одном девичьем монастыре, как ты любила в него ездить, хвалила некоторых из этих «милых и бедных девушек» (так ты выражалась тогда). — Я помню также, что ты очень обрадовалась тому романтическому окончанию жизни, на которое хотела было обречь себя одна особа царской крови; — мне кажется, что этот разговор был о супруге Неаполитанского Короля Франциска. — Когда ты прочла слу-<sup>30</sup>

чайно в газете о том, что она намерена заключиться в женский католический монастырь (помнишь — мы сидели все в большой зале тогда?), — ты сказала: «Как я рада, что эта Королева решилась быть монахиней! — Уж давно что-то никто в монастырь не шел!»

О том, что Лиза Калитина была всегда любимой героиней твоей — я уже упоминал, кажется, прежде...

Отчего же ты не любишь монахов?.. Отчего ты мне однажды писала так: «если бы я могла верить, что есть на свете *хоть один добросовестный*, верующий, хороший православный монах, я поняла бы твое желание жить при монастыре... Но разве эти люди могут понять порядочного, развитого человека? — Что они сделают из него,... если он им отдаст себя в руки?»

Положим, — это ты писала мне лет семь тому назад, когда раз в минуту тоски я признался тебе одной, что мне следовало бы, кажется, кончить жизнь при монастыре православном, если не монахом, то одним из тех вечных поклонников, которые доживают свой век при обителях.

Отчего эта разница?

Или ты находила (и, может быть, находишь), что религиозность женщинам *идет*, а мужчинам не пристала?

Одна молодая католичка, красавица, воспитанная в Сирии почти в диких горах, ибо отец ее имел за городом заведение для шелка, — рассказывала мне очень простодушно, что «папá всегда смотрел строго, чтобы все дочери его были религиозны... Он говорил нам часто: „une femme doit avoir de la religion; — мужчина — *дело другое!*” — Он сам никогда не исповедовался и в Церковь почти не ходил».

Молодая женщина эта и не думала шутить над отцом или осуждать его. — В семьях тех *épiciegs*, которые воцарились во Франции на развалинах изящного и верующего феодализма, такой порядок очень обыкновенен. — Мужчина сам не верит ни во что, кроме «славы Франции, передовой нации вселенной», кроме своих прав на все выгоды и удобства, и разумности демократии; — но жену и дочерей он посылает в храм и на исповедь. — «Больше слушаться будут!»

Ты так думать не можешь, как может, в пустоте своей и слабоумии, думать отец семейства из выдохшейся, современной нам французской буржуазии.

Такого порядка у нас в России нет; — у нас религиозность и безверие распределены как пришлось между женщинами и мужчинами.

Эгоистических, тайных соображений у тебя при этом быть не может.

Итак, остается одно: чувство твое, чувство просто эстетическое...

Быть может и то, что тебе случалось знать нескольких хороших монахинь; — а монахов (я это знаю) ты ни хороших, ни дурных до последнего времени не встречала, разве на улице и изредка, изредка в какой-нибудь петербургской Церкви, в которую ты случайно заходила иногда от скуки или из какого-нибудь любопытства.

Потом надо вспомнить, кем и чем ты была окружена с детства; — ты была окружена газетами, в которых близкие тебе люди принимали участие; — газетами, в которых смеялись над И. Аксаковым за то, что он позволил себе назвать «ароматом добра» то чувство, которое объединяет на мгновение душу дающего милостыню и душу принимающего; — людьми, подобными тому седому родственнику твоему, который, узнавши, что я уехал жить на Афон, написал из приязни ко мне длинное письмо (помнишь, как я смеялся над этим письмом?) о том, что в наше время монахом может стать только идиот или мошенник; — что умнее расхотать лишние деньги на шлейфы и шляпки молодых любовниц, чем на рясы и клобуки каких-то дураков. — Что в наше время нельзя ожидать, чтобы человек, который смолоду занимался естественными, реальными науками (это все я), чтобы этот человек в здравом состоянии ума мог верить в пострижение, Православие и т. п. «При сильном воображении своем он увлекся эстетикой монашества, быть может, и раскается скоро!» — прибавил твой седой мудрец.

О, мудрец! О мой бедный продукт журнального петербургского мира!..

В наше время!.. Что такое наше время? — Его время — вовсе не мое время, быть может... Он живет вчерашней остывшей новизной, которая по закону инерции еще действует нынче и будет действовать и завтра, все расширяясь и расширяясь, но и слабея вместе с тем... А я?.. Если он, твой седой циник и любезный к дамским шлейфам утилитарист, признает во мне сильное воображение, эстетическую развитость и даже некоторую долю этих знаменитых реальных знаний, с которыми нынче все нянчатся, как дурни с писаною торбой... Если он все это придает и приписывает мне, но тем хуже для его взглядов... Разум мой, как видишь, что-то не слишком поврежден как будто бы... Мое время, не его эпоха...

У меня есть мое время, во-первых, и в настоящем, ибо «не о Петербурге едином жив будет русский человек», — но «о всяком глаголе, исходящем из истинно русского сердца»...

Я даже не хочу утверждать здесь настойчиво (именно здесь, в этом письме), что идеал эвдемонического прогресса — глуп и даже ненаучен (хотя это, по-моему, доказать нетрудно). — Сегодня я скажу только, что всякая философия, имеющая практические выводы для жизни, всякая цивилизация, эвдемоническая или аскетическая; — религия умеренного всеобщего, плоского эпикурейства и религия христианских, свободных ограничений — одинаково имеют в числе слуг своих и мудрецов, и простых людей. — Так было до сих пор. — Сравни, например, Иоанна Дамаскина и Павла Простого. — Оба причтены к лику Святых. — Иоанн Дамаскин — аристократ, вельможа, сын правителя города Дамаска, любимец своего мусульманского Государя, философ, занимавшийся метафизикой Христианства, публицист православный, который боролся письмами противу Византийских Императоров, желавших уничтожить поклонение иконам... поэт вместе с тем, сложивший множество молитв...

Павел «Простой», напротив того, был крестьянин. — Он давно хотел быть монахом, но он был женат; — жена

изменила ему; — он обрадовался и убежал к Антонию Великому в пустыню. — Антоний не знал, как бы испытать его и каким делом сначала его занять. — Он велел ему плести веревки. — Павел старательно свил их. — Антоний велел их расплести; Павел с радостью расплел их. — Антоний велел ему шить одежду; — велел распороть и снова сшить. — Павел все исполнял охотно, не спрашивая даже, к чему эта бесполезная работа. — Антоний не давал ему есть; — он не просил. — Тогда Антоний оценил и полюбил его.

Павел был крестьянин и совершенный невежда. — Но <sup>10</sup> разве Св. Иоанн и Св. Павел этот не были люди одной и той же идеи, одной и той же цивилизации? — Иоанн понимал все *in extenso*, в развитии; — Павел знал только, что Христос — Сын Божий, что Его распяли за нас и нам хорошо и полезно за Него распинать себя... Вот и все. — А до подробностей он и доходить не хотел и соглашался свивать и развивать веревки всю жизнь свою по указанию более знающих людей!..

Таких Павлов в России еще довольно, и слегка грамотных, и вовсе безграмотных. — И я не нахожу, чтоб они <sup>20</sup> были невежественнее французского или итальянского работника, бунтовщика и коммуниста, который в такой же пропорции состоит к Кабе, Фурье или Прудону по *экстензивности* и логической выработанности своих мыслей, в какой Павел Простой состоял к Иоанну Дамаскину или нынешний крестьянин-богомolec русский к Филарету Московскому или Хомякову.

Иоанн, Филарет, Хомяков — сознательные, философски развитые продукты Византийской, аскетической культуры; Павел Простой и сельский богомolec наш — <sup>30</sup> наивные произведения той же аскетической цивилизации. — Сильная вера сердца в два-три раз и навсегда принятых положения, в две-три идеи, нисшедшие в краткой и доступной *квинтэссенции* из высших сфер этой цивилизации. Вот их умственный запас.

Фурье, Прудон, Базаров — сознательные, более или менее тоже философски развитые продукты не *всцелой* ев-

ропейской цивилизации, а той *последней, вчерашней, эвдемонической, утилитарной* культуры, которая на всех углах кричит с XVIII века: «le bien-être, le bien-être des peuples», которая в лице Ламене бессовестно и подло искажает смысл Евангельского учения, уверяя простой народ каким-то лже-библейским языком, что надо бунтовать против властей. — А работник, бунтующий и едва грамотный, — это наивный, гадко-наивный, грязно-наивный, но все-таки наивный (в смысле слабой сознательности) продукт того же *вчерашнего* эвдемонизма. Он знает одно: «Il n'y a ni Dieu, ni diable; tous les hommes sont égaux» или «doivent l'être...» И жжет Париж с твердой верой сердца в эти две-три фразы, дошедшие постепенно до него из книг, разговоров и газет.

В России глубоко перемешаны и перепутаны теперь эти две культуры — Византийская — аскетическая и неофранцузская, эвдемоническая. — Вот и все. — Живем мы, правда, все *в одно* время, но живем *не одним* и тем же...

Антиподы живут на одной и той же земле, но в одно и то же время одного из них освещает солнце, а другого какая-то унылая, холодная луна!

Твой седой родственник живет вчерашней новизной; — если он мне сам присвоил сильное воображение и эстетическое чувство, то пусть он вспомнит, что люди с сильным воображением всегда предчувствовали *заранее* то, к чему приходили четверть века, полвека, век спустя, толпами люди, менее их одаренные фантазией.

Робеспьер практической гильотиной несколько десятков лет спустя старался осуществить *мечты* Руссо; — итальянское единство, как бы оно ни оказалось бесплодно и для Италии, и для человечества, но все-таки осуществилось как факт после стольких *мечтаний*, после стольких предтеч, одаренных фантазией... Германия в Бисмарке обрела реального истолкователя стольких прежних отвлеченностей... На худо или на добро для немцев в будущем — это иной вопрос.

Поэты социализма — Сен-Симон и Фурье не дожили до 48-го и 71-го годов.

Я верю, что в России будет пламенный поворот к Православию, прочный и надолго... Я верю этому, потому что у русских *болит душа*... Я верю этому потому, что нигилизм в сфере мысли *уже прожит* нами, и теперь вместо Базаровых, ушедших в Сибирь или в могилу, — он дает лишь не очень опасных Пыпиных или глупых Скобичевских каких-то, которые топорно валяют в своих критиках, что *Катерина Островского* должна бы обучиться естественным наукам и тогда бы все на свете было бы хорошо...

Распространяться в низшие слои наши нигилизму было <sup>10</sup> бы легко, ибо много мудрости не надо, чтобы из *аскетической* наивности перевести народ в *эвдемоническую* глупость... Но, с Божьей помощью, будем надеяться, что люди власти у нас не будут больше либеральничать, не будут зря спешить каким попало обучением народа из подражания соседям, которые еще не сказали *последнего слова* своего и у которых тоже, вопреки всей хвастливости их, есть много залогов *романской* анархии, особенно *после объединения*... Разделение Германии мешало, правда, иногда единству *порядка*, но оно мешало зато и единству *анархии*... <sup>20</sup> *Это надо помнить!*..

И если у нас будут, с Божьей помощью, это помнить, то можно надеяться, что *эвдемонические* влияния у нас ограничатся не разгромом, а лишь *частными превращениями*, без которых жить в истории, конечно, нельзя...

Православие Византийское, как известно, имеет в себе, между прочим, две стороны: для государственной общест-венности и для семейной жизни — оно есть религия *дисциплины*. — Для внутренней жизни нашего сердца — оно есть религия *разочарования*, религия безнадёжности на что <sup>30</sup> бы то ни было земное.

От некоторых мест «Чайлд-Гарольда» можно перейти без всякого усилия и почти незаметно к иным местам *Давидовых Псалмов*; — а от Псалмов Давида — ко всей *Христианской Церковности*.

Два величайших лирика всего мира могут легко примириться в больной и тоскующей русской душе. — И вольно

же было сухим умам — *міровую* тоску, тоску безграничную ненасытной и широкой души сводить на мелкое гражданское недовольство современностью, вместо того чтобы *разрешить ее в Боге?!..*

Понял ли бедный Герцен перед смертью, какой *решимости* у него не достало?

Хорошо и то, что он разочаровался в *чисто утилитарном прогрессе* и понял, что он, и один он, ведет или к ужасному кровавому безначалию, или к отвратительной <sup>10</sup> прозе всеобщего мелкого однообразия, предлагаемого Прудонем, или... (и это всего вернее), что, давши *кой-что* новое міру в экономическом порядке, этот утилитаризм *сопряжется* разнообразно с прежними историческими началами. — И только! *Благоденствия общего* и субъективного все-таки не будет.

За эту *строку* об исторических началах Герцену многое прежнее и вздорное его можно искренне простить.

Нет! Православие или, другими словами, культура Византийской дисциплины и земного аскетизма есть единственный <sup>20</sup> противовес теории всеобщего, мелкого удовольствия... И лучшая пища и отрада тому, кто разочарован и для себя, и за других, и за будущее друзей и близких своих, и за *будущее* всего человечества, понятое в смысле всеобщей пользы.

Кто *графически* изобразил историю земного прогресса?

Кто скажет с *реальной точностью*, как вернее изобразить его: как прямую лестницу, наверху которой приготовлены всем *равные* или приблизительно равные награды, так что и зависть станет невозможна... Или в виде широких, <sup>30</sup> все больше и больше расширяющихся кругов, неизбежно перевитых и душистыми цветами, и ядовитыми, нестерпимыми терниями?..

Сообразно с *реальными фактами*, с примерами самой природы, вне человека стоящей, с явлениями современной и прошедшей истории, с психологией нашей, которая требует попеременно отдыха и борьбы, которая жаждет разнообразия и перемены, — надо думать, что бесконечные кру-

ги более похожи на историю земного прогресса, чем чертеж прямого утилитарного восхождения посредством реальных наук, обращенных на службу равенству людей и братству народов; — не сердечному и теплому братству внезапного, личного, живого чувства, а братству юридического, насильственного, предупредительного и всегосударственному!

Фу! Что за скука! С какой я стати буду насильственно брат какому-нибудь немецкому или французскому демократу, которого даже портрет в «Иллюстрации» раздражает<sup>10</sup> меня?..

Если я христианин, то я заставлю замолчать эту свою художественную брезгливость... А если я не христианин? — Тогда меня может заставить замолчать только один страх перед толпой людей, менее меня развитых...

Хорош же прогресс!.. Если более развитой человек должен трепетать тех, которые тупее, глупее, грубее, пошлее его...

Довольно! Довольно!!!

# ПАНСЛАВИЗМ И ГРЕКИ

## I

Январь, 1873, Царьград

Я только что возвратился из путешествия по Македонии.

В столице всегда сильнее и всегда заметнее движение умов, хотя бы и по такому вопросу, которого источники и основы в провинции.

Печальное ожесточение греков и болгар друг против друга, сильное всюду, сильное, к несчастью издавна, здесь, в Царьграде, принимает более яркие краски. Сюда стекается все, и все отсюда исходит; здесь главные представители и вожди движения; отсюда рассылаются инструкции, открытые или тайные, по всем второстепенным городам; здесь иноверная государственная власть искусно колеблется между двумя христианскими народами, которых примирить может только постепенно и со временем либо общая усталость, либо какая-нибудь великая гроза неожиданных политических катастроф. Царьградские газеты принимают в этой борьбе более или менее горячее участие. «*Courrier d'Orient*» защищает болгар; «*Phare du Bosphore*» потворствует грекам; в первой газете проглядывает желание расположить славян к *чему-то* вроде латинства или уверить их в симпатиях галло-романского племени; во второй — как будто бы германец внушает греку: «не бойся славянского варварства; я с тобою!» «*Turquie*», которая считается официальным органом Правительства, сдержанна и осмотрительна, как сама местная власть...

Из всех провинций, где греки живут или только встречаются с болгарами, приходят сюда известия о непрерывной и пламенной борьбе; то болгары оскорбляют греков, собравшихся служить в Рущукe греческую особую обедню; то греки в газетах доносят на какие-то болгарские замыслы против Турции; то «*Comptier d'Orient*» страшит Турцию Панэллинизмом; то в Тульче в кофейнях драки между молодежью, какой-то молодой грек Каравиас оскорбляет болгар; то из Серреса раздаются греческие вопли, что богатые купеческие семьи, считавшиеся до сих пор эллинскими, переходят на болгарскую сторону. Греческое духовенство требует, чтобы болгарское переменило камилавки. Болгары негодуют, будто бы Патриарх хочет, чтобы Порта велела болгарам носить камилавки *красные*, для бóльшего позора. В одном македонском городе умирает молодой болгарский учитель; в народе проходит слух, что его отравили греки. Клевет, гнева, жалоб пристрастных, — с обеих сторон потоки! Однако ум беспристрастный, не подкупленный страстями борьбы, может, мне кажется, становясь попеременно и искренно то на место болгар, то на место греков, понять и тех и других и, соглашаясь, конечно, что болгары несравненно правее,\* объяснить и даже извинить в некотором смысле отчаяние греков. Богатые населенные страны ускользают из рук их племени, гордого, энергического, умного и трудолюбивого. Эллинизация Балканского полуострова — «великая идея» — становится невозможностью...

Пусть так, гнев на болгар несправедлив ни в христианском, ни в административном, ни в этнографическом смысле; но он несколько понятен, и причины, возбуждающие его, ясны не только для самих греков, но и для всякого беспристрастного наблюдателя.

Однако на чем, скажите мне, основан гнев эллинской, так называемой, интеллигенции против России?

Почему русские должны быть во всем заодно с болгарами?

---

\* Я скоро убедился в этой ошибке моей. Она была очень грубая.

Быть может, *полная солидарность* русских с болгарами не была бы выгодна ни тем, ни другим. Где доказательство, наконец, этой *полной солидарности*?

На чем основывают греки свои опасения? Что значит для них слово «панславизм»?

«Панславизм» значит для греков не что иное, как «государственное объединение всех славян» едва ли не прямо под русской Державой.

Какие у них доказательства тому, что Правительство русское может находить это выгодным для себя и для России и, наконец, для всего Славянства?

Почем они знают, наконец, что думают об этом сами болгары?

Болгары думают совсем *не то*, они думают совсем *иначе*. Болгары говорят себе так: «Обведем около нашей отсталой, бедной, но молодой и сильной духом народности волшебный круг неприкосновенности. Отпадем прежде всего от греков; оградим себя *потом* от сербских притязаний и от того, что нам покажется излишним в русском влиянии.

Вот нам что нужно. Что касается турок, то они всех менее опасны. Иноверный и инородный мусульманин может вредить нам менее, чем кто-либо. Он может вредить лишь *вещественно*»...

У греков, у турок, у многих европейцев и даже у многих русских, к сожалению, вопрос славянский является каким-то переводом немецкого вопроса на русский язык.

Какая грубая ошибка!

В Германии *одна и та же нация* прожила долгие века *раздробленная на тридцать с лишком самобытных государств* и под властью своих национальных династий.

У славян нашего времени, по крайней мере *пять-шесть наций*, из которых *большая часть не жили почти вовсе самобытную государственную жизнь*, ибо у большинства этих отдельных наций государственная жизнь была прервана в начале развития иноземным завоеванием.

У немцев — *усталость* от долгого государственного сепаратизма.

У славян — нетерпеливое желание пожить скорее независимую государственную жизнью.

Немцы — нация.

Славяне — племя, разделенное на отдельные нации языком, бытом, прошедшей историей и надеждами будущего.

Немцы могли соединиться в одно союзное государство (Etat confédéré).

Славяне могут составить лишь союз отдельных государств (Confédération d'Etats). 10

Этнографически немецкое государство и немецкую нацию можно уподобить большой планете, около которой есть только два одноплеменные спутника германского племени, Голландия и Скандинавия.

Россия — планета со многими спутниками, похожими этнографически не на Баварию или Ганновер (Баварию или Ганновер можно было бы уподобить лишь отдельному Новгородскому или Малороссийскому Царству), а на Голландию или Швецию. Разница, во-первых, в том, что, вместо двух одноплеменных наций, у России есть: чешская нация, болгарская, сербская, словацкая, польская, пожалуй, иллиро-кroatская отдельно и т. д.; а во-вторых, исторические условия сложились так, что Голландия и оба скандинавские государства ждут и боятся завоевания со стороны Германии, опасаются прекращения своей государственности; а большинство славянских наций привыкло надеяться на помощь России, на развитие своей государственности, при содействии России. 20

Судорожная, вполне немецкая, сжатая, как стальная пружина, Пруссия Фридриха II, Блюхера и Бисмарка на просторную, пеструю и медленную Россию ничуть не похожа. 30

Для Пруссии выгодно было завоевать и присоединить отдельные немецкие государства; для России завоевание или вообще слишком тесное присоединение других славян было бы роковым часом ее разложения и государственной гибели. Если одна Польша, вдобавок разделенная на три

части, стоила России столько забот и крови, то что же бы произвели *пять-шесть* Польш?

В польских делах, до последнего времени, ни Пруссия, ни даже Австрия не могли быть *вполне* свободны против нас.

В случае многих Польш, *ни с кем не поделенных*, весь мир, и Европа, и Азия, будут нам враждебны.

Потрудились ли греки подумать обо всем этом?

Вы видите, я ничего не говорю о *сочувствиях*, о *страданиях* и т. п. Все эти сердобольные фразы ни к чему не ведут. Откровенное обращение к *интересам эгоистическим* вернее. Если эгоизм государственного долга совпадает с преданиями, с привычными сочувствиями и т. п. вещами, очень высокими и важными (но не всегда *политическими*), тем лучше: тем больше можно верить так называемому бескорыстию сильной Державы.

Афинские краснобаи и мудрецы с французскими бородаками, и даже умные, опытные фанариоты забыли еще вот что:

Россия знает, что кроме чехов, болгар и т. д., есть еще *румыны, мадьяры и греки*; она знает, что две первые несоплеменные ей нации самою природой вещей *вставлены*, так сказать, в славянскую оправу, принуждены быть инородными островами в этом славянском море и будут вынуждены разделить его судьбы волей и неволей, то есть теснее или свободнее примкнуть, в случае распада Австрии и Турции, к тому союзу государств, о котором я говорил выше.

Что касается греков, то хотя их географическое положение делает их более, так сказать, свободными, чем румыны и мадьяры по отношению к этому славянскому морю, но зато их коммерческие интересы, противоположные интересам Англии, Италии и Франции на Востоке и в Средиземном море, рано или поздно оттолкнут их совсем от Запада и бросят их тоже в объятия Славянства.

Континентальная мощь соседнего Славянства, его земледельческий характер и даже особенности его гения, более мануфактурного, чем гений новогреческий, будут необходимыми условиями для процветания такой в высшей степени

торговой и мореходной нации, как греческая. Греки неизбежно станут комиссионерами Востока, и сам Суэзский канал будет в их руках. Россия вполне ли сознательно или инстинктивно, но может предчувствовать еще и такие обстоятельства, при которых именно *инородные* племена: греки, молдо-валахи, а, может быть, даже и мадьяры, будут согласнее с нею, чем южные и западные славяне.

Я, пишущий эти строки, нисколько не желаю падения Турции; напротив того, дальше я постараюсь доказать, что Турция всем нам нужна: русским, болгарам и грекам. Я думаю, что она в некоторых случаях может стать для нас самым естественным и верным союзником.

Но когда уже говорится о Панславизме, страшном для греков, то необходимо предполагать не то чтобы совершенное падение турецкого племени, или не то чтобы разрушение *всей* Турецкой Империи, — все это вовсе не нужно для Панславизма; я говорю, что при рассуждении о Панславизме необходимо предполагать только одно: *удаление мусульманского Правительства за Босфор, перенесение столицы Ислама в Бруссу, Багдад или Каир.*

Ибо пока столица Султана в Цареграде, пока он владеет болгарскими и сербскими странами, турки уже достаточно обеспечивают греков от всеславянского государства одним присутствием своим по сю сторону Босфора.

Но, становясь на точку зрения греческих опасений, допустим, что турки оставили европейский берег, что Австрии тоже нет и что на развалинах двух соседних Держав этих образовались Царства: Чешское, Угро-Словацкое, Триединое Иллирийское Королевство, Царства Сербское, Болгарское и Молдо-Валахское с присоединенною Трансильванией. Все они между собою составили союз и вступили в какую-либо особую политическую связь с Россией, связь, которой характер и форму могут определить только неуловимые теперь обстоятельства.

Смысл этого союза был бы, конечно, оборонительный против Западной Европы, коммерческий вместе с тем, таможенный и т. п.

Союз этот может быть весьма единодушен, если дело коснется притязаний со стороны или столкновений с интересами Запада; но можно ли ручаться, что он будет всегда единодушен в собственных недрах своих? У каждого из этих государств будут свои особые интересы, в которых они могут расходиться как между собою, так в особенности с Россией.

Если провинции одного и того же государства имеют очень часто противоположные интересы и вступают друг с другом в политическую, торговую или даже иногда и вооруженную борьбу (например, Юг и Север Америки, провинции республиканской Франции во времена Террора и т. п.), то как же можно думать, чтобы все эти славянские племена, *которым, повторяю, так страстно еще хочется государственной самобытности и сепаратизма*, жили бы между собою в вечном идиллическом согласии? Связь между ними может быть тесна лишь насколько нужно, чтобы Запад знал свое место.

У России будут всегда какие-нибудь частные несогласия с западно- или юго-славянским миром.

Между прочим, важный вопрос, могущий поселить несогласие между славянами, с одной стороны, и Русскою Империей, с другой, есть вопрос о *государственной форме России*. Соприкасаясь беспрестанно в тысяче мелких ежедневных интересах с Россией, славяне не остались бы равнодушны к той *государственной форме*, в которую вылилась политическая жизнь русского племени. Задача в том: будет ли им нравиться эта форма?

Например, насколько теперь мы знаем славян и австрийских, и турецких, они все конституционалисты.

В России же много людей, которые находят *подражательный* конституционализм своего рода предрассудком.

Они находят, что конституционализм естествен и благотворен только в Англии, где он выработался не путем философствования и подражания, а, так сказать, *наивно* или эмпирически, ибо англичане имели все задатки его дальнейшего существования еще в то время, когда они были

так же просты и неразвиты, как нынешние албанцы с своими беями.

Скажем даже больше... Повторим здесь слова одной из не слишком давних заметок «Русского Вестника»: «Английский Король есть в сущности Монарх самодержавный; никакая особая, писанная конституция, никакая *современная charte* не ограничивает его прав; но ограничение его власти происходит путем обычая, общественного мнения и вообще вследствие организации страны».

Такого рода русские люди думают, что *подражательные* конституции Франции, Испании и других континентальных стран только испортили их *вещественную государственную форму* и повергли их в состояние периодической анархии... Но много ли таких людей между юго-западными славянами?

Особенности их истории сделали для них магическим слово «свобода». А *магический*, кажется, вовсе не значит *логический*... И в России есть много людей, которые шепчутся о *дальнейшем развитии* наших учреждений. И в печати слышишь постоянно: «Франция, в которой распорядился самовластный Император, не могла...»

Или: «Страны *свободные*, подобные Америке или Англии, могут всегда...» и т. д.

К счастью, *особенности* русской истории сделали то, что в настоящее время так говорят и пишут большею частью только люди бездарные или поверхностные. Более способные или практически опытные признаются по крайней мере, что для нас это еще слишком рано. Основываясь на этом *отлагательстве*, человек, который бы боялся для России учреждения *собрания законодательного и министерской ответственности*, может не без основания подняться на следующую комбинацию:

«Все эти искусственные континентальные конституции, Бог даст, успеют скомпрометировать себя окончательно в глазах социальной науки и общественного мнения к той поре, когда мы, русские, объявим себя *созревшими*...»

Тогда и поверхностные практики, вечно едва поспевающие вскочить на запятки за неудержимую колесницею идей, скажут про все искусственные конституции то, что они давно уже стали говорить о столь славной во время оно французской централизации и об испанских делах...

Неудержимое расширение России в Азии, — расширение, которое не только не ослабевает, но, напротив, усиливается после всякого урона или разочарования нашего на Западе, — также будет всегда требовать сильного сосредоточия *не жизни и быта, как во Франции*, а лишь государственной, высшей политической власти...

У юго-западных славян иное положение.

Куда, без нас, будут расширяться эти другие славяне?

А жить с нами, под знаменем нашего давнего, последовательного, многотрудного, исторического развития, они, ничем перед историей не обязанные народности, свободные от высших исторических задач, вероятно, не захотят...

При образовании того оборонительного союза государств, о котором я выше говорил, непременно выработается у юго-западных славян такая мысль, что крайнее государственное Всеславянство может быть куплено только ослаблением *русского единого государства*, причем племена, более нас молодые, должны занять первенствующее место, не только благодаря своей молодой нетерпимости, своей подавленной жажде жить и властвовать, но и необычайно могучему положению своему между Адриатикой, устьями Дуная и Босфором.

Образование *одного сплошного и всеславянского государства* было бы началом падения Царства русского. Слияние славян в одно государство было бы кануном разложения России. «Русское море» иссякло бы от слияния в нем «славянских ручьев».

Греки об этом никогда не думают...

Греки не думают также о том, что Россия чисто славянской Державой никогда не была, что ее западные и восточные владения, расширяя и обогащая ее культурный дух и ее государственную жизнь, стесняли ее Славизм разными пу-

тями, которые людям, знакомым с русской историей, известны недурно теперь и которые станут еще понятнее и известнее по мере большей разработки русской истории.

Греки вообще дурно понимают вопросы внутренней политики не только при суждении о столь мало знакомой им России, но даже и об Европе Западной, которой языки, газеты и книги им ближе известны. О страшных социальных вопросах они говорят вообще мельком и небрежно. Все внимание их устремлено на дела международные. Это понятно в их положении. Однако именно наш пример может служить лучше всякого доказательства тому, что внешняя политика Державы определяется неизбежно внутренним устройством ее политического организма.

Пусть так, скажут мне добросовестные греки, мы сожалеем, что всего этого мы не брали в расчет, но ведь для нас все равно, вы ли, или сербо-болгары будут преобладающим племенем во всеславянском государстве. Во всяком случае, нам, эллинам, это соседство опасно.

Поэтому-то, отвечаю я грекам, старайтесь препятствовать Панславизму сколько хотите, если вы боитесь; но помогут вам в этом деле не нападки на Россию, которые ожесточают против вас общественное мнение наше, как и везде не слишком дальновидное в международных делах.

Повторяю вам, Россия не была и не будет чисто славянской Державой. Чисто славянское содержание слишком бедно для ее всемирного духа. И если, становясь на точку зрения вашего гнева и ваших опасений, я допущу на минуту, что Турции и Австрии уже нет и что на место их образовался тот союз государств, о коем я выше говорил, то необходимо будет прийти к следующему результату.

Россия, при сношениях с этою восточною федерацией независимых государств, неизбежно будет во многом больше сходиться с *инородными* племенами этого союза, с румынами и греками, даже и мадьярами, чем с юго-западными славянами.

Россия будет естественным защитником этих слабейших и отчасти старейших наций, против весьма возможных по-

святательств со стороны славян юго-западных, жадных, упорных и властолюбивых, как все долго, но неискусно подавленные молодые и грубые народности.

Греки, умные греки, — где ваш ум?

Вы не знакомы с предметом, о котором тревожитесь; ваше невежество во всех вопросах, касавшихся славянской истории и устройства Российской Империи, лишило этот и быстрый, и резкий ум ваш всяких дельных основ суждения.

<sup>10</sup> И какие доказательства у вас в руках, что Россия во всем сочувствует болгарам? Писали у нас и за них и против них, и за вас и против вас. Их поступка 6-го января никто особенно не хвалил. Многие находили только, что Патриарху, во внимание к умиротворению Церкви, следовало бы пастырски простить, а не объявлять *схизму*.

Кто говорит *простить*, тот признает *вину*.

<sup>20</sup> Болгары, мы знаем, вовсе не агнцы, это народ хитрый, искусный, упорный, терпеливый, — народ, который заботится теперь лишь о том, чтобы выделить свою народность какими бы то ни было путями из других, более выросших соседних наций.

Болгары не станут, поверьте, стесняться и с нами, русскими, как скоро увидят, что мы не вторили всем увлечениям их племенного раздражения. Они это уже и доказали, и мы это знаем коротко. Болгары посягают уже о сю пору и на сербское племя в Старой Сербии, рассылая туда свое духовенство и своих учителей, чтоб отбить этот край не только церковно у вашего племени, но и *этнографически* у сербов.

<sup>30</sup> Болгары не агнцы; болгары придвинутые к Босфору, болгары при устьях Дуная; болгары, у которых горсть людей богатых, искусных и горячих ведет за собою покорную силу нескольких миллионов безгласных, терпеливых и полудиких селян; болгары, которым всего выгоднее, как они сами иногда сознаются, быть заодно с турками; болгары, которые могут слиться со временем с воинственными сербами; болгары *теперь* доказали, что их *пора настает*, что уже прошло то время, когда они были жертвы или агн-

цы. У агнца выросли острые зубы и крылья. Он сам полетит и сам защитит себя. Обстоятельства ему благоприятны, и как ни горько это вам, греки, а надо сознаться, что за болгар и правда в прошедшем, и сила в будущем...

Грустно вам, что Фракия и Македония ускользают от вас... Я это понимаю. Но чем же виноваты русские в том, что во Фракии и Македонии живут люди, которые греками быть не хотят?

И вы, и болгары одинаково можете быть обвинены в филетизме, то есть во внесении племенных интересов в церковные вопросы, в употреблении религии политическим орудием; но разница та, что болгарский филетизм оборонительный, а ваш завоевательный. Их филетизм ищет лишь очертить пределы своего племени; ваш ищет перейти пределы эллинизма.

Вот в чем их правда и в чем сила их, а хвалить литургию 6-го января русские не должны, и те русские, которые знают Восток, не хвалят ее.

Русские не виноваты в том, что во Фракии и Македонии больше болгар, чем греков.

Зачем же вы не думали об этом раньше? Зачем вы не погречили болгар школами? Зачем не окрестили их эллинским духом сто лет тому назад, когда идея политической народности еще не была в ходу?

Не было силы тогда?

Это правда.

Но чем же тут виновны русские, которые вместе с вами не раз лили кровь на поле чести, которых вы когда-то, братья-греки, просвещали и учили и вере, и быту, которые вам, с своей стороны, столько раз помогали и вместе с вами делили столько торжеств и столько поражений?

История прошедшего связала нас с вами, если хотите, даже ближе и теплее, чем с болгарами, у которых и не было никакой порядочной истории... И знайте, что в близком будущем вы помиритесь опять с нами; опять будете нам братья-греки и друзья... У болгар есть братья и помимо нас, и выбор их свободнее вашего... А вы, греки, вы си-

роты в этнографии и, кроме русской Державы, старой между славянами, пресыщенной размерами и властью, снисходительной и осторожной, у вас нет друзей...

Вы верите в Германию?

Стыдитесь вашего политического ребячества!

Нынешние правители Германии поняли, кажется, что Drang nach Westen вернее, чем напор на созревающий Восток...

<sup>10</sup> И если бы Россия серьезно захотела вам вредить, то, поверьте, эти правители Германии предадут вас русским с радостью из-за малейшей уступки им по западным делам.

А если Правительство в Германии изменится, если дух бездарных либералов возьмет верх над стойким духом Императора Вильгельма, и Германия станет тогда враждебна России, то Германии не поздоровится тогда между оскорбленную Россией и Францией, остервенившеюся от ужаса и мести!

Не обманывайте себя надеждами ни на силу Германии, ни на ее сочувствие к вам.

<sup>20</sup> Вот что я хотел бы ответить грекам, которые не умеют отличать русских интересов от болгарских стремлений.

## II

Я думаю, если бы греки не подозревали везде за болгарскими русскими, они были бы покойнее. Не надо думать, что в этом чувстве есть какая-нибудь физиологическая ненависть к русским. За что же? Нет, это просто естественный расчет и рассуждение боязни. Народ малочисленный трепещет за чистоту и целостность своего племени при мысли о слиянии в одно 120 миллионов соседних славян. Славянской истории ученые греки вовсе не знают; характер русского государства, которое, с одной стороны, как мы уже говорили, чисто славянским никогда не было и не могло быть, а с другой — расширяться на юго-запад без вреда самому себе более не может, этот характер им незнаком и непонятен.

— Вы, славяне, наши естественные враги! Мы должны отныне поддерживать турок, — говорил мне раз с одушевлением молодой и очень образованный греческий епископ. — Пока существует Турция, — продолжал он, — мы еще обеспечены. Панславизм дружбою, единоверием, соседством своим опасен нам более, чем военной силой, которую, мы уверены, против нас не употребят. Но смешанные браки, необходимость знать тогда славянский язык и тысяча подобных условий могут стереть племя эллинов с лица земли. Вот почему Турция нам нужна, и критические дела были одною из величайших ошибок афинской политики.<sup>10</sup>

— Никто на Турцию и не посягает, — отвечал я ему. — Ноты нашего Министерства были всегда составлены в таком духе, что Россия не может оставаться равнодушною к жалобам христиан. Пусть Турция сумеет успокоить и удовлетворить своих христианских подданных, и Россия будет ей самый верный друг.

— Я верю, что теперешнее Правительство русское искренно в своих словах, — сказал епископ. — Оно это не раз доказало; в 29-м году, во время войны Турции с Египтом, в 66-м, и теперь, недавно, оно могло бы поступить во все иначе. Но люди проходят, правители и интересы изменяются... Тогда что? Болгары народ грубый, без вас они ничего не сумели бы сделать...

— Во-первых, берегитесь впасть во французские ошибки, — отвечал я этому молодому и пылкому епископу. — Французы до 66 года беспрестанно смеялись над невоинственностью немцев, над их несогласием, и писали в газетах и книжках своих о том, что французы рождены для военной славы, англичане для политической свободы, а немцы для философии и кислой капусты. Теперь французы этого не пишут. Нации умнеют и крепнут незаметно, и болгары давно уже не нуждаются в русских помочах. А вы все считаете их, как вы говорите, простыми и грубыми толстоголовыми, на том основании, что безграмотное сельское население болгарских стран грубее, невежественнее и про-

ще вашего живого, грамотного, политикующего греческого простонародья... Но, смотрите, не сила ли эта простота болгарская? У вас мешается в дела всякий, и разногласия у вас великая во всем; у болгар немногие вожди, обученные у вас, у нас, на Западе, увлекают за собою легко эту простодушную толпу.

Болгарская история только что начинает расти; ваша скороспелая народность далеко зреее. Это не всегда выгодно. И с другой стороны, юго-славяне вовсе не так послушны нам, русским, как вы думаете. Я видел тому много примеров. Приведу один. В одном из городов Фракии основалась несколько лет тому назад небольшая православная болгарская школа для противодействия униатской школе, основанной в том же городе польскими священниками, под очень явным покровительством консульств французского и австрийского. При начале учреждения новой болгарской школы в униатском училище было около 90 учеников. Благодаря стараниям молодого и энергического болгарского учителя, благодаря согласию двух православных консульств, русского и эллинского, благодаря, наконец, участию, которое в этом деле приняли не только влиятельные болгары этого города, но и греческий архиепископ и некоторые богатые греки, к концу первого года в униатской школе осталось не более десяти детей, все остальные перешли мало-помалу в православную.

В училище к концу года был назначен публичный акт.

Русский консул, который видел явное покровительство католических консулов униатам, не находил нужным скрывать слишком тщательное свое внимание к школе православной, пригласил с собою на этот акт греческого консула и самых значительных греческих патриотов, чтобы болгары видели доброжелательство местных греков. Греки охотно согласились. Что же сделал молодой болгарский учитель?

Под конец акта он вынул из кармана писанную по-болгарски речь и дал ее читать одному из лучших учеников своих.

Речь была наполнена нападками на греков. «Грцкый Патрик», «Фанар», «отеческое Правительство Султана, спасающее болгар от греков» и т. п.

К счастью, речь была не велика, кончилась скоро и ни один из греков хорошо по-болгарски не понимал.

Консул русский был справедливо возмущен фанатической невежливостью молодого болгарина, у которого во все время чтения этой непристойной речи глаза блистали от радости. Он призвал его к себе и сказал ему, что только во внимание к его способностям и трудолюбию не хочет ли-<sup>10</sup> шать его места, ибо на это, как ему хорошо известно, силу и средства русский консул имеет, что его просят впредь оставить в школе привычку повторять «грцы-ты», «грцы-ты», и так как на кого-нибудь нападать, по-видимому, неизбежно, то пусть твердит «франки-ты», «франки-ты», ибо школа основана для противодействия Католицизму, а не эллинизму, который, наконец, во Фракии и не силен, и не страшен. Вот один пример. И таких бездна. А вот и другой из греко-сербских дел.

Критское восстание, все греки это знают, было возбуждено не Россией, а Францией и афинскими патриотами. Россия его опасалась и не желала; но когда оно разыгралось, что оставалось делать России, этому старшему брату Православия на Востоке? Этому старшему брату оставалось сказать себе: я воздерживал пылкого младшего брата, сколько мог; он меня не послушал; это грустно; но теперь я не могу вовсе покинуть его в беде. Русское Правительство тогда начало сколько возможно умерять советами гнев турок; русское посольство своим ходатайством у Порты спасло жизнь пленным элинам, взятым с оружием в руках;<sup>30</sup> русское консульство в Крите, открыто пользуясь правом убежища, не выдавало критян, скрывшихся за стены консульского дома; престарелый русский консул в Крите, г. Дендрино, страдавший в то время ужасною болезнью, имел мужество, не сходя с постели, принимать участие во всех бурных и страшных делах, кипевших тогда на прекрасном и героическом острове. Русские суда перевозили в сво-

бодную Элладу критских женщин, детей и раненых или уставших повстанцев.

Русские *независимые* газеты возбуждали южных славян против турок на помощь грекам.

Один болгарин издавал даже нарочно с этою целью, как говорили тогда, газеты, брошюры в Валахии на болгарском языке.

И что же? Болгары остались спокойны и равнодушны; искусственное движение около Рущука осталось искусственным и не нашло благоприятных условий для развития в болгарском населении. Сербы же вместо того, чтобы по-<sup>10</sup> дать помощь грекам, воспользовались этою трудною для Турции минутой, чтобы очистить от турецких войск свои крепости.

Россия доказала еще недавно, что она действительно не ищет гибели Турецкой Империи, и этот мирный инстинкт ее, не внимающий запоздалым крикам некоторых пустых публицистов, ведет ее лишь к добру, как увидим дальше. Да, Россия и тогда не искала разрушить Турцию, но она могла желать, чтобы несколько *бóльшая настойчивость* юго-славян принудила Турцию отдать Элладе Крит, которого прекрасные горы и цветущие долины так бесплодно обогрелись кровью отважных афинян и благородных островитян.<sup>20</sup>

Сербы и болгары имели свои, вовсе не русские желания. Что было делать России?

Вот что я ответил тогда греческому епископу.

Вот что я хотел бы сказать и всем грекам.

Россия, повторяю я, доказала, что она разрушить Турцию не ищет. Это давно уже стали повторять между собою тайком и христиане; в последнее время, хотя и немногие, но умные турки стали тоже подозревать, что *это может быть и в самом деле правда*.<sup>30</sup>

Да, это так. Но вот в чем дело:

Положение Турецкой Империи (особенно по сию сторону Босфора) справедливо могло внушать опасения, спра-

ведливо могло подать повод назвать Турцию «больным человеком».

Но больной человек не значит еще человек *умирающий*; больные выздоравливают, и даже неизлечимые, в сущности, болезни как у людей, так и у государственных организмов, имеют свои послабления и улучшения, до того иногда долгие, что организм проживает обыкновенную длину жизни, погибая, однако, но гораздо позднее, иногда от той же или сходной болезни, а иногда вовсе неожиданно от иной случайности. 10

Могли ли мы оставаться равнодушны при виде подобного состояния дел в Европейской Турции, и не имели ли мы, я не говорю *права* (мы устали от этих *разных прав*, которые каждый толкует по-своему!), а *необходимости* спросить себя: «владелец этого соседнего государственного здания богат; с ним мы жили попеременно то дурно, то дружески; его отношения к нам мы уже знаем; но ввиду стольких опасных и могучих соперников (если не всегда врагов) наших на Западе, нам надо знать *на всякий случай*, в какое отношение станут к нам его *возможные* наследники, эти местные племена, соединенные к тому же с нами кто историей нашею, а кто и кровью?» 20

Вот почему Россия всегда поддерживала христиан на Востоке; она знала, что если *не она*, так *другие* будут поддерживать их *на всякий случай*.

Россия может не искать разрушения Турецкой Империи, но она не могла и стать *поручителем* за ее существование в ее теперешних пределах, когда в недрах ее были беспрестанные волнения, бунты, когда жалобы то на притеснения, то на слабость власти раздавались со всех сторон, когда финансы были постоянно расстроены, когда западные агенты командовали в этой Империи как в завоеванной стране. 30

Давно ли французские консулы, под предлогом союзничества и добрых советов, оскорбляли ежедневно самых почтенных и полезных пашей? Они смягчились только после Седана. Турки это знают хорошо, и потому, раз оправив-

шись от потрясения, произведенного в их среде известием о поражениях французских войск германцами, за которыми они думали видеть восстающую из мирного отдыха своего Россию, — раз оправившись от этого первого и неосновательного испуга своего, турки все в один голос стали *нево-льно*, инстинктивно радоваться добрым урокам, которые получала от потсдамских юнкеров зазнавшаяся и наглая французская буржуазия.

<sup>10</sup> Англичане лично вели себя в Турции всегда лучше французов, просто вследствие лучшего *личного* воспитания, но в дела мешались не менее французов и готовы были всегда поддерживать в чем угодно и христиан, лишь бы не в открытых восстаниях. Всякий искал обратить Турцию в какую-то чуть не вассальную страну. С какой же стати одна Россия, видевшая все это, оставалась бы бездейственной и не старалась бы то тем, то другим путем привлечь к себе сердца *возможных* наследников беспрестанно потрясаемой Державы?

<sup>20</sup> С какой же стати русские агенты оставались бы равнодушными, когда Англия почти дарила Греции Ионические острова, когда Франция явно ласкала болгар, обещая им *все*, чего они хотят, за переход в униатство, когда Австрия, в начале шестидесятых годов, до того явно возбуждала национальные страсти сербского племени, что простое мусульманское население сербских стран было доведено до иступления и турки *не раз* стреляли в австрийского консула в Мостаре.

<sup>30</sup> Не *самой* Турции, не Султану Россия была и должна быть враждебна; она была и должна быть враждебна западным интригам, которые до сих пор так беспрепятственно разыгрывались в недрах организма Турецкой Империи, — организма сложного и потрясенного развитием новых, посторонних Исламу народностей.

Россия и по истории своей, и по географическому положению, и по религии своей, и по племенным особенностям имела гораздо более других Держав основания искать привлечь к себе сердца *возможных* наследников, в случае *воз-*

возможного (я не говорю неизбежного или желательного, а в случае лишь возможного) ухода турок за Босфор.

Всегдашняя опасность для России — на Западе; не естественно ли ей искать и готовить себе союзников на Востоке? Если этим союзником захочет быть и Мусульманство, тем лучше. Но если Турцию никогда сила Запада не допускала до этого союза, должна ли была Россия смириться пред Западом?

Кто же потребует этого?

Россия думала найти естественных союзников в молодых христианских нациях Востока. Она поставила себе правилом: *поддерживать и защищать гражданские права христиан и вместе с тем умерять по возможности пыл их политических стремлений.*

Такова была разумная и умеренная деятельность официальной России на Востоке. Неофициальная Россия, — Россия газет, книг и частных сборищ, была, правда, менее широка и умеренна; в ней действительно замечался узкий Славизм. Так, например, Славянский съезд 67 года надо было бы заменить все-Восточным съездом; это было бы и величавее и менее оскорбительно для не-славян... Но ошибки общественной недалёковидности легко исправимы в тех странах, где сильная власть, *внимая иногда и «общественному мнению»*, не вынуждена, однако, униженно ползать пред ним. Россия, говорю я, искала сколько могла исполнить желания христиан. Болгары вначале просили только школ и литургии славянской, Россия помогала им и просила греков быть помягче и посправедливее. Греки местами просили тоже помощи на школы (например, для женских школ в Превезе, в Халки, в Буюк-Дере), — эту помощь им давали. Греки просили риз и утвари церковной, — им посылали ризы и утварь. Греческие монахи маленьких и бедных монастырей в Эпире и других местах Турции посылали старые хрисовулы московских Царей в Россию, — и им высылали по хрисовулам денег сколько могли. *Беднейшие греческие обитатели на Афоне жили и живут русскими добровольными подаяниями и наперерыв исп-*

рашивают себе право на сборы в России; *богатейшие греческие* монастыри на том же Афоне (Ватопед и Ивер) живут: один доходами с богатых бессарабских имений, другой доходами с монастыря Св. Николая в Москве.

Греки желали присоединить себе Крит; Россия просила Турцию отдать им Крит. Болгары просили сначала полунезависимую иерархию у греков, Россия просила греков и турок хоть сколько-нибудь удовлетворить их.

<sup>10</sup> У России особая политическая судьба: счастливая ли она или несчастная, не знаю. Интересы ее носят какой-то *нравственный характер* поддержки слабейшего, угнетенного. И все эти слабейшие, и все эти угнетенные, до поры до времени по крайней мере, стоят за нее.

В Польше за Правительство крестьяне-мазуры, а не дворянство; в Белоруссии еще больше... В Финляндии кто за Россию? не столько шведское *дворянство*, сколько завоеванный *финский народ*. В балтийских провинциях сельские эсты и латыши, по мнению многих, надежнее для нас, чем владетельные немцы. В Туркестане, говорят, полевое кочующее население полуязычников-киргизов, плебейство Туркестана, довольнее русскими, чем владетельным племенем сартов, мусульман. Греки жаловались на угнетение от турок: Россия защищала их; болгары жаловались на притеснения от греков: Россия защищала их. Даже в Индии, слышно, и мусульмане, и индусы имеют предсказания в пользу *уруса* и против *инглеза*... Имя *Белого Царя*, говорят, известно в Индии.

Такова особая, любопытная политическая судьба этой *деспотической России*.

<sup>30</sup> *Интересы* этой Державы везде более или менее совпадают с *желанием* слабейших. По крайней мере на время, то там, то сям, по очереди. Это вовсе не искусство, это исторический *fatum*. Это выходит иногда против воли. Правительство наше сначала опиралось больше на дворянство польское, чем на народ. Дворянство это взбунтовалось, и Правительство обратилось к народу.

Каковы же теперь желания турецких христиан, болгар и греков?

В чем состоят их *существенные* ближайшие интересы? Чтò им нужно прежде всего — не для материального существования, конечно, а для их национального развития?

Падение Турции? О, нет! напротив: и грекам, и болгарам нужно удержание турок на Босфоре, нужно сохранение целостности Турецкой Империи; турки нужны теперь и тем и другим. И нужны они не с *моей* личной или какой-нибудь теоретической только точки зрения, и не с точки зрения каких-нибудь дальновидных *русских* интересов. Нет, турки <sup>10</sup> нужны и грекам и болгарам с точки зрения именно *крайней эллинской* и *крайней болгарской*.

А если так, то, сообразно *желаниям* единоверцев наших, турки необходимы и для русской политики, этой всегда *фаталистически умеренной*, всегда *инстинктивно средней*.

Основательнее доказать все это я постараюсь в следующем письме.

### III

Грекам турки на Босфоре нужны как *средство предо-* <sup>20</sup>  
*хранительное от развития того панславистического го-*  
*сударства*, которого они так опасаются.

Пока турок на Босфоре, говорит себе теперь крайний грек, Панславизм невозможен; и нам бороться против него легче при существовании Турецкой Империи в ее нынешнем составе. Действовать против Панславизма всеми путями в Константинополе даже несравненно легче, чем в Элладе. Наши конституционные формы имеют свои стеснительные стороны; в Турции в последнее время стало удобнее для широкого ведения подобных дел. С одной стороны, <sup>30</sup> возможность народных движений, подобных тем, которыми мы терроризовали Патриархию, заставив ее объявить *схизму*; с другой — самодержавная власть, при которой, однажды расположив к себе людей силы, можно скорей и верней обеспечить успех всех возможных усилий.

Так говорят греки. Болгары — подданные Султана, и греки тоже: Элладе принадлежит всего полтора миллиона греков, большинство принадлежит Турции. У греков больше средств политических, посредством влияния эллинской дипломатии, которая теперь в большом согласии с турками; больше средств умственных, посредством открытия стольких литературных обществ, больше средств коммерческих и т. п.

<sup>10</sup> Болгар в Турции зато гораздо больше; они, правда, не имеют *вне Турции* своего политического центра, как греки в Элладе; но это не всегда невыгода. Болгары не имеют *своих* государственных людей, *своей* дипломатии, которая бы *извне* помогла им; но зато они *цельнее*; они *все вместе* под властью Султана, и потому интересы их не раздроблены; они не имеют *двух* сильных центров, подобных Фанару и Афинам, которые сегодня согласны, но завтра могут прийти в столкновение по каким-либо отдельным интересам.

<sup>20</sup> Итак, при существовании Турции, борьба довольно равна, и греки, справедливо столь гордые своим дарованием и своєю энергией, могут еще надеяться, если не на торжество (то есть на ниспровержение новых болгарских порядков), то по крайней мере на долгий и серьезный отпор развивающемуся во всех отношениях болгарству.

Турция, одна Турция, думают греки, может не допустить сербов слиться с болгарами, может покровительствовать несправедливым притязаниям болгар на сербское племя в старой Сербии, и таким образом держать эти два соседние славянские племена в долгом антагонизме. Турция, <sup>30</sup> под эллинским руководством, может препятствовать России слишком влиять на болгар и т. д.

— Союз с Турцией, с Германией, с Англией, с кем угодно, чтобы только охранить себя от всесокрушающего потока Панславизма!

Вот что восклицают самые крайние греки.

Они и правы отчасти, если стать на их недоверчивую к славянам точку зрения и если предположить, с другой сто-

роны, что Турции грозит какая-нибудь решительная опасность от славян.

Но дело в том, что именно самые пылкие и крайние болгары тоже желают сохранения Турции.

Я начал второе письмо мое словами греческого епископа; приведу здесь с *натуры* слова одного болгарского архимандрита, человека, жившего долго в России, умного, ученого и в высшей степени энергического.

— Нам одно желательно, — сказал он мне, — чтобы стал со временем и *Царь Болгарский*. Это выгоднее всего <sup>10</sup> для нашей незрелой народности; это лучше всего может предохранить ее не только от греков, но и от поглощения сербами и... от других, — прибавил он, смеясь и взяв меня за руку.

В одном печальном и грязном хану, в глухом болгарском городке посетил меня один скромный, но порядочный учитель.

— Нам, славянам, прежде всего надо опасаться Австрии, — сказал он. — Греки теперь нам уже не страшны. Но немец своею высшею цивилизацией, — цивилизацией <sup>20</sup> христианскою во всяком случае, — может гораздо глубже вредить нам *духом*, чем турок. От турок религия отделяет нас глубоко: турки могут вредить нам *вещественно*; но что делать! Надо терпеть некоторые неудобства для высшей цели.

Дальше ничего он мне не сказал, мы с ним виделись первый раз; но я понял и *дальше*.

Итак, если греки в последнее время стали смотреть на Турцию как на лучший оплот Панславизму, то болгары смотрят на нее как на охранительный покров, под которым <sup>30</sup> вернее может окрепнуть их зеленая и еще слабая народность, не страдая от духовного и сглаживающего влияния народностей соседних и родственных им, но более их зрелых, просвещенных и крепких.

— Без турок, в настоящее время и надолго, мы *слабее* всех на свете; вместе с турками мы сильнее и греков, и сербов, ибо нас *больше*, ибо мы *все вместе райя*, и не разбиты ни как греки на *две половины*, турецкую и свободную,

ни как сербы на *четыре* части: турецкую, австрийскую, черногорскую и белградскую. Мы никогда не бунтовали, как греки и сербы, мы *сознательно* не хотели помочь им во время их движений. Поэтому мы имеем право на доверие Правительства. У нас нет независимых центров, вроде Цетинья, Афин и Белграда, из которых, при случае, может грозить туркам война; у нас нет *династий* своих, нам *нечего* присоединять к независимому центру; у нас нет ни Крита, ни Боснии, ни Эпира, ни Фессалии, ни Герцеговины.

<sup>10</sup> Мы все вместе *райя*. Да здравствует же Абд-Ул-Азис-Хан, Султан наш и *Царь Болгарский!*

— Что делать, мы свыклись с турками, — сказал мне, смеясь, однажды еще третий болгарин. — Как-нибудь проживем. Этнография же говорит, что мы отчасти одной породы с ними. И славянские ученые этого не могут вполне отрицать.

Относительно чувств болгар к России вот что можно сказать: большинство болгар образованных России не враждебны; напротив того, они ей желают всякого добра, даже гордятся ее успехами, не прочь при случае от ее помощи (впрочем, *очень осторожной*; смелая помощь не нравится им и вредит в глазах турок, по их мнению). Но и *политически* и, так сказать, *культурно* они желают быть как можно более *болгарами*, как можно менее греками, сербами или русскими.

<sup>20</sup>

— Если Россия желает нам бескорыстно того добра, которого мы сами себе желаем, то она поймет, что сближение с турками было бы для нас выгоднее всего.

— Россия, то есть благоразумная часть России, — ответил бы я *этакому болгарину*, — желает вам блага и не желает, конечно, туркам зла; у нее есть соперники опаснее турок, и ей впору лишь думать о своих западных границах и своих внутренних делах.

<sup>30</sup>

Действительно, кто же у нас этого не знает, опасности у России есть серьезные.

Государственные люди и сами нации, если они не ослеплены заносчивою небрежностью, берут меры заблаговре-

менно, и тогда еще, когда обстоятельства, по-видимому, *весьма* благоприятны.

Расчет будущего ведется не на счастливые условия, а на худые.

Дело германского объединения еще не кончено. Голландия, быть может, целая Дания, наши балтийские и завислинские провинции, немецкая часть Австрии, вот еще сколько разных добыч могут иметь в виду германские патриоты. Мы их за это и не осуждаем: политика международная не есть сентиментальная идиллия, которой бы желали иные сердобольные фразеры и столь многие дельцы, воображающие, что весь мир и в самом деле создан только для спокойного процветания *их* торговли и для развития *их* благоденствия, *их* капиталов.

Международная политика есть неизбежная в истории игра сил, так сказать, механических сил народной жизни. Вопрос ее — вопрос о взаимной *пондерации* этих народных сил. Смотри по эпохе, по внешним обстоятельствам, по внутренней организации своей, всякая нация бывает завоевательною, насильственной, или мирною, оборонительною, выжидающею. Но иные нации, иные государства чаще судорожны и буйны; другие очень редко и лишь в крайности. Германия ныне вступила в тот же период, в котором была Франция при Наполеоне I. Разница в том, что у Франции было тогда, что сказать свету; свет европейский, видно, нуждался тогда в уроках демократической силы. У Германии нашего времени нет своего слова *всемирного*. Все, что у нее есть, известно и без нее. Нельзя же *величавые* (я не хочу сказать *великие*) принципы 89 года, как бы они ни были ошибочны и для самой Франции смертоносны, сравнивать с такими сухими утилитарными мелочами, как всеобщая мелкая *принудительная* грамотность и тому подобные немецкие вещи.

Поэтому-то Франция, увлекаемая своей *мировою* идеей, и переступала так далеко и бесплодно для себя, но не без временной пользы для других, естественные границы своего племени; Германии же нет [ни] нужды, ни призвания пере-

ходить за пределы того, что она основательно или нет может считать *Германством*.

Но эта самая бедность современной германской идеи и составляет ее силу; идея проще и яснее и имеет даже более подходящую к *правде* и к *праву* физиономию.

Чтобы понять Восточный вопрос в его новой фазе, надо стать на место немцев и спросить себя: «Что для них выгоднее всего в смысле преобладания?»

10 Ясно, что лучшая комбинация для них была бы вот ка-  
кая:

1. Ослабить Россию в Балтийском море и на Дунае.
2. Завладеть частью западных окраин России и германскою Цислейтанией.
3. Создать себе на юге союзника достаточно сильного, чтобы он годился ей против России, и достаточно слабого, чтобы он повиновался германскому руководству.

20 Допустим счастливые условия для осуществления такого плана: Россия побеждена; положение самого Петербурга становится нестерпимым так близко к границе враждебного государства. Нынешняя Австрия, союзник Германии в этой борьбе, по условию отдает ей свои немецкие провинции и Богемию. Династия Габсбургов переносит свою столицу из Вены в Пешт и вознаграждается на первый раз Молдо-Валахией с Добруджей. Молдо-валахов можно привлечь всегда в подобную сделку, присоединив к ним всех австрийских румынов и турецкую Добруджу, в которой румынских сел очень много. Босния с Герцеговиной также могут быть отданы Австрии: у нее у самой много людей сербского племени, которые могут радоваться перенесению центра сербской тяжести из Белграда в Загреб, Дубровник или какую-нибудь иную сербско-католическую местность.

30 Образование этой юго-славянской конституционной федерации, с примесью мадьяр и румынов, на развалинах Турции, обеспечило бы за Германией на долгие времена страшный перевес над всем, не только европейским, но и ближайшим азиатским миром.

Конфедерация эта была бы именно настолько сильна, чтобы сокрушить с помощью Германии влияние России на дела Юго-Востока, и достаточно слаба, вследствие сепаратистских наклонностей племен, ее составивших, чтобы повиноваться Германии. Дунай стал бы тогда действительно рекой германскою. Болгария принуждена была бы волей-неволей разделить судьбы других юго-славян, «и» Царь Болгарский ушел бы далеко за Босфор; полутатарская Московия была бы отброшена к Сибири и Кавказу.

Австрия на устьях Дуная, у ворот Царьграда или, лучше сказать, в самом Царьграде, быть может, и в Варшаве, Австрия угрожающим рассыпным строем опоясывала бы Московию от берегов Балтийских до Чорного моря и Дарданелл, а за нею виднелись бы сплошные и твердые германские колонны.

Прекрасное бы тогда было положение эллинов! О, как эти бедные эллины простирали бы тогда руки то в Багдад или Брусу, к тем умеренным и терпеливым людям, которых так недавно еще звали «варварами», «нечестивыми агарянами», «зверями в образе человеческом», то к далекой Сибири, к Уралу и к Москве.

С одной стороны, великие войны 66 и 71 годов, с другой — по-видимому, столь скромный вопрос Греко-болгарский, одинаково изменили физиономию европейской политики.

Австрия становится естественным физиологическим врагом России, Турции и греков. Турция — естественным союзником России по делам австро-германским и греков, вследствие их антиславянской паники.

Быть может, даже и большинство славян турецких в минуту грозного решения станут на сторону Султана против духовного преобладания немцев, как говорил мне тот почтенный учитель болгарский в уединенном и глухом хану.

В уединенных, грязных и глухих ханах Болгарии и Фракии есть нынче люди, которые понимают эти вопросы.

Австро-германские дела — вот исходная точка того политического переворота, который, несмотря на все частные

распри, ранее или позднее, должен хоть по времени объединить в одной высшей, настоятельной потребности все или почти все народности и государства европейского Востока.

Я сказал, что выгодно для Германии и Австрии. Сказал, что выгодно для греков и болгар. Сказал, наконец, что выгодно для России в настоящую минуту.

Повторю все это.

Для Германии и Австрии выгодно было бы (если б это было возможно) ослабление России и разрушение Турции.

<sup>10</sup> Для России *постепенное, осторожное* развитие греков и юго-славян под владычеством Султана; сохранение добрых отношений и с турками, и более или менее со всеми восточными христианами, прежде всего на случай какой-нибудь западной грозы.

Всевозможное миролюбие и всевозможное искусство правителей не может наверное ручаться, что сумеет изменить, по своей воле, в корне течение исторических судеб.

Я выше говорил, что расчет государственный должен вестись не на одни счастливые случаи, но и на несчастные.

<sup>20</sup> Это вернее. Россия миролюбивее других великих Держав не по какой-то гуманной монополии. Есть люди очень гуманные, но гуманных государств не бывает. Гуманно может быть *сердце* того или другого правителя; но нация и Государство — не человеческий организм. Правда, и они организмы, но другого порядка; они суть *идеи*, воплощенные в известный общественный строй. У *идей* нет гуманного сердца. Идеи неумолимы и жестоки, ибо они суть не что иное, как ясно или смутно сознанные законы природы и истории. «L'homme s'agite, mais Dieu le mène»!

<sup>30</sup> Россия миролюбива вследствие широты своей, и вещественной, и духовной. Эта широта есть ее исторический *factum*.

Но русские справедливо хвалятся, что все завоеватели: монголы, поляки, Карл XII, Наполеон I и сам Фридрих Прусский — разбились об их спокойную грудь.

Вот поэтому-то Россия и не боится Германии; но правителям России предстоит удалить и устранить, с своей сто-

роны, всякую возможность столкновения. Они хотят, чтобы *совесть была чиста у России*.

России нечего *отнимать* у Германии. Немцы найдут, что отнять у нас, если захотят. Немцы, и преимущественно немцы духа *не чисто прусского, а более либерального*, увлекаемые каким-то злым духом своим, не могут видеть балтийских соотчичей своих в руках России.

Рано или поздно этот кровавый призрак встанет пред нами, мы это знаем, хотя и отдаем всю должную честь мудрому миролюбию наших опытных правителей. 10

Итак, все соединяется в настоящее время к тому, чтобы Турция была не только сохранна, но и по возможности расположена к нам.

Турки, быть может, этого *еще не поняли*; быть может, и долго не поймут; привычки недоверия вкрались смутно в их души. Немногие у нас в России понимают это. Греки, те уже вовсе, кажется, не понимают и поймут это, я думаю, позднее турок и позднее нашего *общества* (я говорю, *общества*, а не Правительства).

Мне кажется, болгары ближе всех к истине, когда, предчувствуя *молодым* инстинктом своим естественное, неизбежное течение дел, они говорят «и *Царь Болгарский*». Они каким-то *наитием*, мне кажется, угадывают ту *среднюю диагональ сил*, по которой уже движется Восточный вопрос, вступивший в совершенно новую фазу после Седанского погрома и... после болгарской литургии 6 января 72 года. 20

Литургию эту, с точки зрения Православия, конечно, хвалить нельзя, точно так же, как и объявление *раскола*.

И те и другие неправы в том, что слишком бесцеремонно употребляют орудием своих племенных препирательств великую святыню *личного, сердечного* Православия. 30

Но можно надеяться, что с переменою некоторых лиц и обстоятельств *слово раскол* будет взято назад, и этот *частный* вопрос кончится тем, что усталый от собственного напряжения эллинизм войдет в свои естественные эпиро-фессалийские берега.

Повторяю здесь вкратце те заключения, к которым привели меня (ошибочно или нет — не знаю) мое беспристрастие, мое знакомство с современным Востоком и его политическими делами. Болгар против греков я не защищаю. Это и не нужно. Схизма принесла болгарам более пользы, чем грекам.

Болгары, *сравнительно с прежним положением своим*, будут крепнуть; греки, несмотря на все свои усилия, *сравнительно с прежними претензиями своими*, будут ослабевать.

Положение болгар в Турции выгодно, и они просят только об одном, чтоб им не мешали жить хорошо с турками.

*Но греки*, говорю я, напрасно нападают на Россию. Это им вовсе невыгодно, и они скоро образумятся. Это несомненно.

Я становился по очереди на точку зрения греческих опасений и на точку зрения русских интересов.

И те и другие совпали, во-первых, в том, что *узкий* Славизм был бы одинаково опасен и для эллинского племени, и для великорусского Царизма.

Я сказал, что, предполагая даже самое худшее в настоящее время, с крайне эллинской точки зрения, именно предполагая *неожиданное удаление* турок за Босфор, все-таки *русское Государство, великорусский Царизм* (от которого и общество русское ждет еще многого) будет вынуждено *нередко, если не постоянно*, поддерживать всеми силами своими иноплеменников и этнографических сирот Востока, греков, румын, быть может, мадьяр и азиатских мусульман.

Здравая, вполне законная потребность, или более чем потребность, *обязанность* самосохранения *вынудит* такую политику. Чтобы понять, *стоит* лишь внимательно *поглядеть* на карту Европы и вспомнить историю России.

Я старался показать, сверх того, что историческая судьба России склоняла ее всегда к защите слабейшего или

младшего, или устаревшего, одним словом, того, кто был недоволен своими *ближними* и сильнейшими. Греки, конечно, были бы *слабейшими* не только против всего юго-славянства, но и против двоих соседей своих, сербов и болгар.

Они, еще не чувствуя этого, уже и теперь во многом, как я указывал, слабее даже *одних болгар*.

Подобно тому, как Россия никогда не имела и не хотела потворствовать грекам в эллинизации болгар, она не допустит никогда, *пока у нее будет сила*, стереть националь-<sup>10</sup>ность греков.

Только в немыслимом случае *распадения Царства нашего* у греков не осталось бы надежды на спасение от потока одностороннего Славизма.

Это я говорил, допуская возможность скорого удаления турок за Босфор.

Я делал это для изображения лишь *самой крайней возможности*, не более. Я поступил так, как поступают в геометрии, допуская, что у линии есть только длина и *нет ширины*, которая в природе есть всегда у всякой реальной<sup>20</sup> линии.

Я брал Восток Европы, не принимая в расчет австро-германских интересов.

Картина стала *реальнее, ближе к современной истине, практичнее*, когда была взята и эта сторона в расчет. *Оказалось тогда, что туркам и не нужно скоро уходить за Босфор.\**

Наконец, если мы прибавим еще два слова и позволим себе упомянуть здесь, хотя вскользь, о *глубине* социального европейского вопроса, то общая перспектива современных<sup>30</sup> дел откроется еще яснее; расширяясь, мысль получит плоть. Картина современности станет еще нагляднее и вернее.

С одной стороны, *весь Запад, малоземельный, промышленный, крайне торговый и пожираемый глубоко ра-*

---

\* Я прошу попомнить, что это писано в 1873 году, т. е. до последней войны.

бочим вопросом. С другой, весь Восток, многоземельный, мало-промышленный и не имеющий рабочего вопроса, по крайней мере в том разрушительном смысле, как он является на всем Западе, латинском и германском, — Восток, имеющий громоотвод ему в своей общей многоземельности.

Один американский дипломат сказал так на каком-то обеде:

— Восточный вопрос объемлет все дела Востока, от <sup>10</sup> берегов Китая и Японии до Средиземного моря и Египта... Все Державы могут быть заинтересованы в таких делах... Но задача в том, что Соединенные Штаты и Россия на все эти дела смотрят иначе, чем Державы и нации Западной Европы.

(Я не помню в точности выражений этого американского посланника, но за смысл ручаюсь.)

Да! пока у Запада есть *династии*, пока у него есть хоть какой-нибудь порядок, пока остатки прежней великой и <sup>20</sup> благородной христианской и классической Европы не уступили места грубой и неверующей рабочей республике, которая одна в силах *хоть на короткий срок* объединить весь Запад, до тех пор Европа и не слишком страшна нам, и достойна и дружбы, и уважения нашего...

А если?..

Если весь Восток, многоземельный и могущий произвести охранительные реформы там, где у Европы загорится опять *петролий*... и, конечно, шире и страшнее прежнего; если Восток этот не захочет отдать свои *верования* и надежды на пожрание тому, что тогда назовется, вероятно, <sup>30</sup> тоже *прогрессом*?..

Если Запад не найдет силы отстоять у себя то, что дорого в нем было для всего человечества; разве и тогда Восток обязан идти за ним?

О, нет!

Если племена и государства Востока имеют смысл и залоги жизни самобытной, за которую они каждый в свое время проливали столько своей крови, то Восток встанет

весь заодно, встанет весь оплотом против безбожия, анархии и всеобщего огрубения.

И где бы ни был тогда центр славянской тяжести, как бы ни были раздражены греки за то, что судьба осудила племя их на малочисленность, где бы ни была, наконец, тогда столица Ислама, на Босфоре, в Багдаде или Каире, все тогда, и греки, и болгары, и русские (а за ними и турки), будут заодно против безбожия и анархии, как была заодно когда-то вся Европа против насилующего Мусульманства.

10

Соединенные тогда в одной высокой цели народы Востока вступят дружно в спасительную и долгую, быть может духовную, быть может и кровавую борьбу с огрубением и анархией, в борьбу для обновления человечества...

Славяне одни не в силах решить этого ужасного и великого вопроса. И если мы уйдем от него, то не уйдут от него эти бедные дети наши, которые растут теперь на наших глазах.

Вот это, друзья-эллины, действительно «великая идея», вот это настоящий *Восточный вопрос*, за который, пожа-<sup>20</sup>луй, и стóит страдать и жертвовать жизнью и всем достоинством!

А ваш частный вопрос — Босфоро-Балканский, ваш этот малый вопрос, он кончится только тем, что племя ваше устанет в борьбе с упорными и ловкими болгарами, постигнет лучше свои законные пределы и поймет очень скоро, повторяю, что самый верный, самый твердый друг этого законного эллинизма пребудет все-таки столь оклеветанная и всепрощающая Россия.

# ПАНСЛАВИЗМ НА АФОНЕ

## I

В предыдущих письмах моих под заглавием «Панславизм и греки» я изложил вам свои взгляды на Восточный вопрос и на новую фазу, в которую, мне кажется, он вступил после поражения французов германскими войсками и еще более после насильственного разрешения Греко-болгарского вопроса. После этого мне легче будет говорить о Святой Афонской горе и том, как и в это глухое и тихое убежище *чистого* Православия пытается проникнуть национальный фанатизм эллинской политики.

Прежде всего надо для тех, кто мало знаком с Востоком и Святыми Местами, объяснить, хоть кратко, что такое Афонская гора и в каких отношениях состоит она к Турции и Вселенской Патриархии.

*Афонская гора есть особая привилегированная провинция Турецкой Империи.*

Я не буду говорить о ее географическом положении: всякий сам может взглянуть на карту.

Отношение Афона к Турции можно уподобить вассальным отношениям, ибо самоуправление у него почти полное и *de jure* и *de facto*.

Но монахи, населяющие его, считаются подданными Султана, а не какой-либо местной особой власти, как жители тех областей, которые имеют с Империей лишь чисто вассальную связь.

В случае общих гражданских тяжб или обыкновенных уголовных дел монахи афонские подчинены высшим судебным и административным учреждениям Македонского вилайета.

На Афоне живет особый каймакам, турецкий чиновник, состоящий под начальством у салоницкого генерал-губернатора, то есть македонского, ибо по-турецки Македонская область называется теперь *Селаник-вилайет*.

Каймакам на Афоне имеет, собственно говоря, только полицейскую власть, да и то употребляет их преимущественно лишь по требованию монашеского местного Синода, называемого *Афонский Протат* (от греческого слова *πρῶτος* — первый).<sup>10</sup>

В церковном отношении, каноническом и духовно-административном, Афон зависит от Константинопольского Патриарха, и все монастыри его суть монастыри патриаршие, ставропигиальные, то есть не зависящие от местных или соседних епископов и митрополитов, например, Салоницкого. Всеми местными делами правит *Протат*, который состоит из двадцати членов или представителей двадцати афонских монастырей.\*<sup>20</sup>

---

\* Из этих 20 монастырей некоторые *общежительные* (киновияльные, *сенобии*); другие *своеобычные* (по-гречески *ἰδιορρυθμα*). Разница в том, что в *общежительных* царствует строжайший коммунизм; никто не имеет ни права личной собственности, ни денег при себе, ни пищи в своей комнате без особого на то разрешения начальства, да и то очень редко, в случае путешествия, болезни или вообще чего-нибудь исключительного. Напротив, в *идиоритмах*, то есть *своеобычных*, подчиняясь в главных основаниях монастырской жизни общему уставу, монахи имеют право жить гораздо свободнее, чем в киновиях; общего обязательного стола нет; каждый может есть в своей келье (хотя в трапезе каждый день готовится какое-нибудь самое простое кушанье для немощных посетителей, для работников и для монахов, не желающих есть у себя). Сверх того, один монах может быть лично очень богат, а другой не иметь ничего, и т. д. Всех своих денег отдавать в общую кассу, как в киновиях, монах *своеобычного* монастыря не обязан. Всем выдается из монастырских кладовых и погребов *нечто* общее, масло, мука и т. п.; а сверх того

По внутреннему административному своему устройству Афон похож на аристократическую республику, где аристо-

---

каждый может приобретать и издерживать свои средства как хочет, — конечно, не на какие-нибудь вовсе недопустимые в обители вещи. Иные русские писатели, печатавшие об Афоне, называют эти монастыри *штатными*, потому что в России подобные своеобразные монастыри имеют определенный *штат*, определенное число монахов; на Афоне этого нет; монастырь принимает сколько ему угодно людей. Иные также думают, что все *киновии* на Афоне более или менее бедны или, лучше сказать, что все небогатые монастыри киновиальны, а все богатые своеобразны. Это ошибка. Болгарский *Зограф* — киновия, однако он второй по богатству монастырь на Афоне; он имеет до 50—60 тысяч дохода только из Бессарабии; напротив того, греческий своеобразный монастырь *Филофей*, например, в настоящее время крайне беден. Болгарский *Хилендарь* тоже не богатый, имеет, однако, своеобразный устав. Есть еще и другие ложные или одно-сторонние взгляды на афонские монастыри. Например, иные думают, что если *своеобычный* *Ватопедский* греческий монастырь очень богат, то значит *все* монахи в нем богачи, наслаждаются жизнью, тунсядцы и т. п. Совсем не так. Богаты, положим, отец Иаков, отец Анания, отец Панкратий и т. д. Они, точно, занимают в монастыре по пяти, шести и десяти хороших комнат; имеют в банках где-нибудь или в своих сундуках свои большие деньги, сверх того вклада, который они внесли в кассу обители для получения лучших комнат и других привилегий. Они, это правда, сидят в шелковых рясах на широкой софе турецкой, курят наргиле, едят мясо в скоромные дни, *представляют* обитель, ездят изредка в Афины, Стамбул, Одессу, Кишинев и т. д. Таких людей найдется (в Ватопеде, например) на 200 с лишком монахов *не более десяти или двенадцати*. — Остальные — люди бедные, которые исполняют в обители различные работы (или, говоря по-монашески, *послушания*), служат при церкви, варят кушанье, месят хлебы, рубят дрова и т. д. Все они получают, кроме определенной провизии, еще небольшое жалованье из монастырской кассы и *на сторону* поэтому работать не могут. Прибавим еще вот что, — и это очень важно. Богатый *проэстос* афонского *идиоритма* на многих, и набожных и неверующих людей, производит дурное впечатление... «Что за монах! — говорят люди, — это не инок; это какой-то богатый и лицемерный прелат». Правда, эти люди больше похожи на прелатов или на богатых мирян, у которых набожность соединяется с любовью к роскоши и независимости. Но

кратический элемент представляют, однако, не лица, а корпорации.

---

что же в этом худого, во-первых? А во-вторых, именно своею светскостью, своим богатством, весом и связями эти люди иногда в высшей степени полезны остальному Афону. «Это столбы наши!» — говорил мне про них один русский игумен. Не аскет, который не выходит из пещеры своей, будет отстаивать афонские права, а проэстос, в шолковой рясе, курящий наргиле. За проэстосом и аскету свободнее совершать свои подвиги. Еще вопрос: какие же удобства находит бедный монах в своеобразном монастыре против кинонии, где все более равны? Он имеет больше свободы. Во-первых, он не обязан ходить на всевозможные службы в церковь, подобно киновиату; может, не спросясь, прочесть молитвы дома, это предоставляется его совести; во-вторых, он свободен в выборе пищи, одежды, общества и т. п. В кинониях без разрешения духовника монахи не имеют права беседовать по двое, по трое в кельях своих, — и за этим смотрят строго, особенно относительно молодых; в своеобразной обители один монах может пригласить другого пообедать с ним вместе в келье, побеседовать, помолиться вместе. В кинониях, особенно в греческих, которые с иных сторон еще строже русских, не позволено, напр(имер), иметь вечером лампы или свечи без спроса для чтения, даже иеромонахам, которые, благодаря своему сану и постоянному утомительному подвигу долгого богослужения, всегда имеют кой-какие привилегии. В своеобразных никого не станут стеснять. В кинониях нельзя без спроса духовника или игумена выйти за ворота; в своеобразных можно гулять, когда кончат работу, сколько угодно; нельзя только не спросясь у начальства пойти в другой монастырь или в афонский городок Карею. Нельзя, разумеется, не содержать постов, нельзя слишком часто не присутствовать при церковном богослужении и т. п. И богатый проэстос, и бедный рабочий монах обязаны ходить в церковь хотя настолько, чтобы не было соблазна другим, и т. д., одним словом, в кинонию идет тот, кто предпочитает равенство, а в идиоритм тот, кто предпочитает свободу.

Многие, и из мирских людей и из монахов, слишком уже возвышают киновиальную жизнь в ущерб своеобразной и желали бы, чтоб и в России, и на Афоне все обители были кинонии. Но толковый почитатель монашеской жизни не должен забывать, что слишком натянутая струна рвется. Не всякий из желающих искренно пострижения и удаления от мирской жизни может понести сразу все стеснения коммунизма киновиального. Иные люди, болезненные,

Эти корпорации суть двадцать привилегированных монастырей, имеющих право посылать в Протат представителей.

Вот их имена:

### Греческие монастыри

- 1) *Ватопед*; 2) *Ивер*; 3) *Эсфигмен*; 4) *Ставро-Никита*;
- 5) *Филофей*; 6) *Котлomuш*; 7) *Каракалл*; 8) *Григориат*;
- 9) *Дионисиат*; 10) *Свв. Павла и Георгия*; 11) *Дохиар*;
- 12) *Ксеноф*; 13) *Симо-Петр*; 14) *Лавра Свв. Афанасия*;
- <sup>10</sup> 15) *Пантократор*; 16) *Ксиропотам*; 17) *Костамонит*.

### Болгарские

18) *Зограф*; 19) *Хилендарь* (*Хилендарь* вначале был сербский, но мало-помалу болгары, как соседние по местности, заняли их место, а сербы стали все реже и реже являться на *Афон*)

и 20) *Русский Св. Пантелеймона*. (В нем, если не ошибаюсь, на пятьсот человек около полутора ста греков, и сам игумен, отец Герасим, столетний грек, известный издавна в тех краях умом своим и безукоризненною святостью своей долгой и многотрудной жизни. Русскими он <sup>20</sup> чрезвычайно почитаем и любим.)

Всего монашеского населения на *Афоне* полагается около 8—10 тысяч, не считая подвижного населения — поклонников и наемных работников из соседних местностей. Население двадцати вышеназванных монастырей составляет меньшинство. Остальные монахи расселены: 1) по *скитам*, то есть по обителям меньшим, не имеющим права голоса в *Протате*, построенным на земле которого-нибудь из *действительных*, привилегированных монастырей и более

---

вспыльчивые или непостоянные, при всей искренности своей на всю жизнь остаются негодными для *киновий*. *Афон* именно тем и хорош, что в нем оттенки монашества бесчисленны.

или менее зависящих от него (таковы, например, *Русский скит Св. Андрея*, или *Серайский скит*, зависящий от Ватопеда; скит *Св. Илии*, тоже русский, населенный выходцами из южной России, зависимый от греков Пантократора; *Молдавский скит* и др.); 2) по кельям и каливам, то есть по отдельным домикам в лесу, тоже на монастырской земле, и под началом монастыря. Келья есть жилище с домовою церковью; калива — домик без церкви; 3) по наемным квартирам в небольшом афонском городке, называемом *Карей*, где живет каймакам турецкий и заседает Протат, и, наконец, 4) по шалашам в лесу, и по скалам и пещерам, иногда едва доступным.

В племенном отношении греки преобладают далеко над всеми другими элементами. Русских не насчитается и 1000 человек, болгар не более того, а молдо-валахов, грузин и сербов очень мало.

Едва ли на 9000 монахов афонских найдется две с половиною тысячи не-греков.

Официальный язык на Афоне греческий. Уставы везде хранятся византийские и вообще хранятся строго. В славянских монастырях, Хилендаре и Зографе, ничего нет особого, кроме языка и церкви. Убранство церквей, общий чин обителей, род иконописи, церковный напев, образ жизни, образ мыслей, — все такое же, как и у греков. Зограф и Хилендарь просто перевод греческой монастырской жизни на славянский язык.

Несколько иначе живут русские в монастыре Св. Пантелеймона и в Св.-Андреевском скиту. У них другое пение, иное убранство храмов; есть свои оттенки в уставе, пище, порядке, занятиях, привычках; эти обители, по внешности своей, напоминают во многом великорусские монастыри.

Общеафонскому уставу и местным преданиям эти русские обители подчиняют себя строго и беспрекословно.

Например, в монастыре Св. Пантелеймона всенощные бдения выдерживаются по древнему византийскому порядку: около 4 часов каждый день, после полуночи, а под не-

которые праздники по 10—12 и более часов, от захождения солнца и до рассвета, например, во всю длину долгой зимней ночи.

Относительно избрания игуменов и тому подобных вопросов внутреннего управления русские сообразуются также вполне с афонскими обычаями.

Прибавим даже, что в язык свой русские монахи допустили множество греческих и даже турецких слов, например, *фортья* — ноша, мерка хвороста дров и т. п., *архондарик* <sup>10</sup> *ἀρχονταρχιόν*, приемная для гостей, место, где принимаются *архонты*, именитые посетители. Нет нужды, что русские ужасно искажают и уродуют греческие и турецкие слова, — из благозвучного турецкого *тэскерé* (паспорт, вид) делают *дишкёр*; греческое слово *ὁ ἐργάτης* (работник) превращают иные в *аргат*, а другие еще красивее — в *рогатый*; *тῶ архондарикόν* становится у наших *фондарик* или даже *фондаричок-с*.

Итак, за греков все: власть, численность, язык, уставы, привычки и в особенности соседство их племени.

<sup>20</sup> Русские отдалены от своей земли большим пространством и обширным морем. Греческое племя со всех сторон окружает Афон. Соседние села между Салониками и Святою Горой всё греческие. Острова Эгейского моря, Тассо, например, который виден с Афона, и столькие другие — недалеко; границы Фессалии и самой Эллады близко, весь морской берег соседней Фракии есть даже больше греческий, чем болгарский. Города: Кавалла, Энос, Силиврия, Дарданеллы, Галлиполи — всё греческие города по духу и населению.

<sup>30</sup> Самые богатые монастыри на Афоне: Ватопед, Зограф и Ивер. Ватопед получает с бессарабских имений своих, по счету одних, около 90 000 руб. сер(ебром) в год, а по другим — гораздо более, до 150 000 р. Зограф получает, кажется, около 20 000 р. У Ивера тоже большие доходы. Кроме этих монастырей, еще *Ксирипотам* и *Святопавловская* обитель имеют в России имения с обеспеченными доходами.

Итак, между несколькими греческими обителями, имеющими *постоянные, верные и большие доходы*, мы встречаем один только *славянский*: Зограф.

Монастырь Св. Пантелеймона, который называется *Русским*, или *Руссиком*, хотя правильнее его следовало бы звать *греко-русским*, имений в России не имеет; он процветает благодаря лишь одним постоянным и добровольным приношениям вкладчиков, и потому средства его далеко не так велики и не так верны, как поземельные доходы греческого Ватопеда.

Итак, к *соседству родного племени, ко власти, к численности, к характеру уставов и обычаев, к языку* надо прибавить и еще одну силу, находящуюся в руках греческого племени на Афоне, силу немаловажную — *богатство*.

Есть и еще одна греческая сила на Афоне, о которой надо упомянуть. Сама новейшая *социология* берет в расчет все *реальные*, то есть все имеющиеся в действии силы, а не одни лишь силы *вещественные, материальные*. Есть у греческого племени на Афоне сила, которая тому, кто знает монахов, поклонников и Афон, является силой весьма важною; это примеры *высшего аскетизма*.

В Киеве, в 1871 году, издана небольшая книжка под заглавием: «Письма с Афона о современных подвижниках афонских». Автор ее — русский монах на Афоне, отец Пантелеймон, в миру Сапожников. В этой книжке изображена очень верно жизнь некоторых афонских монахов, удалившихся из обителей в неприступные скалы или хижины, построенные в самых диких местах.

Оставляя в стороне собственно духовную часть этого небольшого, но крайне любопытного сочинения, в которой говорится о чудесах, совершившихся над этими аскетами или над другими людьми, им преданными, — ибо размеры моей статьи не позволяют мне отвлекаться от главного предмета моего, — я могу засвидетельствовать здесь только о полной исторической верности этого изображения.

Отшельники эти действительно живут *сурово*, уединенно и добровольно нищенски, проводя все время в поражающем постничестве и молитвах.

Некоторых из них я видел сам и говорил с ними. Люди это вовсе не одичалые, как готовы, я думаю, предполагать многие невежественные порицатели монашества, а, напротив того, большею частию светлые, ласковые, младенчески-благодарные и при этом весьма самосознательные, то есть понимающие, что они делают.

<sup>10</sup> Большинство этих людей греки; есть и болгары между ними, но если устранить вопрос чисто политический, который сделал болгар врагами греков, то мы найдем между ними и греками очень мало разницы в привычках и психическом характере, особенно же на почве церковной; эти нации представляются как бы двумя телами, заряженными одинаковым электричеством, и которые поэтому взаимно отталкиваются. *Культурно* эти нации до сих пор по крайней мере были схожи друг с другом, гораздо более, нежели, например, с нами, русскими.

<sup>20</sup> Образованный по-европейски болгарин более похож на такого же грека, чем на русского того же воспитания; простолюдин-болгарин большею частию больше похож на греческого простолюдина, чем на русского; монах болгарский и монах греческий более близки друг к другу (не по сочувствию, а, так сказать, *объективно*, по нравственной физиономии), чем к монаху русскому.

К тому же все эти афонские болгары-подвижники суть болгары старого поколения, то есть дети *чисто греческого* воспитания, сыны того времени, когда для турок все христиане в Империи были одно: *Рум Миллеті* (то есть *ромейский, римский народ*), а болгары и греки, вместе неся иноверную власть, знали себе только название *православных*. Итак, высшая степень монашеского *аскетизма* на Афоне принадлежит, так же как и *власть, язык, богатство, численность*, греческому племени и отчасти его воспитанникам болгарам.

Русский набожный поклонник, которого сердце рвалось на Афон, слушая древние рассказы о подвижниках, встречает здесь свой идеал отречения и возвращается на далекую родину свою успокоенный.

«Подвижничество, добровольная нищета тела и духа не погибли еще на земле!»

И этому идеалу его, сами не зная того, послужили преимущественно греки и родственные им по прежнему воспитанию болгары.

— Какая польза в этом фанатизме?! — восклицает либеральный прогрессист. <sup>10</sup>

Понятие пользы присуще всем людям, и русский богомолец не виноват, что он *идеальнее* прогрессистов в понимании пользы. Он видит пользу себе в посещении такого пустытника; он видит в примерах его жизни и его удалении пользу всей Церкви; он ждет от его молитв пользы всякому человеку и всему человечеству.

Это опять *реальные факты*, против которых не может сказать никакой материализм.

Таково положение Святой Горы. <sup>20</sup>

Почему же *внешние* греки так испуганы и ожесточены?

Какой Панславизм увидели они на Афоне?

Прежде чем передать вкратце печальную повесть мирских, политических интриг, искавших поселить национальную вражду на Святой Горе, которая живет своею особою, не греческою и не русскою, а *православною* жизнью, я расскажу небольшую историю, случившуюся прошлым летом в окрестностях Афона.

В ней играют роль греки, русские и отчасти турки.

Она как бы в миниатюре изображает современное положение дел на христианском Востоке. В ней мы найдем все те черты, которые в крупном виде находим, разбирая нынешние отношения греков к России. <sup>30</sup>

Часах в десяти-двенадцати (то есть верстах в пятидесяти) от границы Святой Горы (за которую не переступают уже женщины), на пути в Солунь, есть греческое селение *Ровяник*. Хотя имя его и славянское, но населено оно гре-

ками, как и все села, лежащие к югу от Солуня на том гористом и лесном полуострове, который выступает в Эгейское море тремя длинными косами: Саккой, Кассандрой и Афоном.

Ровяник отстроен очень недурно, имеет церкви, порядочную школу народную и вообще представляет тот веселый и вовсе не бедный вид, каким отличается большинство греческих сел в Турции. Один из приматов (глав, ходжа-башей) Ровяника достраивает себе огромный и высокий каменный дом, какой годился бы во всякую столицу. Вблизи от села начинается прекрасный лес широких и могучих каштанов, покрывающий на далекое пространство соседние горы. В полудне ходьбы от села в этом прекрасном каштановом лесу находится церковь Божией Матери, обыкновенно называемой *Панагия* (Всесвятая) в *Ровяниках*. Церковь эта имеет икону, прославившуюся в стране чудесными исцелениями. Не только христиане из дальних сел, но и турки нередко приходят молиться или привозят своих больных родственников. Для отдыха этих больных построено около церкви небольшое и плохое здание о нескольких комнатах, из них же только две крошечные кельи обитаемы зимой. В этих двух маленьких кельях живут две русские монахини, обе женщины уже в летах. Одна из них приехала сюда и поселилась около Панагии уже около десяти лет тому; другая не так давно. Они обе имеют, хотя и очень скромные, но все-таки свои средства и условились с сельскими греками, которым принадлежат эта земля и эта церковь, чтоб им позволено было занимать те две комнатки.

Сверх того, при самой церкви есть небольшая пристройка, где особо живет старая гречанка, тоже монахиня.

Эта гречанка — женщина необыкновенного простодушия и самой искренней доброты.

Ее набожность и благочестие были единственною причиною возвышения этого храма. Ей приснилось, когда она еще была бедною миряночкой, что в одном высохшем колодце неподалеку скрыта древняя икона Божией Матери, которую надо отыскать и поставить в храме. Над ней долго

смеялись тогда селяне; наконец она убедила их начать поиски; икону отрыли и построили церковь; вскоре икона эта стала привлекать много богомольцев и больных. Ровнянские греки, правда, украсили церковь на первый раз; но потом, по всегдашнему обычаю всех восточных христиан (и греков одинаково), стали смотреть на нее как на источник общественных доходов села и на средство для содержания школ своих, эллинских учителей и т. п. (Все греческие селяне, заметим, очень любят учиться грамоте, преимущественно затем, что легче будто бы сделать коммерческую карьеру, или, как они выражаются, *чтобы другой меня не провел.*) Все деньги, которые кладутся поклонниками и богатыми в кружку церковную, селяне берут себе и на церковь не оставляют почти ничего.

Русские монахини, матери Евпраксия и Маргарита, постриглись недавно; обе они прежде жили простыми богомолками, и греки их не беспокоили. Около двух лет тому назад пришла с Дуная третья русская женщина, монахиня, давно уже постриженная, мать Магдалина из Малороссии. Она была без всяких средств, очень больна, хотя и не стара, и решила поселиться тут потому, что отец ее, старик и тоже монах, недавно переселился на Афон, где и живет кой-как трудами рук своих в какой-то хижине.

Первые две русские женщины неграмотны и не знают ни пения, ни устава церковного.

С появлением бедной и больной Магдалины, которой иногда, без прибавления, есть было нечего, завелся кой-какой порядок в молитвах; она знала устав монашеский, пела по-русски и читала по-славянски в церкви, и прожила, больная и молясь всю зиму, в одной полуразрушенной комнате строения.

Отец ее, сам крайне нуждаясь, мог существовать иногда только благодаря помощи русских духовников Пантелеймоновского монастыря. К тому же расстояние от Афона до Ровнян около шестидесяти верст тяжелого горного пути, и леса зимой нередко целый месяц и два бывают завалены на высотах снегом.

Мать Магдалина рассказывала мне, как она иногда голодала и болела в то же время лихорадкой.

Раз ей нестерпимо хотелось есть, хлеба давно не было, Евпраксия и Маргарита были в отлучке где-то. Мать Магдалина питалась около недели зеленью. Пошла она в пустую церковь и, упав пред иконой, просила Божию Матерь или напитать ее, или уж послать ей смерть.

«Только что я заплакала и помолилась, — рассказывает Магдалина, — слышу я, звонят колокольчики на мулах и голоса. Вышла, вижу, старик один, иеромонах-грек с Афона, проезжает куда-то. Он знал меня и сейчас говорит: „А! что ты, бедная, как живешь? Терпишь, должно быть, нужно все“. Благословил меня и велел послушнику своему достать для меня два больших и хороших хлеба из мешка. И поехал. А я уже ела, ела этот хлеб; ем и молюсь за гречка-старичка и плачу! И ем, и плачу!»

Наконец отец прислал ей немного денег, из консульства солуньского ей помогли, и она задумала построить себе около самой церкви маленькую, темную особую хижину. Приходил на Афон какой-то русский поклонник, служивший при русских постройках в Иерусалиме. Он вызвался даром, «во славу Божию», построить ей хижинку, нужно было только согласие сельских старшин; сельские старшины почему-то долго не решались и вообще, как она и прежде замечала, смотрели на нее хуже, чем на двух других, *безграмотных* монахинь; но наконец позволили.

Купив доски, поклонник русский начал ей строить; вдруг прибегают из села пять-шесть греческих старшин и с ними какой-то неизвестный человек в европейском платье. Они, под предводительством этого *европейца*, кидаются на бедную постройку, ломают ее, ломают вдребезги доски; гонятся за Магдалиной в церковь, ее выгоняют и вместе с ней старушку гречанку, которая хочет отстоять Магдалину; схватывают некоторые русские (однако недорогие) иконы и все славянские церковные книги и выкидывают их вон из церкви. Старушку гречанку даже, которой сама церковь

обязана своим существованием, изгоняют из ее убогого уголка, за *потворство Панславизму*, как оказалось, и запирают двери церковные. Все это происходило прошлым летом после греко-болгарского разрыва.

Что же это было такое?

Пока жили тут только безграмотные русские женщины, *эллинизм* дремал. С появлением грамотной Магдалины, которая и понятия, разумеется, о политических интересах не имела и распевала в церкви, и читала часы и вечерню для спасения души, *эллинизм* слегка потревожился. Во всяком селе у греков есть какой-нибудь более или менее плачевный *даскал*, учитель, который всегда сумеет указать старшинам на опасность.

Но греки, турецкие подданные, все не то, что свободные *европейцы!* Явился таковой в лице греческого подданного, некоего купца Панайотаки, который занимался в этой стороне лесною торговлей. Он возбудил старшин ровяникских разрушить хижину и выбросить славянские книги и русские образа.

Подлому *европейцу* этому не поздоровилось, однако, через несколько дней. Нашлись греки иных убеждений.

Дня через два-три после победы над голодною и больною панслависткой гордый *европеец* сидел в кофейне соседнего богатого села Ларигова и хвалился: «Так-то мы ее, эту скверную бабу, проучили; так их и надо всех, и русских, и болгар; особенно русских, они всё болгар научают». В кофейне были и греки, и турки, сельские стражники. Все слушали молча. Только один заговорил. Это был эфирский грек в белой фустанелле, молодой человек лет двадцати трех, атлетической наружности, щегольски одетый и с оружием за поясом. Он сидел, закутанный в бурку, в углу, потому что его в это время трясла лихорадка. Имя его было Сотир.

— Перестань ругать русских и эту бедную женщину; что она тебе сделала? — сказал грек-паликар греку-европейцу.

Тот встал.

— А ты кто такой, — воскликнул он, — чтобы меня учить?! Ты какой-нибудь турецкий райя, а я знаешь кто? Я свободный эллин!

— Не пугай меня, — отвечал ему паликар, — хоть у тебя и большие усы, а у меня их нет еще, а я тебя не боюсь. Я не хочу, чтобы при мне обижали русских; я ем русский хлеб и русского имени позорить не дам.

Сотири служил слугой на ничтожном содержании у одного русского консула, который в это время был на Афоне.<sup>10</sup>

— Чорт поberi и тебя, и Россию, и всех русских, и всех турецких подданных!..

С этими словами он схватил стул и поднял его.

Тогда паликар встал, сбросил бурку и выстрелил ему в грудь в упор из пистолета. Пистолет осекся; паликар бросил его и выхватил ятаган. Жандармы-турки удержали Сотири за руку и стали уговаривать; он отдал им ятаган и, вырвав у европейца-грека стул, начал бить его так, что растерянный завоеватель, убегая, упал на пороге кофейни и едва ушел.<sup>20</sup>

Турки, отняв у Сотири опасное оружие, успокоились и не без удовольствия смотрели, как он наказывал эллинского патриота, и только слегка уговаривали его. Турки, особенно простые, пока не возбудят в них религиозного фанатизма, к русским естественно расположены; к тому же они находили, что Сотири прав, ибо Панайотаки грубейшими словами разбил и всех турецких подданных, и консула, у которого Сотири служил, и все Правительство русское. Турки же любят, чтобы люди уважали начальство и чтити Правительство.

Панайотаки ушел наконец... Сотири закричал ему вслед,<sup>30</sup> «что дело их еще не кончено и что он убьет его...» Панайотаки рано утром уехал в Солунь, уверяя, что едет жаловаться; вероятно же, от страха.

Недели через две появилась в цареградских газетах такого рода корреспонденция:

«*Ларигово*, такого-то числа, около села Ровяник... и т. д. ...*Русские, желающие завладеть издавна церковью Пана-*

гии, начали воздвигать себе жилища... и т. д. ... Жители села Ровяник, под руководством г. Панайотаки, негоцианта и т. п. Во время этого спора кавасс русского консула, Сотири, выстрелил из пистолета в г. Панайотаки; но русские, благодаря дружным усилиям, принуждены были, наконец, уступить... Воздадим должную честь и т. д....»

Вскоре после этого мне пришлось и самому проезжать через Ровяник. Ко мне пришел один из священников села и сказал мне, что сельские люди поручили ему просить меня, чтоб я защитил их пред русским консулом, г. Якубовским, если он будет преследовать село за обиды, учиненные Магдалине; ибо все это дело греческого подданного Панайотаки и пяти или шести старшин, от злоупотреблений которых терпят иногда и сами селяне. «Мы люди небогатые и смотрим только, как бы нам спокойнее прожить, как прокормиться. Чем нам помешала эта бедная монахиня? Пускай себе живет и молится. Но эти богатые люди, старшины, сильнее нас!» Так говорили и иные из селян слугам моим, помимо священника. Они удивлялись и греху, который позволил себе Панайотаки, бросая книги.

Магдалина ходила к Лариговскому епископу и прежде еще не раз просила у него помощи; епископ очень соболезновал и хвалил ее усердие, и утешал, и обещал, но ни в чем никогда не помог и не защитил против ровяникских старшин, которые, однако, состоят в его ведении по церковным делам.

В этой истории есть решительно все, что в более широких размерах видим и в нынешних афонских делах, и в греко-русских отношениях вообще, после объявления схизмы, или после того, как греки вообразили, что русские и болгары непременно одно и то же и действуют по уговору. Тут есть все, что нужно для наглядного изображения нынешних дел на Востоке, и особенно на Афоне. Есть богомольные, простейшие русские души, едва ли умеющие отличить болгарина от грека, люди, не знающие даже, о чем идет дело; есть греческие сердца столь же простые и честные, подобные старой монахине-гречанке, священнику, который при-

шел передавать мне об огорчении и беспокойстве большинства селян, иеромонаху афонскому греку, который так жалел Магдалину и заботился об ее нуждах; есть неверующий патриот Панайотаки, хам, трус, негоциант, который кощунственно выбрасывает даже образа и молитвенные книги; есть глупые и алчные старшины, которых он увлек угрозой, что русские после завладеют этим лесом и церковью. Есть Сотири, который помнит русский хлеб и подвергает из-за русских себя величайшей ответственности, есть хитрый и осторожный прелат греческий, который как будто ласкает Магдалину, но, вероятно, поддерживает старшин в их подозрениях; есть, наконец, нерешительная толпа селян греческих, которые не принимают участия в разорении хижины, но и не решаются помешать старшинам, а подсылают потом ко мне священника сказать, что виноваты только пять-шесть человек и чтоб я заступился за село в русском консульстве в Солуне, если консул за это будет преследовать...

<sup>20</sup> Несчастье в том, что в делах греко-славянских *теперь слышны только громкие голоса разных Панайотаки, алчных старшин и хитрых, осторожных прелатов...*

Но зная греков коротко, я могу уверить, что и теперь между ними много и таких, как Сотири, как добрый иеромонах, как гречанка-монашенка...

Что касается *нерешительной толпы селян...* то прекрасное, породистое, храброе население бесчисленных островов Эгейского и Средиземного морей еще свежо и не успело извратить в себе православных чувств. Еще искренни и просты, в хорошем смысле этого слова, толпы молодцов эпиротов и фессалийских селян; на Афоне, вероятно, и в других местах есть сотни и сотни монахов-греков, которые подобны доброй и честной монашенке, защищавшей Магдалину.

Все это люди, которые большею частию и не поняли еще хорошо, о чем идет речь...

Есть между греками даже *учителя* (я знаю нескольких), которые теперь лишились своих должностей за уме-

ренность своих мнений, благодаря интригам людей, подобных опозоренному европейцу и завоевателю Панайотаки...

Нет причины думать, чтобы греческие толпы были навеки в руках этих последних и что они никогда не перейдут в руки добросовестных учителей или благородных головорезов вроде Сотириса, или добрых пастырей, подобных афонскому иеромонаху, помнящему о нуждах набожной Магдалины...

Рассказывая всю эту небольшую историю, я полагаю, что она живее всякого сухого перечня главных событий<sup>10</sup> изобразит именно то состояние дел и умов на Афоне и вне его, о котором я буду говорить дальше. Сходства много.

Хотя очень трудно проследить начало и первые причины того гонения, которое чуть-чуть было не подняли греки на русских афонцев, однако несомненно то, что первые признаки этого гонения появились прошедшею зимой в греческой царградской газете «Неологос» вскоре после той неканонической литургии, которую отслужили болгары в Богоявление, 6-го января. Гнев, охвативший тогда всю греческую нацию, искал лишь повода и пищи.<sup>20</sup>

Повод, как всегда в этих случаях бывает, явился немедленно.

Есть на Афоне греческий монастырь Свв. Павла и Георгия. Он не богат и не слишком беден и, между прочим, имеет земли в Бессарабии. Братия этого монастыря, ведущая строгую киновиальную жизнь, была давно недовольна своим игуменом за то, что он не жил в монастыре, и если возвращался на Афон, то каждый раз ненадолго и проживал в Константинополе монастырские доходы, под предлогом разных хлопот по делам.<sup>30</sup>

Братия говорила: «Если ты игумен, — живи здесь и начальствуй над нами; если ты хочешь жить на стороне, — мы можем избрать тебя в *эпитропы* (поверенные для дел), и тогда уезжай. Игуменом же ты больше быть над нами не можешь».

Игумен прибег к защите Патриарха. Патриарх прислал на Афон от себя экзарха, который с помощью афонского

Протата (Синода) и одного незначительного турецкого чиновника из христиан приступил к разбирательству этого дела. Святопавловские монахи, большею частью пылкие кефалониты, горячо отстаивали свое исконное право менять игуменов. Протат разделился. Представители значительного числа монастырей были в пользу братии святопавловской, им хотелось поддержать независимость Афона в его внутренних вопросах. Ивер, богатый и влиятельный Ватопед, болгарский Зограф и Руссик были в пользу святопавловской братии. Некоторые из беднейших греческих киновий перешли на сторону игумена и Патриархии.

Борьба была продолжительна; святопавловская братия была решительно осаждена в своей обители. Монахи-кефалониты заперлись и не хотели пускать ни игумена, ни экзарха, ни турецкого чиновника. Одно время слышно было, что Патриарх потребует у Порты отряд войска для усмирения крамольных иноков. Но этот слух, конечно, был ложный.

Дело это, кажется, и теперь еще не совсем кончено. Но оно на одно время несколько утихло. После того как экзарх патриарший уехал с Афона, святопавловцы поставили на своем и выбрали себе игумена не из своей среды, но одного грека, который в последнее время жил в особой келье и когда-то принадлежал к числу братий греко-русского монастыря Св. Пантелеймона.

Как нарочно, почти в то же самое время, в смежном с русским монастырем, греческом киновиальном монастыре Ксенофе скончался старый игумен, и ксенофские иноки, подобно святопавловским, предпочли избрать себе в игумены одного грека-иеромонаха из того же монастыря Св. Пантелеймона.

Чем же виноваты русские, что греки, живущие с ними в одной обители, нравятся другим грекам? Мирских греков и некоторых полумирских монахов это возмущает; они говорят: «Это Панславизм!»

Случились минушею зимою и весной и другие события на Афоне, которые в другое время прошли бы незамечен-

ными, ибо они были совершенно случайны и вовсе незначительны; но в эту эпоху племенной борьбы они в глазах раздраженного мирского эллинизма приняли неестественные размеры.

Во-первых, надо сказать два слова о русском Св.-Андреевском ските.

Андреевский скит, как мы сказали во втором письме, построен на земле греческого монастыря Ватопеда и зависит от него. Он возник на месте большой кельи, в которой покоился Патриарх Афанасий Лубский (могги его в Лубнах в России).<sup>10</sup>

Стараниями игумена Феодорита и помощников его, иеромонахов Паисия и Дорофея, этот скит скоро разросся и по объему своему и по количеству населения превосходит, правда, многие греческие привилегированные монастыри. Один из посетителей Афона выразился про Андреевский скит так: «Здесь иноки живут в нестрогой киновии». Это до известной степени правда. Общежитие Андреевское менее строго, не столько по уставу, сколько по обычаю, чем общежитие Пантелеймоновской греко-русской обители; но эта разница служит на пользу людям набожным или желающим постричься на Святой Горе. Те, что сразу не в силах вынести суровый устав Руссика и некоторых греческих киновий, поступают в Андреевский скит. Тот же, кто ищет более трудной жизни, найдет и ее на Афоне.

Нынешний Вселенский Патриарх Анфим занимал Патриарший престол в то время, когда Серайская келья стала скитом; он, так сказать, открывал этот скит и всегда сохранял к нему особое расположение. Он не раз во времена удаления своего от Патриаршего престола говаривал, как слышно, что непременно сделает что-нибудь для сераевцев, когда будет опять Патриархом.<sup>30</sup>

Прошедшею зимой он вспомнил свое обещание. Он прислал игумену Феодориту крест, архимандричью мантию и грамоту, в которой объявлял Андреевский скит ставропигиальным, или Патриаршим скитом. Отец Феодорит назван был в этой грамоте не *дикеем*, как обыкновенно на

Афоне называют настоятелей зависимых скитов, а *игуменом* (титул, присвоенный здесь лишь начальникам двадцати независимых монастырей).

Все эти знаки патриаршего благоволения к отцу Феодориту и его обители не освобождали, однако, Андреевский скит от его зависимости от Ватопеда. Ватопедское духовное начальство пред этим само незадолго сделало отца Феодорита архимандритом (прибавим, к большой радости Св.-Андреевской простодушной русской братии, которая <sup>10</sup> сердечно утешалась, видя в митре своего доброго и умного пастыря), и все обошлось бы на этот раз в среде монахов дружески и братски, если бы опять не то же влияние фанатизированного и до ребячества подозрительного *мирского* эллинизма.

В константинопольских газетах началась тотчас же между самими греками по этому поводу полемика. Одна газета обзывала панславистами афонских греков за то, что они опираются на русское влияние, за то, что живут русскими подаваниями, за то, что многие из них расположены к Рос-<sup>20</sup>сии и поддаются *внушениям* русских духовников Пантелеймоновского монастыря, отцов Иеронима и Макария, размещающих будто бы по своей воле игуменов по греческим киновиям на Святой Горе (Ксеноф и Св. Павел). Противники этой газеты, затронутые за живое, обращали против нее то же самое оружие и звали чуть не самого Патриарха панславистом за то, между прочим, что он сделал Свято-Андреевский русский скит Патриаршим и как будто бы пытался этим оскорбить начальствующий Ватопед и за то, что он принял сторону афонской оппозиции в <sup>30</sup> Святопавловском деле.

Раздражение у греков росло, но преимущественно в городах, а на Афоне все это для большинства монахов, занятых молитвой, постом, богослужением, работою и мелким рукоделием, было незаметно и, прибавим, для многих... для очень многих, даже и неважно. Личные религиозные вопросы об отношениях нашего ума и сердца к Богу, Церкви и жизни занимают большинство афонцев, как и следует, го-

раздо больше, чем спор греков с юго-славянами за политическое преобладание в Турции или вопросы внешней церковной дисциплины, вроде отношения Экзархата болгарского к Патриархии Константинопольской.

Я был в это время на Афоне и глядел на это множество людей разных наций, простых или ученых, бедных и когда-то богатых в міру, которые столько молятся и трудятся, так мало спят, так много поют по ночам в церкви и постятся, — я думал часто, как оскорбительно должно быть многим из них это внедрение сухих политических страстей в их отшельническую жизнь!<sup>10</sup>

К счастью, большинство этих людей, русские, греки и болгары, живут по-прежнему своею *особою афонскою*, не русскою, не греческою и не болгарскою жизнью, и до них едва доходят отголоски этой борьбы, исполненной столько клевет и несправедливостей.

Не ангелами во плоти я хочу представить монахов. О, нет! И у них есть свои интересы, свои ошибки, свои падения и страсти. Распри в обителях, расстройств в среде братии, восстания происходили в монастырях в самые цветущие времена Христианства — во времена отцов Православной Церкви; жития Святых наполнены подобными событиями; даже такой монашеский наставник, как знаменитый Иоанн Лествичник, предполагает в монахе возможность развития всех страстей и пороков, при нерадении или при самоуверенности.<sup>20</sup>

Идеал монахов, может быть, и состоит в том, чтобы приблизиться к бесплотности и бесстрастию ангела; многие из них могут и достигать почти полного бесстрастия долгою борьбой, но большинство монашества всегда было и не может не быть лишь *колеблющимся и нетвердым резервом высшего подвижничества*. Без нерешительной толпы невозможны герои аскетизма, и если на Афоне, например, из 8000 иноков найдется тысячи 2—3 очень хороших, добрых и искренних, хотя и слабых иногда, и 500 людей высшего разряда, достигающих образцовой жизни в различных положениях, игумена, духовника, пустынножителя<sup>30</sup>

или хотя бы обыкновенного рабочего монаха в многолюдной обители, то Афон может быть признан достаточно исполняющим свое назначение. Он таков и есть. И если при этом случаются ссоры и несправедливости, то без них нет жизни духовной, нет испытаний, нет борьбы с дурными страстями. Я хотел всем этим сказать вот что: на Афоне всегда, как и везде, могли быть раздоры, могли совершаться несправедливости и проступки, но все эти несогласия и раздоры имели до сих пор в виду не эллинизм, не болгарство, не руссизм, а те из временных интересов, которые прямо и непосредственно относятся к монашескому быту. Вопросы об избрании игумена более строгого или более мягкого, вопрос о насущном хлебе для братии, о воздвижении нового храма, о распоряжении кассой монастырской, о хранении древнего чина и устава... Вот предметы, которые могли и могут быть причинами распрей или борьбы между монахами, живущими не в пещерах или отдельных кельях, а в многолюдных общинах.

Самые дурные страсти, которые могут временно волновать монастыри и монахов, менее вредят *общему духу* и *общему строю* монашества, чем высокие принципы, если их вносят некстати в монашескую жизнь.

Что может быть лучше и благороднее патриотизма, и можно ли запретить человеку сочувствовать каким-либо успехам народа, из которого он вышел, любить свое отечество оттого только, что он надел монашескую рясу и дал искренний обет отречения? Невозможно! В этом чувстве и нет ничего дурного, пока оно не становится в противоречие с долгом монашеским.

Мы говорим о монашестве, но то же можно сказать и о Христианстве вообще. Патриархия Константинопольская была вполне права, изобретая новый термин: *филетизм*, для обозначения столь вредной и неосторожной склонности нынешних людей вносить в дела религии племенные или политические интересы. Неправота Патриархии, или, лучше сказать, тех мирских греков, которые слишком сильно влияли на дела, была не в осуждении *филетизма*, а в

осуждении одних только болгар. Прежде болгар, и еще больше их, сами греки грешили всегда этим филетизмом; им давно хотелось погречить болгар Македонии и Фракии влиянием греческой литургии, греческой иерархии и т. п.

Болгарский филетизм, как сказал я в своих первых заметках «Панславизм и греки», есть филетизм оборонительный, а греческий — завоевательный, стремящийся перейти свои естественные, этнографические пределы.

Вносить сознательно и систематически племенные стремления в церковные дела значит вредить и Церкви, и личным потребностям Православия; значит, осуждать самого себя на множество несправедливостей и заблуждений.

Недавно в Царьграде был тому поразительный пример. Один из сильных и влиятельных болгар, человек с состоянием и выгодным положением, некто Гавриил-эффенди Христаки, в начале разгара греко-болгарских дел был, естественно, на стороне своих одноплеменников. Но он — человек лично верующий, а не политик Православия, как большинство архонтов и греческих и болгарских в наше время. Жена у него гречанка, с которою он живет счастливо. Отверженный Патриархией вместе с другими, он не был покоен; быть может, и жена уговаривала его, но кончилось тем, что он около Рождества явился к Патриарху, пал ему в ноги и просил себе лично разрешения и причастия от Вселенского Престола.

Кто же, имеющий сердце и ум, бросит камнем в этого человека?

Если его мучил духовный страх раскола, — что ему было смотреть на других болгар? Они проживут и без него.

Со стороны болгарской, конечно, посыпались обвинения в измене, предательстве, выдумали даже, что он это сделал, боясь отчето-то турок, — как будто турки входят в такие частные дела! Последнее обвинение, впрочем, сами болгары скоро бросили, поняв, что оно глупо.

А нам этот человек, в котором боролись два высокие чувства, племенной патриотизм и религиозность, и у которого победило чувство не современное, не модное, на Вос-

токе в высших классах вдобавок гораздо менее идеальное и менее распространенное, чем у нас в высшем обществе, — нам этот человек, не побоявшийся клевет и насмешек, внушает уважение.

В «*Courrier d'Orient*», почти настолько же пристрастном к болгарам, насколько «*Phare du Bosphore*», например, пристрастен к грекам, появилась недавно по этому поводу следующая корреспонденция:

<sup>10</sup> «*Nous lisons dans le numéro d'aujourd'hui du journal bulgare „Turtzia“:*

*Ces jours derniers, nous avons reçu quelques lettres de l'intérieur dans lesquelles Gavril-effendi Christidis (Chrestovitch) est pris à partie. Ces lettres blâment-sévèrement la démarche qu'il a faite en dernier lieu auprès du patriarche grec. Nous n'avons pas cru devoir publier les lettres en question, d'abord parce que nous n'attachons aucune importance à l'acte inqualifiable de Gavril-effendi et ensuite parce que nous savions qu'il était capable d'une telle démarche. Nous dirons seulement que il y a deux ans (voir la „Turtzia“ sixième année numéros*  
<sup>20</sup> *11, 12, 13 et 14), nous avons émis quelques doutes sur le patriotisme de cette personne et nous regrettions vivement que notre voix n'ait pas été écoutée à cette époque».*

Видите, все дело в патриотизме, в болгарской идее; до православных чувств никому и дела нет.

Болгары в этом деле не чище греков, с точки зрения церковной. Дух один и тот же.

В самом начале борьбы болгары были правее, конечно; они просили себе независимой иерархии и славянской литургии. Греки отказывали; они были неправы. Болгары,  
<sup>30</sup> расвирепев, совершили решительный шаг 6 января прошедшего года. В свою очередь, они поступили не православно. Не по-христиански поступили и греки, вынудив свою Патриархию объявить раскол.\*

И крайние болгары, и красные греки потом обрадовались этому расколу одинаково. Первые вздохнули, что ото-

---

\* Это ошибка моя; греки правы. Авт(ор). 1884.

рвали, наконец, свою народность от эллинского влияния. Вторые восхитились той мыслью, что раскол, отречение от всякого родства со славянами склонит в их сторону Запад и особенно *будто бы навек уже* (sic!) всемогущую Германию. Теперь же и различить уже невозможно, кто прав и кто виноват в этой ожесточенной свалке.

Конечно, если б и со стороны болгар и со стороны греков мирских, влиявших на то и другое духовенство, было больше людей, подобных Гавриилу-эффенди, то разрыв не произошел бы так грубо и свирепо. Само духовенство на Востоке может иметь свои *нравственные* пороки, но грешить, так сказать, *догматически* или *канонически* оно остереглось бы скорее влиятельных мирян. Греческих Епископов обвиняли иные в том, что они ищут удержать болгар за собою из личного сребролюбия, ибо эта паства приносила Церкви доход. Это не нравственно, конечно, если это правда, но это менее грех против Церкви, против основ Православия, чем то решительное проклятие и восторженное объявление схизмы, которое мы видели со стороны греков прошлой зимой. Точно так же и с болгарской стороны. Известно, что болгарин Словейков, воспитанный во Франции, и другие ему подобные набрали и подбили целую толпу болгарских лавочников, конюхов, слуг и подобных людей, чтобы застрашать епископов Панарета, Илариона и других, не решавшихся служить б января прошлого года литургию, вопреки Патриарху.

Один греческий архиерей, говоря со мною еще два года тому назад о греко-болгарских делах, сказал мне вот что:

— Болгары в числе своих жалоб на наше духовенство приводили, между прочим, грубое, жестокое обращение прежних архиереев со своею паствой, их вымогательства и т. п. В этом много правды, но поверьте, что старики эти нисколько и не думали о племенном притеснении. Они делали то же самое и в Эпире, и в Крите, и в других греческих землях. Это была всеобщая жестокость нравов, это было отсутствие хорошего нравственного воспитания, а не тирания национальная. Были всегда между высшим духо-

венством и люди славянского племени, и они тогда делали то же.

И это совершенная правда. Несмотря на то, за последний десяток лет явилось почти повсеместно новое поколение греческих епископов, ученых, благовоспитанных, нередко обученных философии и богословским наукам в Германии, но есть еще много и старых архиереев. Сам Патриарх Анфим, конечно, из этих старых, и потому мы не ошибаемся, думая, что если бы прежний лично грубый, но менее национальный дух имел перевес в делах Патриархии и Экзархии, то дела приняли бы иные, более мягкие формы.

Если бы между греками и болгарами было несколько более таких людей, как Гавриил-эффенди, вскормленных в духе личного Православия, и поменьше таких, как плохой поэт Словейков, воспитанный в Париже, разделение произошло бы постепенно, без разрыва и раскола.

Старое, жесткое, но догматически и серьезно верующее поколение восточных христиан больше побоялось бы взять на душу свою этот грех церковного расторжения.

Всем этим, повторяю еще раз, я хотел сказать, что личные страсти, пороки, заблуждения, распри и несправедливости не могут так глубоко потрясти основы церковных принципов, как *принципы другие, очень высокие, быть может, но чуждые Церкви.*

Церковь признала Святым Кирилла, епископа Александрийского, за его борьбу против Несторианской ереси, имевшей высшие философские притязания, а история светская представляет нам его человеком страстным, даже жестоким в иных случаях.

Церковь в этом вполне последовательна, и уроков ее не надо забывать, если мы хотим быть в самом деле православными, а не какими-то воздушными, фантастически летающими и порхающими христианами, принимая французскую утилитарную гуманность и немецкий сентиментализм за истинное Христианство.

Повторяю это еще и еще раз и желал бы повторять беспрестанно: не в личных проступках христиан, не в грубых

вещественных побуждениях, не в корыстных распрях, даже не в преступлениях, которые могут иногда совершить и отличные люди под влиянием увлечений и соблазна, — гибель и вред православному принципу, а в *постепенном вырождении его* в другие принципы, например, в принцип утилитарности экономической, как мы видим у столь многих социальных реформаторов, или в принцип политический, как мы видели это в Греко-болгарском вопросе или у католических священников в польских делах.

Грубые побуждения смягчаются, в преступлениях люди каются или бывают наказаны за них, караемы духовно, вещественно и граждански, временная и своекорыстная борьба утихает, уступая при других условиях лучшим влияниям, но *царящий* над всеми этими дурными и грубыми страстями чистый принцип остается не тронутым, и исправительная, примиряющая сила его снова нисходит победоносно на отуманенных людей.

Принцип не убивается вещественною корыстью и временными страстями; только другой принцип может вступить в борьбу с ним и исказить или уничтожить его.

Люди не звери, и без принципов жить в обществе не могут. Как бы ни были они порочны, если не дадите им другого принципа, они возвратятся к старому и преклонятся пред ним, умоляя о прощении.

Если все, что я сказал, вполне приложимо ко *всей Церкви*, — к Церкви, живущей в мире и с мирянами, в Государстве и в тесной связи с его администрацией, не применимо ли это еще более к афонскому обществу монахов, которые избрали себе не деятельный в мире, а аскетический, молитвенный и созерцательный путь Христианства?

Афонская гора до тех пор будет горою Святою, пока жители ее будут одинаково чужды болгаризму, эллинству, руссизму и каким бы то ни было племенным и другим отвлеченным и, быть может, бескорыстным стремлениям. Его бескорыстие, его идеализм должен быть идеализм только иноческий, личная доблесть *подвижничества*, молитвы и доброго общественного монашества.

К счастью, самая разнородность племен, его населяющих, с одной стороны, взаимно будет парализовать, кажется, всякую национальную исключительность. С другой стороны, присутствие над всем этим *без прибавления* в высшей степени (по этим делам) либеральной и беспристрастной турецкой власти также крайне спасительно для чистоты и широты афонского Православия. Наконец, и то, что я сказал еще прежде: большинство монахов афонских, какой бы нации они ни были, живут, слава Богу, не греческою, не русскою, не болгарскою, а особою афонскою жизнью... Это главное. Большинство это гораздо больше интересуется своим личным *сердечным* мистицизмом или своими скромными вещественными нуждами, или внутренним управлением своего монастыря и скита, чем эллинским или болгарским патриотизмом.

Мы нашли подтверждение мысли нашей в статье, которую приписывают ученому и молодому Сирскому епископу Ликургу, недавно возвратившемуся в Грецию из поездки своей на Афон («*Νεόλογος*», константинопольская газета).

Автор этой статьи тоже говорит, что политическими вопросами на Афоне занимаются очень немногие монахи идиоритмов. Остальные к ним равнодушны. Из частных источников мы слышали, что Преосвященный Ликург, будучи на Афоне, говорил и там об этом и *радовался* такой чистоте святогорского Православия.

Из статьи «Неологоса» явствует, однако, нечто другое. Из нее оказывается, что Преосвященный Ликург радуется, напротив того, существованию на Афоне ученых, богатых и независимых *проэстосов* в *идиоритмах*, ибо они имеют гораздо более досуга, силы и умения для *политической борьбы*, для *охранения векового наследия эллинов* от чуждых захватов.

Существованию этих *проэстосов* на Афоне рады и мы; это уже было сказано прежде; и рады мы по той же причине... Почти... а не совсем по той же! Нам бы нравилось, чтобы *проэстосы* занимались политикой лишь для охране-

ния *особого святогорского векового наследия* от всякого одностороннего влияния, болгарского, русского и греческого, одинаково. Всякое одностороннее влияние того или другого племени было бы крайне вредно для Афона.

Преосвященный Ликург (или спутник его, автор статьи) говорит, между прочим, что русские желали бы все афонские монастыри видеть *киновиями*, потому что в киновиях меньше досуга заниматься политикой, и, при обращении всех своеобычных обитателей в общежительные, Афон легче бы поддался русскому влиянию. Вопрос — *какие русские?*<sup>10</sup> Русские монахи на Афоне? Или духовное начальство в России? Или дипломатия русская?

Если это только *монахи русские*, то можно быть уверенным, что они нисколько не претендуют *национально* или государственно влиять на Афон. Они даже по многим причинам, которые нам ниже придется объяснить, имеют личные основания предпочитать *здашные* порядки иным сторонам великорусской администрации; влияния иные из них могут желать, быть может, духовного, личного. Но это дело их совести, и до нации и государства не касается.<sup>20</sup> Если же автор говорит о Правительстве русском или о Святейшем Синоде, то и тут ошибка. В самой России теперь стараются все *идиоритмы* (штатные монастыри, кроме Лавр) обратить в киновии; об этом печаталось и в газетах. Я уже сказал выше, что мере этой вообще сочувствовать безусловно нельзя; она стеснительная и, при всем искреннем желании блага, может, мне кажется, посягнуть на внутреннюю свободу иноческого призвания. Но как бы то ни было, если мера эта принимается в *России*, то ясно, что в ней нет никакого *русского филетизма*, и если есть<sup>30</sup> *политика*, то политика внутренняя и, вместе с тем, чисто *церковная*, а никак не *национальная* в смысле влияния на *других*. Об этой статье «Неологоса» мне придется, вероятно, упомянуть еще не раз.

Из тех событий на Афоне в течение прошлой зимы и весны, которые обратили на себя внимание и греческих газет, именно во время сильнейшего раздражения греко-бол-

гарских страстей, я упомянул лишь о трех: о Святопавловском деле, о Патриаршей грамоте отцу Феодориту, игумену русского Андреевского скита, и о небольшом эпизоде избрания ксенофского игумена из греческих иноков Руссика, который в другое время прошел бы совершенно незамеченным.

Надо здесь рассказать еще о двух обстоятельствах, раздраживших греков: о посещении Афона русскими консулами, битольским и солуньским, и о деле русского казачьего скита Св. Или, состоящего в зависимости от греческого монастыря Пантократор.

Имена этих двух консулов, особенно солуньского, беспрестанно являлись за последнее время в газетах. То один из этих консулов изображается пламенным панславистским писателем, тогда как у нас, в России, нет ни одной не только всеславянской, но и какой бы то ни было политической статьи или книги, подписанной его именем. То, располагая огромною какою-то суммой, он подкупил в пользу России все беднейшие греческие обитатели на Афоне. То он живет в Андреевском скиту, где ему помогают *десять русских монахов-писарей*; тогда как там очень трудно найти хоть одного свободного монаха для переписки. То он послал куда-то статью, доказывающую, что весь Афон есть добыча русских. То он агент Каткова в Македонии.

То один консул (битольский) спешит к другому на Афон из Солуня, и оба они совещаются там о Панславизме, тогда как нам здесь известно, что эти оба чиновника на Афоне *никогда вместе не были* и что солуньский консул лежал больной, почти умирающий в городе Кавалле, верстах в 150 или 200 от Афона, в то время когда битольский консул посетил один Святую Гору.

Мне, как русскому, живущему теперь в Царьграде, многое из этого всего известно коротко.

Мы все знаем вот что... Солуньский консул очень заболел и уехал на Афон, не только не с согласия посла, но даже вопреки его воле. Посол находил, что присутствие консула было *тогда* необходимо в Солуне как по количест-

ву накопившихся тяжёбных дел у русско-подданных в том городе, так и по значительной стоимости счетных дел в консульской канцелярии; ибо через это консульство идут на Афон беспрестанные частные пожертвования на больных русских людей всякого звания и всякого состояния, от процентов, например, с капитала в 25 000 руб. сер(ебром), пожертвованного прошедшего года г-жой Киселевой, до каких-нибудь *трех рублей* отставного солдата или бедной крестьянки!

Солуньский консул, совершенно расстроенный болезнью и пользуясь тем, что Афон находится в округе его юрисдикции, уехал, *несмотря на запрещение* посла. <sup>10</sup>

Посол, однако, имел снисходительность не тревожить более больного человека, во внимание к его прежним трудам по службе.

На Афоне не только русские, но и греки и болгары знают, что этот консул жил все время почти запершись, редко кого принимал и только просил ни о *каких делах*, ни политических, ни тяжёбных с ним не говорить.

Вскоре после этого он получил отпуск, и г. Якубовский <sup>20</sup> (битольский консул) заменил его в Солуне. В настоящее время он вышел, по болезни, в отставку.

На Востоке умы и сердца не заняты серьезно ничем, кроме политики и торговли, поэтому ни один мирской грек (или, пожалуй, и болгарин) не может предположить, чтобы русский чиновник мог жить где-нибудь без цели государственной. Если прибавить к этому ту сухость и тот внутренний религиозный индифферентизм, который так свойствен современным единоверцам нашим на Востоке и при котором трудно понять, чтобы больной, знающий грамоту и даже европейские языки, мог в болезни предпочесть Афон <sup>30</sup> Баден-Бадену или Швейцарии, то беспокойство, овладевшее не афонскими, а *внешними* людьми и газетами, станет более понятно и, пожалуй, даже и простительно, если не забывать, в какую эпоху все это так случайно совпало.

И прежние русские консулы из Солуня и соседней Битолии ездили на Афон, говели там, гостили, даже мирили

спорившие между собою за земли монастыри, по их собственному желанию. Но вскоре после приезда нынешнего солуньского консула болгары отслужили 6-го января свою болгарскую обедню в Царьграде, — и все после этого озарилось в глазах *мирских* греков иным светом.

Теперь о деле скита Св. Пророка Или.

Большинство ильинцев, придунайские казаки (из потомков запорожцев), люди хотя и весьма простые и усердные к Церкви, но несколько по природе *республиканцы* или по крайней мере либералы.

У них тогда только что умер игумен, отец Паисий, из бессарабских болгар, человек, который умел держать их в порядке и вести дела скита, не раздражая пантократорских греков, которые чрезвычайно любили и уважали его.

После его смерти большинство братии, подстрекаемое тремя монахами, из коих один хотел, по-видимому, сам быть игуменом, отвергли завещание отца Паисия, духовно повелевшего им не избирать никого из среды своей, ибо нет достойного для управления, а искать на стороне, из других обитателей или из пустынных келий. Были указаны и лица.

Меньшинство, более толковое, поддерживало завещание и хотело избрать одного из русских же иеромонахов, живущего в особой келье, в лесу.

Началась борьба. За меньшинство был ум, за большинство, конечно, вещественная сила. Греческий монастырь Пантократор, на земле которого скит построен, поддерживал меньшинство и объявил прямо, что излюбленного братией зависимого скита отца Андрея (запорожца) он не допустит до игуменства. Произошел бунт. Приехал Протат в самый скит. Ильинцы, руководимые отцом Андреем, бушевали и грозили самому Протату. Солуньский консул в это время только что приехал больной на Афон. Вожди ильинской оппозиции прибегли к нему за помощью. Он напомнил им, что они находятся под властью турецкою и под начальством греческого Протата и что он может вмешаться лишь дружески, с согласия Протата. При этом сказал им: «Бог еще знает, кто правее: вы или греки». Протат принял

посредничество консула, по-видимому, охотно. Консул заключил дело против простодушного большинства, против запорожца отца Андрея, в пользу греков Пантократора и более толкового меньшинства, во главе которого стоял не менее отца Андрея упорный болгарин, давнишний казначей скита и друг покойного игумена. Консул, конечно, не позволял себе делать ничего официально и даже долго не хотел ехать сам в скит, боясь оскорбить греков и турецкую власть. Он поехал, лишь когда греки прислали сказать ему, что с хохлами просто нет слады и придется чуть не войско просить. При консуле все кончилось тихо. Игумена провозгласили, и братия, повергшись ниц, выслушала разрешительную молитву архиерея: таков обычай после смут в обителях. Консул взял накануне слово с вождей оппозиции, что они переночуют в другой обители и предоставят братию его влиянию. Без них братия была безгласна, хотя никто бы не помешал ей опять и шуметь и гнать всех вон, и архиерея, и игумена, и даже консула.

Ильинские вожди после говорили, что консул взял 2000 рублей с казначея-болгарина, чтобы действовать в пользу греков; греческие органы разузнали и об этом деле и сказали, что и *это Панславизм в Македонии*. Разумеется, это вздор, что консул взял взятку, но все-таки оказалось, что простые и рассерженные хохлы-монахи как-то логичнее в своих клеветах, чем тоже рассерженные, но воспитанные по-европейски, газетные греки в своих обвинениях.

Можно, пожалуй, осуждать солуньского консула вообще за то, что он вмешался в дело, которое не было его неизбежною обязанностью; пусть бы греки боролись с хохлами, как знают! Войска турецкого все-таки и турки им не дали бы, ибо этому, как нарушению всех афонских древних прав, воспротивился бы сам греческий Протат.

Можно также находить, что он злоупотребил своим весом, чтобы произвести так называемое *нравственное давление* на русских в пользу греческого начальства.

Говорят, будто кто-то из русских поклонников на Афоне и укорял его за это, указывая на *права большинства*, и

будто бы этот консул отвечал: «Если сами русские меня вмещали, я не виноват; я действовал по совести, и что же мне делать, если *право умной силы я предпочитаю силе глупых прав!*»

Все это так; но где же тут *Панславизм?*

Решено, теперь *все Панславизм!*

<sup>10</sup> *Греческий* монастырь Св. Пантелеймона беден, разорился до того, что у монахов, наконец, нет ни бобов, ни чечевицы, скоро не будет хлеба. Протат официально объявляет его банкротом.

Игумен вспоминает про одного сурового и умного иеродиакона, русского, из Старого Оскола, который живет на Афоне у моря, в пустынной келье, и в безмолвии молится и разводит цветы. «Он принесет нам благословение», — говорят греки. Зовут его. Он соглашается. Сам он не так богат; но он мужествен, ума необычайного, он музыкант, он иконописец, он строитель, он богослов хороший, стал иеромонахом, он Церкви подвижник стал неутомимый, он исповедник тонкости и опыта редких.

<sup>20</sup> Вслед за его поселением монастырь наполняется русскими, монастырь строится, богатеет, цветет; воздвигается собор в строгом греческом вкусе, обрабатываются запущенные хутора в окрестностях, вырастают снова пышные, порубленные от бедности леса; люди просвещенного общества (русские, конечно, ибо *просвещенные* греки никогда не ездят на Афон) находят отраду в его беседе и уезжают с Афона примиренные с монашеством.

Когда эти русские миряне чего-нибудь не понимают на Афоне и осуждают что-нибудь византийское у греков, отец <sup>30</sup> Иероним обличает их односторонность или слишком французское, модное понимание Христианства, которое должно быть милостиво, но должно быть и грозно по духу самого Евангелия.

Русский светский человек уезжает, поняв лучше афонских греков и ценя их древнюю суровость.

Что же это такое? — Это Панславизм.

Приезжает на Афон, на поклонение, богатый купеческий сын; он и дома был мистик и колебался давно, что

предпочесть: клубук и рясу, или балы, театры, трактиры, торговлю и красивую добрую жену? Он заболел на Афоне; он умоляет грека-игумена и русского духовника постричь его хоть пред смертью. Игумен и духовник колеблются, добросовестность их опасается обвинения в иезуитизме... Молодой человек в отчаянии, положение его хуже, жизнь его в опасности... Он опять просит. Его наконец постригают. Он выздоравливает, он иеродиакон, иеромонах, архимандрит; он служит каждый день литургию, он исповедует с утра до вечера, он везде, у всенощной, на муле, на горах, на лодке в бурную погоду; он спит по три часа в сутки, он беспрестанно в лихорадке, он в трапезе каждый день ест самые плохие постные блюда, он, которого отец и братья миллионеры; его доброту, ум и щедрость выхваляют даже недруги его, греки советуются с ним, идут к нему за помощью... Иные, напротив того, чем-нибудь на него раздосадованные, говорят: все он с греками, все он за греков...

Что это значит? — Панславизм!

Молодой офицер еще на скамье кадетской мечтал о монашестве; он бежал из корпуса в один монастырь; его вернули и наказали. Он кончил курс ученья, сражался в Севастополе, по окончании войны постригся. Но под Москвой ему кажется слишком много развлечений. Он еще молод и цветет здоровьем... Он бежит в Турцию, на Афон...

Как? офицер? Офицер, который даже знает по-французски? Нет! он не может верить; он атеист! он панславист!

Старый извозчик, тамбовский, зажиточный троечник, молотит себе овес и гречиху, обмеривает, по собственному признанию, народ, живет уже вдовый в свое удовольствие, но у него есть сын молодой.

— Батюшка, брось гречиху, слышь, глас Божий к обедне зовет.

— Ах ты, такой-сякой, а гречиха не глас? Вот я тебя!..

— Батюшка, батюшка, не обмеривай людей овсом... Грех великий! Пойдем на Афон, пострижемся вместе.

— Не хочу я в монахи.

— Батюшка, выпей водки, — говорит сын.

— Давай.

— Ну, теперь, вот к тебе поп наш пришел, сельский, выпей и с ним для праздника... Теперь, батюшка, я хочу звать тебя на Афон только на поклонение.

— Пойдем.

— А ты, батюшка, поклянись на образе.

Ямщик клянется. На другой день он трезвее и вздыхает. Но уж поздно: клятва дана. Он теперь монах на Афоне, <sup>10</sup> любимый всеми, добрый, честный старец, все такой же простой и безграмотный, но, несмотря на свои восемьдесят лет, неутомимый работник и пчеловод на живописном, очаровательном пчельнике, осененном душистыми соснами и покрытом розовым вереском, с которого пчела берет мед...

Видите! Русский пчел разводит на Святой Горе, может быть, по русской методе... Он панславист! А сын его? Сын, почти обманом сманивший его сюда, о! сын его, конечно, агент Игнатьева, Фадеева, Каткова...

Уважают греки русских духовников? Панславизм.

<sup>20</sup> Берут греки других монастырей из греческих иноков Руссика, живущих дружно с русскими, игумена? Панславизм.

Берут скитские андреевцы в свою русскую среду одного грека-монаха ученого, чтобы учить русскую молодежь свою по-гречески... Какова хитрость! Каков Панславизм!

Богат Зограф болгарский?

Панславизм, — потому что болгары и русские — одно и то же.

Богат Ватопед греческий?

<sup>30</sup> Панславизм, — потому что имения его в России.

Бедны греческие монастыри Ксеноф, Симо-Петр, Эс-фигмен, — опасно; их подкупят.

Волнуются запорожцы? Бунт! Интрига! Панславизм!

Покорны русские монахи грекам: «А! Политика покорности, мы это знаем, интрига, Панславизм».

Помог русский консул грекам: дурно сделал. Зачем вмешался?

Не помог, — еще хуже. «Видите, и права греков не хотят поддержать!»

Болен русский консул... Он почти ничего не ест, говорят люди; слухи ходят даже, что он хочет постричься.

Вздор! Больной человек, воспитанный по-европейски, как все эти проклятые русские чиновники, не смеет болеть на Афоне; для этого есть воды всеспасительной Германии... Возможно ли верить, что ему приятно с монахами? Что за скука! Мы, эллины, вот тоже европейцы, однако никогда туда не ездим, хотя от нас Афон и ближе. Кто ж нынче<sup>10</sup> уважает монашество? Кто ж верит в мощи, благодать, чудеса, в исповедь и покаяние?..

О, бедные, бедные греки! О, прекрасное население греческих гор, островов Эгейских, увенчанных оливами, и ты, мой живописный и суровый, до сих пор еще полугомерический Эпир, в молодецкой феске и белой одежде! Как мне вас жаль! Итак, для того лилась когда-то кровь стольких красавцев-паликар, чтобы над ними воцарились *нынешние* греки *мира сего*...

Нет! Никакой деспотизм, никакая иноземная власть,<sup>20</sup> никакое иго не может так исказить человека, как исказит его авторитет недоученых риторов и продажных паяцов газетной клеветы!

## II

Главная цель некоторых греческих газет одна — внушить как можно более подозрений туркам, уверить их всеми средствами, что болгары и русские одно и то же и что они самые опасные враги и Турции, и Эллады. Я сказал: *всеми средствами*... Не все, конечно, редакции таковы. Есть органы подозрительные и при всем том, однако, разумно патриотические.<sup>30</sup>

Но в Царьграде издается теперь одна газета, которой имя «Phare du Bosphore». Издается она на французском языке, но в каком-то особенно германо-греческом духе и

отличается чрезвычайным бесстыдством своих клевет и искажений.

Недавно в четырех довольно длинных и недурно написанных статьях под заглавием «Русские на Афоне» газета эта представила Святую Гору совершенно преданною в руки славян.

В первой статье перечисляются разные меры, принимаемые каким-то панславистским комитетом России для скорейшей славизации Афона и для усиления прилива русских поклонников на Восток.

Во второй изображаются успехи русской колонизации на Афоне с 1818 года и до сих пор.

Третья статья трактует о высших политических целях России во Фракии, Македонии и вообще на Балканском полуострове, указывая на то, что Россия отказалась от боевого завоевания Турции только для того, чтобы медленнее, но гораздо вернее достичь своей цели посредством славизации Фракии и Македонии... Как будто эти страны и без того почти не вполне болгарские, то есть не славянские!

Если бы Россия искала и имела возможность сделать болгар вполне русскими, по чувствам, интересам и быту, тогда подобные нападки еще имели бы смысл; но болгары преследуют свои болгарские, а вовсе не русские цели, и теперь именно настанет период их новой истории, когда, отделавшись от греков, они начнут более и более выяснять свои отдельные болгарские цели, которые, быть может, очень разочаруют тех писателей и ораторов русских, которые неопределенными и общими фразами «о сочувствии славянам» и тому подобными неполитическими нежностями сбивают с толку общественное мнение России, раздражают и без того огорченных греков и, внушая неуместные подозрения туркам, вредят не только русским интересам на Востоке, но и самим болгарам. Болгары, поверьте, отлично бы устроились в Турецкой Империи без этого непрошенного сердобольного братского нытья.

Наконец, в своей 4-й статье «Phare du Bosphore» печатает отрывки из какого-то донесения или частного письма

одного «панславистского агента в Македонии», из которых явствует, что Афон должен скоро обрусеть, и, наконец, указывает, какие именно грозные и энергические меры должны принять Правительство оттоманское и Вселенская Патриархия для пресечения этого зла.

Оставляя без особого внимания первую и третью статьи «Фара», которые наполнены общими местами и декламациями против Панславизма на Балканском полуострове, разберем повнимательнее две другие: прежде вторую, изобилующую самую бесстыдную клеветой, а потом четвертую, предлагающую Порте и Патриархии самые глупые, хотя и грозные, меры против русских и болгар на Афоне.

«Теперь, — говорит автор второй статьи, — мы разберем успехи русской колонизации на Святой Горе с 1818 года.

Русские монахи обладают ныне следующими обителями:

1. *Монастырь Святого Пантелеймона, населенный исключительно русскими».*

*Ложь!* На 500 человек братии греков около 150; игумен грек и представитель в Протате грек.

«2. *Зограф (болгарский монастырь), коего игумен, отец Климент (M. Climis!), недавно объехал всю Македонию, возбуждая болгарское население против Вселенской Патриархии, и дал 500 ливров вспоможения болгарской общине Константинополя».*

*Двойная ложь!* Во-первых, отец Климент по всей Македонии не ездил, а ездил, говорят знающие люди, только по хозяйству в монастырские свои имения. Об его отношении к Патриархии я не могу ничего сказать; давал ли он деньги константинопольским болгарам, тоже не могу ни утверждать, ни отрицать, но я слышал вот что из верных источников. Прошедшею зимою болгарское училище в Солуне надеялось приобрести от Зографа около 500 турецких лир на покупку земли под церковь и школу. Зограф отказал, говоря, что не будет больше помогать болгарам, пока они не помирятся с Патриархом. Может быть, с тех пор и зографские болгары увлеклись племенными чувствами... Этого я не знаю.

А во-вторых, что же общего между болгарским Зографом и русскими монахами? Русские до того *не обладают* Зографом, что зографские болгары вытеснили мало-помалу из своего монастыря всех русских и полурусских бессарабских болгар. Остались только три, четыре человека из крайне безответных или уж очень нужных монастырю по письмоводству и хозяйственным делам.

Вообще замечательно, что русские с греками и греки с русскими уживаются легче в афонских обителях, чем, например, русские с болгарами, болгары с греками, чем даже великороссы с малороссами или греки малоазийские с греками Элады и островов.

Тут нет никакого сознательного *систематического филетизма*, тут есть некоторая *физиологическая* несовместимость личных характеров или исторических привычек. Греки горды и самолюбивы, русские уступчивее и уклончивее; при столкновениях русские монахи смиряются, и греки, поняв это, скоро каются. Болгары же превосходят упорством и способностью пассивной оппозиции все другие племена Востока. «С ними, — говорят русские, — гораздо труднее иметь дело, чем с греками. Грек быстрее, он все скоро поймет, и худое и хорошее, и можно с ним сговориться; с болгаринном, если он недоволен, почти уже никакого слад». Так точно демагогический дух казаков и паликарство эллинских греков плохо уживаются с неограниченной властью игуменов и духовников, которым так охотно подчиняются и великороссы, и малоазийские или фракийские греки.

Что же тут общего между зографскими болгарами и русскими?

<sup>30</sup> *Третья русская добыча, Хилендарь* (тоже болгарский), был до того не добыча русских, что ни за какую сумму не хочет дозволить Русско-Андреевскому скиту, совершенно безземельному, взять небольшой клочок земли с одною келлией на склоне горы, по соседству скита. Андреевцы дают за этот клочок около 6000 рублей, но хилендарские болгары не уступили даже ходатайству самого генерала Игнатьева, который просил их об этом, в бытность свою на

Афоне несколько лет тому назад. Кажется, это много значит; вес генерала Игнатьева, представляющего Россию и лично весьма влиятельного, всем здесь известен. Но болгары, я сказал уже, упорнее всех восточных и славянских племен и русским поддаваться вовсе не любят.

*Четвертая добыча:* «монастырь Св. Илии», говорит автор. Эта обитель, правда, населена почти исключительно русскими из Добруджи, но это не монастырь, а *безгласный скит*, зависимый от греческого монастыря *Пантократор*, который хоть и беден, как справедливо говорит автор, но *строг*, как то мы видели в деле избрания ильинского игумена.

*Пятая добыча:* скит *Св. Андрея*. Это, мы уже знаем, совсем русский скит, и в нем, действительно, около 200 монахов. Но и он есть зависимый от Ватопеда *скит*, а не *монастырь*.

К тому же все, что говорит автор о времени его постройки, о происхождении его названия *Серай*, о времени, когда Ватопедский монастырь разрешил *Серайской* патриаршей келье *повыситься* в звание скита, все это вздор, незнание и ложь. История совсем не та. Разрешение стать этой келье скитом выхлопотал от Ватопеда не Великий Князь Алексей, а А. Н. Муравьев, гораздо раньше. Великий Князь положил камень будущего собора, на постройку которого андреевцы до сих пор не имеют средств. (Вот как искажает все это бесстыжая публицистика! Бесстыдство и ложь по тенденции во всех странах нынче сделались до того обычными, что никто уже и не оскорбляется ими... За что же нападать на иезуитов после этого?.. Разве за то, что они *другого направления?*)

Что касается шестой и седьмой обителей, попавших в руки русским, то надо только дивиться, до чего люди решаются печатно лгать.

*Шестая добыча* есть какой-то монастырь *Богородица* около *Лавры Св. Афанасия*, в нем теперь 180 русских монахов и т. д.

Но *монастыря Богородица* вовсе нет на Афоне. Тут смешаны, вероятно, две совершенно различные и отдель-

ные вещи: 1) *скит Богородицы Ксилургу*, населенный болгарскими, а не русскими, и построенный на земле *греко-русского монастыря Св. Пантелеймона* и зависимый от него, и 2) *келья Св. Артемия*, в которой живет 15—18 русских монахов. Эта келья стоит на земле *греческой лавры Св. Афанасия* и зависит от ее начальства. Между тем скитом и этою кельей, по крайней мере, 12 часов (то есть 60 верст) самого тяжкого горного пути. А у редактора «Фара» они географически слились воедино, почти так, как все болгары исторически и психически слились воедино с русскими, чего ни те, ни другие вовсе, быть может, не желают.

*Седьмая добыча*, это чисто греческий *Ксеноф*, который признан русским лишь за то, что осмелился избрать игуменом *грека* из братии *Руссика*! Автор, уж вовсе не стесняясь, называет его просто *русским*.

Остальная половина второй статьи наполнена известиями о похищениях библиотек, об отнятии земель у греков, об особом флаге, черном с белым крестом, который развевается на трех кораблях русского монастыря и т. д.; о типографиях, наконец, будто бы открытых и в *Руссике*, и в *Андреевском скиту*, даже об *арсеналах*... Утомительно и скверно!

Русские монахи грабят греческих монахов, отнимают у них землю! Пусть спросят у самих греческих монахов, правда ли это?

*Руссик*, например, как слышно, имеет документы на часть соседней ему *ксенофской* земли... Однако он и не думает начинать тяжбу... *Руссик* славится на *Афоне* тем, что избегает всяких тяжб за землю, несмотря на то, что у него нет ни в *Турции*, ни в *России* доходных имений и что если он и цветет, то лишь вкладами своих монахов и приношениями небогатых людей из *России*.

Типографий, разумеется, никаких нет. *Руссик* и *Андреевский скит* издают иногда книги духовного содержания, но они печатают и издают их в *России*. Это всем известно, и о политике в этих изданиях обыкновенно ни слова.

Флаг черный с белым крестом принадлежит всем *афонским судам*: это их старая привилегия. Если паша солун-

ский велел поднять красный турецкий флаг на корабле Св. Пантелеймона, то это ничего: один флаг — частный афонский, а другой — общий флаг Империи... Но если паша серьезно думал, что это особый флаг монастыря Руссика, как утверждает (я думаю, притворно) «Фар», то очень стыдно ему не знать условий и обычаев страны, которая ему вверена Султаном.

Но, я думаю, «Фар» все врет.

Что сказать теперь о самом *ужасном* обвинении, об *арсенале*, который намеревается приобрести Андреевский скит?

Ни в чем, как в выборе этого слова *арсенал*, так не видна бешеная злоба редакции «Фара»... Это уже не греческий племенной фанатизм; это какое-то *личное* исступление. Не так пишут благородные греческие патриоты. Не так говорит, например, об Афоне статья «Неологоса», статья, однако, патриотическая, которую приписывают Преосвященному Ликургу Сирскому... Здесь есть *нечто иное*... И к счастью, многие разумные греки знают хорошо цену мнениям и доводам «Фара».

Дело вот в чем. В старину, когда Афон подвергался набегам пиратов, у иных монастырей, построенных у моря, вблизи пристаней их, воздвигались высокие башни для защиты пристани и для наблюдения за морем. Тогда эти башни и пристани звались *арсеналами*, или по-афонски *арсанá*. Теперь эти башни имеют простое хозяйственное значение, и многие пристани вовсе и не имеют их; но привычное название *арсана* перешло и к русским.

Свято-Андреевский скит желал, как слышно, купить у одного греческого монастыря подобную простую пристань для своих небольших судов, которые снабжают его провизией из России. Но невинная пристань эта обратилась под пером нашего автора, обуреваемого яростью, в грозный арсенал.

В 4-й статье «Фара» предлагаются Порте и Патриархии различные радикальные против Панславизма меры.

Разберем каждую из этих мер особо.

1. Чтобы Порта вознаградила афонские греческие монастыри значительной суммой денег или поземельною собственностью за утраты, которые они понесли в Молдо-Валахии через конфискацию их имений Кузою. Эта мера обеспечила бы их и сделала бы менее зависимыми от русских.

Эта мера прекрасная, и дай Бог, чтобы Порта сделала это для бедных афонских обитателей. Все, что дает поддержку Православию, хотя бы и вещественную, не может не радовать добрых христиан, какой бы то ни было нации. Что <sup>10</sup> касается русского Правительства, то всем известно, что оно *вместе с Портой* защищало несколько лет подряд права греческих монастырей в Румынии на эти так называемые «преклоненные» имения. Значит, Россия не боится обогащения греческих обитателей. Но как распределить между обителями эту огромную сумму, которую турецкое Правительство должно пожертвовать, несмотря на все другие крайне настоятельные нужды свои, для противодействия весьма сомнительному обрусению Афона? Ватопеду, Иверу, Ксиропотаму, Зографу давать незачем; они и без того <sup>20</sup> не бедны, и надо дать, например, Ватопеду по крайней мере 150 000 руб. годового дохода, чтоб он сам *согласился отказаться* от своих бессарабских имений и таким образом отвергнуть всякую вещественную связь свою с Россией.

Значит, чтобы достичь цели, надо разом обогатить все беднейшие обители афонские, надо, чтобы Григориат, Симо-Петр, Эсфигмен и другие киновии получали по крайней мере по 20—25 т(ысяч) руб. ежегодного дохода (около 3—4 т(ысяч) турецких золотых лир).

Но и тогда они едва ли будут отказываться от добровольных русских приношений и вкладов. <sup>30</sup>

Каждый отдельно всякий монах в киновии или в пещере может быть *бессребренником*, но обитель *не имеет права* лишать людей возможности *приносить жертвы*, если это им отраднo и утешительно. Иной больной человек, или считающий себя многогрешным, придет в отчаяние и сочтет, пожалуй, себя проклятым, если б обитель, на которую он захотел бы пожертвовать, отинула его лепту.

К тому же одинаковое, равномерное распределение вещественных средств испортило бы, вероятно, Афон.

Афон, в том виде, каким он теперь, именно тем и хорош, что в нем на небольшом пространстве сосредоточено множество различных форм и оттенков монашеской жизни.

От жизни отшельника в неприступной пещере до жизни проэстоса, обитающего в десяти комнатах с шестью послушниками, — множество оттенков.

Жизнь греков и болгар в малых келиях и каливах (хижинах) отличается несколько от жизни русских в подобных же жилищах. Есть общежития очень суровые, есть общежития не строгие; есть общежития богатые и есть общежития бедные; идиоритмы богатые и бедные; есть скиты (два русских и один румынский) общежительные, построенные корпусами наподобие монастырей; есть скиты своеобразные, которые, не зная Афона, вы примите издали за небольшие села в лесу или на горе: всякий живет в особом домике, но очень сурово (такие скиты все греческие, хотя и в них есть русские и болгары).

Заметим еще вот что:

Выше я говорил, что одна из главных *реальных* сил, привлекающих на Святую Гору поклонников и приношения их, есть сила высшего *аскетизма* и что самые строгие отшельники и представители этого *аскетизма* суть греки и болгары (прежнего греческого воспитания, греческого духа).

Эти свойства строгого *аскетизма* принадлежат, впрочем, не одним пустынножителям Афона, в жилища коих и проникнуть очень трудно и проникают немногие; они принадлежат также большинству греческих киновий (имена их перечислены были прежде).

Суровый образ жизни этих общежитий — пост, долгие ночные бдения, холодные кельи, в которых большею частью нет ничего, кроме икон, рогожки на полу и какого-нибудь гвоздя, чтобы повесить толстую рясу, — все это внушает сильное уважение и русскому, пришедшему издали, и греческому соседнему простолюдину, посетившему Афон.

Если набожному и чем-нибудь огорченному русскому поклоннику вид этой строгости внушает охоту остаться на Святой Горе, точно так же действует этот вид и на верующего грека.

Вообще же поклонник и желающий постричься имеет на Афоне обширный выбор и богатый запас примеров и поучений.

Если бы все обители были одинаково бедны или одинаково умеренно богаты, если бы все были киновии или все <sup>10</sup> идиоритмы, если бы населен был Афон только русскими или только греками — было бы хуже: Афон упал бы и, может быть, запустел бы. Развилось бы какое-нибудь исключительное вмешательство, педантство, односторонность, искусственность. Не было бы уже той жизни, того духовного разнообразия, того богатого развития, тех антитез, тех взаимных возбуждений и примеров, которые теперь придают столько нравственной силы афонской жизни.

Греки и болгары схожи в том, например, что они и к себе, и к другим суровее русских, особенно телесно; <sup>20</sup> русские зато добрее, милосерднее греков и болгар.

Греки и болгары крепче — они более *выносят*; русские мягче — они легче *милуют*.

Русский поклонник хвалит греков и болгар за их аскетизм.

Греческий и болгарский мирской простолюдин любит русских монахов за их доброту. Таким образом восточные христиане и наши русские, взаимно дополняя здесь друг друга, развивают успешно обе главные основы христианского учения — *аскетизм* и *милосердие*.

<sup>30</sup> Однообразие Афона, даже в денежном отношении, повлияло бы дурно на Православный мир.

Далее говорит автор: «Порта и Патриархия должны немедленно приступить к полному изгнанию всех русских с Афона».

Относительно этого изгнания (*expulsion pure et simple*) русских монахов с Афона следует сказать вот что: может быть, иным *чисто* политическим грекам приятна была бы

полная эллинизация Афона, но этому есть много препятствий.

Во-первых, сама нынешняя Патриархия, проклявшая *филетизм*, не может, оставаясь верною себе, гнать с Афона русских монахов за то только, что они русские.

Во-вторых, общественное монашеское мнение Афона глубоко возмутилось бы этим. Русские монахи в среде афонских греков очень любимы за свое добродушие, простоту, уступчивость и набожность. Многие бедные монахи, обладатели небольших хижин, шалашей и т. п., большинство бедных киновий греческих и скитов (например, Ксенофского скита, соседнего Руссику) привыкли видеть добро и помощь от русских монахов.

На Афоне много честных и простых греков-монахов, имеющих правила, благодарное сердце и чуждых еще, как я говорил уже не раз, племенной исключительности, обуревающей нынче до гадости крайних политиков обеих борющихся сторон — и греческой, и болгарской.

В-третьих, расчетливые люди на Афоне побоятся оскорбить Россию и русских, потворствуя сколько-нибудь явно извержению русских. Наконец (и это главное), откуда взяли крайние греки, будто для Турции была бы выгодна полная эллинизация Афона? Для Турции чем разнороднее его племена, тем выгоднее.

Будь на Афоне всё одни греки, племенная политика Эллады могла бы наконец восторжествовать над местными афонскими интересами и убеждениями; исключительно греческий *филетизм* мог бы легче заразить постепенно и тех монахов-греков, которые до сих пор были чужды ему и которые теперь гораздо больше думают о спасении души или о скромных вещественных нуждах своих, чем о «великой идее» и об эллинизации Турции.

Будь на Афоне одни лишь греки, Афон, подготовленный сперва деятельною эллинскою пропагандой, расположенный столь близко от островов и Фессалии, мог бы легче, в минуту каких-нибудь замешательств, отпасть от Турции к Элладе.

Какая же в этом выгода для Турции?

Точно так же неудобно было бы для Турции, если б Афон был весь болгарский. Болгарские земли тоже близко, и духовенство болгарское совершенно в руках своего народа. Оно вовсе не свободно. Я полагаю даже, что близость стран болгарских или стремящихся к болгаризму, как, например, Македония, делает то, что для турок может казаться неудобным не только полная болгаризация Афона, но и просто численный перевес болгар над греками на Святой<sup>10</sup> Горе.

Я рассматриваю дело теперь с точки зрения крайней турецкой подозрительности и, становясь искренно на место турецких политиков, говорю себе так: за греков теперь на Афоне число, за болгар — *географическое положение* (ибо все-таки Фессалия, Эллада и острова греческие гораздо удаленнее от Афона, чем Македония, *которой Афон есть часть* и географически, и административно). У русских же на Афоне может быть, скорее чем у кого бы то ни было, сильная поддержка извне. Но зато они удаленнее<sup>20</sup> всех других от своего племени, от своей родины и не имеют никаких, сравнительно с греками и болгарами, местных политических интересов. Русское Правительство или двигатели русского общественного мнения, если б и желали иметь *влияние* на дела Афона через посредство русских монахов, как уверяют нас греки, то это им не легко издали, а мы, турки, легко можем противопоставить им всегда и греков, и болгар, которые близко. Не оскорбляя никого и не потворствуя исключительно никому ни внутри Империи, ни вне ее, мы лучше удержим за собою то более самобытное и<sup>30</sup> приличное великой Державе положение, которое мы приобрели теперь, с одной стороны, благодаря унижению Франции и сравнительному ослаблению Англии, а с другой — благодаря особым взаимным отношениям Германии и России, в которых взаимные опасения и некоторые общие выгоды парализуются и уравниваются взаимно. За русских монахов на Афоне — деньги русские и незримый, но всегда ощутительный вес великой Державы; за болгар —

местность и полная солидарность их нового духовенства с их народом, который держит все свое духовенство в руках и может внушить ему что угодно, когда ему вздумается сделать какой-нибудь политический *volte-face*. За греков на Афоне — число, язык официальный, предания и власть Патриархии. За греков — больше реальных сил, и даже русские деньги в их руках на Афоне. Другие племена поэтому, примешанные к грекам на Афоне, вредить мне, *Турции*, не могут; они, напротив, полезны тем, что могут одним пассивным, бессознательным сопротивлением своим или даже равнодушием к эллинизации Афона противодействовать национальной пропаганде мирских греков, теперь столь полюбивших нас, турок, страха ради всеславянского.

Так должны думать умные турки.

*Divide et impera!* Не правда ли? Но будем же, наконец, справедливы и мы. Чем виноваты эти турки, столь беспощадно и бессовестно оклеветанные в разных органах либерального и прогрессивного фразерства? Чем виноваты турки в том, что *люди иной веры* сами ищут разрыва и сепаратизма? Если *внешний* вид справедливости, беспристрастия и своего рода невмешательства совпадает у турок со *внутренним* сознанием, что буйные раздоры мирских христиан и мирная пестрота афонского населения для целостности Империи выгодны, то кто же может за это осудить их?

Странное было бы дело, если бы государственные люди, которых предки мечом и кровью своею завоевали во время обо и расстроенную по собственной вине Византию, и грубые, некультурные племена соседних ей славян, не имевших никакой солидной организации, — если б эти государственные люди *Турции* пренебрегли своим долгом, в угоду кому же? — «*Фар-дю-Босфору*», с одной стороны, или публицистам лже-славянским, вроде сотрудников «*Вестника Европы*», воображающих, что они понимают восточные дела и знают, в каком именно духе действует генерал Игнатьев, которого обязанности так важны и так сложны!

Впрочем, чтобы русские монахи не чересчур размножились на Афоне, об этом туркам и заботиться нечего; об

этом позаботятся разными путями *внешние греки*, мирские члены Патриаршего Синода, даже некоторые политикующие проэсты афонских богатых обителей в шолковых рясах, курящие наргиле или жертвующие, Бог знает с какой стати, свои деньги на Афинский университет, до которого и Православию вообще, и Афону нет никакого дела.

Сирский епископ Ликур, молодой иерарх свободной Греции, которого слова уже один раз я приводил, прошедшею осенью прибыл на Афон. Слух прошел, что он едет<sup>10</sup> туда с целью противодействовать русским.

И действительно, рассказывают, будто бы он предостерегал афонских греков от *излишеств* русского влияния; но тем не менее, как человек серьезно образованный, как христианин добросовестный, он отдал честь Афону за то именно, за что и мы его хвалим, именно за *чистоту* и прямоту его Православия. В статьях газеты «*Νεόλογος*» он говорит также о том, что чрезмерного усиления русских на Афоне бояться не следует более; это обрусение возможно было бы в старину, но что теперь греки слишком зорки,<sup>20</sup> чтобы допустить его.

Вот это не клевета и не ложь, а спокойное суждение человека, в котором греческий патриотизм не убил вполне ни Православия, ни чести, ни ума.

Вторая мера, которую должна-де принять Порта против русских на Афоне: запретить им, как русско-подданным, иметь в Турции земельную собственность и вынудить русские монастыри возвратить греческим то, что они у них купили или отняли посредством разных интриг.

Во-первых, любопытно заметить, что *русского* монастыря на Афоне собственно и нет ни одного. Есть два русские *скита*, Св. Илии и Св. Андрея, у которых на Афоне нет ни пяди своей земли; оба, как мы уже знаем, построены на землях монастырей греческих (свободных, *действительных* монастырей, имеющих голос в Протате и все ставропигиальные права), именно: первый скит, Св. Илии, на земле Пантократора, а второй, Св. Андрея, на ватопедской земле. Они зависят от этих греческих обителей и не смеют

даже дров себе брать из леса без спроса этих монастырей (отказа, впрочем, со стороны греков в этом не бывает).

Что касается знаменитого *Руссика*, или монастыря Св. Пантелеймона, то у него на Афоне есть земля и хороший лес и есть еще под Салониками небольшое имение, Каламарья, которое едва-едва окупает труд земледельческий.

Но как же отнять эти земли у русских, когда, несмотря на имя свое, монастырь этот все-таки считается греческим, а отнять земли у греческой братии (составляющей, по-10  
ложим, хоть бы и меньшинство) значит оказать ей весьма плохую услугу. Положение между Сциллою и Харибдой! Выгнать всех русских из Св. Пантелеймона, — но монастырь этот, до поселения в нем русских, нуждался в насущном хлебе, собора не было, в церковной утвари был недостаток... С русскими явились и хлеб, и собор, и облачения, и почеть. Старый и благочестивый добрый отец Герасим, игумен этой обители — грек, но он первый будет за русских горою; он не раз говорил греческой братии об унижениях и крайности, которые терпел этот монастырь до на-20  
полнения его русскими.

Не выгоняя русских, отнять у них землю? — Но ведь земля принадлежит не русским, а собственнику идеальному, то есть обители, и отнять ее у русских пришлецов значит ограбить и туземных греков, живущих с ними.

Св.-Андреевский скит, правда, приобрел недавно хорошую землю вне Афона, около города Каваллы; эту бы можно отнять у *русско-подданных*, по совету «Phare du Bosphor», но ведь сама же эта газета говорит ниже вот что:

«Недавно монах, управляющий чифтликком Св. Андрея 30  
около Каваллы, явился к губернатору с драгоманом русского консульства. Паша не принял их и сказал: *все монахи здесь подданные Султана*».

Я знаю управителя Св.-Андреевского хутора или скита у Каваллы. Если это правда, что он пошел по официальному делу к паше или каймакаму с драгоманом русского консульского агентства в Кавалле, то он поступил, конечно,

без такта. Но, с другой стороны, что-нибудь одно: или русские монахи подданные Султана, тогда они могут владеть землею; или они русско-подданные, тогда они могут прибегать по трактатам и законно к защите консульской.

Я, впрочем, вполне согласен как с тем, что давно пора признать права местных турецких трибуналов (подобно тому, как мы признаем их в Египте), так и с тем, что ныне с каждым годом становится иностранцу все выгоднее и выгоднее быть турецким подданным в Турции, чем иностран-<sup>10</sup> ным.

Я расскажу здесь об одном любопытном деле, которого я был свидетелем.

Приехал прошлым летом на Афон бельгийский консул в Салониках. Он вместе с тем и агент паровой компании «Messageries». Он просил русского архимандрита, отца Макария, способствовать делам этой французской компании, направляя русских богомольцев на ее пароходы.

Архимандрит Макарий отвечал, что не может этого сделать, ибо русских богомольцев привозит на Афон компания турецких пароходов.<sup>20</sup>

— Мы не находим приличным, — сказал архимандрит, — действовать в ущерб интересам компании, находящейся под покровом Правительства, к тому же турецкие пароходы возят богомольцев очень аккуратно и покойно. Прежде езжали сюда французские пароходы, но на них очень грубо обращались с поклонниками, бросали как пошло вещи, отъезжали от берега скоро, не трудясь брать карантинной практики, и мы не знали, имеем ли право принимать людей к себе или нет. Жалобы оставались все без<sup>30</sup> внимания. Турецкою же компаниею мы довольны.

Агент «Messageries» сам человек весьма, впрочем, порядочный, удивился, что *нынешние* турки вежливее *нынешних* французов. Турки просветились больше; французы огрубели против прежнего.

Позднее пошел слух, что Русское Общество Пароходства и торговли согласилось с «Messageries» для перевозки

поклонников, но русские монахи немедленно приняли меры, чтобы это соглашение расстроилось и чтобы наше Общество вошло в сношение с турецким.

Какие же еще меры предлагает эллино-германская редакция «Фара» против ни в чем политически не повинных русских купцов, отставных офицеров и чиновников, семинаристов, солдат и крестьян, простодушно ушедших на Афон спастись и не подозревавших никогда, что они, бедные, так страшны.

Третья мера вот такая: игуменам быть избираемым только из греков и никогда из русских. Но ни в одном афонском монастыре не было ни разу и нет теперь русского игумена. Св.-Андреевский скит и Св.-Ильинская обитель зависят от греческих начальствующих монастырей; в тех зависимых обителях, правда, теперь игуменами русские, но прошлого года в Ильинском скиту скончался игумен отец Паисий *родом болгарин*, а не русский.

К тому же из краткого очерка волнений в этом Ильинском скиту мы видели, до чего сильно могут влиять начальствующие монастыри на Афоне на избрание или утверждение игуменов в скитах.

В Пантелеймоновском независимом монастыре, или в Руссике, я говорил уже не раз, игумен грек, отец Герасим.

Далее, четвертая мера: *Запретить иностранным поклонникам посещать Афон без особого разрешения Патриархии.*

Это осуществимо, конечно; но не скажет за это весь Афон спасибо эллинскому патриотизму. Я говорю не о русских только, а обо всем Афоне, на котором большинство греки же.

Но греки эти — монахи; они имеют свои особые предания, свои особые нужды, свои отдельные от эллинских интересов духовные и вещественные потребности.

Неизвестно еще, понравится ли афонскому Протату, привыкшему в течение стольких веков к самоуправлению, покориться безусловно таким внушениям племенной и мирской эллинской пропаганды?

Афон прежде всего хочет быть Афоном. Таков он был до сих пор.

Пусть спросят откровенно мнения афонцев об Элладе и Турции, например. Все греческие монахи, если только они будут искренни, ответят, что принадлежать Элладе было бы гибелью для Святой Горы, что эллины не о том думают, как бы пожертвовать деньги из личного благочестия на монастыри, а как бы с монастырей взять деньги на свои мирские потребности. Что в Турции Церковь свободнее, чем в Греции, что монашество у турок (которые вообще религиознее греков) в большем уважении, чем в свободной Элладе, что в 1854 году, наконец, Афон от турецких войск почти вовсе не страдал, а от эллинских волонтеров и от повстанцев соседних греческих сел едва спасся, — это дело известное.

Так говорят теперь афонские греки и будут долго так говорить, если турки не дадут слишком усилиться на Святой Горе эллинской пропаганде.

Русские монахи тоже довольны турецким Правительством. Я нарочно расспрашивал некоторых простых русских монахов, которых суждения не искажены никакими предвзятыми идеями или тенденциями. Они все турок очень хвалили и говорили: «Сказать по правде, так турки будут помилосерднее и посправедливее всех здешних народов. Турок жалостлив».

Это до такой степени верно, что я бы мог здесь привести этому бездну примеров, если бы позволило место. Сверх того, особенность положения афонского населения — это широкое самоуправление под властью Султана — действует и на русских.

Отчего русский монах остался на Афоне? Отчего он предпочел постричься здесь? Во-первых, женщин нет за чертой Афона. Во-вторых, постричься легко; в России же положена этому тысяча препятствий, вследствие рекрутчины и тому подобных условий, которых для христиан в Турции нет. В-третьих, на Афоне можно жить как хочешь, в богатом монастыре, в бедном, в особом домике с церковью,

зная над собой один лишь нравственный суд — избранного духовника; в пещере, в шалаше среди леса, под скалой на открытом воздухе — никто не мешает. Увидит турок, полицейский или жандарм, похвалит и скажет: «Святой человек, пророку Иссе и пророчице Мариам служит; и у нас, *в'Аллах!* есть такие хорошие дервиши». Правда, что и в России иные рады видеть человека *Божия* в лесу; но вдруг возьмется откуда-то становой или какой-нибудь другой просвещенный человек и обнаружит предупредительное усердие. «Зачем это голый человек в лесу? Это беспорядок!» Отшельнику русскому и тяжелы такие просвещенные заботы...

Помнят русские монахи свою милую родину, вздыхают иногда о ней, благодарят ее за помощь, молятся за нее, и сами, конечно, ничего подобного приведенному выше не скажут без вызова; но если их поставить *au pied du mur*, то они признаются, что эти соображения верны. «Исправились, много исправились нечестивые агаряне и лучше многих — увы, многих! — христиан умеют чтить чужую святыню!»

Пятая мера: приказать болгарским монастырям Хилендарю и Зографу признать схизму или выгнать вон с Афона болгарских монахов.

По последним слухам эти оба монастыря встретили *безмолвием* патриаршее отлучение. Неизвестно только, читали ли они его в церквях своих. Впрочем, если б они и не прочли его, то хотя это было бы явное ослушание духовного начальства, хотя это был бы *филетизм*, но, во всяком случае, турецкое Правительство опять-таки не совсем солидарно с Патриархией и с эллинизмом, точно так же, как оно не солидарно во всем с Экзархатом и с болгарскими чувствами.

Выгнать болгар с Афона без согласия турок нельзя, а туркам, повторяем, выгоднее Афон *пестрый*, чем Афон *однородный*.

Прибавим здесь кстати и то, что в греко-русском Пантелеймоновском монастыре прочли в церкви объявление схизмы, которое не хотят читать в Хилендаре и Зографе.

Вот и еще новое доказательство тому, что я утверждал не раз, именно, что болгары — одно, а русские — другое. Эту разницу видимо признает и статья «Неологоса», которую приписывают Преосвященному Ликургу.

Наконец *шестая и последняя* мера, предлагаемая газетой, вовсе вздорная.

Она советует уничтожить аристократическое преобладание *пяти каких-то монастырей* и дать всем двадцати монастырям право голоса в Протате. Это уж Бог знает что такое! В Протате и теперь все двадцать монастырей (из которых семнадцать греческих, два болгарских и один греко-русский по населению) имеют право голоса.

Во всех газетах константинопольских напечатано недавно, что в Патриархии начались заседания комиссии, готовящей проект действий на Святой Горе.

Лица, из которых она состоит, Варнский и Лариский епископы, и светские члены, гг. Антопуло и Психари, пользуются общим уважением в Константинополе, и поэтому можно быть уверену, что справедливость и здравый смысл возьмут верх в этом вопросе. К тому же не надо забывать об иноверной власти, которая не увлечена ничем исключительно.

По странной игре политических событий, по исходу Греко-болгарского вопроса, непредвиденному для многих людей, даже очень умных и знающих Восток, оказывается, что в наше время *чистейшие интересы Православия* (не политического, а духовного) тесно связаны с *владычеством мусульманского Государя*.

Власть Магометова наследника есть залог охранения и свободы для христианского аскетизма.

30 Я кончил.

Я желал, с одной стороны, оправдать русских афонцев пред турецким Правительством; с другой — я хотел показать, что всему совокупному Афону выгодно теперешнее его положение *самоуправления под султанскою властью*.

Политическая власть турок, церковная зависимость от Вселенской греческой Патриархии, денежная постоянная

помощь из России: вот тройная зависимость, заключающая в себе наилучшие залогов внутренней свободы для Святой Горы.

Подвластная туркам и населенная разноплеменными монахами, она сохранит истинный характер — быть самым верным иноческим убежищем и очагом чистого Православия. Афон будет достигать только при таком порядке дел своей особенной цели. Всякая племенная исключительность, русская, греческая, болгарская, одинаково погубит афонскую жизнь и лишит Афон смысла. 10

Мне хотелось бы также оправдать афонских греков пред русским обществом.

Поверхностное знакомство нашего общества с Востоком, туман и неотчетливость, с которыми являются подобные дела издали, пугают меня.

Было бы очень прискорбно, если бы, по незнанию, благочестивые русские люди смешали крики афинских демагогов, слабости греческих епископов (насилуемых отчасти крайними мнениями мирян) с мирными и добрыми монахами-греками, живущими на Афоне. 20

Повторяю, большинство их еще не успело исказить своих церковных убеждений племенными стремлениями; большинство их живет по-прежнему или жизни строго аскетической, или по крайней мере мирною местною жизнью, оставаясь равно чуждым и мирскому эллинству, и крайнему славизму.

Пусть по-прежнему посылаются на Афон денежные приношения и всякие дары личной набожности, пусть Россия останется по-прежнему «столбом Православия», как зовут ее многие еще до сих пор на Востоке. 30

Не все греки одинаково красны и неразумны.

Греки — *enfants terribles* Востока. Они образумятся. *Дальше им некуда идти...* Россия же должна быть спокойна и простить пророчески, не дожидаясь обращения, которое не замедлит.

# ДОПОЛНЕНИЕ К ДВУМ СТАТЬЯМ О ПАНСЛАВИЗМЕ

(1884 года)

С того времени, когда я писал эти две статьи, прошло *одиннадцать лет*. Они были обе напечатаны в «Русском Вестнике» 73-го года, вскоре после поместного Константинопольского Собора, объявившего болгар «схизматиками». Понятно, как изменилось многое с тех пор и у нас, и в Турции... Теперь церковного разрыва русских с греками <sup>10</sup> опасаться уже нельзя, как можно было его опасаться в 70-х годах. Болгария почти вся свободна, объединение ее отложено не надолго; дни турецкого владычества по сторону Босфора сочтены. Русские люди все более и более начинают, по-видимому, разочаровываться в пользе и целесообразности политики чисто эмансипационной, и можно надеяться, что близок час, когда мы не только все поймем, но и скажем громко, что *присоединение Царьграда, на-пр<имер>*, гораздо необходимее и государственнее, чем платоническое освобождение славян.

<sup>20</sup> Понятное дело, что и мои взгляды, как на Церковный вопрос, так и вообще на дела Православно-Турецкого Востока, не могли не измениться в частностях и оттенках, оставаясь в основаниях неизменными.

Я верил и тогда, верю и теперь, что Россия, имеющая стать во главе какой-то ново-восточной государственности, должна дать миру и *новую культуру*, заменить этой новой Славяно-Восточной цивилизацией *отходящую* цивилиза-

цию Романо-Германской Европы. Я и тогда был учеником и ревностным последователем нашего столь замечательного и (увы!) до сих пор одиноко стоящего мыслителя Н. Я. Данилевского, который в своей книге «Россия и Европа» сделал такой великий шаг на пути русской науки и русского самосознания, обосновавши так твердо и ясно теорию смены культурных типов в истории человечества.

Но, как г. Данилевский в своей книге слишком верит в славян, слишком исключительно надеется на них, так и я сам в то время, когда писал эти две первые статьи, живя в Царьграде, — слишком в них верил, слишком надеялся на самобытность их духа. Позднее, и даже очень скоро, я понял, что все славяне, южные и западные, именно в этом, столь дорогом для меня культурно-оригинальном смысле, суть для нас, русских, не что иное, как неизбежное политическое зло, ибо народы эти до сих пор в лице «интеллигенции» своей ничего, кроме самой пошлой и обыкновенной современной буржуазии, миру не дают.

Это я пытаюсь изобразить и доказать в позднейших моих статьях и особенно в следующей за ними «Византизм и Славянство».

Но и кроме подобных, по тому же пути дальше ушедших общих взглядов на Восточный вопрос и на великорусское культурное призвание, самые отношения мои к греко-болгарской церковной распре изменились довольно скоро при ближайшем знакомстве с делом и при новом положении моем в Константинополе, особенно благоприятном для освещения всех недавних событий. Изучая здесь дело ближе, узнавши и роль многих тайных пружин, я понял, что болгары не только отложились своевольно от Патриарха (т. е. вопреки его запрещению), чего не сделали в свое время ни Россия, ни Сербия, ни Румыния, но и преднамеренно искали раскола, преднамеренно всячески затрудняли мирный исход, чтобы произвести больше политических захватов; я понял, что они бестрепетно готовы потрясти всю Церковь и нарушить весьма существенные и важные уставы ее в пользу своей неважной и видимо ни к

чему замечательному не призванной народности. Они хотели иметь Экзархат не *административный, не топографический* в определенных границах, но Экзархат *племенной, «филетический»*, — как выразилось греческое духовенство на Соборе 72-го года. Экзархат или даже Патриархию административную, или топографическую, Вселенский Патриарх мог бы им дать и был бы вынужден обстоятельствами сделать это позднее... но болгары желали Экзархата «племенного», т. е. чтобы все болгары, где бы они ни находились, зависели бы прямо и во всех отношениях от своего национального духовенства. Конечно, Патриарх *не имел* даже и *права* уступить их желаниям в *такой форме*. Болгары тогда отделились самовольно; а Собор объявил их отделенными, т. е. отщепившимися, отщепенцами, «раскольниками»... Вот и все.

Итак, когда я в 73 году писал эти две предыдущие статьи о Панславизме, я, во-1-х, еще до многого не додумался, до чего додумался в Царьграде несколько месяцев позднее; а во-2-х, я был стеснен и тем, что, состоя тогда на консульской службе, — обязан был не по необходимости только, но и по совести, в печати являться более дипломатом или политиком *завтрашнего дня*, чем *социологом* или политиком более широкого грядущего; — и еще моей авторскою зависимостью от той редакции, для которой я писал *из-за полуторы тысячи верст*, не зная наверно, со всеми ли моими взглядами она будет согласна.

По всем этим причинам и подписался я тогда под обеими статьями этими — псевдонимом (Н. Константинов).

И несмотря на всю сдержанность мою и на всю *изворотливость* моего выражения, редакция «Русского Вестника» сочла необходимым напечатать следующую вставку на первой странице. «Печатая эти письма, доставленные нам лицом, долгое время живущим на Востоке и составившим себе определенные воззрения на нынешнее положение дел как там, так и вообще в Европе, мы не беремся защищать все, что в них сказано. В некоторых мнениях мы можем оказаться несогласными с автором, но не можем, во

всяком случае, не признать большого интереса за его письмами, возбуждающими мысль, живо характеризующими положение дел и настроение умов и приводящими вопросы времени к обдуманному выражению». Я упоминаю об этом вовсе не для того, чтобы выразить какое-нибудь неудовольствие на столь уважаемую мною редакцию г. Каткова, а скорее для того, чтобы оправдать себя и объяснить, что эти обе первые статьи мои *не только теперь*, но и тогда выражали не вполне то, что я думал и что я стал печатать позднее. *Знамя мое* было еще тогда не совсем развернуто...<sup>10</sup>

И при всем том, что оно было не совсем развернуто, иные русские либерально-славянского духа уже и тогда сильно возмущались тем, что я в болгарях осмеливаюсь не быть ослепленным и называю вещи по имени. Они, кажется, даже презирали меня за эту прямоту и ясность как за какую-то политическую наивность.

Я же в этой прямоте выражений вижу и политическую пользу.

Я понимаю, что в политике нередко полезно или необходимо обманывать словами и фразами других, чужеземцев; — но зачем же обманывать самих себя и свое, русское, общество этими фразами и словами, — это мне непонятно!

# ЕЩЕ О ГРЕКО-БОЛГАРСКОЙ РАСПРЕ

## I

Литературная статья или даже целая книга политическо-го содержания не есть дипломатический документ.

С одной стороны, самое серьезное политическое сочинение гораздо ниже, слабее самого неважного министерского циркуляра, самой обыкновенной ноты от одного Кабинета к другому.

<sup>10</sup> С другой — назначение политических книг и статей несравненно шире и глубже дипломатических документов.

Дипломатический документ есть поступок Государства. Политическое сочинение есть мысль одного лица или нескольких согласных лиц.

В дипломатическом документе поэтому имеет вес и смысл даже и все то, что может показаться или фразой, или неважным, для непривычного человека, оттенком.

<sup>20</sup> Когда, например, какое-нибудь Правительство в официальном документе или в речи официальной говорит, что не надеется на долговечность другого государства, это имеет вовсе иной вес, чем та же мысль, высказанная в частном сочинении.

Это может быть справедливо объяснено как придирка, как угроза и может повлечь за собою серьезные последствия.

Дружба официальная, точно так же, как и официальное недоброжелательство, влияет безотлагательно на международные дела.

Но литература политическая должна иметь в виду гораздо более отдаленные цели. Она должна действовать прежде всего на множество своих соотечественников, а не на нескольких иностранных политиков, облеченных высокою властью.

Литература должна помнить, что она прежде всего имеет дело не с горстью людей специальных и преследующих определенные, безотлагательные практические цели, а с людьми разного ума, разного воспитания, различной степени подготовки и сметливости, которых большинство непосредственно на дела не имеет влияния. Поэтому, не опасаясь никаких немедленных последствий, не имея никакой практической, официальной ответственности, литература обязана не стесняться и не лукаво вразумлять своих читающих соотечичей для грядущего.

Общественное понимание где бы то ни было по вопросам специальным вырабатывается не вдруг; мнение, хотя бы и ошибочное, но самобытное и высказанное ясно, без дипломатических экивок, без заботы о том, что многим оно может не понравиться, приносит, я думаю, уже ту пользу, что вызывает опровержения, которые все более и более разъясняют вопрос.

Между читающими людьми везде мало таких, которые привычны на практике к политическому делу: к его приемам, обычаям, подробностям. С другой стороны, между людьми, служащими делу так или иначе на практике, очень много эмпириков, имеющих огромный навык, дарование, любовь к делу, обладающих всем тем, что дает мудрость исполнения; но немного людей, проникнутых общими идеями историческими и философскими настолько, чтоб это из далека и глубоко могло иметь влияние на их ежедневную деятельность.

Поэтому всякого рода обдуманые и откровенные рассуждения о славянских и восточных делах могут принести пользу в грядущем, нисколько не влияя на наши практические, дипломатические отношения к Австрии, Турции и другим Державам.

Мирной политике с Австрией и искренним, дружеским отношениям с мусульманским Самодержавцем наши частные рассуждения о Панславизме, конечно, не могут мешать. И сверх того, мои-то рассуждения о Панславизме тем более безвредны, что я положительно боюсь для России не только слияния с юго-славянами, но даже и слишком искренних и необдуманых сочувствий им во всех их славянских стремлениях и поступках.

<sup>10</sup> Насчет опасностей слияния или вообще тесного политического сближения с ними я писал еще в 1873 году.

Я старался доказать, что Турция нам скорей полезна, чем вредна, ибо она может стать нам даже союзницей, при некоторых неблагоприятных обстоятельствах.

Можно желать добра славянам, можно даже помогать им искренно, когда их кто-нибудь теснит, но считать их всегда и во всем жертвами или невинными, или ни при каких условиях не могущими нам, русским, вредить, — было бы слишком наивным...

<sup>20</sup> Можно, во-первых, вредить, и не подозревая того: можно вредить, воображая даже, что делаешь пользу; можно вредить еще и потому, что «Россия так сильна, так велика, так богата... Она все может вынести...»

И относительно Турции повторяю еще раз: «ее по возможности желательно было бы хранить; если в ее существовании и есть зло, то это зло знакомое, с которым мы умеем обращаться; этого одного достаточно!»

<sup>30</sup> В прежних статьях моих я доказывал, что Турция не только в политическом отношении, но и в самом религиозном в наше время скорее полезна Православию, чем вредна, хотя, как мы ниже увидим, есть от нее и некоторый вред (именно по делу греко-болгарского разрыва); но и этот вред будет не слишком важен, если мы, русские, сумеем выйти из этой распри искусно и правдиво...

Для Турции, всякому ясно, греко-болгарский разрыв выгоден; но и в этом деле, по моему мнению, совершенно неожиданно наши интересы могут почти совпасть с турец-

кими, если мы не односторонне отнесемся к нему. Дальше, я надеюсь, эта странная мысль покажется простою.

Когда писал я мои статьи, более полутора года тому назад, я находился еще под свежим впечатлением греко-болгарского разрыва: после разделения прошел всего год; еще не совсем ясно было, как будет вести себя болгарский простой народ в провинциях: будет ли он покоен или нет; Собор греческий только что разошелся, объявив болгар и всех тех, кто будет в церковном общении с ними, раскольниками. Греческие газеты поносили Россию, приписывая ее влиянию все зло. 10

С тех пор утекло немало воды. Греки много остыли: многие из них, вероятно, стали понимать, что Россия не так уж виновата против Восточных Церквей, как они думали... Болгары по-видимому всё те же... Всё так же довольны, всё так же поют гимны Султану, всё так же счастливы своим расколом, всё так же горды, видя, что всё делается хоть и не так быстро, как бы они желали, — но однако сбывается по их инициативе, по их воле, под их влиянием. 20

Присматриваясь ближе к делу и размышляя о нем, я убедился наконец в том, что давно уже Россия не ведет болгар, а болгаре идут сами куда хотят, и надо опасаться только одного, чтобы из русских многие не вообразили, что и нам выгодно идти за ними.

Отчего болгаре ближе к нам, чем все другие славяне?

Болгаре всех ближе к нам, ибо история сделала их менее всех других славян от нас независимыми, менее всех других славян от нас отдельными.

Чехи, совершенно независимо от нас, ведут в Австрии свои политические дела; они довлеют сами себе; они мало нуждаются в нашем непосредственном вмешательстве в их народные движения, в их школьное воспитание. С религиозной стороны они являются по отношению к нам или индифферентными, или изредка благосклонными к Православию, через посредство воспоминаний о Гусе, желавшем возобновить предания Вселенской Церкви, об Иерониме 30

Прагском, который даже причащался с православными славянами в Вильне, и пр.

Кроаты вступают в соглашения с венграми, по собственному усмотрению, и ни печать русская, ни официальная Россия не могут иметь на подобные оттенки их жизни, вероятно, никакого влияния.

И кроаты, и чехи далеки от нас всячески, и мы очень хорошо знаем, что для них Россия есть нечто вроде заднего занавеса на современной политической сцене... На занавесе этом «за холмами, за долами», среди глубоких снегов и за дремучим лесом, блещут далеко богатые палаты миролюбивого, но могучего Царя; виден многолюдный лагерь... Подозревается незримое издали движение, блеск и шум, и звон оружия... Пусть эта величаво исполненная картина дальнего занавеса остается пока неподвижною... Мы только изредка, говорят чехи, и кстати укажем на нее с улыбкой нашим противникам, укажем на нее всем, кто захочет класть пределы развитию нашего постепенного сепаратизма!

Вот что такое Россия в настоящее время для австрийских славян... И тем лучше и для нас, и для них. Это и есть одно из проявлений того тяготения на почтительном расстоянии, которое я не раз уже хвалил.

Турецкие сербы уже гораздо ближе к нам по вере, по преданиям, по воспитанию историческому. Но и они гораздо отдельнее, обособленнее болгар; они имеют свое официальное, государственное выражение; они имеют свои юридические, национальные центры, признанные международным правом, и по этому одному уже на них смотрят у нас несколько холоднее, строже. Они не раз уже пред целым светом заявляли свою самобытность, свою от нас независимость, не раз и давно уже явно склонялись, вопреки нашей дипломатии, то на сторону австрийских властей, то на сторону Англии, Франции, даже Турции, когда это им казалось выгодным.

У них есть правительства, которые пишут ноты, депеши, циркуляры, у них есть Белград, столица, на которую, при

всей ее бедности и малости, устремлены взоры стольких кабинетов и стольких политических редакций. В этой небольшой столице издаются газеты, собираются всякие омадины, происходят шумные, известные всему миру бунты, политические убийства, революции. У них теперь уже очень мало своей культурной, в славянофильском смысле — национальной физиономии (ибо на один простой народ надеяться никогда не следует в этом случае), но у них есть личность государственная, и потому они представляются нам и более ответственными, и несколько более чуждыми, более само-<sup>10</sup>бытными, чем болгары... Они тоже тяготеют на почтительном расстоянии.

Совсем иное дело болгары... На них уже и теперь видна вся опасность для нас того сближения, того недостаточного обособления, о котором я говорил. У болгар нет своего государства, нет официально признанного центра национальной ответственности; нет столицы, нет своих высших училищ, как у сербов и греков; газеты их бедны, малы, непрочны, миру неизвестны... Все, что они делают, поэтому<sup>20</sup> темно, загадочно, обществу нашему мало понятно; они представляются естественно во всем жертвами, угнетенными, забытыми. Они безответственны государственно и пред нами, и пред Европой.

Поэтому осторожность строгая им нужна только противу турок. Кроме турок им некого и нечего бояться. Были бы довольны ими турки, щадил бы их только турецкий суд, турецкий штык, турецкая административная кара, — какого суда, какого оружия, какой карающей власти бояться им?..

Кроме отсутствия своей государственности надо упомя-<sup>30</sup>нуть и еще о нескольких условиях, сближающих нас особенно с болгарам. Таковы географическое положение, отсутствие высших и средних училищ у самих болгар и слабое развитие этих учреждений в Турции вообще.

У греков есть, сравнительно, разумеется, множество средств к образованию дома; в Афинах есть университет (народных, первоначальных училищ множество, впрочем, и

в Турции; местами они, говорят, гораздо лучше чем в Элладе). Сербы ближе к Австрии, чем к нам; переехать Дунай им легко, у них есть все удобства для сношений с австрийскими сербами, которые пишут и говорят на одном с ними языке...

Болгаре же и по географическому положению своему к нам ближе, и по государственному сиротству своему имели всегда особые нравственные права на наше внимание, и по бедности прежней своей не имели средств на учреждение болгарских гимназий. Между ними большее число молодых людей воспиталось и воспитывается в России, и это хотя и незаметно, однако довольно сильно связывает их с нами. Но связь этого рода никак не значит ни в принципе, ни на практике (как оказалось) покорность русскому влиянию, подчинение болгарских интересов русским, а как большею частью случается, в подобных случаях, эскамотаж русского образования на пользу болгарских особых интересов; эксплуатация великорусских сил для целей собственно болгарских.

В этом нет большого зла и, может быть, из этого выйдет даже и большое добро и для нас, и для всего Славянства, со временем, если обстоятельства примут счастливый оборот, если мы пойдем, в чем дело.

Но чтобы обстоятельства приняли счастливый оборот, надо нам, мне кажется, беспрестанно помнить следующее общее правило: что воспитание людей какой-нибудь нации учителями другой, более старой и более ученой нации никак не влечет за собою неизбежно подчинение интересов этой младшей и новейшей нации интересам ее воспитательницы. Большею частью последствия даже обращаются в ущерб воспитательнице, ибо воспитанники понимают своих учителей, а учителя, глядя долго на питомцев с благодушною гордостью, не видят, как у тех вырастают понемногу зубы и когти...

Потом настает минута зрелости, и учитель с удивлением видит, что питомец, овладев его средствами, говорит, однако, уже совсем не то, что он ему внушал! А между тем,

быть может, наставник уже связан с этим эмансипированным питомцем разными прежними нравственными обязательствами, сожалением, любовью, вещественными выгодами и, наконец, известными логическими посылками, от которых не у всякого есть мужество вовремя, откровенно отказаться как от ошибочных.

Не революцию якобинскую проповедывала блестящая аристократия Франции в XVIII веке, когда чествовала деизм Вольтера, идеальную демократичность Руссо, конституционный дух Монтескье... Однако, на этих началах выросли Мирабо, Дантон и Робеспьер. Не июльских баррикад сорок девятого года, не царства последней коммуны желала, в свою очередь, якобинская воспитанная буржуазия, — когда приучала народ бунтовать противу всякой власти.

Не врагов непримиримых православным грекам и Восточным Церквам, которые были столь долго нашею опорой в восточных делах, — хотела, конечно, воспитать Россия в болгарах, но людей ей и ее православным интересам приверженных.

Не вина России, конечно, что обстоятельства переросли, наконец, ее средства в этом вопросе.

Не вина России, что все эти народы Востока, выросшие под крылом ее, хотят уже жить по-своему, не справляясь с ее выгодами, не понимая даже иногда, чем и как они могут вредить ей.

Многие из болгар, я уверен, смутились бы, если бы им доказали, что они могут глубоко повредить России, этой главной опоре Славянства; но многим и в голову не приходит это.

— Россия так огромна, так могущественна; что мы, бедные, живущие под турком болгаре, можем ей сделать? — говорят они.

А я сказал бы: «Нет! Именно потому, что болгары бедны, они могут быть опасны нам. И по вере своей, и по государственному своему сиротству, и по единоплеменности, и по педагогическим связям, и по месту они ближе к нам

всех других юго-западных и юго-восточных соседей наших. По близости своей они могут принести немалый вред, не желая сами того, сперва нам, а потом всему Славянству и наконец самим себе».

Болгары в яме, болгары в траншее, они видят лишь ближайшие свои цели.

Мы на горе; мы претендуем распоряжаться, мы должны даже претендовать на высшую стратегию и тактику во всех подобных делах!

<sup>10</sup> Непростойно было бы, чтоб ошибки и честолюбивые увлечения какого-нибудь прапорщика повлекли бы за собою неосторожное движение всех резервов великой армии, назначенной, быть может, для защиты самых священных, охранительных и творческих сил человечества!

Жертва тирании иногда незаметно и неожиданно перерождается в деспота; сирота оказывается не только неразумным, но нередко и неблагодарным.

## II

Мы сочувствуем болгарам...

<sup>20</sup> Мы должны сочувствовать болгарам...

Прекрасно!

Но сочувствует ли нам большинство политикующих болгар? И в чем? И нет ли и между ними у нас много врагов — врагов тем более непримиримых, что это не вражда оскорбления или злобы, а вражда идеальная, вражда национального сепаратизма во что бы то ни стало? И даже если часть болгар и сочувствует нам, то в какой мере? В чем именно они России сочувствуют?

<sup>30</sup> Полезно ли нам, наконец, всякое сочувствие, или могут быть иногда и вредными симпатии?

Сочувствует, положим, серб. Он желал бы, чтобы Россия помогла или по крайней мере не мешала Сербии стать юго-славянским Пиемонтом; чтобы Россия не помешала бы сербам составить военное и воинственное государство от

Триеста до устьев Дуная и до берегов Босфора, с 14—15 миллионами здорового народа, составленного из воинственных гордых сербов и упорных, трудолюбивых, хитрых болгар, из образованных, лихих мореплавателей-далматов, из кроатов и т. д.

Потом можно будет сказать России: «Вот Геркулесовы столбы не только твоего величия, но даже и влияния твоего!»

Сочувствие грека?

Мы не говорим о сочувствии простых или прежних истинно православных людей греческого племени, о симпатии религии к религии, о симпатии полуневольной, симпатии сердца, о той симпатии, которая и в Сербии, и в Болгарии, и в Греции выражалась когда-то стонами и мольбой о помощи и спасении.

Нет, до последнего времени, до окончательного разгара болгарских дел, многие и не слишком православные греки думали, что России выгодно поддерживать греков, противу Турции, противу Запада и т. д.

В простом народе, в стариках у всех почти еще очень глубока была сверх того и прежняя сердечная полуневольная симпатия.

Неудачный исход критских дел много охладил к нам греков. Враги наши и в их собственной среде, и, конечно, иностранцы стали указывать особенно на сербские крепости. Кровью греков куплена свобода славян. Через славян все наши несчастья; не будь славян или не будь России за юго-славянами мы были бы великой нацией, мы образовали бы большое и славное государство.

Грек может сочувствовать России только как союзнице, при данных выгодных условиях. Греков у нас обыкновенно считают нацией умною, коварною и лукавою. Но не помнят, что, с другой стороны, это нация гордая, живая, подвижная, увлекающаяся и по темпераменту личному, и по неустойчивости своего государственного строя.

Например, при торжественном объявлении схизмы греки увлеклись весьма дурными расчетами.

В жажде объявить схизму совпали у них два совершенно противоположные направления, две наиболее могучие движущие силы их народности. С одной стороны, преданность старого духовенства строгости Православия, то самое свойство греков, которое отстояло до нашего времени Церковь, ее дух и ее дисциплину от ересей, Папства и турок.

<sup>10</sup> С другой, желание отделить свою греческую народность от славян и России, спасти ее от «потока Панславизма», под маской строгого Православия выработать постепенно новую религию. Старый греческий архиерей и молодой адвокат, журналист, профессор, воспитанный в Европе, не верующий ни во что, кроме прогресса и гения новых греков, оба они совпали в желании воспользоваться канонами и объявить схизму.

Гнев старых иерархов на болгарскую дерзость и радость молодых мечтателей при мысли об отделении от славян соединились дружно к одной цели, но с разными надеждами и побуждениями.

<sup>20</sup> Понятно, сколько оттенков личных мнений вместились между этим патриаршим «*non possumus*» и этим греческим «*farà da se*».

Патриарх, говорится с одной стороны, не может отдать Фракии и Македонии болгарам. Он есть лишь наместник Вселенских Соборов в этом случае, делегат их. Вселенские Соборы укрепили за Цареградским престолом эти страны;\*

---

\* Неофит, митрополит Дерконский, в брошюре своей «*Διευκρινισις του Βουλγαρικου ζιτιματος*» говорит, что «Д. (4-й?) Вселенский Собор определил округ Константинопольского престола и утвердил в 28 правиле его права над тремя округами: Сицилийским, Понтийским и Фракийским, который содержит в себе всех северных варварских народов» (до Дуная и дальше на Македонию).

На подобных основаниях, между прочим, греки отстаивают права Вселенского Патриарха на две спорные области — Фракию и Македонию.

Митрополит Дерконский слывет, правда, за фанатического эллина и за врага России; он может, конечно, выражать эти чувства в различных действиях своих явных и тайных; но из этих чувств не

только новый Вселенский же Собор может отдать их болгарам. Русское духовенство опасается Вселенского Собора; оно уже чувствует, что каноны за нас и что придется отказать фракийским и македонским болгарам в свободе. На отделение Антиохийской, Александрийской и Ираклийской и т. п. Церквей указывать нельзя. Эти учреждения древние, византийские. Новогреческую (Королевства Эллады), Сербскую, Русскую отделили потому, что она была в более или менее независимых владениях. На такие уступки, правда, нет правил древних и писанных, но есть древняя практика Церкви, древние примеры. Пусть эти болгарские страны станут политически независимыми, тогда мы вынуждены будем уступить; ибо и по правилам, утвержденным Патриархом Фотием, церковные права и особенно епархии меняются согласно с политическим развитием округов. Своевольно теперь мы можем отделить лишь придунайскую Болгарию и некоторые части других двух стран. Великий Петр не позволил себе даже и форму своей независимой Церкви изменить своевольно; он просил совета и благословения у Восточных Патриархов для замены русского Патриарха Синодом. Отчего же одни болгары будут иметь особые права? Великий московский святитель Филарет говорил, что болгары не имеют права отделиться без благословения Патриарха, если хотят считать себя православными.

Православие состоит из догматов, нравственного закона, обрядов и канонов. Все четыре элемента одинаково необходимы. Без догматов нет основ, без нравственности нет жизни практической, без обрядов нет внешнего единства, нет постоянного возбуждения чувств, без канонов нет по-

---

следует еще, что в брошюре его все неправда, даже и ссылки на такие факты, которые многие могут проверить. Я упомянул здесь об этом лишь для того, чтобы дать понять хоть сколько-нибудь мимоходом и кратко, и не обременяя читателей сухими фактами и скучными цитатами, что за греков вообще в этом фрако-македонском вопросе право историческое (консервативное), порядок и за болгар право этнографическое, племенное.

рядка и суда. Каноны — это юриспруденция Православия. Как же можно жить без суда, без администрации, без законов!

Нет сомнения, русские объявят болгар раскольниками, и болгары смирятся тогда пред ними!

Вот что говорили, говорят еще до сих пор греки, ревностные к Православию.

Англо-немецкие идеалисты из греков судили и судят иначе.

<sup>10</sup> Несчастье наше — это соседство славян. Еще большее несчастье — единоверство с ними. Но мы воспользуемся теперь орудием Православия и объявим раскол, так как каноны во всяком случае говорят больше за нас, чем за болгар. Взгляните, что за триумф! Турецкие государственные люди объявляют себя за болгар, Синод русский переходит явно на их сторону. Но для Запада мы уже «не батарея русская, направленная против Европы». Англия и Германия возносят нас до неба. Они простирают нам свои объятия. Встает манящий образ Византии...

<sup>20</sup> Собирается местный Собор в Цареграде. Народ, подстрекаемый агитаторами, шумит и угрожает Патриархам и епископам, требуя объявления раскола.

Раскол объявлен. Болгарские крамольные архиереи преданы проклятию; акты Собора посланы ко всем независимым Церквам. Греческие газеты гремят против Панславизма, против России, против нашей дипломатии и нашей печати. Отборные ученые, более гуманные архиереи собираются ехать во все болгарские епархии, чтобы бороться там против этно-филетизма авторитетом старой, Православной Церкви, у Порты греки стараются вымолить приказание болгарскому духовенству изменить камилавки и вообще внешний вид, чтобы поразить новшеством болгарский простой народ. Греки пишут брошюры, жертвуют деньги, устраивают везде силлоги (литературно-политические круги). Патриарх и берлинский посол обмениваются визитами и любезностями.

<sup>30</sup> Греческое духовенство с содроганием, а молодые этно-филетисты (и старые тоже) с радостным нетерпением

ждут официального ответа от русского Синода. И те и другие думают, что русский Синод, быть может, станет открыто и безусловно за болгар...

— Неужели за болгар? Ведь их формальная неправота так ясна, так неоспорима? — думает грек православный.

— Неужели противу болгар? — спрашивает себя грек этно-филетист.

Но вот проходит год, два, три... Денежные жертвы небогатой, малочисленной нации скудеют; настает усталость, начинаются раздоры, упреки умеренных людей. Находятся 10 наконец и такие греки, которые говорят, что объявить схизму в церковном смысле, пожалуй, и правильно, потому что болгары сами себя отделяли; но что именно в национальном отношении со стороны греков Собор был ошибкой, ибо при схизме, при той свободе действий, которую эта схизма даст болгарам, не будет уже никакой возможности удержать грекам за собою Фракию и Македонию, что болгарские всходы, благодаря схизматической свободе, пробьются с неудержимой силой везде, даже и на стенах самого Царьграда!..

Порта отказывает в бератах тем греческим архиереям, 20 которые хотят ехать в болгарские епархии. Турецкие министры говорят, что они уже утомлены беспорядками, спорами из-за владения церквями, что они позволят ехать греческим епископам только в те болгарские города, откуда придут прошения, подписанные значительным числом жителей. Прощений этих, конечно, нет, ибо и болгаре не дремлют; движение их столько же сильно, как и движение греков, хотя и менее шумно.

Посол германский ничего не может сделать... кроме одного или двух визитов к Патриарху. 30

Европа Грецию еще не носит на руках; не прогоняет турок для немедленного создания эллинской Византии, русским не объявляет войны.

Простые греки по-прежнему серьезно смотрят на Православие (они и на русских теперь сердиты за то, что подозревают их в потворстве схизматикам). Простым грекам и слово вымолвить еще страшно против Православия.

Еще недавно (в 68 или в 69 году) в Патросе паликары перебили молодых прогрессистов за то, что они собирались на совещания в какой-то дом с целью сделать всех греков масонами (так зовут на Востоке деистов, прогрессистов).

Официальная Турция искусно колеблется между греками, которые, насупя брови и скрепя сердце, курят ей фимиам, и между болгарами, восклицаящими беспрестанно гораздо искреннее везде, в церквах, в училищах, в статьях: <sup>10</sup> «О! Наш милосердый Царь, Султан, Абдул-Азиз-Хан, даровавший нам свободу от врагов наших греков!.. О! Как правы были те из вождей наших, которые говорили нам: „Не на Россию надейтесь, а на Султана; Россия боится разрыва славян с греками, она всеми силами будет стараться придержать наше стремление на юг Фракии и Македонии, чтобы через это нетерпение наше не произошел раскол. Россия слишком связана со строгостью древлеправославных уставов, она ими держится; она не может, не вредя себе, во всем нам потворствовать... А туркам и нам выгодно <sup>20</sup> совершенное обособление наше от греков”».

Так радуются те болгаре, которых враг раскола, редактор болгарской газеты «Век», зовет схизматофилами; но таких схизматофилов, болгар, множество...

И греки слышат эту радость и понимают ее...

Они видят еще, что западные Державы теснят слабую Элладу за Лаврийские рудники.

Они видят, что болгаре не дремлют, рукополагают, венчают, крестят, учат свой народ в самых спорных землях, во Фракии и Македонии. Греки даже замечают, будто бы <sup>30</sup> болгаре все свои силы напрягли на эти страны, а об дунайской, чистой, обеспеченной Болгарии думают гораздо меньше.

А Россия?..

Напрасно ждал афинский прогрессист от России грубой племенной политики!..

Святейший Синод после объявления схизмы безмолвствует. Он, как слышно, твердо решил не отвечать, — «пока на Востоке не успокоятся страсти».

Официальная Россия в лице генерала Игнатьева читит Патриархию. Он едет к Патриарху на праздник парадно в мундире, орденах, с огромною свитой; к Экзарху Болгарскому, если случится, официальная Россия заезжает в будничном штатском платье, так, как может заехать ко всякому турку-дервишу.

Еще попытка... Афон. Секвестры бессарабских имений... Вот придирка в руки афинскому либералу!.. Россия хочет вступить на узкий путь князя Кузы... «Нас, греков, хотят испугать; хотят затронуть наши корыстные чувства...<sup>10</sup> Тем лучше, — восклицает прогрессист-патриот. — До сих пор наши монахи были почти все за Россию. Теперь будет иное... И строгий аскет, которому лично ничего не нужно, усомнится впервые в России... Он скажет: не мне нужны деньги; Церкви нужна внешняя вещественная сила... И он отвратит лицо свое от России и впервые поверит нам, афинянам, когда мы скажем ему: видишь, отче, ты ничего не знаешь, что делается на свете... Теперь Россия уж не та, которую ты знал и за которую ты так пламенно молился в своем уединении».<sup>20</sup>

Однако и эта радость не была продолжительна!

Русское Правительство объявляет во всеуслышание, что оно бессарабские имения считает неотъемлемою собственностью Святых Мест, что оно не конфискует их никогда, но налагает на них как бы временную опеку вследствие беспорядков в управлении ими.

Оно уже снова высылает доходы греческим монастырям.

Но все-таки толчок дан... Буря, которая кипела в Царьграде, в Иерусалиме, в Антиохии, отозвалась наконец и на тихом Афоне!<sup>30</sup>

Изгнанные из Бессарабии проэстосы в шолковых рясах возвратились на Святую Гору, одушевленные нерасположением к России. Особенно отличается этими чувствами некто о. Анания, ватопедский инок, лукавый, настойчивый, сам лично очень богатый; патриот эллинский, пожертвовавший недавно на Афинский университет такую большую

сумму денег, что ему, как рассказывали тогда, Правительство эллинское дало, чтобы почтить его, особый, нарочный пароход для возвращения на Афон.

Люди, подобные Ананию, нашли средство, как подействовать издали и лукаво на иноков совершенно иных убеждений и жизни...

10 Вся злоба, вся интрига, вся эксплуатация разнообразных страстей и искушений, от которых наилучшие монахи (по свидетельству самих отцов Церкви) не застрахованы никогда вполне, направилась против русских монахов Св. Пантелеимона, которые славились и на Святой Горе, и далеко за ее пределами своею высокою жизнью и великолепным, примерным во всех отношениях строем своей обители.

— Они раскольники, они заодно с болгарам, они хуже болгар, потому что болгары глупы и грубы, а русские знают, что делают... От них даже святую воду брать грех и служить с ними в одной церкви не следует... Надо гнать их с Афона... Не бойтесь обнищания обители; мы вам поможем!

20 Так шепчет шолоховый проэстос, изгнанный из Бессарабии, на ухо полудикому иноку из матросов, из горных арнаутов, из простых земледельцев... И простой инок впадает в искушение совсем других страстей, чем страсти бессарабского патриота...

Личная корысть и племенной фанатизм бряцают искусно на струнах простодушной религиозной нетерпимости...

Но с Божьей помощью и эта буря утихнет.

30 Русские монахи на Афоне, как ни тягостно им теперь, не забывают уставов; начальники их, отцы Иероним и Макарий, люди искренние в вере, глубоко убежденные; они (я, пишуший эти строки, имею счастье знать их лично) — они действуют, защищая свою паству не столько как русские, сколько как афонские монахи, подчиненные Патриарху. Они ждут от него помощи; они прибегают к его справедливости и его суду, ожидая от русской дипломатии лишь нравственной поддержки. Они смиренно просят лишь одно-

го у Патриарха — чтобы их развели с греческою братией Руссика, с этою греческою братией, которая сама, может быть, и не понимая хорошенько всего, стала орудием этно-филетической внешней интриги.

И Патриарху, не только такому замечательному, дальновидному, добросовестному Патриарху, каков нынешний Иоаким, но и даже такому, каков был Анфим, — невозможно гнать русских с Афона за то только, что они русские. Патриархия, торжественно проклиная этно-филетизм, не может действовать официально на племенных основаниях. <sup>10</sup>

Туркам тоже нет ни выгоды, ни охоты предавать весь Афон в руки одних греков.

Когда я покидал Турцию, дело, если не ошибаюсь, остановилось на том, что Патриарх желал дать новый особый устав для греко-русской обители Св. Пантелеймона; устав этот должен был иметь в виду примирить русскую братию с греческой и способствовать продолжению их сожительства в одной обители посредством более точного определения их взаимных отношений.

Русская братия не была довольна таким решением; она продолжала просить Великую Церковь о позволении отделиться в особый монастырь. Публикация в русских газетах древних документов, доказывающих права русской братии на монастырь Руссик, может потому принести русской братии этой обители вот какую двойную пользу. Это обнаружение может, так сказать, возвысить в глазах как наших, так и греческих нравственное достоинство наших монахов, предпочитающих шаткой и бестактной тяжбе приобретение себе лишь какой-нибудь местности из всей земли, окружающей большой, новый ныне обитаемый приморский Руссик. <sup>30</sup> Имея некоторую возможность отстоять многое, они предпочитают малое и оставят внизу, у моря — грекам, вероятно, множество построек, драгоценностей, иконы и т. д., пожертвованных и приобретенных, правда, не для одной русской братии, а для собирательной, так сказать, святыни монастыря, но все-таки пожертвованных русскими или купленных на русские деньги.

Другая выгода от обнаружения этих документов может быть следующая. Русские набожные люди, узнавши, что наши монахи достигли, наконец, своей цели и удалились с благословения Патриарха в другую обитель, захотят помочь им денежно для нового устройства. Русские монахи на Афоне заслуживают этого вполне по строгой жизни своей, по личному полному бескорыстию, которым отличается большинство их, по доброте своей наконец, по гостеприимству и по милосердию к бедным и нищим.

<sup>10</sup> Документы печатать полезно уже и потому, что они поддерживают внимание, столь развлеченное в наше время «злойбой дня» даже и у набожных людей.

Другого, мне кажется, более прямого веса это обнаружение иметь не может. Мне так кажется; но, может быть, я упускаю из виду по отдалению моему что-нибудь важное при этом и, сердечно уважая братию русскую, как и всякий, кто ее видит вблизи, буду очень рад, если польза от обнаружения документов превзойдет мои ожидания. Верно только то, что общество русское прямо защищать своих <sup>20</sup> иноков не в силах. Нападать на греков в газетах издали, не зная подробностей дела, ни его тайных пружин, кроющихся иногда в характерах лиц той и другой стороны (каждая добродетель — сестра какому-нибудь недостатку!),\* зна-

---

\* Не могу воздержаться, чтобы не сказать здесь несколько слов об одном греческом монахе. Зовут его отец Савва. Он сын сельского священника, придя с ранних лет на Афон, он долго был послушником и учеником знаменитого старца грузинца Илариона (я пишу это уже на память). Они жили вместе в пустынной келье. Старец сам иеромонахом не был, но он выхлопотал Савве [посвящение] в это звание, и Савва служил для него в маленькой и бедной домовой церкви их пустыньки. Жизнь их была странническая, пост чрезвычайный; старец грузин Россию любил донельзя (за ее Православие); во время Крымской войны эти два человека в пустыни молились ежедневно и пламенно за Россию и Государя. Савва служил обедню по-гречески, отец Иларион пел сам по-грузински; когда Савва начинал на эктинье возглашать за Россию и Царя, старец падал ниц, обливаясь слезами, и бился головой об пол, восклицая по-грузински:

чило бы только вредить русской братии, значило бы явно доказывать грекам, что русское общественное мнение радо всякому случаю быть против них!..

Чем бесстрашнее мы будем относиться к этой распре, тем и Патриарху, если он желает добра, легче будет устроить дело. Надо помнить, что чем Патриарх лучше, тем больше надо беречь его на троне, а чтобы остаться, при нынешних обстоятельствах, долго на этом троне, он не может грубо и неразумно раздражать кротких греков, ибо они могут низвергнуть его.

10

Посол наш может сделать больше печати. Однако и он в этом деле действует на пользу наших монахов только через Патриарха.

---

«Поддай, Господи» или «Господи, помилуй!», так что и Савва не мог иногда от слез продолжать службу. Когда союзники Турции вынудили от Патриарха приказание святогорцам молиться за их войска, не все монастыри это исполнили. Одному из уступивших отец Иларион послал свое проклятие, лишь на основании своего духовного авторитета. Игумен и другие монахи этой обители поспешили в его дикую пустыню просить прощения, и он очень долго держал их за дверь. Под таким влиянием рос и старел отец Савва. По смерти старца он наследовал его келью, и наставник завещал ему, как иеромонаху, никогда за требы ни с монахов, ни с мирян денег не брать. Савва исполнял это, и сверх того он постник такой строгий, что я видел сам, как он, гостя по болезни в Руссике, подкреплялся по совету доктора: бобами, огурцами, фасолью (это его ростбиф). Старцы Руссика его очень любили, уважали и всячески его поддерживали. Человек он разговорчивый, довольно начитанный, ласковый и добрый. Теперь он вдруг ожесточился противу русских; переселился в Руссик, на греческую половину и более всех других нападает на русских. Я спрашиваю: похож ли такой человек на ватопедского Ананию, о котором я говорил выше? Разумеется, нет, и если даже в душу его закралось какое-нибудь честолюбивое искушение (оно бессребреников посещает чаще чем алчных), желание играть в Руссике роль и т. п., то не оправдывает ли такой человек свою совесть какими-нибудь соображениями по Болгарскому вопросу с чисто церковной точки зрения? «Россия уже не та, что была и т. д.» Надо подумать и об этом, и если бранить греков в газетах, то надо знать, как и за что, ибо и греки разные.

Патриарх единственный прямой и узаконенный судья этого дела.

(Прибавлю, что вот уже более года, как я оставил Турцию, и, быть может, с тех пор многое изменялось в афонском деле.)

### III

Я полагаю, что ту ультраболгарскую партию, которая соединила свою судьбу с именем доктора Чомакова и за которой теперь пошел весь народ, можно осуждать лишь за то, что она употребила религию стольких миллионов людей орудием своего болгарского политического сепаратизма.

Но раз отстранивши мысль об уважении к религиозной святыне, надо согласиться, что в чисто национальном отношении эта партия по крайней мере практичнее других болгарских партий. Она поставила себе ясную цель и шла к ней неуклонно, то осторожно, то решительно, пользуясь всеми возможными обстоятельствами: Критским восстанием, пропагандой, опасениями, взаимной ненавистью турок и греков, даже преданием о тюркской крови первых болгар, пришедших на Дунай с Аспарухом.

Цель была и ограничена, и ясна: обособление болгарской нации.

Для этой незрелой, невооруженной, малоученой и темной нации, смешанной с единоверными ей греками, поставленной всячески так близко от вооруженной и почти независимой Сербии, от великой славянской России, Турция, казалось, есть наилучший предохранительный кров до поры до времени; церковное отделение от греков единственное средство для начала обособления. Остальное же все казалось этой партии второстепенным. Религия? Смотря по удобствам. Сближение? С кем угодно, смотря по выгодам!..

Православные обычаи? Да! Особенно внешние, ибо народ прост и может испугаться, если бы, например, духовенство переменяло одежды, камилавки и т. п.

Православные законы? Неважны! Ибо опять-таки народ прост, не знает их, и его можно всему уверить.

Так, например, 34 апостольское правило говорит:

«Епископам всякого народа подобает знати перваго в них и признавати его яко главу и ничего, превышающаго их власть, не творити без его рассуждения: творити же каждому только то, что касается его епархий, и до тех, к ней принадлежащих; но и первый ничего да не творит без рассуждения всех».

Слово «народ» в 34 правиле значит все православные люди, живущие в одном краю; это слово имеет смысл географический или административный, ибо в старину у византийцев епархии совпадали с губернаторствами; а вовсе не племенной.

Между тем в болгарской брошюре «Блгрска-та правда и гръцка-та кривда», по-видимому, написанной или духовным лицом, или по крайней мере лицом довольно церковного воспитания, мы видим, что 34 правило, на которое обыкновенно опираются болгары, напечатано так. Приводятся первые слова: «епископы всякого народа», и конец: «да правят сами онова, което ся относи до техната епархия»; а вся середина параграфа этого выпущена и заменена точками... Что же в ней? Именно то, чего не делали болгарские епископы... Епископы должны повиноваться одному старшему (в этом случае старший был Цареградский Патриарх).

Но, повторяю, если устранить мысль об уважении к религиозной святыне, то надо с историческим беспристрастием похвалить эту партию за ясное понимание своих хотя бы и узких, но определенных целей и за твердое, неуклонное их преследование.

— Что же может быть для нас лучше простого раскола? — говорят эти люди. — Униатство может расстроить народ; раскола он и не чувствует пока. Он видит всё те же обряды, те же таинства, так же одетых священников и епископов; он слышит литургию на понятном ему языке. Худо было бы, если бы и русские объявили бы нас раскольника-

ми, потому что и это могло бы произвести потрясение в народе; но еще несколько лет, тогда и это не беда. Народ окрепнет; свыкнется. Это было бы даже желательно, ибо с расколом и с Турцией мы можем постепенно достичь и провинциальной автономии, и войска своего под султанским знаменем, и дуализма по образцу австрийского: Султан правоверных мусульман и Царь болгарского народа.

Эта болгарская партия не хочет слияния ни с кем. И я нахожу, что с чисто национальной точки зрения она права. Я скажу даже больше, она полезна Славянству, ибо при благоприятных условиях может помешать тому неорганическому смешению, об опасностях которого я уже не раз говорил.

Жаль, конечно, [что] болгарский сепаратизм принял вид церковный и воспользовался для своих мирских целей святыней веры.

У болгар, впрочем, есть люди совершенно других мнений.

Крайним сепаратистам можно противопоставить крайних панславистов, которых, по справедливому замечанию Кельсиева, особенно много между болгарами, прожившими в Австрии. Я сам знал лично несколько таких людей.

Между этими двумя крайностями сепаратизма и всеслияния можно выместить все другие оттенки болгарских политических мнений.

Я знал лет пять тому назад одного пожилого болгарина, который целью своею ставил Панславизм политический во что бы то ни стало.

Он и на распрю с греками смотрел не как на частное болгарское дело, а как на что-то всеславянское, имеющее целью отобрать у греков все до Эпира и Фессалии.

России он был предан донельзя, и мне приходилось не раз оспаривать его завоевательные планы в нашу пользу.

Он был человек довольно ученый, сумрачный, крайне нелюдимый, раздражительный, задумчивый. Любил запира-  
ться надолго в своей комнате; многие подозревали, что он ищет усовершенствовать воздухоплавание для замены им

железных дорог. Другие утверждали, что он ищет квадратуру круга, и считали его сумасшедшим, как на Востоке считают всякого, кто хоть сколько-нибудь позволяет себе быть оригинальным. Я с трудом добился знакомства и сближения с этим человеком; но раз сблизившись, он раскрыл мне настежь политическую сторону своей души. Он начал спорить настойчиво, откровенно. Как истинный болгарин, как сын истории малосложной и новой, он разнообразными мыслями богат не был; но зато мысли его были ясны, тверды, и он их высказывал с каким-то язвитель-<sup>10</sup>но-холодным энтузиазмом.

— Россия должна подчинить себе всех славян, без исключения, — говорил он мне. — Это ее долг, ее призвание. Если б история сделала нас, болгар, самыми могущественными из всех славян, — надо было бы покориться нам. Если бы поляков — полякам. Но история дала могущество одной только России, и потому все славяне обязаны подчиниться России.

— Не все славяне так думают, как вы. И большинство ваших болгар совсем иного мнения, — возражал я ему тогда (это было в 67-м году, тотчас после первых, всех парализовавших неожиданностью триумфов Пруссии).<sup>20</sup>

— Они не думают так от политической незрелости, от ограниченности ума своего! — возражал он с презрительной досадой. — Придет время, когда они всё это поймут.

Теперь, после многих лет размышления над этими вопросами, я, конечно, нашел бы чем иным ответить на его доводы, хотя, конечно, и не убедил бы его, но тогда у меня еще были в запасе лишь самые обычные, нехитрые<sup>30</sup> ответы.

— Пусть так! — толковал упрямый старик. — Пусть так! Если для России неудобно присоединять всех славян разом, — не надо. Она должна в таком случае способствовать образованию государств малых, по возможности слабых и несогласных, чтоб эти государства естественным ходом истории скорее бы разрушились и пали к ее ногам. Она не должна, например, потворствовать образованию в

этих Придунайских странах большой славянской Державы...

— Позвольте, — перебивал я его, — у нас многие русские желали бы слияния сербов и болгар в одно государство.

— Напрасно! Напрасно! — восклицал, скрежеща зубами, с отчаянием мой седой болгарский мудрец. — Напрасно! Слушайте. Вы не знаете, как сербы горды и как они многого ждут для себя.

<sup>10</sup> — Я знаю, — отвечал я, — что они очень воинственны, очень горды.

— Нет, вы не знаете их. Я их знаю давно. В 1848 году я жил в Австрии, я принимал участие в некоторых славянских банкетах, которые не преследовались австрийским начальством, пока славяне были Австрии нужны. Хорошо! На одном из подобных политических сборищ, в котором участвовали и сербы, и поляки, и немногие болгары, в том числе и я, предложен был чехами вопрос о необходимости общего для всех славян языка. Чехи сказали, что составить особый для этой цели язык очень трудно, и потому следует принять русский язык общим междуславянским. Все согласились, кроме поляков и сербов. Да! Сербы сказали с негодованием, что их язык гораздо чище, лучше древнего русского, и они его подчинять русскому не видят нужды. Вот каковы сербы! Если при современной слабости своей они так независимы и горды, чего мы можем ждать от них, если б их владычество простиралось чрез посредство присоединенных болгар с одной стороны до Босфора и Фессалии, а с другой — до Италии и почти до пределов Богемии, чрез слияние с кроатами и далматинцами. Ибо, не надо обманывать себя, в наше время принцип народности гораздо сильнее, чем религиозная рознь католиков и православных.

<sup>30</sup> — А что касается до языка сербского, — продолжал с презрительною улыбкой старик, — то какую пользу может Славянству принести язык народа малочисленного и бедного в своей отдельности? Где читатели? Что делать авторам

без денег? Вспомните, во скольких экземплярах разошлась книга Шатобриана «Le génie du Christianisme»; и с другой стороны, взгляните, как трудно достигать изданий и выгодной продажи даже греческим авторам; при всем уме греков, при всей их предприимчивости и при любви к учению, которая у них так велика. Если же говорить о достоинстве славянских языков, то наш болгарский язык имеет в себе некоторые свойства, которыми он превосходит и русский, и польский, а тем более этот ничтожный сербский язык. Например, существование членов в болгарском языке: «человек-тѣ», «религия-та», «небо-то». Я полагаю, что существование склонений имен существительных есть признак незрелости языка: члены же являются там, где при большей зрелости пропадает или уменьшается склоняемость окончаний. Так, например, во французском языке есть члены и нет склонений. В русском нет членов, а склонения богаты. В этом отношении я полагал бы полезным, если бы русские приняли наши болгарские члены. А сербский язык и того не имеет!

Я посмеялся в душе немного этому грамматическому патриотизму (в нем одном только болгарин проглянул на минуту из этого крайнего панслависта) и просил его продолжать его обычную речь о политике.

— Да! — говорил старик с глубоким чувством. — Да! Россия должна стараться, если можно, Черногорию соединить с Герцеговиной, а Боснию отдать Сербии. Она должна создать особое албанское Княжество между сербским, греческим и болгарским племенем. Здесь (видались мы во Фракии), здесь во Фракии население смешанное — из болгар и значительного числа греков. Я знаю, что многие греки здешние, в случае падения Турции, желали бы образовать особое Фракийское или Фрако-Македонское Княжество, чтобы не доставаться болгарам. Надо иметь в виду одно: дробность и слабость этих государств.

## ПОСВЯЩЕНИЕ ИГНАТЬЕВУ

М⟨илостивый⟩ Г⟨осударь⟩  
Никол⟨ай⟩ Павл⟨ович⟩,

В память долгой жизни нашей на Востоке, в память того десятилетия, в течение которого Вы приобрели себе Европейское имя, а я?... Я странствовал по диким горам, по глухим городам и лесам внутренней Турции и по селам ее, то печальным, то цветущим, — в память этого десятилетия, кто знает — быть может, лучшего и в Вашей жизни и в<sup>10</sup> моей, — я хочу посвятить Вам этот труд мой.

Прошу Вас — примите снисходительно и благосклонно эти плоды моих долгих размышлений о последних, столь важных для России и столь печальных Церковно-политических событиях.

История рано или поздно — я уверен — оправдает Вас в Греко-Болгарском деле; — Теперь, — Вы сами это знаете, — слишком многие расположены несправедливо приписывать Вам то, что следует приписать независимым от Вас народным страстям и заблуждениям: греческому гневу,<sup>20</sup> болгарской хитрости, великорусскому простодушию и великорусскому фразёрству. — И Вы могли ошибаться в каких-либо частностях, и Вы не могли быть всегда одинаково счастливы в выборе средств и путей, — но Вы всегда искали примирить враждующих — вот Ваша заслуга; эту заслугу не могут затмить ни клеветы врагов, ни даже пустые похвалы неискренних друзей и поклонников того *топорного простого политического* Панславизма, в представители

которого вовсе не лестно для Вас произвели Вас люди, непонимающие издали всей сложности и щекотливости Славяно-Восточных дел.

Ваше имя, я уверен, не только украсит мой труд; — нет! этого мало; — без всякого сомнения, — ваше имя придаст ему гораздо больше силы и значения, чем бы он мог иметь сам по себе.

Пусть оттенки политических мнений будут у нас с Вами не всегда сходны; — пусть *приёмы* и *средства* будут у каждого из нас свои; — я уверен, что мы всегда будем со-<sup>10</sup>гласны с Вами в главных чертах, — я знаю, что мы всегда будем сочувствовать друг другу вот в чем: в глубоком уважении, в сыновней любви к Православной Церкви; в пламенной преданности нашей Самодержавию русскому и в искреннем желании могущества, славы прочной и духовного блага и всем славянским и всем единоверным нам народам, *не исключая даже и тех, которыми каждый из нас (с своей точки зрения) — может быть временно недоволен.*

К.-----в

# ВИЗАНТИЗМ И СЛАВЯНСТВО

## Глава I

### ВИЗАНТИЗМ ДРЕВНИЙ

Что такое Византизм?

Византизм есть прежде всего особого рода образованность или культура, имеющая свои отличительные признаки, свои общие, ясные, резкие, понятные начала и свои определенные в истории последствия.

<sup>10</sup> Славизм, взятый во всецелости своей, есть еще сфинкс, загадка.

Отвлеченная идея Византизма крайне ясна и понятна. Эта общая идея слагается из нескольких частных идей религиозных, государственных, нравственных, философских и художественных.

<sup>20</sup> Ничего подобного мы не видим во Всеславянстве. Представляя себе мысленно Всеславизм, мы получаем только какое-то аморфическое, стихийное, неорганизованное представление, нечто подобное виду дальних и обширных облаков, из которых по мере приближения их могут образоваться самые разнообразные фигуры.

Представляя себе мысленно Византизм, мы, напротив того, видим перед собою как бы строгий, ясный план обширного и поместительного здания. Мы знаем, например, что Византизм в Государстве значит — Самодержавие. В религии он значит Христианство с определенными чертами, отличающими его от Западных Церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире мы знаем, что византийский идеал не имеет того высокого и во многих случаях крайне пре-

увеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю германским феодализмом; знаем склонность византийского нравственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, в способности нашей к полному нравственному совершенству здесь, долу. Знаем, что Византизм (как и вообще Христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов; что он есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства. <sup>10</sup>

Византизм дает также весьма ясные представления и в области художественной или вообще эстетической: моды, обычаи, вкусы, одежду, зодчество, утварь, все это легко себе вообразить несколько более или несколько менее византийским.

Византийская образованность сменила греко-римскую и предшествовала романо-германской. Воцарение Константина можно считать началом полного торжества Византизма (IV век по Р. Х.). Воцарение Карла Великого (IX век), его венчание Императорское, которое было делом Папства, можно считать первой попыткой романо-германской Европы выделить резко свою образованность из общевизантийской, которая до тех пор подчиняла себе, хотя бы только духовно, и все западные страны... <sup>20</sup>

Именно, вслед за распадением искусственной Империи Карла, все яснее и яснее обозначаются те признаки, которые составят, в совокупности своей, картину особой, европейской культуры, этой в свое время новой всемирной цивилизации.

Начинают яснее обозначаться будущие пределы позднейших западных государств и частных культур Италии, Франции, Германии, близятся крестовые походы, близится цветущая эпоха рыцарства, феодализма германского, положившего основы чрезмерному самоуважению лица (самоуважению, которое, перейдя путем зависти и подражания сперва в буржуазию, произвело демократическую революцию и породило все эти нынешние фразы о беспредель- <sup>30</sup>

ных правах лица, а потом, дойдя до нижних слоев западного общества, сделало из всякого простого поденщика и сапожника существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства). Вскоре после этого раздаются и первые звуки романтической поэзии. Потом развивается готическое зодчество, создается вскоре католическая поэма Данта и т. д. Папская власть растет с того времени.

Итак, воцарение Карла Великого (IX век) — вот приблизительно черта раздела, после которой на Западе стали более и более выясняться своя цивилизация и своя государственность.

Византийская цивилизация утрачивает с этого века из своего круга все обширные и населенные страны Запада, но зато приобретает своему гению на Северо-Востоке юго-славян, а потом и Россию.

Века XV, XVI, XVII суть века полного расцвета европейской цивилизации и время полного падения византийской государственности на той почве именно, где она родилась и выросла.

Этот же самый XV век, с которого началось цветение Европы, есть век первого усиления России, век изгнания татар, сильнейшего противу прежнего пересаждения к нам византийской образованности, посредством укрепления Самодержавия, посредством бóльшего умственного развития местного духовенства, посредством установления придворных обычаев, мод, вкусов и т. д. Это пора Иоаннов, падения Казани, завоеваний Сибири, век постройки Василия Блаженного в Москве, постройки странной, неудовлетворительной, но до крайности своеобразной, русской, указавшей яснее прежнего на свойственный нам архитектурный стиль, именно на индийское многоглавие, приложенное к византийским началам.

Но Россия, по многим причинам, о которых я не нахожу возможным здесь распространяться, не вступила тогда же в период цветущей сложности и многообразного гармоничного творчества, подобно современной ей Европе Возрождения.

Скажу лишь кратко.

Обломки Византизма, рассеянные турецкой грозой на Запад и на Север, упали на две различные почвы. На Западе все свое, романо-германское, было уже и без того в цвету, было уже развито, роскошно, подготовлено; новое сближение с Византией и, через ее посредство, с античным миром, привело немедленно Европу к той блистательной эпохе, которую привыкли звать Возрождением, но которую лучше бы звать эпохой *сложного цветения* Запада; ибо такая эпоха, подобная Возрождению, была <sup>10</sup> у всех государств и во всех культурах, эпоха *многообразного и глубокого развития, объединенного в высшем духовном и государственном единстве всего или частей*.

Такая эпоха у мидо-персов последовала за прикосновением к разлагающимся мирам халдейскому и египетскому, т. е. эпоха Кира, Камбиза и особенно Дария Гистаспа, у эллинов во время и после первых персидских войн, у римлян после Пунических войн и все время первых Кесарей, у Византии во времена Феодосиев, Юстиниана и вообще во <sup>20</sup> время борьбы противу ересей и варваров, у нас, русских, со дней Петра Великого.

Соприкасаясь с Россией в XV веке и позднее, Византизм находил еще бесцветность и простоту, бедность, неприготовленность. Поэтому он глубоко переродиться у нас не мог, как на Западе, он всосался у нас общими чертами своими чище и беспрепятственнее.

Нашу эпоху Возрождения, наш XV век, начало нашего более сложного и органического цветения, наше, так сказать, единство в многообразии, надо искать в XVII <sup>30</sup> веке, во время Петра I-го или, по крайней мере, первые проблески при жизни его отца.

Европейские влияния (польское, голландское, шведское, немецкое, французское) в XVII и потом в XVIII веке играли ту же роль (хотя и действовали гораздо глубже), какую играли Византия и древний эллинизм в XV и XVI веках на Западе.

В Западной Европе старей, первоначальный, по преимуществу религиозный Византизм должен был прежде глубоко переработаться сильными местными началами Германизма: рыцарством, романтизмом, готизмом (не без участия и арабского влияния), а потом те же старые византийские влияния, чрезвычайно обновленные долгим непониманием или забвением, падая на эту, уже крайне сложную, европейскую почву XV и XVI веков, пробудили полный расцвет всего, что дотоле таилось еще в недрах романо-германского мира.

Заметим, что Византизм, падая на западную почву, в этот второй раз действовал уже не столько религиозной стороной своей (не собственно византийской, так сказать), ибо у Запада и без него своя религиозная сторона была уже очень развита и беспримерно могуча, а действовал он косвенно, преимущественно эллино-художественными и римско-юридическими сторонами своими, *остатками классической древности*, сохраненными им, а не *специально* византийскими началами своими. Везде тогда на Западе более или менее усиливается монархическая власть несколько в ущерб природному германскому феодализму, войска везде стремятся принять характер государственный (более римский, диктаториальный, монархический, а не аристократически областной, как было прежде), обновляются несказанно мысль и искусство. Зодчество, вдохновляясь древними и византийскими образцами, производит новые сочетания необычайной красоты и т. д.

У нас же со времен Петра принимается все это уже до того переработанное по-своему Европой, что Россия, по-видимому, очень скоро утрачивает византийский свой облик.

Однако это не совсем так. Основы нашего, как государственного, так и домашнего, быта, остаются тесно связаны с Византизмом. Можно бы, если бы место и время позволяли, доказать, что и все художественное творчество наше глубоко проникнуто Византизмом в лучших проявлениях своих. Но так как здесь дело идет почти исключительно о

вопросах государственных, то я позволю себе только напомнить о том, что Московский дворец наш хотя и неудачен, но по намерению своеобразнее Зимнего, и был бы и лучше его, если бы был пестрее, а не белый, как сначала, и не песочный, как теперь, потому что пестрота и своеобразие более византийской (чем Петербург) Москвы пленяет даже всех иностранцев. Суржен Роберт говорит с радостью, что Москва есть единственный славянский город, который он видел на свете; Ch. de Mazade, напротив того, говорит с бешенством, что самый вид Москвы есть вид азиатский,<sup>10</sup> чуждый муниципально-феодалной картине Запада и т. д. Кто из них прав? Я думаю, оба, и это хорошо. Я напомню еще, что наша серебряная утварь, наши иконы, наши мозаики, создания нашего Византизма, суть до сих пор почти единственное спасение нашего эстетического самолюбия на выставках, с которых пришлось бы нам без этого Византизма бежать, закрывши лицо руками.

Скажу еще мимоходом, что все наши лучшие поэты и романисты: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Кольцов, оба графа Толстые (и Лев и Алексей), заплатили богатую дань<sup>20</sup> этому Византизму, той или другой его стороне, государственной или церковной, строгой или теплой...

Но жарка свеча  
Поселянина  
Пред иконою  
Божией Матери.\*

Это точно так же русский Византизм, как и возглас Пушкина:

Иль Русского Царя бессильно слово?  
Иль нам с Европой спорить ново?  
Иль мало нас?..<sup>30</sup>

Семья?.. Но что ж такое семья без Религии? Что такое русская семья без Христианства? Что такое, наконец,

---

\* Кольцов.

Христианство в России без византийских основ и без византийских форм?..

Я удержусь и больше ничего здесь не скажу ни об эстетическом творчестве русских, ни о семейной нашей жизни.

Я буду говорить несколько подробнее лишь о государственной организации нашей, о нашей государственной дисциплине.

Я сказал, что у нас при Петре принялось многое цивилизующее, до того уже по-своему переработанное Европой, что государственная Россия как будто бы вовсе утратила не только облик Византизма, но и самые существенные стороны его духа.

Однако, сказал я, это не совсем так. Конечно, при виде нашей гвардии (*la garde*), обмундированной и марширующей (*marschieren*) по Марсову полю (*Champ de Mars*) в Санкт-Петербурге, не подумаешь сейчас же о византийских легионах.

При взгляде на наших флигель-адъютантов и камергеров не найдешь в них много сходства с крещеными преторинцами, палатинами \* и евнухами Феодосия или Иоанна Цимисхия. Однако это войско, эти придворные (занимающие при этом почти все политические и административные должности) покоряются и служат одной идее Царизма, укрепившейся у нас со времен Иоаннов, под византийским влиянием.

Русский Царизм к тому же утвердился гораздо крепче византийского Кесаризма, и вот почему:

Византийский Кесаризм имел диктаториальное происхождение, муниципальный избирательный характер.

Цинциннат, Фабий, Максим и Юлий Цезарь перешли постепенно и вполне законно сперва в Августа, Траяна и Диоклетиана, а потом в Константина, Юстиниана, Иоанна Цимисхия.

Сперва диктатура в языческом Риме имела значение законной, но временной, меры всемогущества, даруемого свя-

---

\* *Primicerius sacri cubiculi, castrensis* и т. д.

ценным городом одному лицу; потом посредством законной же юридической фикции священный город перенес свои полномочные права, когда того потребовали обстоятельства, на голову пожизненного диктатора — Императора.

В IV же веке Христианство воспользовалось этой готовой властью, привычной для народа, нашло в ней себе защиту и опору и помазало по-православному на новое царство этого пожизненного римского Диктатора.

Естественность этой диктаториальной власти была такова, привычка народов к ней так сильна, что под властью этих крещеных и помазанных Церковью диктаторов Византия пережила западный языческий Рим на 1100 с лишком лет, т. е. почти на самый долгий срок государственной жизни народов. (Более 1200 лет ни одна государственная система, как видно из истории, не жила: многие государства прожили гораздо меньше.)<sup>10</sup>

Под влиянием Христианства законы изменились во многих частностях; новое Римское Государство, еще и прежде Константина утратившее почти все существенные стороны прежнего конституционного аристократического характера своего,\*<sup>20</sup> обратилось, говоря нынешним же языком, в Государство бюрократическое, централизованное, самодержавное и демократическое (не в смысле народовластия, а в смысле равенства; лучше бы сказать эгалитарное). Уже Диоклетиан, предшественник Константина, последний из языческих Императоров, тщетно боровшийся противу наплыва Христианства, был вынужден, для укрепления дисциплины государственной, систематически организовать новое чиновничество, новую лестницу властей, исходящих от Императора (у Гизо можно найти в «Histoire de la Civilisation»<sup>30</sup> подробную таблицу этих властей, служивших градативно новому порядку).

С воцарением Христианских Императоров к этим новым чиновническим властям прибавилось еще другое, не-

---

\* Я нарочно для ясности называю эти вещи по-нынешнему приблизительно.

сравненно более сильное средство общественной дисциплины — власть Церкви, власть и привилегия Епископов. Этого орудия древний Рим не имел; у него не было такого сильного жреческого привилегированного сословия. У Христианской Византии явилось это новое и чрезвычайно спасительное орудие дисциплины.

Итак, повторяю, Кесаризм византийский имел в себе, как известно, много жизненности и естественности, сообразной с обстоятельствами и потребностями времени. Он <sup>10</sup> опирался на две силы: на новую религию, которую даже и большая часть не христиан (т. е. атеистов и деистов) нашего времени признает наилучшей из всех дотоле бывших религий,\* и на древнее государственное право, формулированное так хорошо, как ни одно до него формулировано не было (насколько нам известно, ни египетское, ни персидское, ни афинское, ни спартанское). Это счастливое сочетание очень древнего, привычного (т. е. римской диктатуры и муниципальности) с самым новым и увлекательным (т. е. Христианством) и дало возможность первому Христианскому Государству устоять так долго на почве расшатанной, полусгнившей, среди самых неблагоприятных обстоятельств.

<sup>20</sup> Кесарей изгоняли, меняли, убивали, но святыни Кесаризма никто не касался. *Людей* меняли, но изменять *организацию в основе* ее никто не думал.

Относительно византийской истории надо заметить еще следующее. В нашей образованной публике распространены о Византии самые превратные, или, лучше сказать, самые вздорные, односторонние или поверхностные понятия.

---

\* Шопенгауер предпочитает Буддизм Христианству, и известный компилятор Бюхнер поддерживает его в этом. Но интересно, что Буддизм, не признающий личного Бога, по словам его же защитников, во многом другом более, нежели всякая другая религия, приближается к Христианству. Например: учением кротости, милосердия к другим и строгости (аскетизма) к себе. Христианство содержит в себе все, что есть сильного и хорошего во всех других религиях.

Наша историческая наука была до последнего времени незрела и лишена самобытности. Западные писатели почти все долго страдали (иногда и бессознательным) пристрастием или к республиканству, или к феодализму, или к Католичеству и Протестантству, и потому Византия самодержавная, Православная и вовсе уже не феодальная, не могла внушать им ни в чем ни малейшего сочувствия. Есть в обществе, благодаря известному складу школьного обучения, благодаря известному характеру легкого чтения и т. п., привычка, не долго думая, чувствовать симпатию к иным историческим явлениям и почти отвращение к другим. Так, например, и школа, и стихи, и множество статей и романов приучили всех нас с ранних лет с содроганием восторга читать о Марафоне, Саламине и Платее и, отдавая все сочувствие наше эллинским республиканцам, смотреть на персов почти с ненавистью и презрением.

Я помню, как я сам, прочтя случайно (и у кого же? — у Герцена!) о том, как во время бури персидские вельможи бросались сами в море, чтобы облегчить корабль и спасти Ксеркса, как они поочередно подходили к Царю и склонялись перед ним, прежде чем кинуться за борт... Я помню, как, прочтя это, я задумался и сказал себе в первый раз (а сколько раз приходилось с детства и до зрелого возраста вспоминать о классической греко-персидской борьбе!): «Герцен справедливо зовет это персидскими Фермопилами. Это страшнее и гораздо величавее Фермопил! Это доказывает силу идеи, силу убеждения, большую, чем у самих сподвижников Леонида; ибо гораздо легче положить свою голову в пылу битвы, чем обдуманно и холодно, без всякого принуждения, решаться на самоубийство из-за религиозно-государственной идеи!»

С этой минуты я, сознаюсь, стал на древнюю Персию смотреть уже не так, как приучили меня школа 40 и 50 годов, поэзия и большинство исторических попадававшихся мне сочинений. Я полагаю, что у многих есть какие-нибудь подобного рода воспоминания.

Мне кажется, главная причина тут в том, что Персия не оставила нам таких хороших литературных произведений, как оставила Эллада. Греки умели изображать все реальнее и осязательнее, «теплее», так сказать, других своих соседей и современников, и оттого мы их знаем лучше и любим больше, несмотря на все их пороки и ошибки.

Молчание не всегда есть признак бессодержательности. G. Sand хорошо называла иных людей, исполненных ума и души, но не одаренных умением выразить свою внутреннюю жизнь, *les grands muets*; к таким людям она причисляла и известного ученого, G. St.-Hilaire, который, по-видимому, многое понимал и предвидел глубже своего товарища и соперника Кювье, но не мог никогда восторжествовать над ним в спорах. Наука, однако, во многом впоследствии оправдала St.-Hilaire'a. Быть может, и Персия была, сравнительно с Грецией, такой же Grand Muet. Есть примеры и ближе к нам. Если рассматривать жизнь России со времен Петра I и до наших времен, разве она многосложностью своих явлений не драматичнее, не поэтичнее, не богаче хотя бы истории однообразно-переменчивой Франции XIX века? Но Франция XIX века говорит о себе беспрестанно, а Россия до сих пор еще не выучилась говорить о себе хорошо и умно и все еще продолжает нападать на чиновников или заботиться о всеобщей «пользе».

Рим, Средние века Европы и тем более Европа новейшего, более близкого к нам, времени, оставили нам также такую богатую, распространенную тысячами путей, литературу, что чувства, страдания, вкусы, подвиги и даже пороки римлян, рыцарей, людей Возрождения, Реформы, людей пудры и фижм, людей Революции и т. д. нам знакомы, близки, более или менее родственны. От времен Пизистрата или даже от Троянской войны до времен Бисмарка и Седанского плена перед нами проходит великое множество лиц привлекательных или антипатичных, счастливых и несчастных, порочных и добродетельных, но во всяком случае множество лиц живых и понятных нам. Один из нас сочувствует одному лицу, другой другому; один из нас предпочи-

тает характер аристократической нации, другому нравится демагогия; один предпочитает историю Англии времен Елисаветы, другой Рим в эпоху блеска, третий Афины Перикла, четвертый Францию Людовика XIV или Францию Конвента, но во всяком случае для бóльшего числа образованного общества жизнь всех этих обществ, жизнь живая, понятная хоть урывками, но понятная сердцу.

Византийское общество, повторяю, напротив того, пострадало от равнодушия или недоброжелательства писателей западных, от неприготовленности и долгой незрелости нашей русской науки. <sup>10</sup>

Византия представляется чем-то (скажем просто, как говорится иногда в словесных беседах) сухим, скучным, поповским, и не только скучным, но даже чем-то жалким и подлым.

Между падшим языческим Римом и эпохой европейского Возрождения обыкновенно представляется какая-то зияющая темная пропасть варварства.

Конечно, литература историческая уже обладает несколькими прекрасными трудами, которые населяют мало-помалу эту скучную бездну живыми тенями и образами. (Таковы, например, книги Амедея Тьерри.) <sup>20</sup>

«История цивилизации в Европе» Гизо написана и издана уже давным-давно. В ней мало повествовательного, бытового; но зато движение идей, развитие внутреннего нерва жизни, изображено с гениальностью и силой. Гизо имел в виду преимущественно Запад; однако, говоря о Церкви Христианской, он должен был поневоле беспрестанно касаться тех идей, тех интересов, вспоминать о тех людях и событиях, которые были одинаково важны и для Западного и для Восточно-Христианского мира. Ибо варварства, в смысле совершенной дикости, простоты и бессознательности, вовсе не было в эту эпоху, но была, как я вначале уже сказал, общая византийская образованность, которая переступала тогда далеко за пределы Византийского Государства, точно так же, как переступала государственные пределы Эллады когда-то эллинская цивилизация, <sup>30</sup>

как переступает еще дальше теперь европейская за свои политические границы.

Есть и другие ученые книги, которые могут помочь нам, если мы захотим восполнить тот недостаток представлений, которым мы, люди неспециальные, страдаем, когда дело касается Византии.

Но искать охотников мало, и до тех пор, пока найдутся хоть между русскими, напр⟨имер⟩, люди с таким же художественным дарованием, как братья Тьерри, Маколей или <sup>10</sup> Грановский, люди, которые посвятили бы свой талант Византизму... пользы живой, сердечной пользы, не будет.

Пусть бы кто-нибудь, напр⟨имер⟩, переделал или даже перевел просто, но изящно, на современный язык Жития Святых, ту старую Четь-Минею Димитрия Ростовского, которую мы все знаем и все не читаем, и этого было бы достаточно, чтобы убедиться, сколько в Византизме было искренности, теплоты, геройства и поэзии.

Византия не Персия Зороастра; источники для нее есть, <sup>20</sup> источники, крайне близкие нам, но нет еще искусных людей, которые сумели бы приучить наше воображение и сердце к образам этого мира, с одной стороны столь далеко отошедшего, а с другой вполне современного нам и органически с нашей духовной и государственной жизнью связанного.

Предисловие к одной из книг Амедея Тьерри («*Derniers Temps de l'Empire d'Occident*») содержит в себе прекрасно выраженные жалобы на пренебрежение западных писателей к византийской истории. Он приписывает, между прочим, много важности пустой игре слов *Bas-Empire* (Нижняя Империя, Империя низкая, презренная) и называет летописца, который первый разделил римскую Историю на Историю Верхней (италийской) и Нижней (греческой) Империи, летописцем неудачливым, неловким, несчастным (*malencontreux*). <sup>30</sup>

«Не надо забывать, — говорит Тьерри, — что именно Византия дала человечеству совершеннейший в мире религиозный закон — Христианство. Византия распространила Христианство; она дала ему единство и силу».

«И между гражданами Византийской Империи, — говорит он далее, — были люди, которыми могли бы гордиться все эпохи, всякое общество!»

## Глава II

### ВИЗАНТИЗМ В РОССИИ

Я сказал, что римский Кесаризм, оживленный Христианством, дал возможность новому Риму (Византии) пережить старый Италийский Рим на целую государственную нормальную жизнь, на целое тысячелетие.

Условия русского Православного Царизма были еще <sup>10</sup> выгоднее.

Перенесенный на русскую почву, Византизм встретил не то, что он находил на берегах Средиземного моря, не племена, усталые от долгой образованности, не страны, стесненные у моря и открытые всяким враждебным набегам... нет! он нашел страну дикую, новую, едва доступную, обширную, он встретил народ простой, свежий, ничего почти не испытывавший, простодушный, прямой в своих верованиях.

Вместо избирательного, подвижного, пожизненного диктатора, Византизм нашел у нас Великого Князя Московского, патриархально и наследственно управлявшего Русью. <sup>20</sup>

В Византизме царила одна отвлеченная юридическая идея: на Руси эта идея обрела себе плоть и кровь в Царских родах, священных для народа.

Родовое монархическое чувство, этот великорусский легитимизм, был сперва обращен на дом Рюрика, а потом на дом Романовых.

Родовое чувство, столь сильное на Западе в аристократическом элементе общества, у нас же в этом элементе всегда гораздо слабейшее, нашло себе главное выражение в монархизме. Имея сначала вотчинный (родовой) характер, наше Государство этим самым развилось впоследствии так, <sup>30</sup>

что родовое чувство общества у нас приняло государственное направление. Государство у нас всегда было сильнее, глубже, выработаннее не только аристократии, но и самой семьи. Я, признаюсь, не понимаю тех, которые говорят о семейственности нашего народа. Я видел довольно много разных народов на свете и читал, конечно, как читают многие. В Крыму, в Малороссии, в Турции, в Австрии, в Германии, везде я встретил то же. Я нашел, что все почти иностранные народы, не только немцы и англичане (это уже слишком известно), но и столькие другие: малороссы, греки, болгары, сербы, вероятно (если верить множеству книг и рассказов) и сельские или вообще провинциальные французы, даже турки, гораздо семейственнее нас, великороссов.

Обыкновенно принято, что турецкая семья — не семья. Это легко сказать и успокоиться. Другое дело сказать, что христианский идеал самьи выше мусульманского идеала. Это, конечно, так, и у тех христианских народов, у которых есть прирожденный или выработанный их историей, глубокий фамилизм, как, напри(м)ер, у германских наций, он и выразился так сильно, твердо и прекрасно, как не выражался дотоле ни у кого и нигде. Чтобы убедиться в этом нагляднее, надо, с одной стороны, вспомнить несравненную ни с чем другим прелесть семейных картин Диккенса или Вальтер-Скотта и с менее гениальной силой у всех почти английских писателей. А с другой, — германскую нравственную философию, которая первая развила строго идею семейного долга для долга, даже вне религиозной заповеди. Можно ли вообразить себе великого великорусского писателя, который догадался бы прежде немцев изложить такой взгляд и изложил бы его хорошо, оригинально, увлекательно? Будем искренни и скажем, что это, может быть, грустная правда, но правда.

Что касается до художественных изображений, то пусть только сравнит кто-нибудь самых даровитых писателей наших с английскими, и он увидит тотчас же, до чего я прав. Разве можно сравнить семейные картины графа

Л. Н. Толстого с картинами Вальтер-Скотта и особенно Диккенса? Разве теплота «Детства и Отрочества» может сравниться с теплотою, с каким-то страстным эфическим лиризмом Копперфильда? Разве семейная жизнь «Войны и Мира», семейные (весьма немногосложные) идиллические оттенки в произведениях Тургенева и Гончарова равны по обилию и силе идиллических красот семейным картинам английской литературы? Разве можно вообразить себе великого русского поэта, который написал бы «Колокол» Шиллера? Сильны ли семейные чувства (сравнительно с германским, конечно) у Пушкина, у Лермонтова и у самого полумужика Кольцова?

Совсем ли был неправ Белинский, когда над предисловием своим к стихам Кольцова поставил эпиграфом стихи Апол. Григорьева?

Русский быт —

Увы — совсем не так глядит,  
Хоть о семейности его  
Славянофилы нам твердят  
Уже давно, но, виноват,  
Я в нем не вижу ничего  
Семейного.

Отчего широкий на все руки Питерщик Писемского и угрюмый, пострадавший в семье Бирюк Тургенева всем показались в свое время естественнее, правдивее всех à la G. Sand сельских идиллий Григоровича? Григорович знал хорошо язык крестьян, верно изображал многие типы, у него было чувство несомненное, но он попал на ложную дорогу слишком уже доброго и твердого фамилизма, который — увы — в удел великоруссу не достался!

Я знаю, что многим высоконравственным и благородным людям больно слушать подобные вещи; я знаю, что сознавать это правдой тяжело... Быть может, мне и самому это больно. Но разве мы поможем злу, скрывая его от себя и от других?

Если это зло (и, конечно, зло большое), то лучше беспрестанно указывать на него, чтобы ему противодейство-

вать сколько есть сил; а уверять самих себя, что мы семейственны, потому только, что попадаютя и у нас, там и сям, согласные, строго нравственные по убеждению семьи, это было бы то же, что уверять: «Мы очень феодальны в общественной организации, потому что и у нас есть древние княжеские и боярские многовековые роды, потому что и у нас было и есть еще отчасти богатое благовоспитанное дворянство, недавно еще привилегированное, сравнительно с другими классами народа». Это так; но ведь, чтобы судить

<sup>10</sup> верно общественный организм, необходимо сравнивать его с другими такими же организмами; а рядом с нами германские народы развили в течение своей исторической жизни такие великие образцы аристократичности, с одной стороны, и фамилизма — с другой, что мы должны же сознаться: нам и в том и в другом отношении до них далеко! Если мы найдем старинную чисто великорусскую семью (т. е., в которой ни отец, ни мать ни немецкой крови, ни греческой, ни даже польской или малороссийской), крепкую и нравственную, то мы увидим, во-первых, что она держится больше всего Православием, Церковью, Религией, Византизмом, заповедью, понятием греха, а не вне Религии стоящим и даже переживающим ее эфическим чувством, принципом отвлеченного долга, одним словом, чувством, не признающим греха и заповеди, с одной стороны, но и не допускающим либерального или эстетического эвдемонизма — с другой, не допускающим той согласной взаимной терпимости, которую так любило дворянство романских стран XVII и XVIII в. и которое у нас хотел проповедывать Чернышевский в своем романе: «Что делать?». Роман

<sup>20</sup> этот, отвратительный художественно, грубый, дурно написанный, сделал, однако, своего рода отрицательную пользу: он показал впервые ясно, чего именно хотят люди этого рода. И в этих людях сказался отчасти Великоруссизм, хотя на этот раз своими вредными сторонами, своими разрушительными выводами.

<sup>30</sup>

Всякое начало, доведенное односторонней последовательностью до каких-нибудь крайних выводов, не только

может стать убийственным, но даже и самоубийственным. Так, например, если бы идею личной свободы довести до всех крайних выводов, то она могла бы, через посредство крайней анархии, довести до крайне деспотического коммунизма, до юридического постоянного насилия всех над каждым или, с другой стороны, до личного рабства. Дайте право людям везде продавать или отдавать себя в вечный пожизненный наем из-за спокойствия, пропитания, за долги и т. п., и вы увидите, сколько и в наше время нашлось бы крепостных рабов или полурабов, по воле. 10

Слабосемейственность Великоруссизма сказалась ярко в сочинениях наших нигилистов. Нигилисты старались повредить и Государству; но в защиту государственности со всех сторон поднялись бесчисленные и разнородные силы, а в защиту семейственности раздавались больше даровитые и благородные голоса, чем поднимались силы реальные, фактические... Я прошу только посмотреть внимательно и бесстрашно на жизнь нашу и нашу художественную литературу.\*

---

\* Анархический и антитеический, но крепко семейственный прудонизм мало имел успеха в среде нашей молодежи; ей нравились более утопии сладострастия, фурьеризм, вольные сходки в хрустальных дворцах, чем атеистическая рабочая семья Прудона. Прудон француз немецкого умственного воспитания — гегелиянец.

Вспомним также о наших сектантах, что у них преобладает семейственность или общинность (т. е. нечто вроде государственности)? В собственно же половом отношении они все колеблются между крайним аскетизмом (скопчеством) и крайнею распушенностью.

Возможен ли в России социалист, подобный спокойному немцу Струве (см. у Герцена: «Былое и Думы»), который так дорожил верностью и добродетелью своей будущей жены, что обращался к френологии для выбора себе подруги? Еще пример: раз я прочел в какой-то газете, что одна молодая англичанка или американка объявила следующее: «Если женщинам дадут равные права и у меня будет власть, я велю тотчас же закрыть все игорные и кофейные дома, — одним словом, все заведения, которые отвлекают мужчин от дома». Русская дама и девица, напротив того, прежде всего подумала бы, как самой пойти туда, в случае приобретения всех равных с мужчинами прав.

Если, например, некоторым известным Славянофилам посчастливилось вырасти в крепких великорусских семьях, то, во-1-х, все эти семьи были крайне православными, а во-2-х, имеем ли мы логическое право всегда верить в то, что нам нравится, в то, что мы любим, находить и у других то, что нам в самих нас дорого?

В этом-то смысле я, сам великоросс вполне, в прошлой главе сказал: «Что такое семья без религии? Что такое религия без Христианства? Что такое Христианство в России без православных форм, правил и обычаев, т. е. без Византизма?»<sup>10</sup>

Кто хочет укрепить нашу семью, тот должен дорожить всем, что касается Церкви нашей!

Дай Бог, чтобы я был неправ, утверждая, что семейное начало у нас слабо! Я буду очень рад, если какая-нибудь точная статистика докажет мне, что я ошибся, что я слишком пессимист в отношении нашего фамилизма. Но пока мне этого не докажут, я буду стоять на своем и находить, что не только у германских народов и у тех представителей романских, у которых было больше случайного Германизма, но и у малороссов, у греков, юго-славян, у турок даже, семейное начало глубже и крепче нашего.<sup>20</sup>

Я говорю: у турок. Идеал мусульманской семьи ниже христианского; но личный ли темперамент турок, условия ли их общественного развития сделали то, что они очень любят свою семью, свое родство, свой род, свой очаг. У них есть большое расположение к семейному идилизму.

Итак, родовое чувство, повторяю, выразилось сравнительно у нас и в семье слабее, чем у многих других; в аристократическом начале то же самое; всю силу нашего родового чувства история перенесла на Государственную власть, на Монархию, Царизм.<sup>30</sup>

Когда я употребляю выражение: «аристократическое начало», надо понять, что я говорю в самом обширном смысле. Я понимаю очень хорошо, что хотят сказать те, которые утверждают, что у нас никогда не было аристократии; но нахожу, что этот оборот речи не совсем правилен; он не исчерпывает явления вполне.

Аристократическое начало у нас было (и даже есть) как и везде; \* но родовой и личный характер у него был (и есть) выражен гораздо слабее, чем во всех западных феодальных аристократиях или чем один родовой в муниципальной аристократии древне-римских патрициев и оптиматов.

Привилегированные люди, единоличная власть, семья, разные ассоциации, общины, все это есть везде, все это реальные силы, неизбежные части всех общественных организмов. Но они разнородно сопряжены и неравномерно сильны и ярки у разных наций и в разные времена. <sup>10</sup>

Так я не ошибусь, я думаю, если скажу, что в начале развития Государства всегда сильнее какое бы то ни было аристократическое начало. К середине жизни государственной является склонность к единоличной власти (хотя бы в виде сильного президентства, временной диктатуры, единоличной демагогии или тирании, как у элинов, в их цветущем периоде), а к старости и смерти воцаряется демократическое, эгалитарное и либеральное начало.

Смотря по тому, какой оттенок, какая реальная сила преобладала в том или другом народе, и все другие окрашиваются им, проникаются его элементами. <sup>20</sup>

У нас родовой наследственный Царизм был так крепок, что и аристократическое начало у нас приняло под его влиянием служебный, полуродовой, слабородовой, несравненно более государственный, чем лично феодальный и уже несколько не муниципальный характер. Известно, что местничество носило в себе глубоко-служебный государственный, чиновничий характер. Гордились бояре службой царской своих отцов и дедов, а не древностью самого рода, не своей личностью, не городом, наконец, или замком, с которыми бы сопряжены были их власть и племя. <sup>30</sup>

Усилия Царей рода Романовых и самые резкие преобразования Петра изменили лишь частности, сущность не могла бы быть изменена.

---

\* Оно было и в Америке в лице южных рабовладельцев, южных помещиков-демократов.

Ранги, введенные Петром, казалось бы, демократизировали дворянство в принципе. Всякий свободный человек мог достичь чинов, служа Царю (т. е. Государству). Но оказалось на деле иное, Дворянство этим больше выделилось из народа, фактически аристократизировалось, особенно в высших своих слоях.

До Петра было больше однообразия в социальной, бытовой картине нашей, больше *сходства* в частях; с Петра началось более ясное, резкое расслоение нашего общества, <sup>10</sup> явилось то разнообразие, без которого нет творчества у народов. Петр, как известно, утвердил еще более и крепостничество. Дворянство наше, поставленное между активным влиянием Царизма и пассивным влиянием подвластных крестьянских миров (ассоциаций), начало расти умом и властью, несмотря на подчинение Царизму.

Осталось только явиться Екатерине II, чтобы обнаружили и досуг, и вкус, и умственное творчество, и более идеальные чувства в общественной жизни. Деспотизм Петра был прогрессивный и аристократический, в смысле <sup>20</sup> вышеизложенного расслоения общества. Либерализм Екатерины имел решительно тот же характер. Она вела Россию к цвету, к творчеству и росту. Она усиливала неравенство. Вот в чем главная ее заслуга. Она охраняла крепостное право (целость мира, общины поземельной),\* распространяла даже это право на Малороссию и, с другой стороны, давала льготы дворянству, уменьшала в нем служебный смысл и потому возвышала собственно аристократические его свойства — род и личность; с ее времени дворянство стало несколько независимее от Государства, но по-прежнему <sup>30</sup> оно преобладало и господствовало над другими клас-

---

\* Власть помещика была стеснительной, т. е. крепкой охраной для целости общины. К внутренней организации прививалось и внешнее давление. Отсюда прочность мира крестьянского; надо опасаться, чтобы предоставленный только *внутреннему* деспотизму своему, он бы не разложился. В северных губерниях, где помещиков не было, так, говорят, и случилось.

сами нации. Оно еще более выделилось, выяснилось, индивидуализировалось и вступило в тот период, когда из него постепенно вышли: Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Пушкин, Гоголь и т. п.

Людовик XIV и Петр I-й были отчасти современниками. Но самодержавие Людовика XIV значительно уравнило Францию: оно стерло последние следы могучей, прежней феодальной независимости. Франция следующего века быстро пошла к демократизации и политическому смешению.

10

Самодержавие Петра, напротив того, расслоило крепче прежнего Россию, приготовило более прежнего аристократические, разнообразные по содержанию эпохи Екатерины и Александра I. С течением времени непрочное, малородовое дворянство наше, отжившее свой естественный век, утратило свое исключительное положение, которое могло бы, сохраняясь, привести к какому-нибудь насильственному разгрому снизу. Аристократическая роль дворянства кончилась не столько понижением его собственных прав и вольностей, сколько дарованием прав и вольностей другим. Уравнение неизбежное все-таки совершилось естественным ходом развития.

20

Мирный же характер этого уравнивания произошел опять-таки от силы и прочности нашего родового наследственного Царизма, от того прекрасного, так сказать, исторического воспитания, которое он нам дал; ибо в созидании его соединились три могущественных начала: римский Кесаризм, христианская дисциплина (учение покорности властям) и сосредоточившее всю силу свою на Царском роде родовое начало наше, столь слабое (сравнительно) и в семье, и в дворянстве нашем, и, может быть, в самой общине нашей.\*

30

---

\* Юго-славянские сельские задруги имели гораздо более семейный характер, чем наша община; в юго-славянских задругах заметнее родовой принцип; в наших мирах — как бы государственный, общинный.

С самого начала истории нашей мы видим странные комбинации реальных общественных сил, вовсе не похожие ни на римско-эллинистические, ни на византийские, ни на европейские. Удельная система наша соответствует, с одной стороны (если смотреть аналогически на начало всех государств, известных истории), той первоначальной, простой по быту и понятиям, отличной от народа аристократии, которую мы встречаем при зарождении всех государств, грубым патрициям первого Рима (и, вероятно, чему-нибудь подобному и у других итальянских народов), германскому первоначальному рыцарству и т. д.

Подвижность относительно места, неподвижность и крепость относительно рода, перевес родового начала и над личным и над избирательно-муниципальным, которое представлялось народным вечем городов.

Такова была наша удельная система, если ее рассматривать как первобытную аристократию. Она таила в себе, однако, глубокие монархические свойства, именно потому, вероятно, что вне одного рода Рюрика, внезапно столь размноженного, не было никакой другой сильной и организованной аристократии. Самые вечевые конституции наши были, вероятно, так эгалитарны по духу своему, что их отпор централизующей власти не мог быть силен, как только все-боярство выразило вполне ясно и раз навсегда, что оно и не феодально (не слишком лично), и не муниципально, а служебно и все-государственно. Аристократия наша приняла, наконец, чиновный характер; чиновничество же, с своей стороны, — родовой, наследственный. Служба давала наследственные права. Изгнанное историей из дворянства, из

---

Вообще у юго-славян и у греков два начала, семейно-патриархальное и юридическо-муниципальное, больше как-то бросаются в глаза, чем у нас.

Еще прибавлю: на каких идеалах, на семейных ли собственно или на религиозных, сосредоточилась поэтическая деятельность нашего простого народа? У малороссов, у греков, у сербов, у болгар нет мистических стихотворений, а великороссы простого звания (у раскольников) весьма богаты мистическими стихотворениями.

аристократии начало рода разлилось по различным другим составным частям общества, проникло в купеческое сословие \* и придало духовенству не бывший в Византии наследственный левитизм.

Под влиянием внешних врагов и под влиянием дружественного Византизма кровная удельная аристократия пала и перешла, вместе с новыми родами, в это простое служилое дворянство. При всех этих передвижениях и переходах жизнь России разнообразилась, развивалась; креп Царизм центральный, воспитанный Византизмом, и Русь все росла и все умнела. <sup>10</sup>

Итак, у нас были всегда слабее, чем у многих других, муниципальное начало, родовое, наследственно-аристократическое и даже семейное, как я старался это показать.

Сильны, могучи у нас только три вещи: византийское Православие, родовое и безграничное Самодержавие наше и, может быть, наш сельский поземельный мир. (Так, по крайней мере, думают многие о нашей общине; так думают наши охранители Православия и Самодержавия, Славяно-филы, и, с другой стороны, человек совершенно противоположный им, социалист испанский, Эмиль Каstellар. Об общине я рассуждать здесь не буду; цель моя иная.) <sup>20</sup>

Я хочу сказать, что Царизм наш, столь для нас плодотворный и спасительный, окреп под влиянием Православия, под влиянием византийских идей, византийской культуры.

Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь. Византизм дал нам силу перенести татарский погром и долгое данничество. Византийский образ Спаса осенял на Великокняжеском знамени верующие войска Димитрия на том бранном поле, где мы впервые показали татарам, что Русь Московская уже не прежняя раздробленная, растерзанная Русь! <sup>30</sup>

Византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах вы-

---

\* *Законы о состояниях; сын почетного гражданина и т. п.*

держат натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости!

Г. Костомаров, несомненно, талантливый малоросс, но кто же считает его особенно пристрастным к Великорусизму? Однако стоит раскрыть его «Историю Смутного Времени» (не знаю, верно ли я помню заглавие этой книги), чтобы убедиться, до чего важен для нас Византизм с тем двойственным характером *Церкви и родового Самодержавия*, с которым он утвердился на Руси. Поляки были в Москве; Царя или вовсе не было, или являлось несколько Самозванцев в разных местах, один за другим. Войска были везде разбиты. Бояре изменяли, колебались или были бессильны и безмолвны; в самых сельских общинах царствовал глубокий раздор. Но стоило только поляку войти в шапку в церковь или оказать малейшее неуважение к Православию, как немедленно распалялся русский патриотизм до страсти. «Одно Православие объединяло тогда русских», говорит г. Костомаров.

Церковное же чувство и покорность властям (византийская выправка) спасли нас и в 12 году. Известно, что многие крестьяне наши (конечно, не все, а застигнутые врасплох нашествием) обрели в себе мало чисто-национального чувства в первую минуту. Они грабили помещичьи усадьбы, бунтовали против дворян, брали от французов деньги. Духовенство, дворянство и купечество вели себя иначе. Но как только увидели люди, что французы обдирают иконы и ставят в наших храмах лошадей, так народ ожесточился, и все приняло иной оборот.

К тому же, и власти второстепенные были тогда иные: они умели, не задумываясь, обуздывать неразумные увлечения.

А чему же служили эти власти, как не тому же полувизантийскому Царизму нашему? Чем эти низшие власти были воспитаны и выдержаны, как не долгой Иерархиче-

ской дисциплиной этой полувизантийской Руси? Что, как не Православие, скрепило нас с Малороссией? Остальное все у малороссов, в преданиях, в воспитании историческом, было вовсе иное, на Московию мало похожее.

Что, как не сохранение в Христианстве восточно-византийского оттенка народом Белой и Южной Руси дало нам ту вещественную силу и то внутреннее чувство права, которые решили в последний раз участь Польского вопроса?

Разве не Византизм определил нашу роль в великих, по всемирному значению, Восточных делах? 10

Даже Раскол наш великорусский носит на себе печать глубокого Византизма. За мнимую порчу этого византийского Православия осердилась часть народа на Церковь и Правительство, за новшества, за прогресс. Раскольники наши считают себя более византийцами, чем членов господствующей Церкви. И, сверх того (как явствует из сознания всех людей, изучавших толково Раскол наш), раскольники не признают за собою права политического бунта; знакомые довольно близко с Церковной старой словесностью, они в ней, в этой византийской словесности, находят постоянно учение о строгой покорности предержавшим властям. Лучше, *нагляднее* всех об этом писал Вас. Кельсиев. Я сам, подобно ему, жил на Дунае и убедился, что он отлично понял это дело. 20

Если исключить из числа наших разнообразных сектантов малочисленных молокан и духоборцев, в которых уже почти ничего византийского не осталось, то главные отрасли нестарообрядческого раскола окажутся мистики: хлысты и скопцы.

Но и они не вполне разрывают с Православием. Они даже большею частью чтут его, считая себя только передовыми людьми Веры, иллюминатами, вдохновенными. Они вовсе не протестанты. (Дервиши почти в том же духе относятся к Мусульманству; они не совсем оторванные сектанты; они, т. е. дервиши, кажется что-то среднее между нашими мистиками — Христовыми и Божьими людьми — и нашими православными отшельниками.) 30

Византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский общественный организм.

Даже все почти большие бунты наши никогда не имели ни протестантского, ни либерально-демократического характера, а носили на себе своеобразную печать лже-легитимизма, т. е. того же родового и религиозного монархического начала, которое создало все наше государственное величие.

<sup>10</sup> Бунт Стеньки Разина не устоял, как только его люди убедились, что Государь не согласен с их Атаманом. К тому же, Разин постоянно старался показать, что он воюет не противу Крови Царской, а только противу бояр и согласного с ними Духовенства.

Пугачов был умнее, чтобы бороться против Правительства Екатерины, которого сила была несравненно больше сил до-петровской Руси; он обманул народ, он воспользовался тем легитимизмом великорусским, о котором я говорил.

<sup>20</sup> Нечто подобное же хотели пустить в ход и наши молодые европейские якобинцы 20<-х> годов.

Уверяют многие, что на подобных же монархических недоразумениях держатся и теперь еще политические взгляды некоторых сектантов.

Что же хотел я этим сказать? Монархическое начало является у нас единственным организующим началом, главным орудием дисциплины, и это же самое начало служит знаменем бунтам? Да! Это так, и это еще невелико несчастье. Без великих волнений не может прожить ни один великий народ. Но есть разные волнения. Есть волнения *вовремя*, ранние, и есть волнения *не вовремя*, поздние. Ранние способствуют созиданию, поздние ускоряют гибель народа и Государства. После волнений плебеев Рим вступил в свой героический период; после преторианских вспышек и после *мирного движения христиан* Рим разрушился.

Протестантская *ранняя* революция Англии создала ее величие, укрепила ее аристократическую конституцию. А

якобинская поздняя революция французов стала залогом их падения.

После 30-летнего религиозного междоусобия в Германии явились Фридрих II, Гёте, Шиллер, Гумбольдт и т. д., а после ничтожной и даже смешной борьбы 48 года, — Бюхнеры, Бюхнеры и Бюхнеры! (Разве это не упадок?) Что касается до гениального Бисмарка, еще неизвестно, что он такое для Германии, действительный ли возродитель, или одно из тех шумных и блестящих лиц, которые являются всегда у народов накануне их падения, чтобы собрать воедино и израсходовать навсегда все последние запасные силы общества. Мне кажется, вопрос может быть спорным только на какую-нибудь четверть века, т. е., можно спрашивать себя, что такое эпоха Бисмарка? Эпоха Наполеона I или Наполеона III? *Последнее, я думаю, вернее.*

Германия не моложе Франции, ни по годам, ни по духу, ни по строю; если же Пруссия была моложе, то где ж теперь эта Пруссия?

До сих пор все наши волнения прихлещивались вовремя, и с ними именно потому и можно было справиться, что в душах бунтующих были глубокие консервативные начала, потому что все наши бунты имели более или менее самозваннический или мнимо-легитимный характер.

Это раз. А с другой стороны, тут и неестественного ничего нет. Если какое-нибудь начало так сильно, как у нас Монархическое, если это начало так глубоко проникает всю национальную жизнь, то понятно, что оно должно, так сказать, разнообразно извиваться, изворачиваться и даже извращаться иногда, под влиянием разнородных и переходящих условий.

Русские самозваннические бунты наши доказывают только необычайную жизненность и силу нашего родового Царизма, столь тесно и неразрывно связанного с византийским Православием.

Я осмелюсь даже, не колеблясь, сказать, что никакое польское восстание и никакая Пугачовщина не могут по-

вредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень законная демократическая конституция.

О демократических конституциях я скажу подробнее позднее; здесь же остановлюсь немного на мусульманах.

Любопытно, что с тех пор, как мусульмане в Турции ближе ознакомились и с Западом и с нами, мы, русские, несмотря на столько войн и на старый политический антагонизм наш с Турцией, больше нравимся многим туркам и личным, и государственным характером нашим, чем западные европейцы. Церковный характер нашей Империи внушает им уважение; они находят в этой черте много сходства с религиозным характером их собственной народности. Наша дисциплина, наша почтительность и покорность пленяют их; они говорят, что это наша сила, завидуют нам и указывают друг другу на нас, как на добрый пример. Если бы турецкое Правительство ушло с Босфора, а турки бы ушли не все за ним с Балканского полуострова, то, конечно, они всегда бы надеялись на нас, как на защитников против тех неизбежных притеснений и оскорблений, которыми бы подвергались они от вчерашних рабов своих, юго-славян и греков, вообще довольно жестоких и грубых.

Турки и теперь, по личному вкусу, предпочитают нас и болгарам, и сербам, и грекам. Чиновники наши на Востоке, монахи афонские и раскольники дунайские (турецкие подданные) вообще туркам нравятся больше, чем европейцы западные и чем подвластные им славяне и греки.

Здесь нет мне больше места, но где-нибудь, в другой раз, я опишу подробно любопытные разговоры, которые я очень недавно имел об России с одним пашою, знавшим довольно хорошо русских, и еще с двумя простыми, но умными малоазиятскими старообрядцами. Эти последние удивлялись Нечаевскому делу и с негодованием говорили мне о тех людях, которые хотели бы в России Республику сделать.

«Помилуйте! — сказали они мне с силой во взгляде и голосе. — Да это все должны за Царя встать. Мы вот и в Турции живем, а и нам скверно об этом слышать».

Два приезжих из России монаха были при этом.

«Удивительно, — сказали они, — что с этими молодыми господами двое, никак из мещан, студенты попались. Другое дело, если господские дети сердятся на Государя за освобождение крестьян. А этим-то что?» Я из политического чувства не стал их уверять, что между «господами» и «нигилистами» нет ничего общего. (Это недоразумение тем спасительно, что мешает сближению анархистов с народом.)

Что касается до умного паша, то он, прочтя Гоголя во французском переводе, хотя и смеялся много, но потом важно стал развивать ту мысль, что у всех этих комических героев Гоголя одно хорошо и очень важно. Это их почтение к высшим по чину и званию, к начальству и т. п. «Ваше Государство очень сильно, — прибавил он. — Если Чичиков таков, что же должны быть умные и хорошие люди?»

— Хорошие люди, паша мой, — отвечал я, — нередко бывают хуже худых. Это иногда случается. Личная честность, вполне свободная, самоопределяющаяся нравственность могут лично же и нравиться, и внушать уважение, но в этих непрочных вещах нет ничего политического, организующего. Очень хорошие люди иногда ужасно вредят Государству, если политическое воспитание их ложно, и Чичиковы, и Городничие Гоголя несравненно иногда полезнее их для целого («pour l'ensemble politique», сказал я).

Паша согласился. Он говорил мне много еще поучительного и умного о русских, о раскольниках, о малороссах, которых он звал: «Ces bons Hohols. Je les connais bien les Hohols», говорил он; «mais les Lipovanes \* russes sont encore mieux. Ils me plaisent davantage. Они отличные граждане, гораздо лучше греков и болгар; и малороссы, и липоване ваши заботятся лишь о Религии своей. А у греков и у болгар только одно на уме обезьянство политическое, конституция и т. п. вздор. Верьте мне, — Россия будет до тех пор сильна, пока у вас нет конституции. Я боюсь Рос-

---

\* Старообрядцы.

сии, не скрою этого от вас и, с точки зрения моего турецкого патриотизма, от всего сердца желал бы, чтобы у вас сделали конституцию. Но боюсь, что у вас государственные люди всегда как-то очень умны. Пожалуй, никогда не будет конституции, и это для нас, турок, довольно страшно!»

Ко мнению паши и мало-азийских раскольников прибавлю еще мнение глубокомысленного Карлейля о русском народе:

<sup>10</sup> «Что касается до меня (писал он Герцену), я признаюсь, что никогда не считал, а теперь (если это возможно) еще меньше, чем прежде, считаю благом всеобщую подачу голосов во всех ее видоизменениях. Если она может принести что-нибудь хорошее, то это так, как воспаления в некоторых смертных болезнях. Я несравненно больше предпочитаю самый Царизм или даже великий Туркизм чистой анархии (а я ее такой, по несчастию, считаю), развитой парламентским красноречием, свободой книгопечатания и счетом голосов. Вашу обширную родину (т. е. Россию) я <sup>20</sup> всегда уважал, как какое-то огромное, темное, неразгаданное дитя Провидения, которого внутренний смысл еще не известен, но который очевидно не исполнен в наше время; она имеет талант, в котором она первенствует и который дает ей мощь, далеко превышающую другие страны, талант, необходимый всем нациям, всем существам и беспощадно требуемый от всех, под опасением наказания, — талант повиновения, который в других местах вышел из моды, особенно теперь!»

<sup>30</sup> И не только покорность, но и другие высокие и добрые чувства выработались в народе нашем от долгой дисциплины, под которой он жил.

Недавно я случайно встретил в одном православном журнале следующее замечание:

«При решительном отсутствии всякой свободы и самобытности в жизни гражданской и общественной нашему простолыдину естественно было пытаться вознаградить себя самобытностью в жизни духовной, самодеятель-

ностью в области мысли и чувства» («Христианское Чтение», «О русском простонародном мистицизме», Н. И. Барсова).

Правда, это привело к расколам и ересям, но зато привело, с одной стороны, к поэтическому творчеству, а с другой — к равнодушию в политических внутренних вопросах, к высокой слабости демагогического духа, именно к тому, чего хотело всегда Христианство: «Царство мое не от мира сего».

Такое направление равно полезно и для практической<sup>10</sup> мудрости народов в политике, и для развития поэтических наклонностей. Практическая мудрость народа состоит именно в том, чтобы не искать политической власти, чтобы как можно менее мешаться в общегосударственные дела. Чем ограниченнее круг людей, мешающихся в политику, тем эта политика тверже, толковее, тем самые люди даже всегда приятнее, умнее.

Одним словом, с какой бы стороны мы ни взглянули на великорусскую жизнь и Государство, мы увидим, что Византизм, т. е. Церковь и Царь, прямо или косвенно, но во всяком случае глубоко проникают в самые недра нашего общественного организма.<sup>20</sup>

Сила наша, дисциплина, история просвещения, поэзия, одним словом, все живое у нас сопряжено органически с родовой Монархией нашей, освященной Православием, которого мы естественные наследники и представители во вселенной.

Византизм организовал нас, система византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими патриархальными, простыми началами, с нашим, еще старым и грубым<sup>30</sup> вначале, славянским материалом.

Изменяя, даже в тайных помыслах наших, этому Византизму, мы погубим Россию. Ибо тайные помыслы, рано или поздно, могут найти себе случай для практического выражения.

Увлекаясь то какой-то холодной и обманчивой тенью скучного, презренного всемирного блага, то одними племен-

ными односторонними чувствами, мы можем неисцелимо и преждевременно расстроить организм нашего Царства, могучий, но все-таки же способный, как и все на свете, к болезни и даже разложению, хотя бы и медленному.

Идея всечеловеческого блага, религия всеобщей пользы, — самая холодная, прозаическая и вдобавок самая невероятная, неосновательная из всех религий.

Во всех положительных религиях, кроме огромной поэзии их, кроме их необычайно организующей мощи, есть еще нечто реальное, осязательное. В идее всеобщего блага реального нет ничего. Во всех мистических религиях люди согласны, по крайней мере, в исходном принципе: «Христос, Сын Божий, Спаситель»; «Рим вечный священный город Марса»; «Папа непогрешим *ex cathedra*»; «Один Бог и Магомет Пророк его» и т. д.

А общее благо, если только начать о нем думать (чего, обыкновенно, говоря о благе и пользе, в наше время и не делают), что в нем окажется реального, возможного?

Это самое сухое, ни к чему хорошему, даже ни к чему осязательному, не ведущее отвлечение, и больше ничего. Один находит, что общее благо есть страдать и отдыхать попеременно и потом молиться Богу; другой находит, что общее благо это — то работать, то наслаждаться, всегда и ничему не верить идеальному; а третий — только наслаждаться всегда и т. д.

Как это примирить, чтобы всем нам было полезно (то есть приятно-полезно, а не поучительно-полезно)?

Если космополитизм и всеобщая польза есть не что иное, как фраза, уже начинающая в наше время наводить скуку и внушать презрение, то про племенное чувство нельзя того же сказать.

Однообразно настроенное и блаженное человечество — это призрак, и вовсе даже не красивый и не привлекательный, но племя, разумеется, — явление очень реальное. Поэтому племенные чувства и сочувствия кажутся сразу довольно естественными и понятными. Но и в них много необдуманности, модного суеверия и фразы.

Что такое племя без системы своих религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь? Но кровь ведь, с одной стороны, ни у кого не чиста, и Бог знает, какую кровь иногда любишь, полагая, что любишь свою, близкую. И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное! Все великие нации очень смешанной крови.

Язык? Но язык что такое? Язык дорог особенно как выражение родственных и дорогих нам идей и чувств. *Анти-европейские* блестящие выходки Герцена, читаемые на французском языке, производят более русское впечатление, чем по-русски написанные статьи «Голоса» и т. п.

Любить племя за племя — натяжка и ложь. Другое дело, если племя родственное хоть в чем-нибудь согласно с нашими особыми идеями, с нашими коренными чувствами.

Идея же национальностей в том виде, в каком ее ввел в политику Наполеон III, в ее нынешнем модном виде, есть не что иное, как тот же либеральный демократизм, который давно уже трудится над разрушением великих культурных миров Запада.

Равенство лиц, равенство сословий, равенство (т. е. однообразие) провинций, равенство наций, — это все один и тот же процесс; в сущности, все то же всеобщее равенство, всеобщая свобода, всеобщая приятная польза, всеобщее благо, всеобщая анархия, либо всеобщая мирная скука.

Идея национальностей чисто племенных в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, в сущности, вполне космополитическая, анти-государственная, противу-религиозная, имеющая в себе много разрушительной силы и ничего созидającego, наций культурой не обособляющая; ибо культура есть не что иное, как своеобразие; \* а своеобразие ныне почти везде гибнет преимущественно от политической свободы. Индивидуализм губит индивидуальность людей, областей и наций.

---

\* *Китаец и турок* поэтому, конечно, культурнее бельгийца и швейцарца!

Франция погубила себя окончательно этим принципом; подождем хоть немножко еще, что станется с Германией! Ее поздние лавры еще очень зелены, а организм едва ли моложе французского.

Кто радикал отъявленный, то есть разрушитель, тот пусть любит чистую племенную национальную идею; ибо она есть лишь частное видоизменение космополитической, разрушительной идеи.

Но тот, кто не радикал, тот пусть подумает хоть немно-  
10 го о том, что я сказал.

### Глава III

#### ЧТО ТАКОЕ СЛАВИЗМ?

Ответа нет!

Напрасно мы будем искать какие-нибудь ясные, резкие черты, какие-нибудь определенные и яркие исторические свойства, которые были бы общи всем славянам.

Славизм можно понимать только как племенное этнографическое отвлечение, как идею общей крови (хотя и не совсем чистой) и сходных языков.

20 Идея Славизма не представляет отвлечения исторического, то есть такого, под которым бы разумелись, как в квинтэссенции, все отличительные признаки религиозные, юридические, бытовые, художественные, составляющие, в совокупности своей, полную и живую историческую картину известной культуры.

Скажите: Китаизм, китайская культура — всякому более или менее ясно.

Скажите: Европеизм, и, несмотря на всю сложность западно-европейской истории, есть некоторые черты, общие  
30 всем эпохам, всем Государствам Запада, — черты, которых совокупность может послужить для исторической классификации, для определения, чем именно романо-германская культура, взятая во всецелости, отличалась и отли-

чается теперь от всех других погибших и существующих культур, от японо-китайской, от Исламизма, древне-египетской, халдейской, персидской, эллинской, римской и византийской.

Частные цивилизации: англо-саксонскую, испанскую, итальянскую также нетрудно определить в совокупности их отличительных признаков. У каждой из этих частных цивилизаций была одна общая литература, одна государственная форма выяснилась при начале их цветения, одна какая-нибудь религия (Католическая или Протестантская) была тесно связана с их историческими судьбами; школа живописи, архитектурные стили, музыкальные мелодии, философское направление были у каждой свои, более или менее выработанные, ясные, наглядные, доступные изучению.

Таким образом не только Германизм, Англо-Саксонство, французская культура, старо-испанская, итальянская культура времен Данта, Льва X-го, Рафаэля и т. д., не только, я говорю, эти отвлеченные идеи частных Западных культур соответствуют ясным историческим картинам, но и более общая идея Европеизма, противопоставленная Византизму, Эллинизму, Риму, и т. д., кажется от подобного сравнения ясной и определенной.

Так, напр(имер), если бы на всю Европу, с прошедшим ее и настоящим, смотрел какой-нибудь вполне беспристрастный и наиболее развитой человек *не христианского исповедания*, он бы сказал себе, что нигде он не видал еще такого сильного развития власти духовной (а вследствие того и политического влияния), как у *одного старшего жреца, живущего в одном из южных городов*, нигде прежде не видел бы он, быть может, такой пламенной, одушевленной религиозности у Царей и народов, нигде такого нежного, кружевного, величественного и восторженного, так сказать, стилия в постройке храмов; нигде не видал бы он такого высокого, преувеличенного даже понятия о достоинстве личности человеческой, о личной чести, о самоуправляющейся нравственности, сперва в одном сословии, а потом и в других, нигде такого уважения и такой любезности к женщинам и т. д.

Потом увидал бы он атеизм, какого еще нигде не бывало, демагогию страшнее афинской демагогии, гонения повсеместные на прежде столь священного жреца, увидел бы небывалые нигде дотоле открытия реальной науки, машины и т. д.

Итак, даже и столь общая идея Европеизма ясна и соответствует одной, так сказать, органически связанной исторической картине.

<sup>10</sup> Где же подобная ясная, общая идея Славизма? Где ответственная этой идее яркая и живая историческая картина?

Отдельные исторические картины славянских государств довольно ясны (хотя в некоторых отношениях все-таки менее ярки и богаты своеобразным содержанием, чем отдельные исторические картины Франции, Германии, Англии, Испании); но где же общая связь этих отдельных, положим и живых, при близком рассмотрении, картин? Она теряется в баснословных временах Гостомыслов, Пястов, Аспарухов, Любушей и т. д.

<sup>20</sup> Истории древне-болгарского и древне-сербского Царств очень бесцветны и ничего особенного, резко характерного, славянского не представляют: они очень скоро вошли в поток византийской культуры, «не бросивши векам ни мысли плодovitой, ни гением начатого труда»; а с падением Византийского Государства пресекалась и их незрелая до своеобразно-культурного периода государственная жизнь.

Чехи? Чехи? О чехах говорить у нас очень трудно. У нас принято за правило говорить им всякого рода лестные вещи; \* писатели наши считают долгом ставить чехов непременно выше русских. Почему? Я не знаю. Потому ли, что народ их грамотнее нашего; потому ли, что у них когда-то были благородный Гус и страшный Жижка, а теперь есть только «честные» и «учёные» Ригер и Палацкий?

Конечно, чехи — братья нам; они полезны, не говорю, Славизму (ибо, как я сказал, Славизма нет), а Славянству,

---

\* Теперь, слава Богу, не так уж! (1884 г.).

т. е. племенной совокупности славян; они полезны как передовая батарея Славянства, принимающая на себя первые удары Германизма.

Но, с точки зрения вышеприведенных культурных отличий, нельзя ли чехов вообще назвать прекрасным орудием немецкой фабрики, которое славяне отбили у немцев, выкрасили чуть-чуть другим цветом и повернули против Германии?

Нельзя ли их назвать, в отношении их быта, привычек, даже нравственных свойств, в отношении их внутреннего, юридического, воспитания, немцами, переведенными на славянский язык?

Если они братья, то зачем же с братьями эта вечная дипломатия, это гуманное церемониймейстерство, которое мешает называть вещи по имени? У нынешних чехов есть, пожалуй, самобытность, но вовсе нет своеобразия. Высшая ученость, напр<имер>, есть большая сила, но уж, конечно, эта сила не исключительно славянская, она могла только способствовать к изучению, к пониманию древнеславянских, хоть сколько-нибудь своеобразных начал; но от понимания прошедшего и преходящего до творчества в настоящем и даже до прочного охранения еще целая бездна бессилия. Грамотность простого народа многие считают необычайным и несомненным благом; но ведь нельзя же сказать, что это благо есть открытие славян или что приобретение его славянам доступно более, чем другим народам и племенам? «Краледворская Рукопись», «Суд Любуши» и т. п. прекрасные вещи, но эти археологические драгоценности мало приложимы теперь к стране, в которой уже давно тесно, которая обработана по-европейски, где, за отсутствием родовой аристократии (она, как известно, онемечилась, хотя и существует), духом страны правит вполне и до крайности современно, по-западному правит ученая буржуазия. Где же Любуше найти себе тут живое место?

Даже нравственными, личными свойствами своими чех очень напоминает немца, быть может, с несколько южно-германским, более приятным оттенком. Он скромн,

стоек, терпелив, в семейной жизни расположен к порядку, музыкант.\*

Политическая история сделала чехов осторожными, искусными в либеральной дипломатии. Они вполне по-европейски мастера собирать митинги, делать демонстрации вовремя и не рискуя открытыми восстаниями. Они не хотят принадлежать России, но крайне дорожат ею для устрашения Австрии. Одним словом, все у них как-то на месте, все в порядке, все по-модному вполне.

<sup>10</sup> Прибавим, что они все-таки католики, и воспоминания о Гусе имеют у них, надо же согласиться, более национальный, чем религиозный, характер.

Я не говорю, что это все непременно худо или что это все невыгодно для Славянства. Напротив того, вероятно, глубокая германизация не чувств и стремлений политических, а ума и быта национального была необходима чехам для политической борьбы против Германизма.

<sup>20</sup> Вставленной в германское море малочисленной славянской нации нужно было вооружиться *jusqu'aux dents* всеми теми силами, которыми так богато было издавна это германское море; сохраняя больше древнеславянского в быте и уме, она, может быть, не устояла бы против более зрелых и сложных германских ресурсов.

Так как здесь главная речь идет не о том, что хорошо или что худо, а лишь о том, что особенно свойственно славянам, о том, что в них оригинально и характерно, то можно позволить себе такого рода рассуждение: если бы пора-

---

<sup>30</sup> \* S.-Rene Taillandier, человек умеренно либеральный и потому, естественно, *молящийся* на так называемый *tiers-état*, везде, где он его встречает или чувствует, к чехам очень расположен и умоляет их только быть подальше от этой деспотической, Византийской России. «Вы не то, что поляки с их возвышенными неосторожностями (*imprudences sublimes*); вы выработали у себя, благодаря близости немцев, *tiers-état*; ваши добродетели более буржуазны. Зачем же вам необдуманные поступки и слова? Не нужно более поездок в Москву?» — говорил чехам этот француз в 70-м году в «*Revue des deux mondes*». Я с ним, впрочем, согласен: на кой нам прах эти чехи.

жение гуситов, Белогорская битва и сдача Праги не сокрушили бы чешскую нацию и не подчинили ее на столько веков Католицизму и немцам (т. е. Европе), то из соединения полуправославных, полупротестантских стремлений Гуситства с коммунизмом таборитов и с мощью местной аристократии могло бы выработаться нечто крайне своеобразное и, пожалуй, славянское, уже по тому одному славянское, что такое оригинальное сочетание и примирение социализма с Византизмом и феодальностью не было ни у кого видно дотолѣ.

10

Но история судила иначе, и чехи, войдя раньше всех славян и надолго в общий поток романо-германской цивилизации, раньше всех других славян пришли к ученому сознанию племенного Славизма, но зато, вероятно, меньше всех других славян сохранили в себе что-либо бессознательно, наивно, реально и прочно существующее славянское.

Они подобны пожилому мужчине, который утратил силы плодотворные, но не утратил мужества и чувства. Они с восторгом создали бы, вероятно, что-нибудь свое, если бы могли, если бы одной учености, если бы одного хорошего знания начал и судеб славянских было достаточно для творчества, для организации.

20

Но, увы! Ученый австрийский консул Хан, который, долго обитая в Эпире, записывал там греко-албанские старые и недавно созданные эпические песни эпиротов, сам не творил их! А сочиняют их (и теперь еще, кажется, во всей их наивной свежести) горные паликары греки и арнауты, полуграмотные или безграмотные мужики в старых фуста-неллах.

30

Своеобразное народное творчество (как показывает нам вся история) происходило совокупными действиями сознательных умов и наивных начал, данных жизнью: нуждами, страстями, вкусами, привязанностями, даже тем, что зовут обыкновенно невежеством. В этом смысле можно позволить себе сказать, что знание и незнание были (до сих пор, по крайней мере), равносильными двигателями ис-

торического развития. Ибо под развитием, разумеется, надо понимать не одну ученость, как думают (опять-таки по незнанию) многие, а некий весьма сложный процесс народной жизни, процесс в значительной степени бессознательный и до сих пор еще не ясно постигнутый социальной наукой. У чехов, повторяю, очень сильно славянское сознание, но где у них, в Чехии и Моравии, богатство и прочность древних или, напротив того, *вовсе новых* славянских, чешских привычек, произведений, вкусов и т. д.? Все европейское! И так, я не знаю, кто может отвергнуть то, что я выше сказал: Чехия есть орудие немецкой работы, обращенное ныне славянами против Германизма.

Где же тут Славизм?

Теперь поговорим о болгарях.

Болгары воспитаны греками в том смысле, в каком чехи воспитаны немцами. Вера у болгар с греками одна, привычки схожи; религиозные понятия до последнего времени были одинаковы. В сельских обычаях, в поверьях, постройках и т. п. есть отличия, но эти отличия так невелики (кроме языка), что во многих отношениях между греком критским и греком эпирским, греком-кефалонитом и греком фракийским есть больше разницы бытовой и психической (личной, то есть), чем между греком фракийским и болгаринем той же страны или между греком македонским и болгаринем.

Это я говорю о сельском населении, которое еще гораздо резче отличается одно от другого, чем городское. Тотчас же по приезде моем на Восток умел я по физиономии, по приемам, по одежде, отличить фракийского грека от эпирота и грека-островитянина, а потом и по характеру. Фракийский грек, сравнительно с островитянином и эпиротом (албанцем), робок, осторожен и тяжел, вообще не слишком красив, не особенно смугл, одет как болгарин. Островитянин (критянин, напр<имер>) изящен, красив, отважен, горд, тонок и вместе добродушен, ласков; он и по чувствам, не только по виду, романтичнее и фракийского грека, и албанца; он моряк, наконец. Албанец, или эпирот, вообще

некрасив, очень бледен, худ, но обыкновенно грациозен, самолюбив и подвижен донельзя, воинствен; романтизм его чисто *военный*; *эротического* романтизма у него нет. Критянин влюбляется, эпирот никогда. Народные песни Крита исполнены эротизма; песни Эпира сухи и строго-воинственны. Вот какая разница! Различать же фракийского болгарина я, сознаюсь, в 10 лет не выучился. Кто виноват: я или данные самые, не знаю.

Что касается до городского населения, до лавочников, ремесленников, докторов, учителей и купцов, которые составляют так называемую интеллигенцию и у греков, и у болгар, то между ними нет никакой разницы. Те же обычаи, те же вкусы, те же качества и те же пороки. Крепкая, более или менее строгая семейственность, удаление женщин на второй план в обществе, во время сборищ и посещений, религиозность вообще более обрядовая, чем романтическая и глубоко-сердечная, если она искренна, или просто насильственная, лицемерная, для поддержания национальной Церкви примером, чрезвычайное трудолюбие, терпение, экономия, расположение даже к скупости, почти совершенное отсутствие рыцарских чувств и вообще мало склонности к великодушию. Демагогический и конституционный дух воспитан и в греках, и в болгарях, с одной стороны, бессословностью Турции (или крайне слабою сословностью, несравненно слабее еще русской сословности, выраженной даже и в старой Турции), а с другой, тем подавленным свободолюбием, которое болезненно развивается в народах завоеванных, но не слившихся с своими победителями. Вообще и у болгар, и у греков мы находим расположение к так называемому *прогрессу в делах государственных* и *сильный дух охранения во всем, что касается семьи*.

Выходит, что в политическом, государственном отношении и юго-славяне и греки своим демагогическим духом больше напоминают французов, а в семейном отношении — германские народы; в этом отношении городские болгары и греки, очень схожие между собою, составляют как бы ан-

титезу психическую с великоруссами, которые в государственном отношении до сих пор больше подходили, по здравому смыслу и по духу дисциплины, к старо-германскому гению, а в домашних делах, по пылкости и распушенности, к романцам (которым большинство из нас и теперь продолжает в этом *отношении* сочувствовать, вопреки всем справедливым увещеваниям и урокам строго нравственных людей!).

<sup>10</sup> Итак, болгарин, психически похожий на самого солидного, терпеливого, расчетливого немца и ничуть не похожий на веселого, живого, более распушенного, но зато и более доброго, более великодушного великоросса, воспитан греками и по-гречески. Он точно так же орудие греческой работы, как чех орудие немецкой, и точно так же обращен против Новогречизма, как чех направлен против Германизма. Сходство между чехами и болгарам есть еще и другое. Чехи католики, но Католицизм у них не представляет существенного цвета на народном политическом знамени, как, напр(имер), у поляков. Он имеет пока еще у многих лишь <sup>20</sup> силу личных привычек совести, он имеет силу религиозную, без поддержки политической; напротив того даже, Католицизм в политическом отношении связан у чехов с воспоминаниями горькими для национальной гордости, с казнью Гуса, с Белогорской битвой, с беспощадными распоряжениями Императора Фердинанда II-го в 20 годах XVII века. Демонстрации в честь Гуса, который боролся против Католицизма, являются теперь в Чехии национальными демонстрациями. И у новых болгар, как у нынешних чехов, религия личной совести населения не совсем совпадает с <sup>30</sup> религией национального интереса. Большинство болгар этого еще, вероятно, не чувствует по незнанию, но вожди знают это.

Подобно тому, как чехи кончили свою средневековую жизнь под антикатолическими знаменами Протестантства и Гуситизма и возобновляют нынешнюю свою жизнь опять под знаменем последнего, болгары начинают свою новую историю борьбой не только противу греков, но и противу

Православной Церкви, воспитавшей их нацию. Они борются не только противу *власти греческой* Константинопольской Патриархии, но и противу нерушимости церковных, весьма существенных узаконений.

Рассматривая же вопрос с русской точки зрения, мы найдем у них с чехами ту разницу, что движение чехов в пользу Гуситизма приближает их хотя несколько к столь дорогому для нас Византизму Вселенскому, а движение болгар может грозить и нам разрывом с этим Византизмом, если мы не остережемся вовремя.\*

Конечно, из нескольких народных праздников в честь Гуса, из нескольких личных обращений в Православие нельзя еще заключить, чтобы чехи склонялись к общему переходу в Церковь Восточную. Мы не имеем права всегда слепо веровать в то, что нам было бы желательно. Другое дело желать, другое верить. Но все-таки мы видим в этом старейшем по образованности славянском народе хотя и легкую, а все же благоприятную нашим основным началам черту. Мы не лишены прав надежды, по крайней мере.

У болгар же, напротив того, мы видим черту совершенно противоположную нашим великорусским основам. Самый отсталый, самый последний из возродившихся славянских народов является в этом случае самым опасным для нас; ибо только в его новой истории, а не в чешской, не в польской и не в сербской, вступили в борьбу те две силы, которыми мы, русские, живем и движемся — племенное Славянство и Византизм. Благодаря болгарам, и мы стоим у какого-то Рубикона.

Чтобы судить о том, чего может желать и до чего может доходить в данную пору нация, надо брать в расчет именно людей крайних, а не умеренных. В руки первых попадает всегда народ в решительные минуты. Умеренные же бывают обыкновенно двух родов: такие, которые в самой теории

---

\* 1882 г. Теперь опасность разрыва русских с греками миновала; но зато болгары обнаружили еще больше демагогического духа.

не хотят крайностей, или такие, которые лишь на деле отступают от них. Мне кажется, что все умеренные болгарские вожди умеренны лишь на практике, но в идеале они все почти крайние, когда дело коснется греков и Патриархии.

Народ болгарский прост (не то чтобы очень простодушен или добродушен, как думают у нас, и не то чтобы глуп, как ошибочно думают иные греки, а именно прост, т. е. еще неразвит). Вдобавок, он вовсе не так пылко и горячо религиозен, как простой русский народ, который вообще гораздо впечатлительнее болгарского. Народ болгарский, особенно по селам, я говорю, прост. Напротив того, малочисленная интеллигенция болгарская лукава, тверда, по-видимому, довольно согласна и образована греками же, русскими, европейцами и отчасти турками, именно настолько, насколько нужно для успешной национально-дипломатической борьбы. Этого рода борьба, пока дело не дошло до оружия, имеет в наше время какой-то механико-юридический характер и потому не требует ни философского ума, ни высокого светского образования, ни даже обыкновенной дюжинной учености, ни воображения, ни возвышенных, героических вкусов и чувств. Хотя по всем этим перечисленным пунктам и новогреческая интеллигенция (за исключением патриотического героизма) занимает далеко не перво-степенное место во вселенной, но болгарская, конечно, по незрелости своей и сравнительной малочисленности, стоит еще много ниже ее, но это равенству борьбы не слишком мешает; это имеет свои выгоды и свои невыгоды. Простота же болгарских селян, я думаю, очень выгодна теперь для болгарского дела.\* Дело в том, повторяю, что народ бол-

---

\* Некоторые из этих сравнительных выгод и невыгод я перечислял в статье моей «Панславизм и греки». Скажу здесь еще вот что:

1. Болгары все вместе под Турцией; греки разделены между двумя центрами, Афинами и Царьградом, которые не всегда согласны.

2. Болгары против Султана не бунтовали никогда; у них есть партия, мечтающая о Султানে, как о Царе Болгарском, о турко-бол-

гарский и прост, и политически неопытен, и вовсе не так религиозен, как, напри(ер), русский простой народ. Это сознают все и на Востоке. Интеллигенция же его терпелива, ловка, честолюбива, осторожна и решительна. Например: заметивши зимою 71 года, что стараниями русской дипломатии (так говорят здесь многие и даже иные более умеренные болгары) дело между Патриархией и болгарамидет ко взаимным уступкам, увидавши на Вселенском престоле Анфима, который прослыл до известной степени за человека, расположенного к болгарам или к примирению,<sup>10</sup> вожди крайнего Болгаризма, доктор Чомаков (вероятно, материалист), какой-то поэт Славейков и, вероятно, еще другие лица из тех солидных и богатых старшин, которые и у греков и у юго-славян так влиятельны, благодаря отсутствию родовой и чиновной аристократии, и т. п. люди, уговорили и принудили известных болгарских архиереев, Илариона, Панарета и друг(их), стать открыто противу Вселенского Патриарха и прервать с ним всякую связь. Они

---

гарском дуализме. Загнанность народа послужила ему в пользу; он был непредприимчив и робок, а вожди обратили эту слабость очень ловко в силу. Пока греки рыцарски проливали кровь в Крите, болгары лукаво подавали адрес Султану. Это вдруг двинуло их дела.

3. Простолюдины болгарские менее развиты умом, чем греческие; при ловкости старшин и это оказалось силой. Их легче обмануть, уверить, что раскол — не раскол, что Россия сочувствует им безусловно, что весь мир за них и т. п. У греков каждый больше мешается и шумит. У болгар меньше.

4. Греки образованнее и гораздо богаче, но за болгар мода этнографического либерализма, за них должны быть все прогрессисты, атеисты, демагоги, все ненавидящие авторитет Церкви, наконец все, не знакомые с узаконением Вселенской Церкви или не вникающие в ее дух (а сколько этих не вникающих!).

5. Оружие? Но оружия греков болгары не боятся: против этого есть турки, в крайности нашлись бы и другие. Страх болгар отчасти притворный страх, отчасти ошибочный... Можно было бы сказать и больше, но я пока воздержусь. (1874.) *Пр(имечание) 1884.* — И через 10 лет — мне приходится мало что изменить в этом примечании 74 года. — Сущность все та же.

решились просить, ни с того, ни с сего, позволения у Патриарха, ночью, под 6-е января, разрешения отслужить на Крещенье поутру свою особую болгарскую Литургию, в виде ознаменования своей церковной независимости. Они предвидели, что Патриарху греки не дадут согласиться на это и что, наконец, и трудно вдруг, в несколько часов, ночью, второпях, решиться на такой важный шаг, дать позволение служить архиереям, которые были низложены Церковью и находятся теперь в руках людей, Церкви враждебных.

<sup>10</sup> Чомаков и К° знали, что будет отказ, и требовали настойчиво разрешения, чтобы, в глазах несведующих людей, сложить всю вину на греков: «греки нам не дают воли: чем же мы виноваты?»

Чомаков и К° знали, что они поставят этим поспешным требованием Патриарха между Сциллою и Харибдой. Если, паче чаяния, Патриарх благословит, то этим самым вопрос разрешен, фирман Султанский в пользу болгар признан Церковью, хотя в нем и есть вещи, дающие повод к новым распрям. Если же Патриарх откажет: «*coup d'état*»

<sup>20</sup> народный, и «Бог даст» и *раскол!*

И Патриарх отказал.

Этого только и желала крайняя болгарская партия.

Она понимала многое; она знала, напр(имер), что прямо на опытную русскую дипломатию повлиять ей не удастся.

Она знала, с другой стороны, до чего заблуждаются многие греки, воображая, что болгары ни придумать ничего не умеют, ни сделать ничего не решатся без указания русских. Она предвидела, что греки все это припишут русским.

<sup>30</sup> Болгарская крайняя партия предвидела, какое бешенство против русских возбудит в греках поступок болгар 6-го января и какие препирательства начнутся после этого между греками и русскими.

Агитаторы болгарские предвидели, в какое затруднение поставят они и Синод, и дипломатию русскую. Они думали, сверх того, что для Турции выгодны и приятны будут эти распри.

К тому же у греков кто в России? Купцы или монахи за сбором денег, люди не популярные. У болгар в России студенты, профессора и т. п. люди, которые стоят ближе греков к печати русской, к влиятельным лицам общества мыслящего, к прогрессу, к моде, к дамам Москвы!

Студенты плачут о бедствиях угнетенного, робкого, будто бы простодушнейшего в свете народа. Жинзифовы, Дриновы и подобные им пишут не особенно умно, но кстати и осторожно...

Греки объявляют схизму.

10

Греки в наступлении бранят русских, и русские отвечают им тем же...

Турки, улыбаясь, склоняются то в ту, то в другую сторону... Это и нужно было болгарам.

«На русскую дипломатию, на русский Синод мы прямо действовать не в силах (сказали себе болгары): мы действуем лучше на общество, менее опытное, менее понимающее, менее связанное осторожностью, а общество русское повлияет, может быть, потом косвенно и на Двор, и на Синод, и на здешнюю дипломатию... Когда нет сил поднять тяжесть руками, употребим какой-нибудь более сложный, посредствующий снаряд!»

20

Так думали, так еще думают, конечно, болгарские демагоги. И будущее лишь покажет, вполне ли они все предвидели, или успех их был только временный.

Болгарские демагоги не ошиблись, однако, во многом. Многие они предвидели верно и знали обстоятельства хорошо. Напр(имер), они знали очень хорошо вот что: во-1-х, что национальная идея ныне больше в моде, чем строгость религиозных чувств; что в России, напр(имер),<sup>30</sup> всякий глупец легче напишет и легче поймет газетную статью, которая будет начинаться так: «Долголетние страдания наших братьев, славян, под игом фанариотского духовенства», чем статью, которая будет развивать такую мысль: «Желание болгар везде, где только есть несколько болгарских семейств, зависеть не от местного ближайшего греческого архиерея, а непременно от болгарского — пото-

му только, что он болгарский, есть, само по себе, желание схизмы, раскола, совершенное подчинение церковных правил придиричивому национальному фанатизму. Это желание — поставить себя между греками в положение столь же особое, как положение армян, католиков, протестантов, русских старообрядцев и т. п. В Солуне, Битолии, Адрианополе и других городах, по древним христианским правилам, не могут быть два православных епископа вместе, а могут быть армянский и греческий (т. е. православный),<sup>10</sup> католический, и т. д.».

Эти люди (Чомаков и К°) очень хорошо знают все эти правила; они мудры как змии; но им дела нет до неизбежности Православия. Если они дорожат им несколько, так разве только потому, что оно нашлось под рукою, в народе, а не другая религия. Менять же явно религию неудобно, потому что в среде простого народа может произойти разрыв, а народа всего не очень много, около 5 миллионов, положим. И больше ничего!

Итак, болгарский народ, увлекаемый и отчасти обману-<sup>20</sup>тый своими вождями, начинает свою новую историю борьбой не только противу греков, но, по случайному совпадению, и противу Церкви и ее канонов.

У грека все национальные воспоминания соединены с Православием. Византизм, как продукт исторический, принадлежит греку, и он, сознавая, что в первоначальном созидании Церкви принимали участие люди разных племен: итальянцы, испанцы, славяне, уроженцы Сирии, Египта, Африки, помнит, однако, что преимущественно на эллинском языке, с помощью эллинской цивилизации строилось<sup>30</sup> сложное и великое здание догмата, обряда и канона христианских и что без сложности этой, удовлетворяющей разнообразным требованиям, невозможно было бы и объединить в одной религии столь разнородные элементы: племенные, сословные, умственные, и на столь огромном пространстве! Последнее возрождение Грецизма и революция 20-х годов совершились также под знаменем Православия; ребенок греческий слышит об этом в песнях с детства.

«Диа́ ту́ Христу́ тин пи́стин тин аги́ан!» — поет грек. А Христианство, «Святая Христова Вера» (Пи́сти аги́а ту́ Христу́) для грека не значит голая и сухая утилитарная нравственность, польза ближнего или так называемого человечества. Христианство для грека значит Православие, догматы, канон и обряд, взятые во всецелости.

Неверующий грек и тот за все это держится, как за народное знамя.

У болгарина, напротив того, половина воспоминаний, по крайней мере, связана с борьбой против Византизма, противу этих православных греков. У болгарского патриота в комнате, рядом с иконой православных Кирилла и Мефодия, обучивших болгар славянской национальной грамоте (это главное для них, а не крещение), вы видите обыкновенно язычника Царя Крума, которому подносят на мече голову православного греческого Царя.

Ликург, епископ Сирский, посещая, в 73-м году, Афон, заехал и в богатый болгарский монастырь, Зограф, которого монахи с Патриархией связь прерывать не желали, а вели себя очень осторожно между своими болгарскими Комитетами и цареградской Иерархией. Однако и у них, в приемной, Ликург увидал портреты отверженных Церковью болгарских епископов. На его вопрос: «Почему они держат их в почете?» — «Они имеют для нас национальное значение», ответили ему сухо болгарские монахи.

Такова историческая противоположность греков и болгар с точки зрения Православия. У греков вся история их величия, их падения, их страданий, их возрождения связана с воспоминанием о Православии, о Византизме. У болгар, напротив того, только часть; а другая часть, и самая новейшая, горячая, модная часть воспоминаний, в следующем поколении будет связана со скептическим воспитанием, с племенным возрождением, купленным ожесточенной борьбой противу Церкви, противу того византийского авторитета, который, если присмотреться ближе, составляет почти единственную, хоть сколько-нибудь солидную, охранитель-

ную силу во всей Восточной Европе и в значительной части Азии.

Если сравнить друг с другом все эти удачно возрождающиеся либо неудачно восстающие в XIX веке мелкие или второстепенные народы, то окажется, что ни у одного из них, ни у чехов, ни у сербов, ни у поляков, ни у греков, ни у мадьяр, нет такого отрицательного, такого прогрессивного знамени, как у этих отсталых, будто бы невинных и скромных болгар.

<sup>10</sup> Начало истории кладет всегда неизгладимую печать на всю дальнейшую роль народа; и черта, по-видимому, не важная, не резкая вначале, разрастаясь мало-помалу, принимает, с течением времени, все более и более грозный вид.

Для нас же, русских, эта черта, эта органическая особенность новоболгарской истории тем более важна, что болгары случайным и отчасти для большинства их самих неожиданным поворотом дела вступили в борьбу не с авторитетом каким бы то ни было, а именно с тем авторитетом,

<sup>20</sup> Церковью, правила и дух которой создали всю нашу великорусскую силу, все наше величие, весь наш народно-государственный гений.

Дело не в том, сознательно ли все болгары вступили на этот отрицательный, разрушительный путь, или нет. Горсть людей, руководящих сознательно, сказала себе и говорит и теперь во всеуслышание: «Пока не объединим весь народ от Дуная до последнего македонского села, нет уступок никому, нет примирения. Нам никто не нужен, кроме Султана. И мы будем сектантами скорее, чем уступим хотя что <sup>30</sup> бы то ни было!» Но большинство, конечно, обмануто, увлечено и не может даже представить себе всех последствий подобного насильственного разрыва с Восточными Церквями.

Положим так, большинство не виновато; но дело идет здесь не о нравственной свободной вменяемости, а о полуневольном, трудноисправимом политическом направлении народной жизни.

Народ послушался своих вождей, поэтому и он ответственный; иначе нельзя было бы и войн вести, и восстания усмирять. Вот в чем дело!

У болгар поэтому мы не видим до сих пор ничего славянского, в смысле зиждительном, творческом; мы видим только отрицание, и чем дальше, тем сильнее.

Повторим еще раз, что отрицание болгарское относится именно к тому авторитету, который правит уже несколько веков самой великой силой Славянства — Русским Государством.

Что бы случилось со всеми этими учеными и либеральными славянами, со всеми этими ораторами и профессорами, Ригерами, Палацкими, сербскими оmlадинами, болгарскими докторами, если бы на заднем фоне картины не виднелись бы в загадочной дали великорусские снега, казацкие пики и топор православного мужика бородатого, которым спокойно и неторопливо правит полувизантийский Царь-Государь наш?! Хороши бы они были без этой пики и этого топора, либералы эти и мудрецы мещанского прогресса!

Для существования славян необходима мощь России.

Для силы России необходим Византизм.

Тот, кто потрясает авторитет Византизма, подкапывается, сам, быть может, и не понимая того, под основы русского Государства.

Тот, кто воюет против Византизма, воюет, сам не зная того, косвенно и противу всего Славянства; ибо что такое племенное Славянство без отвлеченного Славизма?..

Неорганическая масса, легко расторгаемая вдребезги, легко сливающаяся с республиканской Всеевропой!

А Славизм отвлеченный, так или иначе, но с Византизмом должен сопрячься. Другого крепкого дисциплинирующего начала у славян разбросанных мы не видим. Нравится ли нам это или нет, худо ли это Византийское начало или хорошо оно, но оно единственный надежный якорь нашего, не только русского, но и всеславянского, охранения.

## ЧТО ТАКОЕ СЛАВЯНСТВО? (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Я сказал о чехах и о болгарах, остаются еще словаки, сербы, поляки, русские.

Словаков этнографически причисляют обыкновенно к чешской нации, но исторически они связаны с мадьярами, с судьбами Угорского Царства, и культурно, конечно, так проникнуты мадьярскими бытовыми началами, что их, в отношении быта и привычек, можно назвать мадьярами, переведенными на славянский язык,\* точно так же, как чехи, по всей организации своей, переведены с немецкого, а болгары, по воспитанию своему до последнего времени, переведены с греческого языка на славянское наречие.

Теперь о сербах.

Ни один из славянских народов не раздроблен так и политически и культурно, как сербский народ.

Болгары все райя Султана, все считают себя и теперь православными; все до последнего времени были воспитаны греками и по-гречески. Поляки все католики, все дети собственной падшей польской цивилизации, польской государственности. Хотя они политически и разделены между тремя государствами, но все те из них, которые не онемечились и не обрусели (т. е. большинство), схожи между собою по историческому воспитанию, и вельможа, и шляхта, и крестьяне; шляхта и крестьяне могут мало походить друг на друга; но я говорю о том, что шляхта в России похожа на шляхту в Австрии, что крестьяне польские, по все-

30 \* Я разумею здесь не политические симпатии или антипатии словаков, а только их культурно-бытовые привычки. Многие смешивают это, и напрасно. Малороссы, например, доказали, что они предпочитают соединение с Великороссией Польскому союзу, но нельзя не согласиться, что в быту их, в культурных привычках было всегда довольно много польского, с московским вовсе не схожего. Таких примеров много.

му пространству прежней собственной Польши, тоже более или менее схожи между собою.

Чехи с моравами тоже довольно однородного исторического воспитания.

Что касается до сербов, то они разделены, в государственном отношении, во-1-х, на 4 части: 1) независимое Княжество; 2) Черногория; 3) турецкие владения (Босния, Герцеговина и Старая Сербия) и 4) австрийские владения (словинцы, хорваты, далматы и т. д.).

Они разделены еще и на три половины по религии: на <sup>10</sup> Православную, Католическую и Мусульманскую.

У православных сербов две царствующие династии, в Белграде и Цетинье.

Племя их довольно равномерно разделено пополам еще и географически Дунаем и большими горами; на северо-западе — австрийские сербы, на юго-востоке — турецкие.

Австрийские сербы, сверх того, разделены между собою историей, хорваты соединены политически с Угрией, и теперь более еще, чем прежде, по причине дуализма.

Словинцы и далматы находятся под непосредственным влиянием залитавских немцев. Это в административном отношении. По воспитанию вообще хорваты естественно имеют в себе много мадьярского, хотя их роль и характер менее аристократические, чем у настоящих мадьяр. Далматы долго были под культурным влиянием Италии да и теперь еще под ним находятся.

Граничары имеют в привычках своих и в организации много казацкого. У них до последнего времени хранилась своеобразная община (сербская задруга).

При такой, несоразмерной с численностью народа, <sup>30</sup> разнородности исторического воспитания сербы не только не могли выработать у себя каких-нибудь новых характерных и особенных культурных признаков Славизма (юридических, религиозных, художественных и т. д.), но стали утрачивать в последнее время и те славянские особенности, которые у них существовали издревле. Они до сих пор не только не явились творцами чего-либо новославянского, но

были и слабыми охранителями древнесербского, своего. Они не довольствуются в Княжестве старой скупштиной в одну палату, а стремятся утвердить у себя две законодательные камеры, по демократическим западным образцам. Они бросают вовсе свои живописные одежды и пляски: военные одеваются почти по-австрийски, штатские и женщины по общеевропейским образцам. Убичини уже давно писал, что сельская коммунистическая задруга у турецких славян распадается постепенно, под влиянием того демократического индивидуализма, того безграничного освобождения лица от всех стесняющих уз, к которому стремится, с половины прошлого века, образованный по-европейски мир.

В Австрии славянский охранительный коммунизм граничар поддерживался до последнего времени преимущественно интересами немецкого монархического Правительства.

По мере бóльшего увлечения самой официальной Австрии на путь либерального всерасторжения и всесмещения, стала больше и больше расшатываться и эта знаменитая славянская коммуна. Немцы, из собственных выгод, были долго лучшими хранителями древнеславянских особенностей.

Я здесь, точно так же, как по делу чехов, не убеждаю никого находить сразу, что это худо. Я только заявляю данные, чтобы подтвердить ими ту общую мысль мою, что есть Славянство, но что Славизма, как культурного здания, или нет уже, или еще нет: или Славизм погиб навсегда, растаял, вследствие первобытной простоты и слабости своей, под совокупными действиями Католичества, Византизма, Германизма, Ислама, мадьяров, Италии и т. п., или, напротив того, Славизм не сказал еще своего слова и таится, как огонь под пеплом, скрыт незримо в аморфической массе племенного Славянства, как зародыш архитектуры живого организма в сплошном желтке, и не доступен еще простому глазу.

Быть может, все быть может!

Но кто угадает теперь особую форму этого организованного, проникнутого общими идеями, своими мировыми идеями, Славянства? До сих пор мы этих общих и своих всемирно-оригинальных идей, которыми славяне бы отличались резко от других наций и культурных миров, не видим. Мы видим вообще что-то отрицательное, очень сходное с романо-германским, но как-то жиже, слабее все, беднее.

Это горько и обидно! Но разве это неправда?

Мы видим только общие стремления, отчасти общие племенные интересы и действия, но не видим общих своеобразных идей, стоящих выше племенного чувства, порожденных им, но после вознесшихся над племенем, для вящего всенародного, ясного руководства и себе и чужим (человечеству).

Славянство есть, и оно численностью очень сильно; Славизма нет, или он еще очень слаб и неясен.

Мне возразят, что племенное чувство Славянства, сближая славян письменно и политически между собою, может способствовать выработке этого культурного Славизма, этой органической системы своеобразных идей, стоящих вне частных, местных и личных, интересов и над ними, но глубоко, тысячами корней связанных с этими интересами.

Я отвечаю, что это возможно и даже крайне желательно; ибо вовсе не лестно быть тем, чем до сих пор были все славяне, не исключая даже русских и поляков: чем-то средне-пропорциональным, отрицательным, во всем уступающим духовно другим, во всем второстепенным.

Бывают примеры, что подобная отрицательность становится залогом чего-либо крайне положительного в сумме именно потому, что оно было не совсем то, не совсем так характерно и резко, как у других. Дай Бог!

Но вопрос здесь, во-1-х, именно в том, что такое будет этот, над Славянством взвинченный, Славизм? Какие особые юридические, государственные идеи послужат к политическому сближению и приблизительному объединению славян? А, во-2-х, в том, выгодны ли будут эти общеславянские идеи для Русского Государства, усилят ли они его

мощь, или будут способствовать его падению? Укрепят ли они его вековое здание, купленное нашими трудами, кровью и слезами? Или растворят они его почти бесследно в этой бледной и несолидной пестроте современного неорганического Славянства?

Вот два вопроса! И в сущности эти два вопроса лишь две стороны одного и того же.

Если славяне призваны к чему-либо творческому, положительному, как особый ли мир истории или только как <sup>10</sup> своеобразная часть европейской цивилизации, и в том и в другом случае им нужна сила.

Сила государственная выпала в удел великоруссам. Эту силу великоруссы должны хранить, как священный залог истории, не только для себя, но и для всеславянской независимости.

Быть может, со временем для пособия самой Европе, против пожирающей ее медленной анархии.

И таким образом для всего человечества.

## Глава V

### <sup>20</sup> ПРОДОЛЖЕНИЕ О СЛАВЯНАХ

О Польше и России можно и не говорить здесь подробно. О противоположностях их истории, об относительном своеобразии их государственных организаций, об их долгом, естественном и неотвратимом антагонизме у нас так много судили и писали в последнее время, что все русские люди, и не занимавшиеся особенно политикой, знакомы теперь с этими вопросами недурно в общих, по крайней мере, чертах.

Из всех славян только поляки и русские жили долго независимой государственной жизнью, и потому у них и <sup>30</sup> накопилось, так сказать, и удержалось больше своего собственного, чем у всех других славян (повторяю еще раз, что я не настаиваю здесь, худо ли или хорошо это собственное; я только заявляю, напоминаю реальные данные).

Уже одно существование своего национального дворянства и у поляков и у русских отличает их резко от всех других славян. Русское служилое сословие и польская шляхта очень несходны своей историей; они лишены теперь почти всех своих существенных привилегий, но впечатления исторического воспитания в детях этих двух сословий проживут еще долго. Аристократии истинно феодальной, наподобие западно-европейской, не было ни у поляков, ни у русских; аристократии, в смысле какого бы то ни было резко привилегированного класса, у них теперь вовсе нет, ни у русских,<sup>10</sup> ни у поляков; есть нечто общее, несмотря на все их противоположности и несогласия: это *сословное воспитание нации, которого следы слабее у австрийских славян и которого вовсе нет в нравах у славян турецких.* Это будет яснее из сравнения.

Польское дворянское сословие, вельможи и шляхта, остаются до сих пор представителями своей нации: они свершают все национальные движения Полонизма. В России дворянство было гораздо слабее: оно зависело от Монархии настолько, насколько в Польше Монархия зависела от дворянства. Народ в России чтил дворянство только как сословие Царских слуг, а не само по себе. Мы привыкли зря шутить над бюрократией, а народ наш смотрит на нее серьезно, не комически, а трагически или героически. За границей мундир чиновника русского глубоко радует русского простолюдина. Это я на себе и на других испытал. Но руководиться во всем дворянством своим наш народ не привык; напри(м)ер), в религиозных вопросах он уже потому не послушает нас никогда, что мы господа, люди другого класса, другого воспитания. Бедного дворянина Базарова<sup>30</sup> русские крестьяне не признавали своим, а ученого Инсарова простые болгары слушались; ибо он был кость от костей их, такой же болгарский мужик, как и они, но более мудрый. То же и у сербов. Чешская аристократия не связала своих имен с народным делом нашего времени. Она делает оппозицию Вене тогда, когда замечает в ней демократические наклонности. Знамя чешской знати более австро-фео-

дальное, чем собственно чешское, во что бы то ни стало. Буржуазные вожди Неочехизма выходят из народа.

Вообще юго-славяне очень легко переходят, в быту и общих понятиях своих, из простоты эпической в самую крайнюю простоту современной либеральной буржуазности. Все они, между прочим, вырастают в слепом поклонении демократической либеральной конституции. Австрийские славяне привыкли действовать без помощи аристократии или какого бы то ни было дворянства, ибо в одном месте<sup>10</sup> господами у них были немцы, в другом мадьяры, в третьем онемеченные или омадьяренные славяне, в четвертом враждебные поляки (как, напр(имер), у малороссов в Галиции).

Они, особенно в делах чисто славянских, привыкли руководиться национальной буржуазией, профессорами, учителями, купцами, докторами и отчасти священниками, которые, впрочем, во всех подобных вопросах мало чем отличаются от людей светских.

У турецких славян отсутствие сословного воспитания еще заметнее; ибо привилегированное сословие представляли и представляют еще до сих пор в Турецкой Империи мусульмане, люди вовсе другой Веры, которые не слились с завоеванными христианами.<sup>20</sup>

Уравнение, конечно, в Турции сравнительно с прежним огромное: у мусульман противу прежнего осталось очень мало привилегий, и те скоро падут; но реформы нынешние состоят не в том, чтобы часть христиан возвысить до положения турок и дать им привилегии относительно других соотчичей их, но в том, чтобы турок приравнять к христианам, в том, чтобы прежнюю, все-таки более аристократическую<sup>30</sup> Монархию, в которой все турки, равные между собою, составляли один класс высший, а все христиане составили класс зависимый, низший, чтобы эту аристократическую и весьма децентрализованную прежнюю Монархию превратить в эгалитарную и централизованную, в том, чтобы какую-то Персию Кира и Ксеркса, полную разнообразных Сатрапий, обратить в гладкую Францию Наполеонидов. Таков идеал современной Турции, к которому она

иногда и против воли стремится, вследствие давления внешних обстоятельств. Итак, у славян турецких нет ни в прошедшем, ни в настоящем (ни в будущем, вероятно) никаких ни воспоминаний, ни следов, ни залогов, ни аристократического, ни общего монархического воспитания. Гораздо менее еще чем у австрийских. У болгар делами правит: доктор, купец, адвокат, обучавшийся в Париже, учителя. Епископы же болгарские совершенно в руках этой буржуазии. Буржуазия эта, вышедшая отчасти из городского, отчасти из сельского народа Болгарии Дунайской, Фракии и Македонии, пользуется, как видно, полным доверием народа. Эти люди: доктора, купцы и т. п., конечно, лично сами от деспотизма греческих Епископов не страдали; они действуют из побуждений патриотических, национальных, но их патриотические идеи, их национальный фанатизм, их желание играть роль в Империи, в Европе, быть может, и в Истории, совпали как нельзя лучше с тем неудовольствием, которое справедливо мог иметь простой болгарский народ противу прежних греческих иерархов, сурово, по духу времени, обращавшихся с народом.\*

---

\* Хотя и тут надобно заметить нечто, если не в полное оправдание греческого духовенства, то по крайней мере для более ясного понимания Болгарского вопроса. Старые Восточные епископы могли иметь свои пороки, будучи не только духовными пастырями, но и светскими начальниками над всеми Православными людьми Турции; они были поставлены в положение трудное, часто опасное; за почет и вещественное вознаграждение, которым они пользовались, они платили тяжкой ответственностью. Иные заплатили и жизнью, и нередко без вины. Так, напр(имер), знаменитый Патриарх Григорий был повешен турками в 20 годах, несмотря на все увещания не бунтовать, с которыми он обращался к грекам. Понятно, что такое положение, развивая в епископах известного рода качества: силу воли, выдержку, административный и дипломатический ум, развивало и соответственные пороки: властолюбие, корысть (иногда для самосохранения, в случае беды), жестокость. Но жестокость обращения направлена была у них столько же и на греков, сколько на болгар. Национальной идеи при этой прежней жестокости и в помине не было. Невежество, в котором они

Лет 20—15 подряд болгарские доктора, учителя, купцы твердили ежедневно народу своему одно и то же против греков; молодое поколение все выросло в этом искусственно раздутом чувстве; народ привык, проснулся, поверил, что ему будет лучше без греков; свое духовенство, избранное буржуазией и руководимое ею, оказалось, конечно, во многом для народа лучше греческого. Лучшим оно оказалось не потому, чтобы по нравственному воспитанию оно было выше или по каким-нибудь славянским душевным качествам особенно мягким и хорошим. Вовсе нет. Воспитание нравственное у болгар и у греков, в глазах свежего, искреннего с самим собою человека, почти одно и то же (и это почти вовсе не в пользу болгар; у греков несколько более романтизма, теплоты); а психически не надо воображать себе упорного, тяжелого, хитрого болгарина похожим на добродушного, легкомысленного великорусса: они так же мало похожи друг на друга в этом отношении, как южный итальянец и северный немец, как поэт и механик, как Байрон и Адам Смит.

<sup>20</sup> Болгарское духовенство вело и ведет себя противу народа лучше, чем вело себя греческое, лишь потому, что оно своевольно создано самим этим народом, что у него вне народа нет никакой точки опоры.

У русского духовенства есть вне народа могучее Правительство. Греческое духовенство Турции более нашего, быть может, свободное со стороны административного влияния, менее нашего зато свободно от увлечений и страстей демагогии, от тех поспешных и неисправимых ошибок, к которым так склонны, особенно в наше время, толпы, считающие себя просвещенными и умными. Это так. Но

---

оставляли болгар, никак нельзя считать плодом национального расчета. Напротив, это была ошибка, или, скорее, бессилие, недостаток средств. Если бы 50 лет тому назад большинство болгар было обучено греческой грамоте (о болгарской тогда никто и не думал), то Болгарского вопроса не было бы вовсе. Большинство болгар было бы погречено по чувствам и убеждениям.

все-таки греческое духовенство привыкло издавна к власти, имеет древние, строгие предания Вселенской Церкви, за которые крепко держится, и, наконец, в иных случаях может найти официальную поддержку то в турецком, то в эллинском Правительствах, как нечто давно признанное и крепко организованное.

Новое же болгарское духовенство, не имея около себя могучего единоверного Правительства и начиная свою жизнь прямо борьбой против преданий, находится поэтому вполне в руках болгарского народа. И вследствие этой полной зависимости от толпы, оно ведет себя не то чтобы лучше (это смотря по точке зрения), а угоднее народу, несколько приятнее для мужика и выгоднее для честолюбия архонта болгарского, чем вела себя вне болгарской нации стоявшая греческая Иерархия.

Что касается до лучшего и до худшего, то примеры на глазах. Болгарская буржуазия могла заставить своих епископов быть помягче, чем были нередко греческие, с селянами. Это, быть может, лучше; но болгарская же буржуазия принудила своих епископов отслужить литургию 6 января и отложиться от Патриарха, вопреки основным, Апостольским уставам Церкви. Это худшее.

Я хочу всем этим сказать, что хотя болгарская нация не сложилась еще ни в отдельное государство, ни даже в полугосударственную область, с определенной какой-нибудь автономией,\* но политические и социальные контуры этой новой нации видны уже и теперь. Физиономия ее — крайне демократическая; привычки, идеалы крайне эмансипационные.\*\*

Решись завтра Султан на этот дуализм, которого бы желали иные пылкие болгары, объяви он себя Султаном Турецким и «Царем Болгарским», вся область от южных границ до Дуная устроилась бы скоро и легко с каким-ни-

---

\* Писано в 1873—74 годах.

\*\* Современные события оправдали меня.

будь Советом во главе крайне демократического характера и происхождения.

Подобно Соединенным Штатам и Швейцарии, никто и ничто не будет стоять вне народа, кроме идеального и спасительного от соседей Султанского верховенства.

«Это избавило бы нас от всякой иноземной династии, и так как Республика есть наилучшая форма правления, к которой стремится вся образованная Европа, то даже, не очень долгое время, легкая подручная зависимость от Султана для нас была бы лучше всего: можно будет народ приучить до поры до времени даже сражаться охотно за Султана. Мы же с турками несомненно одной почти крови. Это не велика беда! а на религию кто через 10—20 лет будет смотреть? Религия — удел невежества; обучим народ, и он все поймет. Под охраной безвредного Султанского знамени нация созреет прямо для Республики и из самой отсталой станет самой передовой нацией Востока!»

Вот что говорят себе не все, конечно, но самые смелые и энергичные болгары.

20 Быть может, и воспитанники наших русских училищ не прочь от этого.

Я, впрочем, говорю, быть может... Вообще надо глубоко различать то, что говорят болгары в России и при русских, и то, что они думают и говорят в Турции.

Прибавим же вот что о Турции: хотя за последнее время обстоятельства внешней и внутренней политики были довольно благоприятны ей, но она все-таки очень расстроена и слаба.

30 Предположим же, что, паче чаяния, турецкое владычество в Европе пало скорее, чем мы ждем и даже желаем того, и допустим, что соседи болгарам устроить Республику не позволили; в таком случае они пожелают иметь Монархию с самым свободным устройством, с самой ничтожной номинальной властью. Такова по крайней мере теперь их политическая физиономия.

Сербы, нечего и говорить, все демократы; и у них эпическая патриархальность переходит как нельзя легче в са-

мую простую буржуазную утилитарность. У них есть военные и чиновники, сверх докторов и купцов и т. д. Но чиновники и военные нигде не составляют родового сословия, которое воспитывало бы своих членов в определенных впечатлениях; они набираются где попало, и между ними могут быть люди всякого образа мыслей. Вчерашний чиновник или военный завтра свободный гражданин и член оппозиции или даже явный предводитель бунта. Как воспитана вся интеллигенция сербская, так воспитаны и служащие 10  
Правительству люди. Залогов для неограниченной Монархии мы в Сербии не видим. Сербь не сумели вытерпеть даже и того самовластия, с которым патриархально хотел управлять ими их освободитель и национальный герой, старый Милош. Еще при высшей степени патриархальности народной жизни они уже захотели конституции и взбунтовались. История показывает даже, что революции, которые низвергли Милоша, возвели на престол Александра Кара-Георгиевича, а потом низвергли этого последнего опять в пользу Обреновичей, были революциями чиновничьими. 20  
Это была борьба бюрократических партий за преобладание и власть.

Итак, повторяю, у сербов нет, по-видимому, залогов для крепкой Монархии. Что касается до какой бы то ни было аристократии родовой, до какого бы то ни было дворянства, то в Сербии нет и следов ничего подобного. «Всякий серб — дворянин!»\* — говорит с гордостью серб. Это шляхетское чувство собственного достоинства, распространенное на весь народ.

В турецких провинциях сербского племени было до последнего времени местное мусульманское дворянство славянской крови; но оно численностью ничтожно, и обстоятельства ведут Турцию все больше и больше ко всеобщему уравниванию прав, и сами эти беи босанские, начиная несколько более противу прежнего сознавать свое славянское происхождение, скоро впадут в совершенное бессилие от 30

---

\* Из Дентона. — Дентон радуется этому, 1874.

внутреннего разрыва, от противоположных влияний народности и Мусульманизма на их совесть и на их интересы.

Вообще этот дворянский элемент Мусульманства славянского не важен.

Черногория, быть может, очень важна в стратегическом отношении для славян в случае борьбы с Турцией или с Австрией, но политически она так мала и государственно так проста и патриархальна, что о ней можно бы здесь и вовсе не говорить.

<sup>10</sup> Дворянского элемента здесь тоже нет; воспитания аристократического и тем более; власть Князя очень ограничена. Черногорцы привыкли к самоуправству, которому так же нетрудно перейти в демократическое самоуправление, как воинственному горцу стать в наше время горцом утилитарным и буржуазным, из юнака или паликара сделаться, и не подозревая ничего, самоуверенным демагогом-бюргером.

Орлиное гнездо Черногории очень легко может стать каким-нибудь славянским Граубинденом или Цюрихом.

<sup>20</sup> Итак мы видим: 1) что ни у чехов, ни у хорватов и далматов, ни у русских Галиции, ни у сербов православных, ни у болгар, ни у черногорцев нет теперь никакого прочного и национального привилегированного класса. 2) Что у всех у них почти нет вовсе ни аристократических преданий, ни сословного воспитания. 3) Что австрийские славяне во всех делах собственно славянских руководятся национальной буржуазией, купцами, учителями, докторами, писателями и т. д.; ибо у чехов старые дворянские роды не соединили, подобно польским вельможам, своих имен и своих интересов с делом национальной оппозиции; оппозиция чешской <sup>30</sup> знати, как я уже сказал выше, имеет феодальную цель. Словаки смешаны с мадьярами, трудно отделимы от них даже умственно; если же и отделимы умственно от обще-угорской жизни, то разве в виде элемента более демократического, чем элемент мадьярский; у русских Галиции аристократия — враждебные им поляки и т. д. 4) Что у турецких славян следы аристократического начала и сословного воспитания еще гораздо слабее, чем у австрий-

ских, и что вообще в Турции все христиане, и славяне и греки, очень легко переходят из патриархального быта в буржуазно-либеральный, из героев Гомера и Купера в героев Теккерея, Поль-де-Кока и Гоголя. 5) Ни у чехов, ни у хорватов, ни у сербов, ни у болгар нет в характере той долгой государственной выправки, которую дает прочное существование национальной популярной Монархии. Они и без Парламента все привыкли к парламентарной дипломатии, к игре разных демонстраций и т. п. У всех у них уже крепко всосались в кровь привычки и предрассудки так называемого равенства и так называемой свободы. 10

Одним словом, общий вывод тот, что, несмотря на всю разнородность их прежней истории, несмотря на всю запутанность и противоположность их интересов, несмотря на раздробленность свою и на довольно большое, хотя и бледное, разнообразие тех уставов и обычаев, под которыми они живут еще и теперь в Австрии и Турции (включая сюда, по их малости, и оба Княжества, Сербию и Черногорию), все юго-западные славяне без исключения демократы и конституционалисты. 20

Черта, общая всем, при всей их кажущейся бледной разнородности, это — расположение к равенству и свободе, т. е. к идеалам или американскому, или французскому, но никак не византийскому и не великобританскому.

Разделять их может очень многое: 1) религия (Католичество, Православие, Мусульманство в Боснии, быть может раскол у болгар, если он устоит). 2) Географическое положение и через это торговые и другие экономические интересы; так, например, в настоящее время австрийским подданным выгодна свобода торговли в Турции и свободный ввоз австрийских мануфактурных контрафакций. А турецкие подданные, и славяне и греки, постоянно на это жалуются и желали бы системы покровительственной для укрепления и развития местной промышленности. 3) Некоторые исторические и военные предания. Так, например, у сербов вся ненависть в народе сосредоточена на турках и немцах; противу греков они почти ничего не имеют, а с 30

болгарами и говорить даже разумно о греках нельзя. Православные сербы Турции привыкли смотреть на немцев (Австрии), как на самых опасных врагов, а католические сербы Австрии (хорваты, далматы и др<угие>) привыкли сражаться под знаменами Австрийского Государства.

4) Интересы чисто племенного преобладания. Например, болгары, пользуясь тем, что они турецкие подданные, пытаются уже и теперь, посредством своего духовенства и своих учителей, оболгарить Старую Сербию (провинцию турецкую, лежащую к югу от Княжества). Сербы Княжества хотят отстаивать свою нацию в этой стране против болгар, но им не так удобно действовать, как болгарам, ибо последним помогает, как своим людям, турецкая власть. Сербам, сверх того, не может слишком нравиться быстрое политическое созревание болгарской нации. В статье моей «Панславизм и греки» я старался доказать, что сохранение Турции может казаться одинаково выгодным как для крайних греков, так и для крайних болгар, ибо болгаре хотят еще укрепиться под духовно-безвредной для них властью турок, а крайние греки хотели бы соединиться с турками на Босфоре противу Панславизма.

Сербы в другом положении. Церковной распри у них с греками нет; а болгар им бы удобнее было заставить врасплох, без войска, без столицы, без опытных министров, без династии, без сильного народного совета и т. д. Сербам турки и Турция менее нужны, чем болгарам и грекам. Понятно, что крайний грек и крайний болгарин, оба для пользы, для охраны своей национальности, могут считать полезным продление турецкого владычества, но крайний, пылкий серб воздерживается от нападения на Турцию лишь из осторожности, из соображений скорее военных, чем собственно политических.\*

Не охрана национальности, а сознание сравнительно военного бессилия своего — вот что удерживает Сербию по-

---

\* Не был ли я и в этом пророком? Через год после этой книги сербы восстали. Они начали движение.

стоянно от несвоевременной войны с Турцией. Сербии очень было бы желательно стать славянским Пиемонтом, как для австрийских, так и для турецких славян. И правда, что положение Сербии очень похоже во многих отношениях на положение прежнего Пиемонта. Малые размеры ничего не значат сами по себе: и Рим был мал, и Бранденбург был мал, и Московское Княжество было невелико. Нужна лишь благоприятная перестановка обстоятельств, счастливое сочетание политических сил. Вот одним-то из таких счастливых сочетаний сербы основательно могут считать (с точки зрения Сербизма своего) военное бессилие и государственную неприготовленность соседней, столь родственной, столь удобной для поглощения и так великолепно у Босфора и при устьях Дуная стоящей, болгарской нации.

Болгары это чувствуют и сербам не доверяют; точно так же, как мало доверяют их крайние и влиятельные деятели и нам, русским, несмотря на все, доказанное делами, бескорыстие нашей политики на Востоке.\*

Таких противоположных интересов мы найдем много и у австрийских славян. 5) У православных сербов в Турции есть две национальные династии — черногорская и сербская. И хотя и у сербов, и у черногорцев не заметно той сознательной привычки к безусловной покорности родным

---

\* Я боюсь, чтобы какой-нибудь тонкий мудрец не принял моих слов о бескорыстии России за фразу, за «придворную штуку», и не потерял бы доверия к моей искренности. Разумеется, бескорыстной политики нет и не должно быть. Государство не имеет права, как лицо, на самопожертвование. Но дело в том, что на востоке Европы корысть наша должна быть бескорыстна в том смысле, что в настоящее время мы должны бояться присоединений и завоеваний в Европе не столько из человечности, сколько для собственной внутренней силы нашей. И чем ближе к нам нации по крови и языку, тем более мы должны держать их в мудром отдалении, не разрывая связи с ними. Идеалом надо ставить не слияние, а тяготение на рассчитанных расстояниях. Это я надеюсь объяснить дальше гораздо подробнее. Слияние и смешение с азиатами поэтому или с иноверными и иноплеменными гораздо выгоднее уже по одному тому, что они еще не пропитались Европеизмом.

династиям, какая видна у русских, у турок и была видна до последнего времени у пруссаков, но привязанность, уважение к этим династиям все-таки есть. Мы видим, что в настоящее время и черногорцы, и сербы свои династии чтут. По этому самому очень трудно решить, который из двух домов, Негошей ли дом, или дом Обреновичей решились бы принести в жертву православные и независимые сербы задунайские? Оказывается, что даже и монархические, лояльные чувства, объединяющие народ в других местах, у юго-славян способствуют некоторому сепаратизму.

Кажется, я перечел все те главные черты или исторические свойства, которые могут препятствовать объединению юго-западных единоплеменников наших.

Мы видим, что все у них разное, иногда противоположное, даже враждебное, все может служить у них разъединению, все: религия, племенное честолюбие, предания древней славы, память вчерашнего рабства, интересы экономические, даже монархические чувства направлены у одних на Князей черногорских, у других на потомство Милоша, у третьих на мечты о короне Вячеслава и Юрия Подебрадского, у иных, наконец, это чувство состоит просто в привычной, хотя и много остывшей уже, преданности Габсбургскому Дому, или оно направлено на временное охранение власти Султана.

Что же есть у них у всех общего исторического, кроме племени и сходных языков? Общее им всем в наше время, это — крайне демократическое устройство общества и очень значительная привычка к конституционной дипломатии, к искусственным агитациям, к заказным демонстрациям и ко всему тому, что происходит ныне из смеси старо-британского, личного и корпоративного, свободолюбия с плоской равноправностью, которую выдумали в 89 году французы, прежде всего на гибель самим себе.

Разделять юго-славян может многое, объединить же их и согласить без вмешательства России может только нечто общее им всем, нечто такое, что стояло бы на почве нейтральной, вне Православия, вне Византизма, вне Сербизма,

вне Католичества, вне гуситских воспоминаний, вне Юрия Подебрадского, вне Крума, Любуши и Марка Кралевича, вне крайне-болгарских надежд. Это, вне всего этого стоящее, может быть только нечто крайне демократическое, индифферентное, отрицательное, якобински, а не старо-британски конституционное, быть может даже федеративная Республика. Заметим еще вдобавок, что если бы такая Республика \* создавалась по распадении Австрии и по удалении турок за Босфор, то она вышла бы не из тех побуждений, из коих вышли Соединенные Штаты Америки, а из других, в охранительном смысле гораздо худших начал.

Люди, которые, ушедши из старой Англии, полагали основы Штатам Америки, были всё люди крайне религиозные, которые уступать своей горячей личной веры не хотели и не подчинялись государственной Англиканской Епископской Церкви не из прогрессивного равнодушия, а из набожности.

Католики, пуритане, квакеры, все были согласны в одном — во взаимной терпимости, не по холодности, а по необходимости. И потому Государство, созданное ими, для

---

\* Не лишним, может быть, окажется здесь следующий рассказ, дошедший до меня из верных источников. Один именитый русский человек, к тому же и весьма ученый, имя которого известно и у нас, и на Востоке, и в Европе, имел не так давно разговор с одним из главных народных чешских вождей (также как нельзя лучше известным и у нас, и везде).

Чешский деятель рассыпался в разговоре с этим русским сановником в похвалах народу русскому, особенно Правительству нашему: он говорил о своих симпатиях к нам, о глубоком уважении к нашей Монархии.

«Но, разумеется, — прибавил он с уверенностью, — монархическая форма есть временное состояние; монархическая власть нигде в наше время не имеет будущности».

Удивительно! Откуда у людей мыслящих и даровитых это ослепление, вера в демократический прогресс, как во что-то несомненно хорошее? Как же не похвалить при этом Герцена за его насмешки над республиканской ортодоксией! Противоречия Герцена самому себе в подобных случаях делают ему великую честь.

примирения всех этих горячих религиозных крайностей, на-  
шло центр тяжести своей вне религии. Была вынужденная  
обстоятельствами терпимость, не было внутреннего индиф-  
ферентизма.

Славяне, вступая в подобную федерацию, не внесли бы  
в нее тех высоких чувств, которые на просторе Нового  
Света одушевляли прежних европейских переселенцев Се-  
верной Америки. Они вступили бы в эту федерацию при  
иных условиях. Там, в Америке, чтобы жить согласно,  
<sup>10</sup> нужно было помнить о недавних гонениях за личную веру.  
Здесь, и в Австрии, и в Турции, никто уже не гонит серь-  
езно ни Католичества чехов и хорватов, ни Православия  
сербов и болгар. Напротив того, в последнее время даже  
турецкие министры, напр⟨имер⟩, так изучили наш церков-  
ный вопрос, что делают нередко болгарам очень основате-  
льные канонические возражения, когда те слишком спешат.  
Туркам иногда, для спокойствия Империи, приходится за-  
щищать Православие от увлечения славянских агитаторов.

Итак, не религиозные же гонения, не общие страдания  
<sup>20</sup> могут объединить в демократической федерации нынешних  
юго-славян, а только общеплеменное сознание, лишенное  
всякого положительного организующего содержания, ли-  
шенное всякой сложной системы особо славянских идей.

В наше время легче всего помириться на Бюхнере, Дар-  
вине и Молешоте. Передовые люди, зная штуку, но держась  
черни, по незабвенному выражению Тредьяковского, могут,  
для назидания тех соотчичей своих, которые к тому времени  
будут еще верить в ту или другую Церковь, всегда притво-  
риться, сходить к обедне, причаститься, похвалить старину,  
<sup>30</sup> даже изредка и с трудом великим неделю попоститься.

Так делают давно уже и теперь многие влиятельные  
люди на Востоке, и греки и славяне одинаково. Есть такие,  
которые на 1-й неделе Великого Поста и на Страстной  
дома, для детей и слуг, едят и постное, а потихоньку потом  
заходят в гостиницу и подкрепляют мясом свои просвещен-  
ные и прогрессивные купеческие, учительские и лекарские  
желудки.

То же по-своему могут делать и католики, пока народ прост, и то, если это занадобится для чего-нибудь.

Но строго говоря, зачем и лицемерить долго? В наше время, «при быстроте сообщений, при благодетельной гласности, при обучении народа, при благородном, возвышенном стремлении к полной равноправности всех людей и народов».

Увы! патриархальная и гомерическая поэзия Православного Востока угасает быстро... Юнаки и паликары доживают свой век, разбойничая в горах без идей. Христианскими общинами самодержавно правит уже не бесстрашный гайдук Кара-Георгий, не мудрый и стойкий свинопас Милош, не безграмотные герои Канарис и Боцарис, не Митрополиты черногорские, которые умели сражаться и с турками и с французами.

Нынешний Христианский Восток вообще есть не что иное, как Царство, не скажу даже скептических, а просто неверующих *épicieis*, для которых религия их соотчичей низшего класса есть лишь удобное орудие агитации, орудие племенного политического фанатизма в ту или другую сторону. Это истина, и я не знаю, какое право имеем мы, русские, главные представители Православия во Вселенной, скрывать друг от друга эту истину или стараться искусственно забывать ее!

Двадцать лет тому назад еще можно было надеяться, что эпические части народа у славян дадут свою окраску прогрессивным, но теперь нельзя обманывать себя более!

Космополитические, разрушительные и отрицательные идеи, воплощенные в кое-как по-европейски обученной интеллигенции, ведут все эти близкие нам народы сначала к политической независимости, вероятно, а потом? Потом, когда все обособляющие от космополитизма признаки бледны? Что будет потом? Чисто же племенная идея, я уже прежде сказал, не имеет в себе ничего организующего, творческого; она есть не что иное, как частное перерождение космополитической идеи всеравенства и бесплодного

всеблага. Равенство классов, лиц, равенство (т. е. однообразие) областей, равенство всех народов. Расторжение всех преград, бурное низвержение или мирное, осторожное подкапывание всех авторитетов — религии, власти, сословий, препятствующих этому равенству, это все одна и та же идея, выражается ли она в широких и обманчивых претензиях парижской демагогии, или в уездных желаниях какого-нибудь мелкого народа приобрести себе во что бы то ни стало равные со всеми другими нациями государственные права.

Для нас знание подобных данных важно. Хотим ли и мы предаться течению, или желаем мы ревниво, жадно, фанатически, *сберечь все старое, для органического сопряжения с неизбежно новым*, для исполнения призвания нашего в мире, — призвания, еще не выясненного нам самим; во всяком случае, мы должны знать и понимать, что такое эти славяне, вне нас стоящие.

Хотим ли мы, по идеалу наших нигилистов, найти наше призвание в передовой разрушительной роли, опередить всех и все на поприще животного космополитизма; или мы предпочитаем по-человечески служить идеям организующим, дисциплинирующим, — идеям вне нашего субъективного удовольствия стоящим, объективным идеям Государства, Церкви, живого добра и поэзии; предпочитаем ли мы, наконец, нашу собственную целостность и силу, чтобы обратить эту силу, когда ударит понятный всем, страшный и великий час, на службу лучшим и благороднейшим началам европейской жизни, на службу этой самой великой, *старой* Европе, которой мы столько обязаны и которой хорошо бы заплатить добром? И в том и в другом случае надо понять хорошо все окружающее нас.

Не льстить надо славянам, не обращаться к ним с вечной улыбкой любезности; нет! надо изучать их и, если можно, если удастся, учить их даже, как людей отсталых по уму, несмотря на кажущуюся их прогрессивность и даже на ученость некоторых из них. Ученость сама по себе, одна, еще не есть спасение; иногда она залог отупения.

Прежде всего не надо обманывать свое русское общество; не надо оставлять его в приятном тумане из-за какой-то, во все необязательной в литературе, льстивой политики!

## Глава VI

### ЧТО ТАКОЕ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ?

Теперь мне предстоит оставить на время и славян, и наше русское Византийство и отвлечься от главного моего предмета очень далеко.

Я постараюсь, однако, насколько есть у меня умения, быть кратким. 10

Я спрошу себя прежде всего: что значит слово «развитие» вообще? Его недаром употребляют беспрестанно в наше время. Человеческий ум в этом отношении, вероятно, на хорошей дороге; он прилагает, может быть, очень верно идею, выработанную реальными, естественными науками к жизни психической, к исторической жизни отдельных людей и обществ.

Говорят беспрестанно: «Развитие ума, науки, развивающийся народ, развитый человек, развитие грамотности, законы развития исторического, дальнейшее развитие наших учреждений» и т. д. 20

Все это хорошо. Однако есть при этом и ошибки; именно, при внимательном разборе, видим, что слово *развитие* иногда употребляется для обозначения вовсе разнородных процессов или состояний. Так, напр(имер), *развитый* человек часто употребляется в смысле *ученый*, *начитанный* или *образованный* человек. Но это совсем не одно и то же. Образованный, сформированный, выработанный разнообразно человек и человек ученый — понятия разные. Фауст — вот *развитый* человек, а Вагнер у Гёте — *ученый*, 30  
*но вовсе не развитый*.

Еще пример. *Развитие* грамотности в народе, мне кажется, вовсе не подходящее выражение.

*Распространение, разлитие грамотности — дело другое. Распространение грамотности, распространение пьянства, распространение холеры, распространение благонравия, трезвости, бережливости, распространение железных путей и т. д. Все эти явления представляют нам разлитие чего-то однородного, общего, простого.*

*Идея же развития собственно соответствует в тех реальных, точных науках, из которых она перенесена в историческую область, некоему сложному процессу и, заметим, нередко вовсе противоположному с процессом распространения, разлития, процессу как бы враждебному этому последнему процессу.*

Присматриваясь ближе к явлениям органической жизни, из наблюдений которой именно и взялась эта идея развития, мы видим, что процесс развития в этой органической жизни значит вот что:

*Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой — от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений.*

Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности.

Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства.

Так что высшая точка развития не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях, есть высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством.

Самый рост травы, дерева, животного и т. д. есть уже осложнение; только говоря *рост*, мы имеем в виду преимущественно количественную сторону, а не качественную, не столько изменение формы, сколько изменение размеров.

Содержание при росте количественно осложняется. Трава, положим, еще не дала ни цветов, ни плода, но она поднялась, выросла значит, если нам незаметно было ника-

кого в ней ни внутреннего (микроскопического), ни внешнего, видимого глазу, морфологического изменения, обогащения, но мы имеем все-таки право сказать, что трава стала сложнее, ибо количество ячеек и волокон у нее умножилось.

К тому же, ближайшее наблюдение показывает, что всегда при процессе развития есть непрерывное, хоть какое-нибудь изменение и формы, как в частностях (напр<имер>), в величине, [в] виде самих ячеек и волокон), так и в общем (т. е., что появляются новые вовсе черты, дотоле небывалые в картине всецелого организма).

То же и в развитии животного тела, и в развитии человеческого организма, и даже в развитии духа человеческого, характера.

Я сказал: не только целые организмы, но и все органические процессы, и все части организмов, одним словом, все органические явления подчинены тому же закону.

Возьмем, напр<имер>, картину какой-нибудь болезни.\* Положим, — *воспаление легких* (Pneumonia). Начинается

---

\* Я опасаюсь здесь упрека за длину и подробность того, что иные готовы счесть обыкновенным уподоблением.

Уподобление не только красит речь, но даже делает главный предмет более доступным и ясным, если оно уместно и кратко. Длинные же, утомительные уподобления только путают и отвлекают мысль.

Но спешу сознаться, что я имею здесь претензию на нечто гораздо большее, чем уподобление: я имею претензию предложить нечто вроде гипотезы для социальной или для исторической науки.

Прав ли я или нет, хорошо ли я выразил мою мысль или худо, это другой вопрос. Я хочу только предупредить, что дело здесь не в уподоблениях, а в желании указать на то, что законы развития и падения Государств, по-видимому, в общих чертах однородные не только с законами органического мира, но и вообще с законами возникновения, существования и гибели (Enstehen, Dasein und Vergehen) всего того сущего, что нам доступно. Всякий знает, что Государство падает, но как? При каких признаках? И есть ли теперь такие ужасные признаки? — У кого? Вот цель! (Примечание) автора, 1874 года.)

оно большею частью *просто*, так просто, что его нельзя строго отличить вначале от простой простуды, от Bronchitis, от Pleuritis и от множества других и опасных, и ничтожных болезней. Недомогание, жар, боль в груди или в боку, кашель. Если бы в эту минуту человек умер от чего-нибудь другого (напр<имер>, если бы его застрелили), то и в легких нашли бы мы очень мало изменений, *очень мало отличий от других легких*. Болезнь не развита, не сложна еще и потому и не индивидуализирована и не сильна (еще не опасна, не смертоносна, еще мало влиятельна). Чем сложнее становится картина, тем в ней больше разнообразных отличительных признаков, тем она легче индивидуализируется, классифицируется, отделяется и, с другой стороны, тем она все сильнее, все влиятельнее. Прежние признаки еще остаются, жар, боль, горячка, слабость, кашель, удушье и т. д., но есть еще новые: мокрота, окрашенная, смотря по случаю, от кирпичного до лимонного цвета. Выслушивание дает, наконец, специфический ronchus crepitans. Потом приходит минута, когда картина наиболее сложна: в одной части легких простой ronchus subcrepitans, свойственный и другим процессам, в другой ronchus crepitans (подобный нежному треску волос, которые мы будем растирать медленно около уха), в третьем месте выслушивание груди дает бронхиальное дыхание souffle tubaire, наподобие дуновения в какую-нибудь трубку: это опеченение легких, воздух не проходит вовсе. Наконец может случиться, что рядом с этим будет и нарыв, пещера, и тогда мы услышим и увидим еще новые явления, встретим еще более сложную картину. То же самое нам дадут и вскрытия: 1) силу, 2) сложность, 3) индивидуализацию.

Далее, если дело идет к выздоровлению организма, то картина болезни упрощается.

Если же дело к победе болезни, то, напротив, упрощается, или вдруг, или постепенно, картина самого организма.

Если дело идет к выздоровлению, то сложность и разнообразие признаков, составлявших картину болезни, ма-

ло-помалу уменьшаются. Мокрота становится обыкновеннее (менее индивидуализирована); хрипы переходят в более обыкновенные, схожие с хрипами других кашлей; жар спадает, опеченение разрешается, т. е. легкие становятся опять однороднее, однообразнее.

Если дело идет к смерти, начинается упрощение организма. Предсмертные, последние часы у всех умирающих сходнее, проще, чем середина болезни. Потом следует смерть, которая, сказано давно, всех равняет. Картина трупа малосложнее картины живого организма; в трупе все мало-помалу сливается, просачивается, жидкости застывают, плотные ткани рыхлеют, все цвета тела сливаются в один зеленовато-бурый. Скоро уже труп будет очень трудно отличить от другого трупа. Потом упрощение и смешение составных частей, продолжаясь, переходят все более и более в процесс разложения, распада, расторжения, разлития в окружающем. Мягкие части трупа, распадаясь, разлагаясь на свои химические составные части, доходят до крайней неорганической простоты углерода, водорода и кислорода, разливаются в окружающем мире, распространяются. Кости, благодаря большой силе внутреннего сцепления извести, составляющей их основу, переживают все остальное, но и они, при благоприятных условиях, скоро распадаются, сперва на части, а потом и на вовсе неорганический и безличный прах.

Итак, что бы развитое мы ни взяли, болезни ли (органический сложный и единый процесс), или живое, цветущее тело (сложный и единый организм), мы увидим одно, что разложению и смерти второго (организма) и уничтожению первой (процесса) предшествуют явления: упрощение составных частей, уменьшение числа признаков, ослабление единства, силы и, вместе с тем, смешение. Все постепенно понижается, мешается, сливается, а потом уже распадается и гибнет, переходя в нечто общее, не собой уже и не для себя существующее.

Перед окончательной гибелью индивидуализация как частей, так и целого, слабеет. Гибнущее становится и одно-

образнее внутренно, и ближе к окружающему міру, и сходнее с родственными, близкими ему явлениями (т. е. свободнее).

Так, яички всех самок и внутренно малосложны, и ближе к организму матери, чем будут близки зародыши, и сходнее со всякими другими животными и растительными первоначальными ячейками.

Разные животные зародыши *отдельнее* яичек, имеют *уже больше* их микроскопических *отличий* друг от друга, они уже менее сходны. Утробные зрелые плоды *еще разнообразнее* и еще более отдельные. Это оттого, что они и сложнее, и единее, т. е. развитее.

Младенцы, дети еще сложнее и разнообразнее; юноши, взрослые люди, до впадения в дряхлость, еще и еще развитее. В них все больше и больше (по мере и степени развития) сложности и внутреннего единства, и потому больше отличительных признаков, больше отдельности, независимости от окружающего, больше своеобразия, самобытности.

И это, повторяем, относится не только к организмам, но и к частям их, к системам (нервной, кровеносной и т. д.), к аппаратам (пищеварительному, дыхательному и т. д.); относится и к процессам нормальным и патологическим; даже и к тем идеальным, научным, собирательным единицам, которые зовутся вид, род, класс и т. д. Чем выше, чем развитее вид, род, класс, тем разнообразнее отделы (части, их составляющие), а собирательное, целое, все-таки весьма едино и естественно. Так, собака домашняя — животное, весьма развитое; поэтому-то отделение млекопитающих, которое известно под названием домашняя собака, — отделение весьма полное, имеющее чрезвычайно много разнообразных представителей. Род кошек (в широком смысле), четверорукие (обезьяны), позвоночные вообще — представляют, при всем своем необычайном разнообразии, чрезвычайно единство общего плана. Это все отделения весьма развитых животных, весьма богатых зоологическим содержанием, индивидуализированных, *богатых признаками*.

То же самое мы можем наблюдать и в растительных организмах, процессах, органах и в растительной классификации по отделам, по собирательным единицам.

Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, *сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне*, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением, до перехода в неорганическую «Нирвану».

При дальнейшем размышлении мы видим, что этот триединый процесс свойствен не только тому миру, который зовется собственно органическим, но, может быть, и всему <sup>10</sup> существующему в пространстве и времени. Может быть, он свойствен и небесным телам, и истории развития их минеральной коры, и характерам человеческим; он ясен в ходе развития искусств, школ живописи, музыкальных и архитектурных стилей, в философских системах, в истории религий и, наконец, в *жизни племен, государственных организмов и целых культурных миров*.

Я не могу распространяться здесь долго и развивать подробно мою мысль. Я ограничусь только несколькими краткими примерами и объяснениями. Например, для небесного тела: а) период *первоначальной простоты*: расплавленное небесное тело, однообразное, жидкое; б) период *срединный*, то состояние, которое можно назвать вообще *цветущей сложностью*: планета, покрытая корою, водою, материками, растительностью, *обитаемая, пестрая*; в) период *вторичной простоты*; остывшее или вновь, вследствие катастрофы, расплавленное тело и т. д. <sup>20</sup>

Мы заметим то же и в истории искусств: а) период *первоначальной простоты*: циклопические постройки, конусообразные могилы этрусков (послужившие, вероятно, <sup>30</sup> исходным образцом для куполов и вообще для круглых линий *развитой* римской архитектуры), избы русских крестьян, дорический орден и т. д., эпические песни первобытных племен; музыка диких, первоначальная иконопись, лубочные картины и т. д.; б) период *цветущей сложности*: Парфенон, храм Ефесской Дианы (в котором даже *на колоннах* были изваяния), Страсбургский, Реймский, Миланский

соборы, Св. Петра, Св. Марка, римские великие здания, Софокл, Шекспир, Дант, Байрон, Рафаэль, Микель-Анджело и т. д.; в) период *смещения*, перехода во вторичное упрощение, упадка, замены другим: все здания переходных эпох, романский стиль (до начала готического и от падения римского), все нынешние утилитарные постройки, казармы, больницы, училища, станции железных дорог и т. д. В архитектуре единство есть то, что зовут стилем. В цветущие эпохи постройки разнообразны в пределах стиля; нет ни эклектического смещения, ни бездарной старческой простоты. В поэзии то же: Софокл, Эсхил и Еврипид — все одного стиля; впоследствии все, с одной стороны, смешивается эклектически и холодно, понижается и падает.

Примером вторичного упрощения всех прежних европейских стилей может служить современный реализм литературного искусства. В нем есть нечто и эклектическое (т. е. *смешанное*), и *приниженное*, количественно павшее, *плоское*. Типические представители великих стилей поэзии все чрезвычайно несходны между собою: у них чрезвычайно много внутреннего содержания, много отличительных признаков, много индивидуальности. В них много и того, что принадлежит веку (содержание), и того, что принадлежит им самим, их личности, тому единству духа личного, которое они влагали в разнообразие содержания. Таковы: Дант, Шекспир, Корнель, Расин, Байрон, Вальтер Скотт, Гёте, Шиллер.

В настоящее время, особенно после 48 года, все *смешаннее* и сходнее между собою: общий стиль — отсутствие стиля и отсутствие субъективного духа, любви, чувства. Диккенс в Англии и Жорж Санд во Франции (я говорю про старые ее вещи), как они ни различны друг от друга, но были оба последними представителями *сложного единства*, силы, богатства, теплоты. Реализм простой наблюдательности уже потому беднее, проще, что в нем уже нет автора, нет личности, вдохновения, поэтому он пошлее, *демократичнее, доступнее* всякому бездарному человеку и пишущему, и читающему.

Нынешний объективный, безличный всеобщий реализм есть вторичное *смесительное упрощение*, последовавшее за теплой объективностью Гёте, Вальтер-Скотта, Диккенса и прежнего Жорж-Санда, больше ничего.

Пошлые общедоступные оды, мадригалы и эпопеи прошлого века были подобным же упрощением, понижением предыдущего французского классицизма, высокого классицизма Корнелей, Расинов и Мольеров.

В истории философии то же: а) первобытная простота: простые изречения народной мудрости, простые начальные системы (Фалес и т. п.); б) *цветущая сложность*: Сократ, Платон, стоики, эпикурейцы, Пифагор, Спиноза, Лейбниц, Декарт, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель; в) вторичное упрощение, смешение и исчезновение, переход в совершенно иное: эклектики, безличные *смесители* всех времен (Кузен); потом Реализм феноменальный, отвергающий отвлеченную философию, метафизику: материалисты, деисты, атеисты. Реализм *очень прост*, ибо он даже и не система, а только метод, способ: он есть *смерть* предыдущих систем. Материализм же есть бесспорно система, но, конечно, *самая простая*, ибо ничего не может быть проще и грубее, малосложнее, как сказать, что все вещество и что нет ни Бога, ни духа, ни бессмертия души, ибо мы этого не видим и не трогаем руками. В наше время это вторичное упрощение философии доступно не только образованным юношам, стоящим еще, по летам своим, на степени первобытной простоты, на степени незрелых яблок, или семинаристам циклопической постройки, но даже парижским работникам, трактирным лакеям и т. п. Материализм всегда почти сопровождает реализм; хотя реализм сам по себе еще и не дает права ни на атеизм, ни на материализм. Реализм отвергает всякую систему, всякую метафизику; реализм есть отчаяние, самооскопление, *вот почему он упрощение!* На материалистические же выводы он прав все-таки не дает.

Материализм, с своей стороны, есть последняя из систем последней эпохи: он царствует до тех пор, пока тот же реализм не сумеет и ему твердо сказать свое скептическое

слово. За скептицизмом и реализмом обыкновенно следует возрождение: одни люди переходят к новым идеальным системам, у других является пламенный поворот к религии. Так было в древности; так было в начале нашего века, после реализма и материализма XVIII столетия.

И метафизика и религия остаются *реальными силами*, действительными, несокрушимыми потребностями человечества.

<sup>10</sup> Тому же закону подчинены и государственные организмы, и целые культуры мира. И у них очень ясны эти три периода: 1) *первичной простоты*, 2) *цветущей сложности* и 3) *вторичного смесительного упрощения*. О них я повторю особо, дальше.

## Глава VII

### О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ

Я кончил предыдущую главу следующей мыслью.

<sup>20</sup> «Триединый процесс: 1) первоначальной простоты, 2) цветущего объединения и сложности и 3) вторичного смесительного упрощения, свойствен точно так же, как и всему существующему, и жизни человеческих обществ, государствам и целым культурным мирам».

Развитие Государства сопровождается постоянно выяснением, обособлением свойственной ему политической формы; падение выражается расстройством этой формы, *большой общностью с окружающим*.

Прежде всего спрошу себя: «Что такое форма?»

<sup>30</sup> Форма вообще есть выражение идеи, заключенной в материи (содержании). Она есть отрицательный момент явления, материя — положительный. В каком это смысле? Материя, например, данная нам, есть стекло, форма явления — стакан, цилиндрический сосуд, полый внутри; там, где кончается стекло, там, где его уже нет, начинается воздух вокруг или жидкость внутри сосуда; дальше материя

стекла не может идти, не смеет, если хочет остаться верна основной идее своей полого цилиндра, если не хочет перестать быть стаканом.

*Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться.* Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет.

Шарообразная или эллиптическая форма, которую принимает жидкость при некоторых условиях, есть форма, есть деспотизм внутренней идеи.

Кристаллизация есть деспотизм внутренней идеи. Одно <sup>10</sup> вещество должно, при известных условиях, оставаясь само собою, кристаллизироваться призмами, другое октаэдрами и т. п.

Иначе они не смеют, иначе они гибнут, разлагаются.

Растительная и животная морфология есть также не что иное, как наука о том, как оливка *не смеет* стать дубом, как дуб *не смеет* стать пальмой и т. д.; им с зерна *преду- ставлено* иметь такие, а не другие листья, такие, а не дру- гие цветы и плоды.

Человек, высекая из камня или выливая из бронзы (из материи) статую человека, вытачивая из слоновой кости шар, склеивая и сшивая из лоскутков искусственный цве- ток, влагает извне в материю свою идею, подкарауленную им у природы.

Устроивая машину, он делает то же. Машина рабски по- винуется, отчасти идее, вложенной в нее извне человече- ской мыслью, отчасти своему внутреннему закону, своему физико-химическому строю, своей физико-химической основной идее. Нельзя, напр<имер>, из льда сделать такую прочную машину, как из меди и железа.

С другой стороны, из камня нельзя сделать такой есте- <sup>30</sup> ственный цветок, как из бархата или кисеи.

*Тот, кто хочет быть истинным реалистом именно там, где нужно, тот должен бы рассматривать и обще- ства человеческие с подобной точки зрения.* Но обыкновенно делается не так. Свобода, равенство, благоденствие (осо- бенно это благоденствие!) принимаются какими-то догматами веры, и уверяют, что это очень рационально и научно!

*Да кто же скажет, что это правда?*

Социальная наука едва родилась, а люди, пренебрегая опытом веков и примерами ими же теперь столь уважаемой природы, не хотят видеть, что между эгалитарно-либеральным поступательным движением и идеей развития нет ничего логически родственного, даже более: эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза процессу развития. При последнем внутренняя идея держит крепко общественный материал в своих организующих, деспотических объ-  
10 тиях и ограничивает его разбегающиеся, расторгающие стремления. Прогресс же, борющийся против всякого деспотизма — сословий, цехов, монастырей, даже богатства и т. п., есть не что иное, как процесс разложения, процесс того вторичного упрощения целого и смешения составных частей, о котором я говорил выше, процесс сглаживания морфологических очертаний, процесс уничтожения тех особенностей, которые были органически (т. е. деспотически) свойственны общественному телу.

Явления эгалитарно-либерального прогресса схожи с явлениями горения, гниения, таяния льда (менее воды свободного, ограниченного кристаллизацией); они сходны с явлениями, напр<имер>, холерного процесса, который постепенно обращает весьма различных людей сперва в более однообразные трупы (равенство), потом в совершенно почти схожие (равенство) остовы и, наконец, в свободные (относительно, конечно): азот, водород, кислород и т. д.

(«On est débordé», говорят многие, это дело другое. «On est débordé» и холерой. Но почему же холеру не назвать по имени? Зачем ее звать молодостью, возрождением,  
30 ем, развитием, организацией?)

При всех этих процессах гниения, горения, таяния, холерного поступательного движения заметны одни и те же общие явления.

а) Утрата особенностей, отличавших дотоле деспотически сформированное целое дерево, животное, целую ткань, целый кристалл и т. д. от всего подобного и соседнего.

б) *Большее* противу прежнего *сходство* составных частей, *большее внутреннее равенство*, *большее* однообразие состава и т. п.

в) Утрата прежних *строгих* морфологических очертаний: все сливается, все *свободнее и ровнее*.

Итак, какое дело частной, исторической реальной науке до неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий?

К чему эти не научные сентиментальности, столь выдохшиеся в наше время, столь прозаические вдобавок, столь бездарные? Что мне за дело в подобном вопросе до самих стонов человечества?

Какое научное право я имею думать о конечных причинах, о целях, о благоденствии, напр(имер), прежде серьезного, долгого и бесстрастного исследования?

Где эти не догматические, бесстрастные, скажу даже, в прогрессивном отношении, пожалуй, безнравственные, но научно-честные исследования? Где они? Они существуют, положим, хотя и весьма несовершенные еще, но только именно не для демократов, не для прогрессистов.

Какое мне дело, в более или менее отвлеченном исследовании, не только до чужих, но и до моих собственных неудобств, до моих собственных стонов и страданий?

Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинаясь некоему таинственному, независящему от нас, деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи. С другой стороны, оно есть машина, и сделанная людьми полусознательно, и содержащая людей, как части, как колеса, рычаги, винты, атомы, и наконец, машина, выполняющая, образующая людей. Человек в Государстве есть в одно и то же время и механик, и колеса или винт, и продукт общественного организма.

На которое бы из государств древних и новых мы ни взглянули, у всех найдем одно и то же общее: простоту и однообразие в начале, *больше равенства и больше свободы* (по крайней мере фактической, если не юридической свободы), *чем будет после*. Закрывши книгу на второй

или третьей главе, мы находим, что все начала довольно схожи, хоть и не совсем. Взглянув на растение, выходящее из земли, мы еще не знаем хорошо, что из него будет. Различий слишком мало. Потом мы видим большее или меньшее *укрепление власти*, более глубокое или менее резкое (смотря по задаткам первоначального строения) *разделение сословий*, большее *разнообразие быта* и *разнохарактерность областей*.

10 Вместе с тем увеличивается, с одной стороны, богатство, с другой — бедность, с одной стороны, ресурсы наслаждения разнообразятся, с другой — разнообразие и тонкость (развитость) ощущений и потребностей порождают больше страданий, больше грусти, больше ошибок и больше великих дел, больше поэзии и больше комизма; подвиги образованных — Фемистокла, Ксенофонта, Александра — крупнее и симпатичнее простых и грубых подвигов Одиссеев и Ахиллов. Являются Софоклы, являются и Аристофаны, являются вопли Корнелей и смех Мольеров. У иных Софокл и Аристофан, Корнель и Мольер сливаются в одного Шекспира или Гёте.

20 Вообще в эти сложные цветущие эпохи есть какая бы то ни было аристократия, политическая, с правами и положением, или только бытовая, т. е. только с положением без резких прав, или еще чаще стоящая на грани политической и бытовой. Эвпатриды Афин, феодальные Сатрапы Персии, Оптиматы Рима, Маркизы Франции, Лорды Англии, Воины Египта, Спартиаты Лаконии, знатные Дворяне России, Паны Польши, Бей Турции.

30 В то же время, по внутренней потребности единства, есть склонность и к единоличной власти, которая по праву или только по факту, но всегда крепнет в эпоху цветущей сложности. Являются великие замечательные Диктаторы, Императоры, Короли или по крайней мере гениальные Демагоги и Тираны (в древнеэллинском смысле), Фемистоклы, Периклы и т. п.

Между Периклом, диктатором *фактическим*, и между законным Самодержцем по наследству и религии — поме-

щается целая лестница разнообразных единоличных властительств, в которых ощущается потребность везде в сложные и цветущие эпохи, для объединения всех составных частей, всех общественно-реальных сил, полных жизни и брожения.

Провинции в это время также всегда разнообразны по быту, правам и законам. Дерево выразило вполне свою внутреннюю морфологическую идею...

А страдания? Страдания сопровождают одинаково и процесс роста и развития, и процесс разложения. 10

Все болит у дерева жизни людской...

Болит начальное прозябание зерна. Болят первые всходы; болит рост стебля и ствола, развитие листьев и распускание пышных цветов — (аристократии и искусства) — сопровождаются стонами и слезами. Болят одинаково эгалитарный быстрый процесс гниения и процесс медленного высыхания, застоя, нередко предшествующий эгалитарному процессу. (Напр<имер>, в Испании, Венецианской Республике — во всей Италии *высыхание XVII и XVIII веков предшествовало гниению XIX.*) *Боль для социальной науки, это самый последний из признаков, самый неуловимый*; ибо он субъективен, и верная статистика страданий, точная статистика чувств невозможна будет до тех пор, пока для чувств радости, равнодушия и горя не изобретут какое-нибудь графическое изображение, какое-нибудь объективное мерило, подобно тому, как, вовсе неожиданно, открыли, что спектральный анализ может обнаружить химический состав небесных тел, отдаленных на бесконечные от меня пространства!

Раскройте медицинские книги, о, друзья реалисты! и вы в них найдете, до чего музыкальное, субъективное мерило боли считается маловажнее суммы всех других, пластических, объективных признаков; картина организма, являющаяся перед очами врача-физиолога, вот что важно, а не чувство непонимающего и подкупленного больного! Ужасные невралгии, приводящие больных в отчаяние, не мешают им жить долго и совершать дела, а тихая, поч-

ти безболезненная гангрена сводит их в гроб в несколько дней.

Вместо того, чтобы или наивно, или нечестно становиться, ввиду какого-то конечного блага, на разные предвзятые точки зрения, коммунистическую, демократическую, либеральную и т. д., научнее было бы подвергать все одинаковой, бесстрастной, безжалостной оценке, и если бы итог вышел либо либеральный, либо охранительный, либо сословный, либо бессловный, то не мы, так сказать, были<sup>10</sup> бы виноваты, а сама наука.

Статистики нет никакой для субъективного блаженства отдельных лиц; никто не знает, при каком правлении люди живут приятнее. Бунты и революции мало доказывают в этом случае. Многие веселятся бунтом. Современные нам критяне, напр(имер), жили положительно лучше хоть бы фракийских болгар и греков и несравненно веселее и приятнее небогатых жителей каких бы то ни было больших городов. Человек добросовестный, живой, не подкупленный политикой, не слепой, наконец, был поражен цветущим видом<sup>20</sup> критян, их красотой, здоровьем, скромной чистотою их жилищ, их прелестной, честной, семейной жизнью, приятной самоуверенностью и достоинством их походки и приемов... И вот они, прежде других турецких подданных, восстали, воображая себя самыми несчастными, тогда как фракийские болгары и греки жили гораздо хуже и терпели тогда несравненно больше личных обид и притеснений и от дурной полиции, и от собственных лукавых старшин; однако они не восставали, а болгарские старшины, те даже подавали Султану адреса и предлагали оружием поддерживать<sup>30</sup> его противу критян.

Никакой нет статистики для определения, что в республике жить лучше частным лицам, чем в монархии; в ограниченной монархии лучше, чем в неограниченной; в эгалитарном государстве лучше, чем в сословном; в богатом лучше, чем в бедном. Поэтому, отстраняя мерило благоденствия, как недоступное еще современной социальной науке (быть может, и навсегда, неверное и малопригодное), гораздо бе-

зошибочнее будет обратиться к объективности, к картинам, и спрашивать себя, нет ли каких-нибудь всеобщих и весьма простых законов для развития и разложения человеческих обществ?

И если мы не знаем, возможно ли *всеобщее царство блага*, то, по крайней мере, постараемся дружными усилиями постичь, по мере наших средств, что пригодно для блага того или другого частного государства. Чтобы узнать, что организму пригодно, надо прежде всего ясно понять самый организм. Для гигиены и лечения нужна прежде всего физиология. <sup>10</sup>

Форма (сказал я выше) есть выражение внутренней идеи на поверхности содержания. Идея шара, напр(имер), есть равное расстояние всех точек поверхности от центра. Разве не выражается эта идея на поверхности шара, разве не она придает кости, дереву, капле, расплавленному небесному телу и т. д., вообще содержанию, материи, эту форму?

Разумеется, в таком простом явлении, как шар, это ясно; а в таком сложном явлении, как человеческое общество, оно не так ясно. <sup>20</sup>

Но, тем не менее, основа метафизическая одна и та же и для маленького шара, и для великого Государства.

*Государственная форма у каждой нации, у каждого общества своя; она в главной основе неизменна до гроба исторического, но меняется быстрее или медленнее в частностях, от начала до конца.*

Вырабатывается она не вдруг и не сознательно сначала; не вдруг понятна; она выясняется лишь хорошо в ту среднюю эпоху наибольшей сложности и высшего единства, за которой постоянно следует, рано или поздно, частная порча этой формы и затем разложение и смерть. <sup>30</sup>

Так государственная форма древнего Египта была резко сословная монархия, вероятно, глубоко ограниченная жреческой аристократией и вообще религиозными законами.

Персия была, по-видимому, более феодального, рыцарского происхождения; но феодальность ее сдерживалась

безграничным в принципе Царизмом, земным выражением добра, Ормузда.

История Греции и Рима больше обработана, и потому на них все это еще яснее.

Афины именно в цветущий период выработали свойственную им государственную форму.

Это — демократическая республика, однако с привилегиями, с эвпатридами, с денежным цензом, с рабами и, наконец, с склонностью к фактической, незаконной, непрочной диктатуре Периклов, Фемистоклов и т. д.

Форма эта, которой естественные залогов хранились, конечно, в самих нравах и обстоятельствах, выработалась именно в цветущий сложный период, от Солона до Пелопоннесской войны. Во время этой войны началась порча, начался эгалитарный прогресс.

Свободы было и без того много: захотелось больше равенства.

Спарта, от эпохи Ликурга до унижения ее фиванцами, выработала также свою, чрезвычайно оригинальную, стеснительную и деспотическую форму аристократического республиканского коммунизма с чем-то вроде двух наследственных президентов.

Форма эта была несравненно стеснительнее, деспотичнее афинской, и поэтому жизни и творчества в Афинах было больше, а в Спарте меньше, но зато Спарта была сильнее и долговечнее.

Все остальные Государства греческого мира колебались, вероятно, между дорической формой Спарты и ионийской формой Афин. Потребность формы, стеснения, деспотизма, дисциплины, исходящей из нужд самосохранения, была и в этом распушенном и раздробленном эллинском мире так велика, что во многих Государствах демократического характера (т. е., вероятно, там, где выразился слабее деспотизм сословный) выработывалась тирания, т. е. дисциплина единоличной власти (Поликрат, Периандр, Дионисий Сиракузский и друг(ие)).

Феодализм сельский, помещичий или рыцарский, был, по-видимому, всегда ничтожен в Элладе почти так же, как

и в Риме; все аристократии Эллады и Рима имели городской характер; все они были, так сказать, муниципального происхождения.

История Македонии очень бедна, и сведений о первоначальной организации Македонского Царства у нас мало. Но некоторые историки полагают, что у македонян был феодализм выражен сильнее муниципальности (и действительно, о городах македонских почти нет и речи, а все слышно лишь о Царях и их дружине, о «Генералах» Александра).

10

Ослабевший эллинский муниципальный мир, соединившись потом с грубой, неясной (неразвитой, вероятно) феодальностью македонян, дошел до мгновенного государственного единства при Филиппе и Александре и только тогда стал в силах распространять свою цивилизацию до самой Индии и внутренней Африки. *Опять-таки, значит, для наибольшего величия и силы оказалась нужной бóльшая сложность формы — сопряжение аристократии с монархией.*

Цветущий период Рима надо считать, я полагаю, со времен Пунических войн до Антонинов приблизительно.

20

Именно в это время выработалась та муниципальная, избирательная диктатура, Императорство, которое так долго дисциплинировало Рим и послужило еще потом и Византии.

То же самое мы видим и в европейских Государствах.

Италия, возросшая на развалинах Рима, около эпохи Возрождения, и раньше всех других европейских Государств, выработала свою государственную форму в виде двух самых крайних антитез — с одной стороны, *высшую централизацию, в виде государственного Папства,* объединявшего весь Католический мир далеко вне пределов Италии, *с другой же — для самой себя, для Италии собственно, форму крайне децентрализованную, муниципально-аристократических малых Государств,* которые постоянно колебались между олигархией (Венеция и Генуя) и монархией (Неаполь, Тоскана и т. д.).

30

Государственная форма, прирожденная Испании, стала ясна несколько позднее. Это была монархия самодержавная и аристократическая, но провинциально малососредоточенная, снабженная местными и отчасти сословными вольностями и привилегиями, нечто среднее между Италией и Францией. Эпоха Карла V и Филиппа II есть эпоха цвета.

<sup>10</sup> Государственная форма, свойственная Франции, была в высшей степени централизованная, крайне сословная, но самодержавная монархия. Эта форма выяснялась постепенно при Людовике XI, Франциске I, Ришелье и Людовике XIV; исказилась она в 89 году.

Государственная форма Англии была (и отчасти есть до сих пор) ограниченная, менее Франции вначале сословная, децентрализованная монархия, или, как другие говорят, аристократическая республика с наследственным президентом. Эта форма выразилась почти одновременно с французской при Генрихе VIII, Елисавете и Вильгельме Оранском.

<sup>20</sup> Государственная форма Германии была (до Наполеона I и до годов 48 и 71) следующая: союз Государств небольших, отдельных, сословных, более или менее самодержавных, с избранным Императором — сюзереном (не муниципального, а феодального происхождения).

Все эти, уже выработанные ясно, формы начали постепенно меняться у одних с XVIII столетия, у других в XIX веке. Во всех открылся эгалитарный и либеральный процесс.

<sup>30</sup> Можно верить, что польза есть от этого какая-нибудь, общая для Вселенной, но уже никак не для долгого сохранения самих этих отдельных государственных миров.

Реакция не потому неправа, что она не видит истины, нет! Реакция везде *чувствует эмпирически истину*; но отдельные ячейки, волокна, ткани и члены организма стали сильнее в своих эгалитарных порывах, чем власть внутренней организующей деспотической идеи!

Атомы шара не хотят более составлять шар! Ячейки и волокна надрубленного и высыхающего дерева — здесь го-

рят, там сохнут, там гниют, везде смешиваются, восхваляя простоту грядущей, новой организации и не замечая, что это смешение есть ужасный момент перехода к неорганической простоте свободной воды, безжизненного праха, не кристаллизованной, растаявшей или растолченной соли!

До времен Цезаря, Августа, Св. Константина, Франциска I, Людовика XIV, Вильгельма Оранского, Питта, Фридриха II, Перикла, до Кира или Дария Гистаспа и т. п. все прогрессисты правы, все охранители неправы. Прогрессисты тогда ведут нацию и Государство к цветению и росту. Охранители тогда ошибочно не верят ни в рост, ни в цветение или не любят этого цветения и роста, не понимают их. <sup>10</sup>

После цветущей и сложной эпохи, как только начинается процесс вторичного упрощения и смешения контуров, т. е. большее однообразие областей, смешение сословий, подвижность и шаткость властей, принижение религии, сходство воспитания и т. п., как только деспотизм формологического процесса слабеет, так, в смысле государственного блага, все прогрессисты становятся неправы в теории, хотя и торжествуют на практике. Они неправы в теории; ибо, думая исправлять, они разрушают; они торжествуют на практике; ибо идут легко по течению, стремятся по наклонной плоскости. Они торжествуют, они имеют громкий успех. <sup>20</sup>

Все охранители и друзья реакции правы, напротив, в теории, когда начнется процесс вторичного упрощительного смешения; ибо они хотят лечить и укреплять организм. Не их вина, что они не надолго торжествуют; не их вина, что нация не умеет уже выносить дисциплину отвлеченной государственной идеи, скрытой в недрах ее! <sup>30</sup>

Они все-таки делают свой долг и, сколько могут, замедляют разложение, возвращая нацию, иногда и насильственно, к культуре создавшей ее государственности.

До дня цветения лучше быть парусом или паровым котлом; после этого невозвратного дня достойнее быть

якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору, стремящихся нередко наивно, добросовестно, при кликах торжества и с распущенными знаменами надежд, до тех пор, пока какой-нибудь Седан, Херонея, Арбеллы, какой-нибудь Аларих, Магомет II или зажженный петролеем и взорванный динамитом Париж не откроют им глаза на настоящее положение дел.

Я предвижу еще одно возражение: я знаю, мне могут сказать, что пред концом культурной жизни и пред политическим падением государств заметнее *смещение*, чем *упрощение*. И в древности, и теперь. Но, во-первых, самое смещение есть уже своего рода упрощение картины, упрощение юридической ткани и бытовой узорности. Смещение всех цветов ведет к серому или белому. А главное основание вот где. Я спрашиваю: просты ли нынешние копты, потомки египтян, или арабы Сирии? Просты ли были рагани, сельские идолопоклонники, которые держались еще после падения и исчезновения эллино-римской религиозности и культуры в высших слоях общества? Просты ли были христиане-греки под турецким игом до восстания 20 годов? Просты ли гебры, остатки огнепоклонников культурного персо-мидийского мира?

Конечно, все перечисленные люди, общины и народные остатки *несравненно проще, чем были люди, общины, нации в эпоху цвета* Египта, Калифата, греко-римской цивилизации, чем персы во времена Дария Гистаспа или византийцы во времена Иоанна Златоуста. Люди проще лично, по мыслям, вкусам, по несложности сознания и потребностей; общины и целые национальные или религиозные остатки проще потому, что люди в их среде *все очень сходны и равны между собою*. Итак, *прежде смещение и некоторая степень вторичного принижения (то есть количественное упрощение), потом смерть своеобразной культуры в высших слоях или гибель Государства и, наконец, переживающая свою государственность вторичная простота национальных и религиозных остатков*. Теперь (в XIX веке) эту болезнь предсмертную хотят считать

идеалом гигиены будущего! Идеал Прудонов и Кабе — полнейшее однообразие людей по положению, по воспитанию, и т. д., — чего же *проше* по идеалу?

## Глава VIII

### О ДОЛГОВЕЧНОСТИ ГОСУДАРСТВ

Возвращусь теперь к тому, о чем я говорил мимоходом в 1-й главе: о *долговечности* государств и культур.

Я сказал тогда, что наибольшая долговечность государственных организмов, это 1000 или много 1200 с небольшим лет. 10

Культуры же, соединенные с государствами, большею частью переживают их. Так, напр(имер), эллинская образованность и эллинская религия боролись с Христианством еще долго при византийских Императорах, тогда как последние черты эллинской государственности стерлись еще до Р. Х., отчасти во времена римского Триумvirата, отчасти еще прежде.

Религия индусов и связанный с ней быт живут давно без Государства и в наше время, не поддаваясь англичанам. 20

Византии, как Государства, нет давно, а некоторые византийские уставы, понятия, вкусы и обычаи даже под турецким владычеством отстаивают себя до сих пор от натиска космополитического Европеизма. В семейной жизни, в разговорах, в литературе, в постройках, в одеждах, во взглядах на приличия на Востоке еще много византийского. Уважение к званию, к должности, к положению здесь гораздо заметнее, чем уважение к роду, и у турок, и у греков, и у славян, и у армян, почти одинаково. Только у одних албанцев феодальное чувство личности и рода чуть-чуть заметнее, чем у других. 30

В самом церковном вопросе, если забыть об интересах и увлечениях, а смотреть, для ясности, на людей и нации как на орудия идей и начал, увидим, что греки олицетворяют

собой в этой борьбе византийское начало, византийские идеи — подчинения народа в церковных делах духовенству, а болгары — ново-европейское демократическое начало личных и собирательных прав. Греки олицетворяют в этой борьбе авторитет организованной, а не личной и своевольной религии, а болгары суверенитет самоопределяющегося народа. (Я думаю, что ни друг, ни враг болгар не может оспаривать этого объяснения.)

<sup>10</sup> Итак, дело теперь не о культурах вообще, а лишь о государствах, о долговечности юридических организмов, производящих, определяющих эти культуры или отчасти производимых ими.

Начнем с древнего Юго-Востока и мы найдем то, что нам нужно, даже во всяком учебнике:

### I. Египет.

Древний Египет и Китай могут, по-видимому, своим примером опровергать ту мысль, что Государство живет вообще не более 12 веков. Египту иные писатели приписывают огромную долговечность, около 40 веков, напр(и-  
<sup>20</sup> мер). У меня теперь под рукою статья Бюрнуфа («La science des religions») и еще книга Бюхнера: «L'homme selon la science», в которой тоже говорится о древности Египта и приводятся ссылки на многих ученых. Бюрнуф говорит о Египте вот что: «D'après des documents hiéroglyphiques, les croyances de l'Égypte ne semblent pas avoir été fixées et systématisées avant la fin de la IV-e dynastie; elles durèrent jusqu' à la conquête de se pays par Cambyse et à partir de ce temps elles tombèrent dans une décadence rapide». О 40 веках вероятных он говорит дальше. Но, во-1-х, эта продолжитель-  
<sup>30</sup> ность принята далеко не всеми учеными; во-2-х, эти 4000 лет относятся к целой религиозной культуре, а не к таким отдельным государственным организациям, как Мемфис, Царство гиксов, Фивы, Саис; в-3-х, пример египетской государственности (принимая даже, что все отдельные, сменявшие друг друга в этой стране Государства были очень сходны по строю, по форме), не может служить один опровержением тому, что вообще Государства живут не более

12 веков. Мы увидим ниже, что это так, на Риме, Греции, Персии и т. д. Египет древний долго был одинок, в стороне, он долго не имел соперников. Его поэтому трудно приравнять по долговечности к истории тех государств, которые созидались позднее друг за другом и все на тех же почти местах, не на девственной почве, а на развалинах предыдущей государственности. Если бы наука доказала, что при вовсе других условиях динотериумы, птеродактили, мегалосауры жили очень долго, то из этого не следует еще, что нынешний слон, нынешний лев или бык могут столько же прожить. О Китае я скажу дальше. Он тоже ничего не опровергает своим примером.

## II. Халдейские и вообще семитические Государства:

а) Древний Вавилон вместе с Ассирией (ибо история обыкновенно принимает, что если полумифический Немврод и существовал около 2100 [лет] до Р. Х., то все-таки через 100 лет после него Нин (около 2000 лет до Р. Х.) соединил Ассирию и Вавилон в одно государство, которое существовало до смерти Сарданапала (т. е. до 606) 1394 года.

Разумеется, не следует забывать, что летосчисление это может быть, по сравнительной бедности источников, и неточно. Что значит, напр(имер), Нин около 2000 лет? Отнимите 190 лет, напр(имер), или 200, останется 1800 до Р. Х., вычтите — 606, т. е. год падения — и на долю этой первой ассиро-вавилонской государственности выпадет как раз 12 веков, те 12 веков, которые прожил классический Рим — вечный образец государственности.

б) Новейший Вавилон всего 68 лет (от распада Ниневийского Царства в 606 году до взятия Вавилона Киrom в 538 г. до Р. Х.).

в) Карфаген, 668 года.

(От Дидоны (814) до разрушения города римлянами, т. е. до 146 г. до Р. Х.).

г) Еврейское Государство.

(Исход из Египта около 1500 лет до Р. Х.).

Но я полагаю, что государственную жизнь евреев надо считать не с номадной жизни времен Авраама и даже не со

дня пришествия евреев в Палестину, ибо это состояние их соответствует, мне кажется, состоянию германских народов во время так называемого переселения, состоянию эллинов в эпоху Троянской войны, вторжению гераклидов, римской истории в эпоху догосударственную. Разница в том, что об евреях, напр(имер), и германцах у нас есть источники более достоверные, а об эллинских, и еще более о римских, первоначальных движениях нет таких достоверных источников.

Итак, если считать начало еврейской государственности со времен Судей, то это приходится за 1300 лет до Р. Х.

Распадение Царства на Израильское и Иудейское произошло за 980 лет до Р. Х.

Стало быть, от основания до распада всего только 310 лет.

От распада до первого ассирийского пленения (т. е. до падения Израильского Царства) 260 лет.

От распада до второго или вавилонского пленения (от 980 до 600 годов, после битвы Навуходоносора с Нехао, в 404 году?) иудеи прожили еще 376 лет.

С этого времени еврейское Государство утратило самостоятельность навсегда, и Палестина стала областью сперва Вавилона, потом Персии, потом греко-македонских Царств и, наконец, Римского Государства.

Поэтому, считая от Судей даже до конца более долговечной Иудеи, мы получим от 1300 до 600 всего только 700 лет.

Ибо называть жизнь евреев после пленения жизнью государственной, это то же, если бы мы жизнь нынешней Грузии, Польши, Чехии или Финляндии назвали так оттого, что они еще имеют свою физиономию, местные, юридические и бытовые оттенки.

Что касается до волнений времени Маккавеев или до последней борьбы евреев против римлян при Тите, то это были лишь восстания подчиненных, бунты, но государственности уже не было давно.

### III. Персо-мидяне.

От Деиока, освободившего мидийское племя от владычества ассиро-вавилонского, т. е. от 707 до Александра

Македонского или до сражения при Арбелах (в 331 г. до Р. Х.). Итого только 376 лет первой персо-мидийской государственности.

По-видимому, однако, македонское завоевание было не очень глубоко, а религия Зороастра (Маздеизм) была еще достаточно крепка; ибо персидское государство возродилось впоследствии с той же религией, при влиянии свежего и, вероятно, родственного племени парфов, под династиями Арзасидов (от 250 до Р. Х.—226 по Р. Х.) и Сассанидов, от 226—636 по Р. Х., т. е. всего 886 л. 10

Итак, если мы даже соединим всю мидо-персидскую и парфянскую государственность в одно целое, несмотря на перерыв, то выйдет от Деиока (от 707 до Р. Х.) до Царя Иездегерда, при котором Царство Сассанидов было разрушено мусульманами (в 636 году по Р. Х.), 1262 года.

IV. Греческие Республики, греко-македонские Царства, греко-скифские, греко-сирийские, греко-египетские и т. д.

а) Афины от Кодра до Филиппа Македонского (1068 до 338), 730 лет.

б) Спарта от того же времени (ибо Кодр был убит во время дорического вторжения в Аттику и Пелопоннис) до сражения при Мантинее (206), где Филопемён, предводитель Ахейского Союза, победил окончательно спартанцев, или до (188 г.) уничтожения узаконений Ликурга, всего 880 или 860 лет.

в) Фивы. Основание фиванского Государства, вероятно, около того же времени дорийских переселений.

Падение его, т. е. разрушение Фив Александром Македонским в 335 году по Р. Х. Всего 733 года.

г) Сиракузы основаны в 735 году; постепенное падение в борьбе с Карфагеном века за 3 до Р. Х. Присоединение Сицилии к Риму в 212 году после очищения Сицилии от карфагенян. Всего 523 года. 30

Если же взять историю всех греческих Республик от времен баснословных до Александра Македонского, то есть от 1000 или от 1200 лет до Р. Х. (что будет очень много) до 320 годов, то выйдет и на всю, таким образом

принятую, их государственную жизнь 870 лет (пусть будет 900 даже).

д) Царство сирийских Селевкидов.

От 323 года, т. е. от распадаения кратковременной Монархии Александра до 64 года. (Уничтожение Царства Помпеем.) 259 лет.

е) Пергамское Царство от 282 до 133 года, т. е. до присоединения его к Риму, под именем Азии, 149 года.

ж) Египетское Царство Птолемеев от того же времени (323) до присоединения к Риму в 30 году. Итак, менее 300 лет (293).

з) Македонское Царство от самого начала до распадаения великой Александровой Монархии, т. е. от Пердикки I (окол(о) 700 г.) до смерти Александра Великого (до 323 года), 377 лет.

Отдельное же Македонское Царство от распадаения до обращения Метеллом Македонии в римскую провинцию, т. е. 148 года, только 175. Итого 552 года.

Теперь, если возьмем всю государственную жизнь эллинскую и македонскую вместе и будем считать ее долготу весьма произвольно, снисходительно, с самых баснословных и даже почти вовсе неизвестных времен, т. е. за 1100—1200 лет до Р. Х. и до присоединения к Риму Египта, самого последнего и счастливого в этом отношении из всех тех государств, где царил эллино-македонская образованность, то есть до 30 г. перед Р. Х., то у нас получится опять классическая цифра около 1200 лет, около 12 веков.

V. Рим. В этом Государстве расчет легче. Оно было непрерывно одно, от начала до конца. Здесь не было ни раздробления и разновременности, как у греко-македонян, ни перерывов, как у персо-мидян.

Считая от полумифических времен Ромула до Ромула-Августула и Одоакра, получаем:

от 753 г. до Р. Х.	}	1229 лет.
до 476 г. по Р. Х.		

Если же считать от времен более известных, то около 1000, не более.

VI. Византия от перенесения столицы и торжества Христианства до взятия Византии турками (от 325 по Р. Х. до 1453) — 1128 лет.

Прежде чем обратиться к вопросу о возрасте современных европейских Государств, я нахожу необходимым сказать здесь несколько слов о Китае.

Не знаю, имеем ли мы право рассматривать историю Китая, вдобавок столь еще темную, как историю одного Государства, *непрерывно прожившего несколько тысяч лет.*<sup>10</sup>

Китай справедливее, мне кажется, рассматривать, как отдельный культурный мир, вместе с Японией и другими соседними краями, как особый исторический мир, стоявший не на большой дороге народов, подобно Государствам нашего Средиземного бассейна, и потому долее сохранившийся в своей отдельности и чистоте.

К тому же надо прибавить, что и в нем, по-видимому, были смены государственные, но эти смены или еще мало известны и мало понятны нам, или они и в самом деле не представляют таких антитез и такого разнообразия, какие представляет преемственная картина Государств и цивилизаций вокруг нашего Средиземного моря.

Там, в глубине Восточной Азии, жило и волновалось почти одно и то же племя долгие века; здесь, около нас, сталкивалось множество народов, принадлежавших к нескольким породам (расам) и племенам: арийскому, семитическому, эфиопскому, чудо-тюркскому, монгольскому и т. д.

Очень может быть, повторяю, что и долголетнюю историю китайской гражданственности можно было бы, при более точном исследовании, разложить на несколько отдельных государственных периодов по 1000 или 1200 лет.

Шесть тысяч лет могут относиться к общим племенным воспоминаниям, а не к той сформированной гражданственности, о которой здесь идет речь.

Если же на такую сформированную гражданственность положить даже целых четыре тысячелетия, то эта цифра

легко разложится на несколько нормальных государственных периодов, по 1000 лет приблизительно каждый.

Об Египте я говорил уже прежде почти то же самое.

Я полагаю поэтому, что ни Египет древний, ни современный Китай, вследствие своей обособленности, не могут служить опровержением того, что — в наших краях, по крайней мере, и с тех пор, как у древнего Египта явились образованные соперники в лице халдеев и персо-мидян, — ни одно Государство больше 12 веков жить не может.

<sup>10</sup> Значительное же большинство Государств проживало гораздо меньше этого.

Демократические Республики жили меньше аристократических, Фивы меньше Спарты.

Более сословные Монархии держались крепче менее словных и восстанавливались легко после всякого разгрома.

Такова была, по-видимому, Персия Ахеменидов, возродившаяся после погрома македонского и пережившая своих минутных победителей на долгие века.

## Глава IX

<sup>20</sup> О ВОЗРАСТЕ

### ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

С какого века мы будем считать образование европейских Государств?

Неужели считать историю Франции с Хлодвига, т. е. с V века? Тогда Франция будет только одно из всех европейских Государств, непрерывно существующих доньше с того времени. Германия тогда была в хаотическом состоянии, и кой-как сколоченное арианское Царство готов, разрушенное Хлодвигом, занимало значительную ее часть. В <sup>30</sup> Англии только в IX веке Эгберт принял название Короля Англии. В Испании сначала долго господствовали аравитяне, и будущие испанцы-христиане не значили еще почти ничего.

Италия была в совершенном разгроме. В ней готов сменяли вандалы. Воцарялся Одоакр; Одоакра убивал гот Теодорих и т. д.

Следы Атиллы были везде еще свежи. Рим Западный пал всего за несколько лет до крещения Хлодвига.

Хлодвиг к тому же был еще чистый германец, чистый франк; с галло-римскими элементами не произошло еще того слития, которым началась история Франции.

Пределы класть равно трудно везде и при всех исследованиях. Пределы, границы, отличительные признаки, распределяющие что бы то ни было на классы, роды, эпохи и какие бы то ни было отделы, всегда более или менее искусственны. Естественность же приема при распределении состоит именно в том, что можно назвать наглядностью, художественным, так сказать, тактом. Так делают и в естественных науках.\*

На основании подобной же наглядности я полагаю, что весь период европейской истории до Карла Великого можно считать соответственным истории Греции героических времен Троянской войны, похода Аргонавтов; время Нибелунгов соответствует временам Гомера. В римской истории этому периоду, мне кажется, соответствует время до основания Рима или, если угодно, и весь приготовительный период первых царей. Разница только в степени достоверности событий. Для истории смутного, приготовительного времени Европы мы имеем сравнительно много разнообразных более или менее достоверных свидетельств.

Для истории приготовительного периода Эллады у нас есть только поэтическая истина гомерических стихов и т. п. Для первобытной истории Рима еще того меньше.

Простирая аналогию дальше, я думаю, что период еврейской истории от Моисея до Судей соответствует опять тому же периоду странствий, вторжений, — пригото-

---

\* Система Линнея — искусственна; система другого ботаника Bernard de Jussieu — естественна по всецелости, по совокупности признаков.

льной догосударственной борьбы. Здесь опять мы имеем, как для европейской истории, свидетельства, которые иные могут оспаривать, но которые, по крайней мере, последовательны и ясны.

Халдеи времен Немврода, иранцы до времен Астияга и Кира — не то ли же самое?

10 Вся разница, во-первых, повторяю, в степени достоверности свидетельств, которые мы имеем об этих приготовительных эпохах, в количестве и качестве подробностей, дошедших до нас; а во-вторых, в тех наиболее существенных, прирожденных свойствах, которые имели при начале своего пробуждения к исторической жизни различные народы и племена. Так, например, характер жреческий, феократический и вместе родовой преобладал у евреев, муниципальный — у греков и римлян, родственных по происхождению, сельско-аристократический феодальный — у европейцев и, может быть, у иранцев.

20 Эти чуть брезжущие в первобытной простоте и бесцветности отличительные признаки определили впоследствии весь характер их истории. Так, у римлян и греков и религия, и аристократия, и монархическое начало получили все муниципальный, градской оттенок. В Европе и аристократия и монархия получили характер феодальный; и там больше, где было слабее влияние муниципальных преданий Рима — в Германии, в Англии.

Сама светская власть Папы и его духовное могущество косвенно определились влиянием германского феодализма.

30 Гениальный Гизо, в своей «Истории Цивилизации», и Пихлер, в своей книге: «Папство и Восточные Церкви», одинаково развивают ту мысль, что на Востоке Император был один; аристократии не было, централизация была сильна, и потому Церковь могла еще опираться на этого Императора. Но что было делать Римскому Епископу среди множества западных Князей, полуцарей, полувельмож, полуразбойников, как не увеличивать сперва свою политическую независимость для бескорыстного служения Церкви, а позднее и стремиться уже к власти и преобладанию?

Именно усиление власти Папы, разрыв с византийским Востоком, принятие Карлом Великим Императорского титула и набеги норманнов (*последнее* явление так называемого переселения народов, по крайней мере, на Западе), вот эпоха, с которой впервые начинает ясно выделяться физиономия Западной Европы, с одной стороны из германского, приготовительного хаоса, с другой — из общей всему первоначальному Христианству византийской окраски.

Создав себе своего Кесаря, в подражание Византии и, вместе с тем, назло ей, Европа, сама того не подозревая,<sup>10</sup> вступала на совершенно иной путь.

IX и X века поэтому, а никак не V, надобно считать началом собственно европейской государственности, определившей постепенно и самый характер Западной культуры, этой новой всемирной цивилизации, заменившей и эллино-римскую, и византийскую, и почти современную последней, непрочную цивилизацию аравитян.\*

Цивилизация европейская сложилась из византийского Христианства, германского рыцарства (феодализма), эллинской эстетики и философии (к которым не раз прибегала Европа для освежения) и из *римских муниципальных начал*.<sup>20</sup>

Борьба всех этих четырех начал продолжается и ныне на Западе. Муниципальное начало, городское (буржуазия), с прошлого века победило все остальные и *исказило* (или, если хотите, просто изменило) характер и Христианства, и германского индивидуализма, и Кесаризма римского, и эллинских, как художественных, так и философских преданий.

Вместо христианских *загробных верований* и *аскетизма*, явился *земной гуманный утилитаризм*; вместо мысли о любви к Богу, о спасении души, о соединении с Христом, заботы о *всеобщем практическом благе*. Христианство же *настоящее* представляется уже не божественным,<sup>30</sup>

---

\* Гизо предпочитает считать начало французской государственности еще позднейшим, с Гуго Капета (987—996). Во всяком случае я сказал — IX и X века.

в одно и то же время и отрадным и страшным учением, а детским лепетом, аллегорией, моральной басней, дельное истолкование которой есть *экономический и моральный утилитаризм*.

Аристократические пышные наслаждения мыслящим сладострастием, «*бесполезной (!) отвлеченной философией и вредной изысканностью высокого идеального искусства*», эти стороны западной жизни, унаследованные ею или прямо от Эллады, или чрез посредство Рима времен Лукуллов и Горациев, утратили также свой прежний барский и царственный характер и приобрели характер более демократический, более доступный всякому и потому *неизбежно и более пошлый, некрасивый и более разрушительный*, вредный для старого строя. Личные права каждого, благоденствие всех (перерождение, демократизация германского индивидуализма и христианская *личная* доброта, обращенная в предупредительный *безличный* сухой утилитаризм) и здесь играют свою роль. «И я имею те же права!» — говорит всякий и по вопросу о наслаждениях, забывая, что «*quod licet Jovi, non licet bovi*», — что идет Людовику XIV, то нейдет Гамбетте и Руместану.

Монархическая власть на Западе, везде бывшая сочетанием германской феодальности с римским Кесаризмом, повсюду ослаблена и ограничена силой муниципальной буржуазии. Что касается до самого индивидуализма германского, который делал, что еще во времена Тацита германцы предпочитали смерть телесному наказанию, то это начало, служившее когда-то для дисциплины европейской (ибо тогда оно было уделом немногих, *обуздывавших всех остальных*), теперь стало достоянием каждого, и каждый говорит: «*Monsieur! Tous les hommes ont les mêmes droits!*» (Вопрос, что это: догмат веры или факт точной науки?)

Но, как бы то ни было, мы в Истории Западной Европы видим вот что:

Начиная с IX и приблизительно до XV, XVI и XVII и отчасти XVIII веков, она *разнообразно и неравномерно развивается*.

Со времен Карла Великого, с IX и X веков, объединившего под своим скипетром почти всю материковую Европу, за исключением самых северных стран и самых южных частей ее, определяются приблизительно прежнего будущие границы отдельных европейских Государств. Католическая схизма выясняется резче.

Вскоре по смерти Карла Великого появились те норманны, которых вмешательство в Англии, Италии и Франции способствовало окончательному выяснению государственного строя, политической формы этих стран. Норманны (именно те скандинавы Севера), которых недоставало Империи Карла, явились на Юг сами, чтобы восполнить этот недостаток, чтобы связать своим вмешательством более прежнего воедино по духу всю Европу от полярных стран до Средиземного моря.

С той поры частные европейские Государства и общая европейская цивилизация развиваются яснее, выразительнее.

После единой персо-мидийской цивилизации воцарилась в мире раздробленная эллино-македонская культура, эту сменила опять единая римская; византийская (вселенская) была отчасти (в восточной своей половине) продолжением единой римской государственности, а отчасти на другой половине таила в недрах своих новую, опять как эллинская, но по-своему раздробленную европейскую культуру.

Объединенная в духе, в идеалах собственно культурных и бытовых, но раздробленная в интересах государственных, Европа была тем разнообразнее и, вместе с тем, гармоничнее; *ибо гармония не есть мирный унисон, а плодотворная, чреватая творчеством по временам и жестокая борьба.* Такова и гармония самой внечеловеческой природы, к которой сами же реалисты стремятся свести и человеческую жизнь.

Я не буду распространяться здесь об юридическом, религиозном, областном, сословном, этнографическом, философском и художественном разнообразии Европы со времен Возрождения и до половины XVIII века. Это известно и, чтобы вспомнить это лучше, достаточно открыть любое

руководство или сочинение по всеобщей европейской истории, напр(имер), Вебера, Прево-Парадоля и других.

В этом разнообразии все историки согласны; об этом богатстве содержания, сдержанного деспотическими формами разнородной дисциплины, все одинаково свидетельствуют. Многие писатели видят в этом лишь зло; ибо они стоят не на реальной почве равнодушного исследования, а на предвзятой какой-нибудь точке зрения свободолюбия, благоденствия, демократии, гуманности. Они относятся к предмету не научно и скептически, говоря, «что выйдет — не мое дело»; они судят все с помощью конечной цели, конечной причины (запрещенной реалистам в науке); «они имеют направление», но факты остаются фактами, и каковы бы ни были пристрастия писателей, история дает у всех одно и то же в этом случае явление *развития, процесс постепенного осложнения картин*, как общеевропейской, так и частных картин Франции, Италии, Англии, Германии и т. д.

Кого бы мы ни взяли: протестанта и консерватора Гизо, прогрессиста Шлоссера, рационалиста Бокля, вига и эстетика Маколея — относительно нашего предмета все они окажутся согласными.

Тот же итог дадут нам не только историки, но и романисты, и хорошие и худые, и поэты, и публицисты, и самые краткие учебники, и самые тяжелые монографии, и самые легкие исторические очерки. Тот же итог с этой объективной *реальной* точки зрения нам дадут и Вальтер Скотт, и Шекспир, и Александр Дюма-отец, и Гёте, и Дж.-Ст. Миль (см. книгу его «Свобода»), и Прудон, и Вильгельм фон Гумбольдт, и тяжелая монография Пихлера о разделении Церквей, и любой хороший учебник.

От XIV и XV до конца XVII и кой-где до половины XVIII, а частью даже и в начале нашего века, Европа все сложнеет и сложнеет, крепнет, расширяется на Америку, Австралию, Азию; потом расширение еще продолжается, но сложность *выцветает*, начинается *смешение*, сглаживание морфологических резких контуров, религиозные

антитезы слабеют, области и целые страны становятся сходнее, сословия падают, разнообразие положений, воспитания и характеров бледнеет, в теориях провозглашаются сперва: «les droits de l'homme», которые прилагаются на практике бурно во Франции в 89 и 93 годах XVIII века, а потом мирно и постепенно везде в XIX. Потом в теории же объявляется недостаточность этого политического равенства (упрощения), и требуется равенство всякое, полное, экономическое, умственное, половое; теоретические требования этого крайнего вторичного упрощения разрешаются, наконец, в двух идеалах: в идеале анархического государства, но деспотического семейно — идеале Прудона и в распущенно-половом, но деспотическом государственно — идеале коммунистов (напр<имер>, Кабе и др<угих>).

Практику политического гражданского смешения Европа пережила; скоро, может быть, увидим, как она перенесет попытки экономического, умственного (воспитательного) и полового, окончательного, упрощительного смешения!

Не мешает, однако, заметить мимоходом, что без некоторой формы (без деспотизма, т. е.) не могли обойтись ни Прудон, ни коммунисты: первый желал бы покрыть всю землю малыми семейными скитами, где муж-патриарх командовал бы послушниками — женой и детьми, без всякого Государства. А коммунисты желали бы распределить все человечество по утилитарным киновиям, в которых царствовал бы свободно свальный грех, под руководством ничем не ограниченного и атеистического конвента.

И тут и там возврат к дисциплине. Les extrêmes se touchent!

Итак, вся Европа с XVIII столетия уравнивается постепенно, смешивается вторично. Она была проста и смешанна до IX века: она хочет быть опять смешанна в XIX веке. Она прожила 1000 лет! Она не хочет более морфологии! Она стремится посредством этого смешения к идеалу однообразной простоты и, не дойдя до него еще далеко, должна будет пасть и уступить место другим!

Весьма сходные между собою вначале кельто-романские, кельто-германские, романо-германские зародыши стали давно разнообразными, развитыми организмами и мечтают теперь стать опять сходными скелетами. Дуб, сосна, яблоня и тополь недовольны теми отличиями, которые создались у них в период цветущего осложнения и которые придавали столько разнообразия общей картине западного пышного сада; они сообща рыдают о том, что у них есть еще какая-то сдерживающая кора, какие-то остатки обременительных листьев и вредных цветов; они жаждут слиться в одно, в смешанное и упрощенное средне-порционное дерево.

«Организация есть страдание, стеснение: мы не хотим более стеснения, мы не хотим разнообразной организации!»

Везде одни и те же более или менее демократизированные конституции. Везде германский рационализм, псевдо-британская свобода, французское равенство, итальянская распущенность или испанский фанатизм, обращенный на службу той же распущенности. Везде гражданский брак, преследования католиков, везде презрение к аскетизму, ненависть к сословности и власти (не к своей власти, а к власти других), везде надежды слепые на земное счастье и земное полное равенство!

Везде ослепление фаталистическое, непонятное! Везде реальная наука и везде ненаучная вера в уравнительный и гуманный прогресс. Вместо того, чтобы из примера 70 годов видеть, что демократия везде губительна, — аристократическая и пиэтическая Пруссия безумно расплывается в либеральной, растерзанной, рыхлой и неверующей Все-Германии; она забывает, что если раздробление было иногда вредно единству порядка, то зато же оно было и несподручно для единства анархии. Однородные темпераменты, сходные организмы легче заражаются одинаковыми эпидемиями!

Сложность машин, сложность администрации, судебных порядков, сложность потребностей в больших городах, сложность действий и влияние газетного и книжного мира, сложность в приемах самой науки — все

это не есть опровержение мне. — Это все лишь орудия смешения — это исполинская толчея, всех и все толкующая в одной ступе псевдо-гуманной пошлости и прозы; все это сложный алгебраический прием, стремящийся привести всех и все к одному знаменателю. — Приемы эгалитарного прогресса — сложны, цель груба, проста по мысли, по идеалу, по влиянию и т. п. — Цель всего — средний человек; буржуа спокойный среди миллионов точно таких же средних людей, тоже покойных.

## Глава X

10

### ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ

Один из предрассудков, наиболее сильных в наше время, есть убеждение, что централизация безусловно вредна сама по себе.

Обыкновенно нападают на централизацию Франции.

Но несчастье вовсе не в самой централизации власти; несчастье в смешении форм жизни, в равенстве прав, в однообразии субъективного эвдемонического идеала и в более свободном чрез это столкновении интересов.

Чем однороднее темперамент, тем заразы опаснее, тем требования однороднее! <sup>20</sup>

Если рассматривать дело не с точки [зрения] блага всеобщего, а с точки зрения государственного охранения или порядка, то мы видим, что ни давняя централизация Франции, ни раздробленность Германии или Италии, ни провинциальные вольности прежней Испании, ни децентрализация великобританской земли, ни разнородное горизонтальное (т. е. корпоративно сословное) расслоение всей прежней Европы не помешали всем отдельным Государствам Запада <sup>30</sup> стоять долго неприкосновенными и сотворить многое множество великого и бессмертного для всего человечества.

Не централизация власти гибельна для страны сама по себе; она спасительна, напротив, до тех пор, пока почва под

этой властью разнообразна; ибо бессознательное или полусознательное: «Divide et impera» есть закон природы, а не Иезуитизм и вредная низость, как думают очень многие люди нашего времени.

Пока есть сословия, пока провинции не сходны, пока воспитание различно в разных слоях общества, пока претензии не одинаковы, пока племена и религии не уравнены в общем индифферентизме, до тех пор власть больше или меньше централизованная есть необходимость. И тогда, когда все эти краски начали бледнеть и мешаться, централизация власти остается опять-таки *единственным спасением от дальнейшей демократизации жизни и ума.*

Испания никогда не была так сосредоточена, как Франция, а разве ее положение лучше?

Италия? Разве она крепка? Разве дух ее плодуч?

Разве не ясно, что видимый кой-какой порядок в ней держится не внутренним духом, а внешними условиями общей политики. Разве, взирая неподкупленным глазом на бездарность, прозу, духовное бесплодие этой лжевозрожденной Италии, не приходит на ум, что ее объединение свершилось как бы не с целью развития сложного и обособленного в единстве Итализма, а лишь для косвенного ослабления Франции и Австрии, для более глубокого расстройтва охранительных сил Папизма, для облегчения дальнейшего хода ко всеобщему западному уравниванию и смешению? Италия стала похожа на Францию Луи-Филиппа — и больше ничего. — Только много победнее умственной производительностью именно потому, что все это *старо!*

А социалисты? Разве их нет в Италии? Если многословный и мечтательный период социализма прошел, тем хуже! Значит он гнездится глубже в бездарных, но могучих толпах!

Ясно одно: Европа в XIX веке переступила за роковые 1000 лет государственной жизни.

Что же случилось с ней?

Повторяю, она вторично смешалась в общем виде своем, составные части ее стали против прежнего гораздо

сходнее, однообразнее, и сложность приемов прогрессивного процесса есть сложность, подобная сложности какого-нибудь ужасного патологического процесса, ведущего шаг за шагом сложный организм к вторичному упрощению трупа, остова и праха!

Вместо организованного разнообразия больше и больше распространяется *разложение в однообразии!* Факт этот, кажется, несомненен; исход может быть сомнителен, я не спорю; я говорю только о современном явлении, и если я сравню эту картину с картинами всех древних Государств<sup>10</sup> перед часом их гибели, я найду и в истории Афин, и в истории Спарты, и всей Эллады, и Египта, и Византии, и Рима одно только общее, именно под конец: уравнение, всеобщее понижение, смешение, круглые, притертые взаимно голыши, вместо резких кристаллов, дрова и семена, годные другим новым мірам для топки и для пищи, но не дающие уже прежних листьев и цвета.

Нынешний прогресс не есть процесс развития: он есть процесс вторичного, смешительного упрощения, процесс разложения для тех Государств, из которых он вышел или которым крепко усвоился... Иногда... кажется, и для всего міра — Япония, например, тоже европеизуется (гниет).

Что же сделали над собою европейские Государства, переступая за роковое 1000-летие?

Они все испортили у себя более или менее в частностях ту государственную форму, которая выработалась у них в период цветущей сложности. Они все постепенно изменили той системе отвлеченных, вне личного субъективного удовольствия постановленных идей, которые выработались у них в эпоху морфологическую и вознеслись над ними как знамя, как великая руководящая тень.

С конца XVIII века и в начале нашего на материк Европы вторглись ложнопонятые тогда англо-саксонские конституционные идеи.

Испания была самодержавной, но децентрализованной Монархией. Ее попытались сделать более конституцион-

ной, ограниченной; попытались ослабить власть и усилить, *сосредоточить представительство* народа.

Приблизив Испанию более к этому лже-британскому типу, упростили этим самым еще немного *общую* юридическую картину Европы.

И что ж мы видим?

Франция? Но говорить ли о столь известной истории Франции, которая так ясна и поучительна! Ее форма была Самодержавие централизованное, аристократическое и католическое.

*Обманчивое*, пламенное величие 89 года изменило все это. С тех пор Франция все больше и больше *смешивалась, уравнивалась всячески*, пока 71 год не обнаружил, что у нее много людей, но нет человека, вождя! Вождей создает не парламентаризм, а реальная свобода, т. е. *некоторая свобода самоуправления*. Надо уметь властвовать беззастенчиво!

И заметьте, именно с 60 годов, как только либеральная партия жалких Жюль-Фавров и К° начала брать верх, как только Наполеону III стали вязать руки, так и началась ошибка за ошибкой, несчастье за несчастьем.

*Не власть виновата, виновата непокорность!*

Теперь Франция очень смешана и даже проста: она демократическая Республика. Прочна ли она?

Что делает Германия?

Во-первых, прежде всего напомним, что *политически умерли* уже все государства средней и южной Германии, т. е. те, в которых, особенно после 48 года, *стало больше равенства и свободы* и больше *рационализма* (Риль чрезвычайно художественно описывает это *смещение* средней Германии).

Только одна католическая Бавария еще обнаруживает признаки жизни, благодаря своему *своеобразию, своей отсталости* (тоже у Рили есть о баварских селянах прекрасные места).

*Победила всех и все Пруссия, у которой были:*

1) Король *набожный* и почти *всевластный*; 2) конституция *плохая*, т. е. дававшая возможность власти делать

дело; 3) привилегированное и воинственное юнкерство. Итак, именно все то, чего не было или чего было меньше у средней Германии в 66 и у Франции в 70 годах.

Но... дальше что?

Ренан, который был либералом, кажется, только в религии (что, конечно, хуже всего), после поражения французской демократии, осрамившейся без Императора еще хуже, чем при нем, Ренан в отчаянии воскликнул, что без аристократии жить нельзя Государству; но так как назад не может возвратиться никто, так пусть, говорит он, продолжается наше демократическое гниение! Мы стараемся отомстить нашим соседям, заражая и их тем же.

Вскоре после этого газета «Times» напечатала следующее: «Мщение Франции осуществляется — старая Пруссия демократизируется» и т. д.

И вот мы видим, что влияние прусской аристократии в округах уничтожено, Католическая партия и Церковь преследуется так, что само протестантское духовенство смущено (этот бессильный Протестантизм!), вводится обязательный гражданский брак... (т. е. юридический конкубинат).

Что касается до всеобщей грамотности, всеобщего ополчения и всеобщего единства, до железных дорог повсюду и т. п., то это все вещи обоюдоострые, сегодня для порядка, а завтра для разрушения удобные. Это все служит тому же вторичному смешению.

Внешняя политика скользка между славянами и Францией.

Либералы сильны лишь оппозицией и фразами в мирное время. У либералов XVIII века были новые идеи, старые ненависти и материальные интересы на подачку простому народу. Есть ли все это у нынешних либералов?

Австрия, побежденная под Садовой, вступила искренно впервые в новую эру свободы и равенства и — распалась на двое, опасаясь со дня на день распада на 5—6 частей.

Турция — даже и та едва держится, и держится она не сама, но лишь внешними обстоятельствами и внутренними

раздорами христиан. С каких это пор? С тех пор, как она более прежнего *уравняла права и положение разновременных*, с тех пор, как демократизировалась по-своему. Если бы дать ей еще парламент, как хотели англичане, чтобы парализовать влияние России и Генерала Игнатьева на самодержавного Султана, то, прибавив либеральную неурядицу к эгалитарной слабости, Турция не простояла бы и нескольких лет.

<sup>10</sup> Остается одна Англия. Здесь эгалитарный процесс не так еще резко выразился.\* Что касается до либерализма в тесном чисто конституционном или политическом смысле, то он уже был издавна присущ естественной организации этой страны.

Если же расширить понятие свободы, то она в некоторых отношениях непременно совпадет с равенством. А такой свободы в Англии не было прежде.

Ни диссидентов Англии, ни католиков вообще, ни ирландцев, ни бедные классы нельзя было назвать вполне свободными даже и политически. Свободные учреждения <sup>20</sup> Англии были до новейшего времени тесно связаны с привилегиями Англиканской Церкви.

Равенства, в широком смысле понятого, в Англии было сначала, пожалуй, больше, чем, напр(имер), во Франции, но потом, именно по мере приближения цветущего периода (Елисавета, Стюарты, Вильгельм Оранский и Георги), и юридического и фактического равенства, стало все меньше и меньше. И Англия, как всякое другое Государство, как всякая нация, как всякий организм, даже более, как все существующее и в пространстве и в сознании (как дерево, <sup>30</sup> как человек, как философские системы, как архитектурные стили), подчинилась всеобщему закону развития, которое состоит в постепенном осложнении содержания, сдерживаемого до поры до времени деспотизмом формы; по тому закону, по которому все сперва индивидуализируется, т. е.

---

\* *Реформы Гладстона теперь* и Англию почти сравнивали с другими странами на пути разрушительного смещения (1885 г.).

стремится к высшему единству в высшем разнообразии (к оригинальности), а потом расплывается, смешивается, упрощается вторично и понижается, дробится и гибнет.

С первого взгляда кажется, как будто Англии посчастливилось больше других стран Европы. Но едва ли это так. Посмотрим, однако, повнимательнее.

Конечно, Англии посчастливилось сначала тем, что она долго сбывала свои горючие материалы в обширные колонии. Англия демократизировалась на новой почве — в Соединенных Штатах Америки.

Соединенные Штаты относятся к Великобритании в пространстве точно так же, как Франция XIX века относится во времени к Франции XVII [в.]. Америка Вашингтона и Линкольна и Франция Наполеона I, Наполеона III, это одинаково демократически смешанные страны, вышедшие посредством процесса вторичного смешения, первая из Англии Елисаветы, Вильгельма III и Питта, вторая из Франции Франциска I, Ришелье и Людовика XVI.\*

При процессе вторичного смесительного упрощения, я кажется уже говорил: до полной первоначальной племенной простоты и бледности Государства и нации, прежде своего окончательного разрушения или глубокого завоевания, никогда не доходят. Они всегда сохраняют до последней минуты некоторые черты своего цветущего периода. Так

---

\* Соединенные Штаты — это Карфаген современности. Цивилизация очень старая, халдейская, в упрощенном республиканском виде на новой почве в девственной земле.

Вообще Соединенные Штаты не могут служить никому примером. Они слишком еще недолго жили; всего один век. Посмотрим, что с ними будет через 50—25 лет. (И у них было прежде больше прочного, не смешанного разнообразия — было рабство, а теперь упрощение и смешение.) Если они расширятся, как Рим или Россия, на другие несхожие страны, на Канаду, Мексику, Антильские острова и вознаградят себя этой новой пестротой за утраченную последней борьбой внутреннюю сложность строя, не потребуется ли тогда им Монархия? Многие, бывшие в Америке, так думают.

Спарта кончила жизнь с двумя Царями. Рим с своей законной диктатурой Императора и даже с тенью Сената.

Так Афины умирали с фактическими излюбленными демагогами во главе, с Демосфенами и Фокионами.

Византия пала с Православным Кесарем на стенах Нового Рима и т. д.

И дабы еще раз убедиться, что приведенные мною многократно примеры из жизни не политической, а из явлений природы и из истории духа человеческого употреблены были не как риторическое уподобление, а в виде попытки объяснить реалистическими всеобщими законами историю развития и в особенности падения Государств, упомяну здесь о том, что и во всем существующем мы встречаем то же. Именно мы видим, что при процессе разложения и смерти остаются до последней минуты некоторые черты, выяснившиеся в период цвета или сложности.

Так зародыши всех животных очень схожи между собой, очень просты и разнообразны; плоды утробные всех млекопитающих крайне однородны и схожи вначале; но остатки разных животных довольно еще различны, пока не распадутся в прах (например, внутренний скелет позвоночных, наружные покровы умерших суставчатых, раковины моллюсков и т. д.). Так деревья высохшие и лишенные листьев хранят еще следы своей прежней организации: они проще, однообразнее, малосложнее прежнего, но опытный, внимательный глаз по рисункам коры, по общим контурам ствола и ветвей, по росту, различает, который дуб, которая яблоня, который тополь или маслина.

Так Протестантизм, который был сначала не что иное, как вторичное смесительное упрощение Католицизма, сохранил в себе, однако, некоторые черты Римской Церкви.

Кончив это необходимое замечание, я обращусь опять к англо-саксонской истории.

Итак, Великобритания сначала смешалась и даже упростилась вначале за океаном и тем спасла себя от внутреннего взрыва и от насильственной демократизации дома.

Но она не спасла себя все-таки от частного разложения. *Насильственное отпадение упрощенной заатлантической Англии произошло почти в одно время с насильственным внутренним смешением Франции. И то и другое событие относится ко 2-й половине прошлого века.*

Обладая Индией, Австралией и другими колониями, завоеывая то Канаду, то Гибралтар, присоединяя то Мальту, то Ионические острова, Великобритания вознаградила, правда, себя за эту потерю посторонним новым разнообразием вне своих пределов, подобно древнему Риму,<sup>10</sup> который, *смешиваясь и отчасти в смысле однообразия и упрощаясь внутренне*, но, вместе с тем, присоединяя своеобразные и неравноправные с собою страны, поддерживал долго свое существование.

Закон разнообразия, способствующего единству, и тут остается в полной силе.

*Завоевания оригинальных стран — единственное спасение при начавшемся процессе вторичного смешения.*

Однако с 20-х—30-х годов и в недрах самой Англии<sup>20</sup> начался прогресс демократический.

И у нее явились радикалы. И эти радикалы, как бы именно для того, чтобы сблизить государственный тип Великобритании с типами материка Европы, чтобы упростить в будущем и уравнять в настоящем картину всего Запада, нередко бывают централизаторами. Таков, напр(имер), во многих случаях и сам Джон-Стюарт Милль.

Разнородные и странные особенности английской организации понемногу сглаживаются, оригинальные обычаи сохнут, быт разных провинций становится более однородным.<sup>30</sup> Права католиков уравниваются, однообразия воспитания и вкусов гораздо больше прежнего. Лорды уже не брезгают поступать директорами банков. Средний класс, как и в других странах Европы, преобладает давно. *Господство же среднего класса есть тоже упрощение и смешение; ибо он по существу своему стремится все свести к общему типу так называемого «буржуа».*

Поэтому и Прудон, этот упрости́тель *par excellence*, с жаром уверяет, что *цель всей истории состоит в том, чтобы обратить всех людей в скромных, однородного ума и счастливых, не слишком много работающих буржуа*. «Будем крайни теперь в наших порывах!» — восклицает он, «чтобы дойти скорее до этого среднего человека, которого прежде всего выработал *tiers-état* Франции!»

Хорош идеал! Однако во всех странах идут люди по следам Франции. Недавние известия из Англии говорят, что г. Брайт, напр(имер), в речах своих выражает нетерпение: «когда же Англия станет настоящей свободной страной?»

Любопытно сравнить с подобными речами передовых англичан вопли раскаяния многих несомненно умных французов, например, Ренана.

Жаль будет видеть, если англичанам придется брать уроки поздней мудрости у безумных французов. Дай Бог нам ошибиться в нашем пессимизме!

Мирный постепенный ход эгалитарного прогресса, вероятно, должен иметь на ближайшее будущее нации действие иное, чем имеют на это ближайшее будущее перевороты бурные, совершающиеся с целью того же эгалитарного процесса. Но на будущее более отдаленное, я полагаю, действие бывает сходное. Мирное смешение прежде, расстройство дисциплины и необузданность после.

Однообразие прав и большее противу прежнего сходство воспитания и положения антагонизма интересов не уничтожает, быть может, усиливает, ибо потребности и претензии сходнее.

К тому же замечается, что везде под конец государственности усиливается неравенство экономическое параллельно и одновременно с усилением равенства политического и гражданского.

Страданий не меньше прежнего; они другого рода, новые страдания, которые чувствуются глубже, по мере того вторичного уравниения в понятиях, во вкусах, в потребностях, которое настает по окончании сложного цветущего периода общественной жизни.

Гипотеза вторичного упрощения и смешения, которую я пытаюсь предложить, имеет, конечно, значение более *семиологическое*, чем *причинное* (чем *этиологическое*).

Вторичное упрощение и вторичное смешение суть признаки, а не причина, государственного разложения.

Причину же основную надо, вероятнее всего, искать в психологии человеческой. Человек ненасытен, если ему дать свободу. Голова человека не имеет формы гвардейского павловского шишака, плоскую сзади в стороне чувств и страстей, высокую, развитую спереди в стороне рассудка.<sup>10</sup> И, благодаря этому развитию задних частей нашего мозга, *разлитие* рационализма в массах общественных (другими словами, распространение *бóльших* противу прежнего *претензий на воображаемое понимание*) приводит лишь к возбуждению разрушительных страстей, вместо их обуздания авторитетами. Так что наивный и покорный авторитетам человек оказывается, при строгой проверке, ближе к истине, чем самоуверенный и заносчивый гражданин уравненного и либерально-развинченного общества. Русский безграмотный, но богомольный и послушный крестьянин,<sup>20</sup> эмпирически, так сказать, ближе к реальной правде житейской, чем всякий рациональный либерал, глупо верующий, что все люди будут когда-то счастливы, когда-то высоки, когда-то одинаково умны и разумны.

Разве реалисты не стали бы смеяться над тем, кто сказал бы, что прямые углы были равны только по ошибке наших отцов, а отныне и впредь будет все иначе на этой бедной земле?..

Лукавые происки властителей и преобладающих классов сделали то, что земля обращалась около солнца. Это невыгодно для большинства. Мы сделаем то, что земля будет обращаться отныне около Сириуса! Прогресс нарушит все основные законы природы... Животные будут мыслить пенью, варить пищу легкими, ходить на голове!.. Все ячейки, все ткани будут однородны, все органы будут совершать одинаковые отправления и в полной гармонии (не антитез, а согласия!).<sup>30</sup>

Если и в Англии уже довольно ясно выразился процесс демократического упрощения, то можно желать от всего сердца, чтобы дальнейший ход этого процесса совершался в ней как можно медленнее, чтобы она как можно дольше оставалась поучительным примером сложности и охранения. Но можно ли уверять себя, что Англия Гладстонов и Брайтов то же самое, что Великая Британия Питтов и даже Роб. Пилей?

<sup>10</sup> Р. Пиль был великий государственный муж: он крайне неохотно уступал прогрессу смешения и уравнивания. Он не увлекался им, как наши политические деятели. Он говорил: «Я не нахожу более возможным продолжать борьбу».

Повторяю еще раз: все Государства Запада сначала были схожи, потом стали очень различны друг от друга и внутренне сложны, а теперь они опять все стремятся сойтись на почве эгалитарной разнузданности. Серьезный, солидный психический характер нации не поможет тут ничего.

<sup>20</sup> Твердые и тяжелые вещества, сталкиваясь в беспорядке, действуют друг на друга еще разрушительнее мягких или легких.

Все сливается, и все расторгается.

## Глава XI

### СРАВНЕНИЕ ЕВРОПЫ С ДРЕВНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ

Здание европейской культуры было гораздо обширнее и богаче всех предыдущих цивилизаций.

<sup>30</sup> В жизни европейской было больше разнообразия, больше лиризма, больше сознательности, больше разума и больше страсти, чем в жизни других, прежде погибших исторических миров. Количество первоклассных архитектурных памятников, знаменитых людей, священников, монахов, воинов, правителей, художников, поэтов было больше, войны

громаднее, философия глубже, богаче, религия беспримерно пламеннее (напр<имер>, эллино-римской), аристократия резче римской, монархия в отдельных Государствах определеннее (наследственное) римской; вообще самые принципы, которые легли в основание европейской государственности, были гораздо многосложнее древних.

Чтобы потрясти такое сложное по плану (см. об этом предмете у Гизо, в «Истории цивилизации») и величественное, небывалое здание, нужны были и более сильные средства, чем в древности. Древние Государства упрощались почти нечаянно, эмпирически, так сказать. <sup>10</sup>

Европейские Государства упрощаются самосознательно, рационально, систематически.

Древние Государства не проповедывали сознательно религии прогресса; они эманципировали лица, классы и народы от старых уз цветущего периода и, отчасти, вопреки себе, вопреки своему идеалу, который в принципе был вообще консервативен.\*

Европа, чтобы растерзать скорее свою благородную испанскую грудь, поверила в прогресс демократический, не только как во временный переход к новой исторической метемпсихозе, не только как в ступень к новому неравенству, новой организации, новому спасительному деспотизму формы, нет! — она поверила в демократизацию, в смешение, в уравнение, как в идеал самого Государства! <sup>20</sup>

Она приняла жар изнурительной лихорадки за прорезывание младенческих зубов, за государственное возрождение из собственных недр своих, без помощи чуждого притока! Древность поэтому не может представить той картины систематического, рационального смешения, того, <sup>30</sup> так сказать, научно предпринятого вторичного упрощения, какое представляют нам Государства Европы с XVIII века.

---

\* Дж.-Ст. Милье говорит о том, что все мыслители классической древности были консерваторы; только теперь, мол, поняли, что есть прогресс.

У древности это движение менее ясно, менее резко, менее окончено; но можно убедиться, что и во всех древних Государствах вторичное упрощение картины, — ослабление, подвижность власти, расшатывание каст, и поэтому неорганическое отношение людей, племен, религий, более однообразное противу прежнего устройство областей предшествовали падению и гибели.

В некоторых случаях прошедшее служит примером и объяснением настоящему; в других настоящее своей ясностью и резкостью раскрывает нам глаза на что-либо более смутное и темное в прошедшем.

Сущность явления та же; сила, выразительность его могла быть разная, при разных условиях времени и места.

Припомним кратко, как кончали свою жизнь различные Государства древности.

Отдельное Афинское Государство было погублено демагогами. Это до того уже известно, что ученику Гимназии, который не знал бы о роли Клеона, о консервативном или реакционном духе комедии Аристофана, о напрасных попытках спартанцев, Крития, 30 Тиранов, Пизандра и др(угих) восстановить аристократическое правление в анархическом городе, такому ученику поставили бы на испытании единицу.

Устройство Афин, уже со времен Солона не слишком аристократическое, после Перикла приняло вполне эгалитарный и либеральный характер.

Что касается до Спарты, она шла другим путем, была беднее и крепче духом, но и с ней случилось под конец то же, что с нынешней Пруссией: Государство бедное, более суровое и более аристократическое, победило другое Государство более торговое, более богатое и более демократическое, но немедленно же заразилось всеми его недостатками.

Спарта под конец своего существования изменила только одну существенную черту своего быта: она освободилась от стеснительной формы своего аристократического сословного коммунизма, по которому все члены неравных горизонтальных слоев были внутри этих слоев равны между собою.

В ней стало больше политического равенства, но меньше экономического.

Около 400—350 до Р. Х. общественные имущества были объявлены частными (как и в других местах), и всякий стал волен располагать ими, как хотел, всякий получил равное право богатеть и беднеть по воле.

Организация Спарты, дорийская форма, испортилась и стала приближаться постепенно к тому общему среднему типу, к которому стремилась тогда Эллада бессознательно.

Реакция Царей Агиса и Клеомена в пользу Ликурговых законов так же мало удалась, как и реакция афинских олигархов.

Что касается до общей истории эллинского падения, то самое лучшее привести здесь несколько слов из руководства Вебера. Для таких широких вопросов хорошие учебники самая верная опора. В них обыкновенно допускается лишь то, что признано всеми, всей наукой:

«Мы видели, — говорит Вебер, — что греческий гений уничтожил и разбил мало-помалу строгие формы и узкие пределы Восточной (я бы сказал не Восточной, а просто первоначальной) организации, распространил личную свободу и равенство прав для всех граждан до крайних пределов и, наконец, в своей борьбе против всякого ограничения личной свободы, чем бы то ни было, традициями и нравами, законом или условиями, потерялся во всеобщей нестройности и непрочности». Далее я не выписываю (см. «Всеобщая история» Вебера, заключение греческого мира, последние страницы).

Я привел отрывок из общепринятого немецкого руководства.

Но можно найти почти то же в сочинении Гервинуса, «История XIX века».

Гервинус начинает свою книгу с того, что находит большое сходство между последними временами павшей Элады и современностью торжествующей Европы.

И Гервинус верит в будущее: «Исторические размышления избавили меня от пламенных ожиданий, волнующих

других, и тем предохранили от многих заблуждений, но, вместе с тем, эти размышления никогда не отказывали мне в утешении и поддержке». Таковы слова знаменитого ученого. Он не говорит, однако, на какие именно утешения он рассчитывает, на всеобщее благо, хотя бы купленное ценою падения современных Государств, или на долгую государственную жизнь современной демократии? А различить это было бы очень важно. Вернее, что он думает о последнем.

<sup>10</sup> Гервинус находит и в истории Эллинизма и в современности следующие сходные явления:

«Везде, говорит он, мы замечаем правильный прогресс свободы духовной и гражданской, которая сначала принадлежит только нескольким личностям, потом распространяется на большее число их и наконец достается многим. Но потом, когда Государство совершит свой жизненный путь, мы снова видим, что от высшей точки этой восходящей лестницы развития (я бы сказал разлития!) начинается обратное движение просвещения,\* свободы и власти, которые от многих переходят к немногим и наконец к нескольким».

<sup>20</sup> «В Элладе воцарилась перед падением Тирания; в Европе теперь (говорит он в издании 1852 г.) абсолютизм». Видимо, он находился под впечатлением воцарения Наполеона III и реакции в Германии.

Но последствия доказали, что Наполеон III еще больше демократизировал Францию, а монархическая реакция Германии, рядом антитез политических, привела эту страну точно так же к современному ее смесительному процессу.

<sup>30</sup> К тому же я не вижу, чтобы тирания единоличная была в Элладе везде в эпоху падения. Главные два представителя Эллинизма, Афины и Спарта, пали в республиканской форме.

Если же считать и монархический македонский период за продолжение эллинской государственности (хотя это будет не совсем строго), то надо будет заключить вот что:

---

\* Разве в александрийском периоде количественное разлитие просвещения не было гораздо сильнее, чем в эпоху творчества?

Абсолютизм, на почве уже вторично смешанной и уравненной, конечно, есть единственный якорь спасения; но действительность его не слишком прочна без притока нового дисциплинирующего разнообразия.

Греко-македонские Монархии простояли очень недолго. Наполеон III пал, и будущее объединенной и смешанной Германии, по аналогии, должно быть сомнительным, по крайней мере.

Ясно, что и Гервинус не свободен от религии «des grands principes de 89».

10

Причины падения древнего Египта так же хорошо известны, как и причины падения эллинских Государств, хотя и в более общих чертах, с менее осязательными подробностями.

И здесь мы увидим то же, что и везде. В цветущем периоде сложность и единство, сословность, деспотизм формы; потом еще большее, но мгновенное, увеличение разнообразия посредством небывалого дотоле допущения иностранцев (греков и финикийян при Псамметихе и Нехао; 200 000 воинов выселились при виде такого прогресса),<sup>20</sup> возрастание богатства, торговли и промышленности, поэтому большая подвижность классов и всей жизни, потом незаметное сразу уравнивание, смешение, слитие и... наконец, почти всегда неожиданное, внезапное падение (Нехао-Лессепс, Камбиз и т. д.).

Говорить ли о Риме?

Его постепенная демократизация слишком известна.

Смешивался и уравнивался он не раз. Первый раз патриции смешались, уравнились постепенно с плебеями в маленьком, первоначальном Риме. Это придало Риму, как<sup>30</sup> всегда бывает, мгновенную силу, и он воспользовался этой силой для завоеваний в Италии. При этих завоеваниях наставшее внутреннее уравнивательное упрощение восполнилось новым разнообразием, как быта присоединяемых областей, так и неравномерными правами, даруемыми им.

Потом почти вся Италия смешалась, сравнялась в правах и, вероятно, в духе и быте. Начались завоевания на юге

и западе, на севере и востоке, весьма разнообразных племен и государств.

Все простые аристократические реакции Кориоланов, Сулл, Помпеев, Брутов и здесь не удались надолго, *хотя, конечно, и сделали свою долю пользы в смысле какой-нибудь еще непонятной нам пондерации реальных сил общества.*

<sup>10</sup> Цезарь и Август еще более демократизировали Государство: они были вынуждены ходом развития сделать это, и осуждать их за это нельзя.

Время от Пунических войн приблизительно до Антонинов включительно есть время цветущей сложности Рима. Упрощаясь в одном, развязывая себе руки, он еще более разнообразился, вырастая до тех пор, пока силы, смешивающие и упрощающие все существующее, не взяли и в нем верх над силами осложняющими и объединяющими, над силами организующими.

Каракалла (в III веке по Р. Х.) уравнил права всех граждан, рожденных не от рабов, по всей Империи.

<sup>20</sup> При Диоклетиане (который был *сам сын раба*) мы стоим уже у ворот Византии. Не находя около себя сословных начал, он ввел сложное чиновничество (вероятно, по образцам древне-восточным, персо-халдейским; *ибо все возвращается, хотя и несколько в новом виде*). После него Константин принял Христианство. Вместо политеистического, муниципально-аристократического, «конституционного», так сказать, Рима явилась христианская, бюрократическая, но все-таки муниципальная, Кесарская Византия.

<sup>30</sup> Старая эллино-римская муниципальность, старый римский Кесаризм, новое Христианство и новое чиновничество на образце азиатский, вот с чем Византия начала свою 1000-летнюю новую жизнь.

Как Государство, Византия провела, однако, всю жизнь лишь в оборонительном положении. Как цивилизация, как религиозная культура, она царяла долго повсюду и приобрела целые новые миры, Россию и других славян.

Как Государство, Византия была немолода. Она жила вторую жизнь — доживала жизнь Рима.

Она была молода и сильна религией. И разнообразие ее было именно на религиозной почве. Замечательно, что к X веку были почти уничтожены или усмирены все ереси, придававшие столько жизни и движения византийскому миру.

Торжество *простого консерватизма* оказалось для Государства так же вредно, как и слишком смесительный прогресс. Весь Запад отложился от Церкви, и православные (*уравненные*) болгаре Симеона оказались опаснее болгар-язычников Крума. Империя едва-едва справилась с ними. Церковь, приостанавливаясь, была права для себя; она выработала главные черты догмата, обряда и канона, предоставляя подробности разнообразию времени и места.

Нравственная жизнь Церкви не ослабела. Святые отшельники продолжали на Востоке действовать своим возбуждающим примером на паству; были и мученики; в дальней России Православие росло под византийским влиянием. Ему предстоял еще бесконечный путь. Но под этой осмысленно приостановившейся философией Церкви продолжало скуднее прежнего существовать *слишком подвижное, смешанное* в частях своих Государство. Права были до того уравнены, что простые мясники, торговцы, воины всяких племен могли становиться не только сановниками, но даже Императорами.

С IX—X века зрелище Византии становится все проще, все суше, все однообразнее в свей подвижности. Это процесс какого-то одичания, вроде упрощения разнообразных садовых яблок, которые постепенно все становятся одинаково дикими и простыми, если их перестать прививать. Этот род вторичного упрощения, падения, господствовал также в Италии после блестящей эпохи Возрождения; в Испании он настал после Филиппа II; он грозил бы, вероятно, и Франции после Людовика XV, если бы не произошла вспышка 89 года, заменившая *принижение застоя порывистым смешением прогресса*; тихую сухотку —

восторженной холерой демократии и всеобщего блага! Необходимы новые элементы, но элементы, почерпнутые из сил своего только народа или близкого нам племени, страдающего, подобно нам, простотою или смешением, мало полезны; они, конечно, предотвращают падение на несколько времени и дают всегда период шумной славы, но ненадолго. Упрощающий прогресс есть уже не одичание упрощающего одностороннего охранения, а последнее плодonoшение и быстрое гниение. Блеска много, прочности никакой. Примеры Франции времен Республики и I-й Империи, Италии 59—60 годов и, вероятно (для меня, сознаюсь, и несомненно даже), Германии *завтрашнего дня* — на глазах.

Раз упростившись политически и сословно, неизбежным ходом дел, Государству остается одно: или разлагаться, или сближаться с новыми *чуждыми, несхожими* элементами, — присоединять, завоевывать новые страны, носящие в себе условия дисциплины, и не спешить глубоким внутренним единением всего, *не становиться слишком однообразным, простым по плану или узору.*

Что скажет нам, наконец, великая Персия Кира и возрожденная Держава Сассанидов?

Разумеется, несмотря на все усилия науки, несмотря на клинообразные надписи и на многие другие археологические открытия последнего времени, подробности персидской истории менее для нас осязательны, чем подробности истории эллинов, римлян и византийцев, дошедшие до нас в стольких письменных документах. Однако индуктивно, исходя из других примеров, мы можем и в этом Государстве предполагать движения, сходные с нынешним в общих чертах.

Начало до Кира: простота бытовая, простая религия огня, простые феодальные вожди. Однообразие зеленых яблоч.

Потом завоевание мидийских и халдейских стран.

Присоединение Лидии, греков, египтян, евреев, чрезвычайная пестрота и могучее Царское единство.

Можно себе, без особенного труда и ошибки, вообразить, как велико должно было быть разнообразие быта, религии, языков, разнородность прав и привилегий в этой обширной Империи после Камбиза и до Дария Кодомана. Все объединялось в лице Великого Царя, который был олицетворением Бога на земле. Сатрапы, управлявшие довольно независимо разнообразными областями, были, вероятно, большею частью, сначала иранского, феодального, происхождения. Но двор Царя, для объединения, должен был, конечно, опираться не на одних природных феодалов иранцев, а для равновесия и на разные другие, более смешанные, демократизированные, протестующие силы других народностей. Двор Великого Царя, бывший центром сложного цветения, должен был стать постепенно и исходной точкой постепенного смещения и сравнительного уравнивания людей, племен, религий. Мы видели, что всякого рода люди проникали ко двору: халдеи, греки, евреи. История еврея Мардохея и македонянина Амана одна уже доказывает это.

Демократическое расстройство Империи, однако, было, вероятно, еще не глубоко в эпоху Дария Кодомана и Александра Великого.

Несмотря на кажущуюся победу греко-македонян, победила в сущности Персия. Ибо после смерти Александра о Греции, собственно, об Элладе республиканской и помина уже нет; а македонские Царства все кончили свою жизнь через 2 или 3 столетия, все погибли под ударами Рима еще до Р. Х. К тому же видно по всему, что греки повлияли гораздо меньше на персов, чем персы на них и на учеников их — римлян. До столкновения с персами греки были своеобразнее, чем стали после этого соприкосновения, и государственный дух персидского Царизма повлиял не только на них, но гораздо позднее и на римлян и еще более на переработанных Востоком византийцев.

Греко-македонская государственность немедленно после смерти Александра была отодвинута к северным и западным окраинам Персии, и вскоре после этого мы видим в восточной части прежней Империи свежий приток парфян,

снова простых, снова феодальных, воинственных и, может быть, родственных по племени древним иранцам.

Рим не может вполне победить их.

Под их влиянием воздвигается новое Царство огнепоклонников с той же религией, с теми же (вероятно, в главных чертах) государственными принципами, и проживает до XII века по Р. Х.

В этом веке древнее Государство гибнет от руки мусульман, и самая религия Зороастра исчезает почти вовсе из истории. Не знаю, существуют ли подробные ученые труды о Царстве Сассанидов. Мне они не известны. Но, продолжая надеяться на аналогию, я думаю, что те смешивающие причины, которые действовали при последних Ахеменидах, могли в Империи возобновленной (и потому уже все-таки не юной) действовать еще глубже.

Может быть, и к тому сложному чиновничеству, которое, говорят иные, послужило отчасти образцом византийскому, Цари Сассаниды должны были прибегнуть уже как к подспорью парфянского феодализма. А сложное подвижное чиновничество, разумеется, при всех остальных равных условиях, есть средство дисциплины для низших классов (и для сталкивающихся интересов вообще) менее прочное, чем соединение и взаимное равновесие родовой аристократии и чтимой всеми Монархии.

Граф Гобино, в своей книге «Histoire des Perses», утверждает, что Царство Сассанидов именно и создано было *разноплеменной демократией*, низвергнувшей военный феодализм парфян.

Из всего сказанного, мне кажется, позволительно заключить следующее:

1. Что мы можем находить значительную разницу в степени упрощения и смешения элементов в последние годы жизни у разных Государств, но у всех найдем этот процесс, сходный в общем характере с современным эгалитарным и либеральным прогрессом Европы.

2. Что культуры государственные, сменявшие друг друга, были все шире и шире, сложнее и сложнее: шире и по

духу, и по месту, сложнее по содержанию; персидская была шире и сложнее халдейской, лидийской и египетской, на развалинах коих она воздвиглась; греко-македонская на короткое время еще шире; римская покрыла собою и претворила в себе все предыдущее; европейская развилась несравненно пространнее, глубже, сложнее всех прежних государственных систем.

Полумеры не могли ее расстроить: для ее смешения, упрощения, потребовалось более героическое средство, выдумали демократический прогресс — *les grands principes de* 10  
89 и т. п.

Вместо того, чтобы понять прогресс так, как его выдумала сама природа вещей, в виде хода от простейшего к сложнейшему, большинство образованных людей нашего времени предпочли быть алхимиками, отыскивающими философский камень всеблаженства земного, астрологами, вычисляющими мечтательные детские гороскопы для будущего всех людей, бесплодно и прозаично уравненных.

В самом же деле Запад, сознательно упрощаясь, систематически смешиваясь, бессознательно подчинился косми- 20  
ческому закону разложения.

## Глава XII

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неужели я хочу сказать всем этим, что европейская цивилизация уже теперь гибнет?

Нет! Я повторял уже не раз, что цивилизации обыкновенно надолго переживают те Государства, которые их произвели.

Цивилизация, культура, есть именно та сложная система отвлеченных идей (религиозных, государственных, лично-нравственных, философских и художественных), кото- 30  
рая вырабатывается всей жизнью наций. Она, как продукт, принадлежит Государству; как пища, как достояние, она принадлежит всему миру.

Некоторые из этих культурных плодов созревают в ранние эпохи государственности, другие в средней, зрелой, третьей во время падения. Один народ оставляет миру в наследство больше, другой меньше. Один по одной отрасли, другой по другой отрасли.

Европейское наследство вечно и до того богато, до того высоко, что история еще ничего не представляла подобного.

Но вопрос вот в чем: если в эпоху современного, позднего плодоношения своего европейские Государства сольются действительно в какую-нибудь федеративную, грубо-рабочую Республику, не будем ли мы иметь право назвать этот исход падением прежней европейской государственности?

Какой ценой должно быть куплено подобное слияние? Не должно ли будет это новое Все-европейское Государство отказаться от признания в принципе всех местных отличий, отказаться от всех, хоть сколько-нибудь чтимых, преданий, быть может... (кто знает!) сжечь и разрушить главные столицы, чтобы стереть с лица земли те великие центры, которые так долго способствовали разделению западных народов на враждебные национальные станы.

На розовой воде и сахаре не приготавливаются такие коренные перевороты: они предлагаются человечеству всегда путем железа, огня, крови и рыданий!..

И, наконец, как бы то ни было, на розовой ли воде ученых съездов или на крови выросла бы эта новая Республика, во всяком случае Франция, Германия, Италия, Испания и т. д. падут: они станут областями нового Государства, как для Италии стали областями прежний Пьемонт, Тоскана, Рим, Неаполь, как для Все-Германии стали областями теперь Гессен, Ганновер и самая Пруссия; они станут для Все-Европы тем, что для Франции стали давно Бургундия, Бретань!..

Мне скажут: «Но они никогда не сольются!» Я же отвечу: «Блажен, кто верует: тепло ему на свете!» Тем лучше и для их достоинства и для нашей безопасности; но имеем ли мы право не быть бдительными и убаюкивать себя тем,

что нам нравится? Чему учит здравый смысл? Чему учит практическая мудрость? Остерегаться ли худшего, думать о нем, или отгонять мысль об этом худшем, представлять себе своего врага (эгалитарную революцию) бессильным, так, как представляли себе пруссаков французы?

Необходимо всегда иметь при подобных суждениях в виду тот *крайний идеал*, который существует в обществах; ибо люди непременно захотят испытать его. Необходимо помнить, что нововводители, рано или поздно, всегда торжествуют, хотя и не совсем в том смысле, которого они сознательно искали. Положительная сторона их идеала часто остается воздушным замком, но их деятельность разрушительная, ниспровергающая прежнее, к несчастью, слишком часто бывает практична, достигает своей отрицательной цели.

Для ниспровержения последних остатков прежнего государственного строя Европы не нужно ни варваров, ни вообще иноземного нападения: достаточно дальнейшего разлития и укрепления той безумной *религии эвдемонизма*, которая символом своим объявила: «*Le bien-être matériel et moral de l'humanité*».

Необходимо помнить, что очень многие в Европе желают слияния всех прежних Государств Запада в одну федеративную Республику; многие, не особенно даже желающие этого, верят, однако, в такой исход, как в неизбежное зло.

Для низвержения монархического порядка в Германии достаточно неловкого шага во внешней политике, неудачной борьбы с соединенными силами славян и Франции...

Многие, сказал я, не желающие, быть может, слияния всех нынешних Государств Запада в одну республиканскую федерацию, верят, однако, в такой исход. В него верит Тьер, хотя и сознается в одной из своих речей, что «рад бы был не дожить до этой новой цивилизации».

Я полагаю: наш долг беспрестанно думать о возможности, по крайней мере, попыток к подобному слиянию, к подобному падению частных западных Государств.

И при этой мысли относительно России представляются немедленно два исхода: или 1) она должна и в этом про-

грессе подчиниться Европе, или 2) она должна устоять в своей отдельности.

Если ответ русских людей на эти два вопроса будет в пользу отдельности, то что же следует делать?

Надо крепить себя, меньше думать о *благ*е и больше о *сил*е. Будет сила, будет и кой-какое благо, возможное.

А без силы разве так сейчас и придет это субъективное личное благо? Падений было много: они реальный факт. А где же счастье? Где это благо?

<sup>10</sup> Что-нибудь одно: Запад или 1) устроится надолго в этой новой республиканской форме, которая будет все-таки не что иное, как падение всех частных европейских Государств, или 2) он будет изнывать в общей анархии, перед которой ничтожны покажутся анархии Террора или 48 года, или анархия Парижа в 71 году.

Так или иначе, для России нужна внутренняя сила, нужна крепость организации, крепость духа дисциплины.

<sup>20</sup> Если новый *федеративный* Запад будет крепок, нам эта дисциплина будет нужна, чтобы защититиь от натиска его последние охраны нашей независимости, нашей отдельности.

Если Запад впадет в анархию, нам нужна дисциплина, чтобы помочь самому этому Западу, чтобы спасти и в нем то, что достойно спасения, то именно, что сделало его величие, Церковь, какую бы то ни было, *Государство*, остатки поэзии, быть может... и *самую науку!*.. (Не тенденциозную, а суровую, печальную!)

<sup>30</sup> Если же это все *пустые страхи* и Запад опомнится и возвратится спокойно (пример небывалый в истории!) к старой Иерархии, к той же дисциплине, то и нам опять-таки нужна будет Иерархия и дисциплина, чтобы быть не хуже, не ниже, не слабее его.

Поменьше так называемых *прав*, поменьше мнимого блага! Вот в чем дело! Тем более, что *права́*-то в сущности дают очень мало субъективного блага, т. е. *того, что в самом деле приятно*. Это один мираж!

А *долголетие?*

Разве мы в самом деле так молоды?

С чего бы мы ни начали считать нашу историю, с Рюрика ли (862), или с крещения Владимира (988), во всяком случае выйдет или 1012 лет или 886.

В первом случае мы нисколько не моложе Европы; ибо и ее государственную историю надо считать с IX века.

А вторая цифра также не должна нас слишком обеспечивать и радовать.

Не все Государства проживали полное 1000-летие. Больше прожить трудно, *меньше очень легко*.

Заметим еще вот что:

*Аристократию родовую* считают ныне обыкновенно каким-то болезненным, временным и ненормальным продуктом или, по крайней мере, *праздным украшением* жизни, вроде красивых хохлов или ярких перьев у птиц, вроде цветочных венчиков у растений, в том смысле, что без хохла птица может жить и без венчиков, без красивых лепестков есть много растений, и больших. Но все это эгалитарные верования; при ближайшем же *реальном* наблюдении оказывается, что именно те исторические миры были и *плодовитее и могущественнее* других, в которых, при монархических склонностях, сверх того еще и *аристократия родовая* держалась упорнее.

Рим Патрициев и Оптиматов прожил дольше купеческого Карфагена и больше *сделал* для человечества.

Спарта стояла дольше Афин и не раз крепила Афины своим примером.

Древний *Иран* возобновили, после полнейшего разгрома, феодальные *парфяне*, и после их влияния, до времен аравитян, жила великая Империя *Сассанидов*, которой цивилизация несомненно повлияла на Византию, а, через посредство ее, и на Европу и на нас.

Сила и духовное богатство самой Европы, за все течение ее истории, пример тому же наилучший. Она была создана феодализмом.

Наша великорусская почва была всегда ровнее; завоевание, вопреки мнению некоторых, было и у нас (т. е. были насилия первых Князей), но оно было не *глубоко*; оно

было слабее выражено, чем в других местах. И, может быть, это не совсем благо.

*Моя гипотеза* — единство в сложности, кажется, оправдывается и здесь. Мы имеем три поразительных примера: Англию, Турцию, Россию. В России (т. е. в ее великорусском ядре) было сильно *единство* нации; в Турции было *больше разнородности*; в Англии была *гармония* того и другого. В Англии завоевание, чужое насилие, было *глубоко* и дало глубокие охранительные корни стране. Завоеватели настолько слились с побежденными, что составили одну нацию, но не составили *одного с ними класса*. В Турции завоеватели вовсе не слились с христианами, потому могли только создать сложное Государство, но не единую нацию, и, отняв мысленно *турок* (привилегированных подданных Империи), мы получаем *чистейшую* демократию христиан. В России завоевание было *слабо*, и слишком скорое *слитие* варягов с славянами не дало возможности образоваться у нас, в собственной Великороссии, крепким сословным преданиям. Сообразно с этим и творчество, богатство духа трех степеней: выше всех Англия (прежняя, конечно), гораздо ниже и беднее ее умом Россия, всех бесплоднее Турция.

На Западе вообще бури, взрывы были громче, величавее; Запад имеет более плутонический характер; но какая-то особенная, более мирная или глубокая подвижность всей почвы и всего строя у нас, в России, стоит западных громов и взрывов.

*Дух охранения в высших слоях общества* на Западе был всегда сильнее, чем у нас, и потому и взрывы были слышнее; у нас *дух охранения* слаб. Наше общество вообще расположено идти по течению за другими;... кто знает?.. не *быстрее* ли даже других? Дай Бог мне ошибиться.

При таких размышлениях взор невольно обращается в сторону наших братьев славян... Что готовят они нам?

*Новое разнообразие в единстве*, все-славянское цветение с отдельной Россией во главе... Особую, оригинальную форму союзного государственного быта, в которой один не-

соразмерно большой член будет органически преобладать над меньшими, чтобы именно вышло то приблизительное согласие, которого вовсе недоставало на Западе до сих пор.

Или какое-нибудь быстрое *однообразие*: много шума, много минутной *славы*, много криков, много кубков и *здравий*, а потом?.. Потом *сляние*, смешение, *однообразие*... а в *однообразии гибель!*

Надо знать, как сочетаются *их* и *наши* начала.

В способе сочетания весь вопрос. Из одинаковых данных мне линий я могу составить разнообразный геометрический чертеж, замыкающий или не замыкающий, например, пространство.

Покойный Славянофил Гильфердинг, в своем предисловии к «Истории Чехии» (по поводу 1000-летия России), выразился так: «Тысячелетие России является вполне знаменательным *историческим* фактом только в сравнении с судьбою других славянских земель. Мы, разумеется, отстраняем тут всякий *мистицизм* (почему же это? Зачем так бояться мистицизма или стыдиться его?); мы, *подобно читателям нашим* (?), не видим, чтобы цифра 1000 сама по себе имела особое значение, вроде того, например, какое находили в ней древне-римляне, когда они с таинственным трепетом встречали тысячелетие всемирной своей *Державы*».

Нет! Но цифра эта представляется гранью, через которую не перешло ни одно из прежде бывших Государств славянских.

«Государство *чешское*» и т. д. «*семью* годами не дожило до 1000-летия, польское жило 935 лет, сербское 800, болгарское с перерывами 725, хорватское менее 5 столетий».

И далее: «Отчего же в русской земле этого рокового цикла, в который вместились вся жизнь других славянских государств, от колыбели до могилы, тысячелетия едва достало на внешний рост и сложение государственного организма, и на грани второго тысячелетия (?) ей предстоит еще только в будущем фазис внутреннего самознания, внутренней самодеятельности?»

«Есть над чем задуматься...» — говорит покойный «уче-  
ный» наш соотечественник.

И я скажу: «Есть над чем не только задуматься, но  
даже ощущать и тот трепет, который знали римляне!»

Разве решено, что именно предстоит России в буду-  
щем? Разве есть положительные доказательства, что мы  
молоды?

Иные находят, что наше сравнительное умственное бес-  
плодие в прошедшем может служить доказательством на-  
шей незрелости или молодости.

Но так ли это? Тысячелетняя бедность творческого духа  
еще не ручательство за будущие богатые плоды.

И что такое *внутренняя самодеятельность*? Если по-  
нимать *самодеятельность* эту в смысле широком, органи-  
ческом, то организм всякого Государства, и Китайского, и  
Персидского, самодеятелен; ибо живет *своими* силами и  
уставами. И древняя Россия так жила. А если *самодея-*  
*тельность* понимать не иначе, как в нынешнем, *узко-юри-*  
*дическом, смысле*, то мы незаметно и неизбежно придем и  
в идеале и на деле к тому эгалитарно-либеральному процес-  
су, от которого надо бежать.

Потом, что такое *внутреннее самосознание*? Это гово-  
рит Славянофил. Вероятно, это значит общеславянское са-  
мосознание. Прекрасно!

Но общеславянское самосознание вовсе никак не зна-  
чит: вечное восхваление славян, великорусская угодливость  
юго-славянскому своеволию.

Надо, мне кажется, хвалить и любить не *славян*, а то,  
что у них особое *славянское*, с западным несхожее, от  
Европы обособляющее. Не льстить славянам надо, а изу-  
чать их дух и отделять в их стремлениях вредное от без-  
вредного.

Не слития с ними следует желать, — надо искать комбина-  
ций, выгодных и для нас и для них (а через это, может быть, и  
для охранительных начал самой Европы); надо искать, как я  
уже раз сказал, искусного *тяготения на почтительном рас-*  
*стоянии*, а не смешения и слития неорганического.

Но о чем же мы тревожимся? Не правда ли, Австрия и Турция стоят?

Возможно ли бояться слияния, когда нет еще *независимости* у южных славян.

Стыжусь отвечать на это.

Пусть стоят Австрия и Турция. Австрия нам никогда не была сама по себе страшна, а особенно теперь, при ее *благодетельном* (для кого?) вторичном демократическом смешении и либеральной всеподвижности.

Существование Турции, пока, многие понимают, теперь <sup>10</sup> даже выгодно и нам, и большинству наших единоверцев на Востоке (пока мы не готовы заменить ее на Босфоре).

Но разве одно Государство за другое, также большое, Государство, может стать вечным *порушителем*?

Разве Европа не стоит перед нами во *всеоружии*?

Разве не видели мы вчера еще гораздо более *неожиданных* катастроф, чем распадение Держав, в которых племенного *разнообразия* достаточно, чтобы вредить *единству интересов* и общей силе духа, и в которых, с другой стороны, сословного, горизонтального расслоения уже настолько мало, чтобы не было большого страха и крепкой *градативной дисциплины*? <sup>20</sup>

Пусть стоят Австрия и Турция (особливо последняя); пусть стоят они, тем более, что нам, русским, *нужна* *какая-нибудь* приготовительная *теорема* для того, чтобы чисто *племенной, бессмысленно-простой, Славизм* не застигнул нас врасплох, как жених, грядущий полуночью, застал глупых дев без светильника разума!..

Теорема эта, прибавлю, должна быть настолько *сложна*, чтобы быть *естественной* и приложимой, и настолько *проста*, чтобы стать понятной и чтобы не претендовать на <sup>30</sup> угадывание *подробностей* и разных *уклонений*, которых не только столь незрелая еще *социология*, но и более точные науки предвидеть не могут.

Иные у нас говорят: «Достаточно пока *сочувствий, литературного общения, поднятия* *всеславянского духа*».

Да! Это не только желательно, это *неизбежно*. Поднятие это уже совершилось, но вопрос: всегда ли и во всем

это поднятие славянского духа сочувственно и полезно нам, русским?»

Все ли движения племенного Славянства безопасны для основных начал нашей великорусской жизни?»

Всем ли славянским стремлениям мы должны подчиняться, как подчиняется слабый и неразумный вождь и наставник страстям и легкомысленным выходкам своих питомцев или последователей?»

10 Молодость наша, говорю я с горьким чувством, сомнительна.

Мы прожили много, *сотворили духом мало* и стоим у какого-то страшного предела...

Окидывая умственным взором все родственное нам Славянство, мы замечаем странную вещь: самый отсталый народ, самая последняя из возрождающихся славянских наций, болгары, вступают в борьбу, *при начале* своей новой исторической жизни, с преданиями, с авторитетом того самого *Византизма*, который лег в основу нашей великорусской государственности, который и вразумил, и согрел, и

20 (да простят мне это охотничье, псарское выражение) *высворил* нас крепко и умно. Болгаре сами не предвидели вполне, может быть, того, к чему их привело логическое развитие обстоятельств. Они думали бороться лишь *противу греков*: обстоятельства довели их до разрыва с Вселенской Церковью, в принципах которой нет ничего ни греческого, ни специально славянского.

«Болгары слабы, болгары бедны, болгары зависимы, болгары молоды, болгары *правы*», говорят у нас...

Наконец скажут мне:

30 Болгары молоды и слабы!..

«Берегитесь! — сказал Сулла про молодого Юлия Цезаря, — в этом мальчишке *сидят десять Мариев*» (демократов)!

Опасен не чужеземный враг, на которого мы всегда глядим пристально исподлобья; страшен не сильный и буйный соперник, бросающий нам в лицо окровавленную перчатку старой злобы.

Не немец, не француз, не поляк, полубрат, полуоткрытый соперник.

Страшнее всех их брат близкий, брат младший и как будто бы беззащитный, *если он заражен чем-либо таким*, что, при неосторожности, может быть и для нас смертоносным.

Нечаянная, ненамеренная зараза от близкого и бессильного, которого мы согреваем на груди нашей, опаснее явной вражды отважного соперника.

Ни в истории ученого чешского возрождения, ни в движениях воинственных сербов, ни в бунтах поляков противу нас мы не встречаем того загадочного и опасного явления, которое мы видим в мирном и лже-богомольном движении болгар. Только при Болгарском вопросе *впервые, с самого начала нашей истории*, в русском сердце вступили в борьбу две силы, создавшие нашу русскую государственность: племенное Славянство наше и Византизм церковный.

Самая отдаленность, кажущаяся мелочность, бледность, какая-то сравнительная сухость этих греко-болгарских дел *как будто нарочно таковы*, чтобы сделать наше общество невнимательным к их значению и первостепенной важности, чтобы любопытства было меньше, чтобы последствия застали нас врасплох, чтобы все, самые мудрые люди наши, дали угаснуть своим светильникам.

Довольно! Я сказал и облегчил себе душу!

# РУССКИЕ, ГРЕКИ И ЮГО-СЛАВЯНЕ

## ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

### I

Всем, я думаю, известно, что греко-славянский Православный Восток у нас в России очень мало знали до последнего времени.

Об этом совсем особом и, вместе с тем, столь существенно близком нам мире долгое время думали и заботились лишь государственные люди России, этнографы и люди <sup>10</sup> прежнего славянофильского направления, которые (справедливо ли, нет ли) ожидали, что из этих славяно-греческих родников извергнется особого рода живая вода, которая изменит глубоко не столько политический строй Европы, сколько культурный характер Петровской России. Другими словами: они надеялись, что соприкосновение наше с юго-славянами и отчасти с единоверными нам соседями их отклонит нас от того общеевропейского пути, по которому мы, русские, шли до сих пор, и будет способствовать отчасти <sup>20</sup> соблюдению остатков древней Московской Руси, еще сохранившихся у нас, отчасти же и созиданию чего-то нового, невиданного доселе ни в Европе, ни в Азии, — словом, национальному творчеству на всех поприщах, начиная с государственного и художественного и кончая промышленным.

Я вовсе не имею в виду рассматривать здесь достоинства и недостатки этого учения, хотя надо сознаться, что в неспециальной части общества до сих пор его вовсе почти не знают, и большинство даже и много читающих людей воображают, что вся забота таких людей, как покойные

Киреевский, К. С. Аксаков и Хомяков, состояла именно в достижении того, что достигается постепенно теперь целою Россией, то есть политического сближения со славянами, тогда как для этих прежних корифеев славянофильства освобождение славян и политическое сближение их с Россией должно было служить лишь средством, а никак не целью. Цель была цивилизация своя, непохожая на западную, культура по возможности независимая от хода европейской культуры.

С тех пор, как действовали и писали Киреевский, Хомяков и К. Аксаков, прошло много времени, и все изменилось... Иное к лучшему, многое к худшему.

Перерождалось отчасти и самое учение... Славянами стали с начала шестидесятых годов заниматься у нас многие... Даже петербургские журналы и газеты «красного» направления.

Например, в 61—62 году издавалась в Петербурге незначительная, но очень ядовитая и раздражительная газетка «Современное Слово». Она была одним из неопрятных шакалов, которые целым хором поднимали радикальный вой и визг по одному только знаку, который подавал им «Современник», Свистком ли Добролюбова или статьей Чернышевского.

И эта газетка занялась тогда славянами прилежно. В то время (61—62 году) Восток был весь в волнении. Только что кончились сирийские ужасы; в Элладе падала Баварская династия; в Герцеговине боролся противу турок Лука Вукалович; черногорские молодцы точно так же, как и теперь, наводили ужас на турецких низамов несокрушимою отвагой своею; в Сербии мало-помалу слагались те обстоятельства, которые довели (благодаря усилиям англичан) до бомбардирования Белграда, и около того же времени впервые начало назреть церковное болгарское движение, ровно через десять лет дошедшее до крайне печального исхода.

В это-то время, говорю я, и органы вовсе уж не славянофильского духа стали заниматься все больше и больше славянами.

Я упомянул именно о газетке «Современное Слово» (которая была вскоре и запрещена за свое уж слишком бесцеремонное отношение к русской государственности), потому именно, что редакция ее, первая тогда из всех органов, называвших себя «честными», догадалась, что не следует оставлять Славянство в руках людей «не честного» направления. Под этим широким названием разумелось тогда все остальное: и «Московские Ведомости», и славянофилы, и г. Аскоченский, и «Время» Достоевских, Страховых и Григорьевых и т. д.

С тех пор и наша «левая» сторона обратила свои взоры на Юго-Восток. Наши растерзанные и незатейливые Луи Бланы и Прудоны пожелали осветить Славянство с другой стороны, вовсе не с той, с которой освещали его люди, подобные Е. Ковалевскому или Гильфердингу.

Г. Пыпин издал свою сухую, скучную, хотя и не бесполезную для справок книгу о славянских литературах; Чернышевский издевался над воззваниями славянофилов к сербам... и так далее... Позднее и в Москве издавался (недолго) ученый и серьезный журнал «Беседа». В большой и немногими ясно понятой статье этого журнала, озаглавленной «Всеславянство», краткое, но солидного тона историческое исследование приводило к тому, что все славяне *гораздо либеральнее западных европейцев*; что они до того всегда не любили никакой власти, *вне их воли стоящей*, что предпочитали насилие иноплеменников (немцев или турок) взаимному междуславянскому подчинению, и *автор статьи видимо радовался этому*.

Вот куда постепенно стало отклоняться первоначальное славянофильское учение, получившее, впрочем, около того же времени (в 69 году) наиболее противуположное и ясное выражение в сочинении г. Данилевского «Россия и Европа».

Вот как раздвоилось первоначальное русло! Можно позволить себе назвать славянофильство г. Данилевского белым славянофильством, от которого далеко убегает в сторону «другое» славянофильство, выразившееся, между прочим, в статьях и наклонностях журнала «Беседа».

В этом раздвоении взглядов нет, впрочем, ничего самого по себе дурного. Напротив того, нам полезно изучать и Славянство и Восток с разных сторон, рассматривать их с самых несходных точек зрения.

Я прибавлю даже, что если бы о Славянстве и Востоке высказывались у нас самые оригинальные, смелые и какие угодно крайние взгляды, то и это могло бы принести свою относительную пользу.

Историческая связь наша с Востоком и Славянством до того жизненна, до того глубока, что всякое неведение, всякое непонимание наше может со временем, если не сейчас, отозваться очень вредно, сперва на внешней деятельности нашей, а потом и на внутренних наших делах.

Для того, чтобы действовать успешно, надо знать...

Участие нашего общества к делам Турции вырастает и расширяется с каждым новым движением, с каждою новою вспышкой в этой наэлектризованной и разлагающейся стране. В начале 60-х годов впервые заговорила русская печать громче прежнего о христианах Турции и о наших к ним отношениях.

Во время критских дел (семь-восемь лет позднее) высшие классы общества уже обнаруживали сильное движение, чего в эпоху герцеговинских и черногорских дел 61—62 года еще не было...

Славянский съезд 67-го года, совпав с самым разгаром Критского восстания, еще более усилил это общение...

Наконец, теперь вопрос этот в России до того созрел (как-то незаметно, почти подкравшись), что весь народ принял горячее в нем участие.

Мы стоим, быть может, на рубеже великого политического переворота, которого искать, который ускорять нам бы не было и нужды, если бы не ускоряли его сами противники наши...

Развязка, даже отложенная теперь, не заставит себя долго ждать.

Турция не может продолжать своего существования в Европе по сию сторону Босфора и Дарданелл не потому во-

все, чтобы все турки поголовно были изверги и звери, и не потому, чтобы христиане все были люди симпатичные, честные или прекрасно воспитанные, но потому, что управление миллионами иноверцев, сознавших уже свои политические права, на основании Корана в наше время невозможно.

В одной из депеш своих наш государственный канцлер кн. Горчаков выразился, если не ошибаюсь, так:

<sup>10</sup> «Я не хочу отрицать способность турецкой нации к развитию; я полагаю, что ни одно племя человеческое не лишено этой способности. Но я говорю только, что турки доказали неумение свое управлять хорошо христианами...»

## II

Передавая в этих заметках те общие впечатления, которые я вынес из десятилетней жизни моей на Востоке, я хочу быть совершенно искренним. Я не решусь утверждать, что это непременно правда; я скажу только, что все это мне кажется правдой. Многие здесь для единоверцев наших (образованного класса в особенности) не будет лестно. Но пора лишить их той странной привилегии, которую <sup>20</sup> мы им дали посредством немого какого-то согласия, привилегии быть единственными людьми, не судимыми из всего света. Самих себя, русских, мы не только судим, мы уже лет 30—40, кажется, постоянно только все осуждаем самих себя. Европейцев и азиатцев мы судим. Одни только юго-славяне всегда как будто бы хороши. К чему это?

<sup>30</sup> Если они нам очень близки, если они нам братья, мы должны относиться к ним как к самим себе, с прямою и откровенностью. Критика доброжелательности не исключает.

Политическое призвание России требует рассмотрения великой задачи со всех ее сторон.

Именно потому, что вероисповедная и племенная связь наша с христианскими нациями Юго-Востока так крепка и

существенна, так жизненна для нас, нам нет никакой нужды ограничиваться этнографическими очерками патриархального быта сербских поселян, черногорских удальцов, болгарских земледельцев или кандиотских горцев. Этого рода литература и у нас и на Западе так уже обильна, что те из читателей, которые не составили себе до сих пор довольно картинного представления об эпических элементах Христианского Востока, виноваты сами.

Гораздо менее занимались у нас изображением жизни, духа, быта славяно-греческой буржуазии, воспитанной как пришлось по-европейски, одним словом, той части общества, которую почему-то принято называть «интеллигенцией».

Об «интеллигенции» этой писали у нас много политических статей. Но это обыкновенно касалось лишь известных политических действий и движений в Афинах, Царьграде, Сербии, Болгарии... Писалось это под влиянием возбуждения исторической минуты благосклонно или строго... Менялись течения политические, менялись и наши взгляды.

А в жизни самой везде есть некоторая вековая устойчивость бытового типа, общего духа, который меняется медленно и который хорошо понять и разносторонне исследовать полезно не только в смысле теоретического расширения знаний, но и с практической целью: ибо сколько ни меняются политические течения, есть, однако, известные роковые пределы, за которые колебания эти целые века переступить не могут.

Эти-то пределы политических колебаний, возможные для одной и той же нации, и обуславливаются внутренним строем этой нации, ее вероисповеданием, ее преданиями и даже вкусами, ее социальным устройством, которое кладет свою глубокую печать на личный тип или психический строй самих граждан.

Больше об этом я в этих вступительных словах распространяться не буду. Я надеюсь, дальше станет яснее, что я хотел сказать.

Здесь я прибавлю еще вот что:

Если сербская ли, болгарская или греческая интеллигенция нам чем-нибудь *не нравится*, из этого никак не следует, чтобы мы не должны были *помогать* всеми силами народам, руководимым обыкновенно этим во главе их стоящим слоем.

Думать так может только человек слишком простодушный в политике.

<sup>10</sup> *Напротив того, чем несовершеннее европеизованные вожди всех этих глубоко родственных нам наций, тем больше должны мы сами позаботиться о них, тем ближе должны мы постараться, пользуясь обстоятельствами, стать сами к тому низшему классу их, который можно назвать эпическим или патриархальным по быту, к тому классу, который сохранил доселе в своей жизни столь драгоценный для нас и общий всему Христианскому Востоку славяно-византийский стиль.*

### III

<sup>20</sup> Сравним прежде всего греков и болгар между собою и с русскими. О сербах поговорим позднее.

Греческая нация и по темпераменту, быть может, своему, а вернее по историческому положению, шумнее, виднее, известнее болгарской.

Все занимающиеся мало-мальски политикой знают хоть сколько-нибудь дух греков. У греков есть свободное Государство, своя столица, свой университет, войска, палата депутатов. Число газет в одних Афинах, имеющих не более 50 000 жителей, по временам, говорят, будто бы доходит до ста; при всех Дворах есть представители Эллады.

<sup>30</sup> В Константинополе у греков есть древняя, признанная всем светом Иерархия, которая служит во многом и политическим представителем народа; есть и газеты, которые пишут теперь довольно свободно. Разговоры же в Турции по кофейням, мелочным лавочкам, аптекам (в которых так-

же имеют многие обычай собираться) издавна очень безбожны и откровенны.

Сверх того, во многих случаях, что не дослышится как-нибудь в Турции, то можно узнать из Афин, Триеста, Молдо-Валахии...

У болгар, напротив того, не имеющих ни столицы своей, ни палаты, ни войска; у болгар, которых газеты ничтожны и никем, кроме их самих, не читаются, все происходило под турецкой властью тихо, незаметно, все шло посредством подземной работы.\* 10

Вследствие этих различных условий жизни, греков вообще судить легче, чем болгар. У греков, как я уже говорил, выработалось уже гораздо больше физиономии исторической за эти полвека, которые прошли со дня их первого восстания в 21-м году.

Они успели развиться больше болгар не в смысле ума только или учености, а в смысле некоторой организации, и потому у них больше разнообразия в их эллинском племенном единстве.

Сословий, правда, у них нет никаких с самого начала; 20 этого элемента разнородности и гармонии они лишены. Но условия и географические и исторические придали им гораздо больше национальной пестроты, чем юго-славянам.

Взглянем только на карту, и нам будет это понятно. Мы увидим строгий и пустынный Синай, дикие долины и горы Малой Азии, торговую Смирну, столь близкую к этим диким странам, множество островов Архипелага, Средиземного и Адриатического моря, Афины у подножия Акрополя; прелестный Крит; Морею пастушескую и разбойничью; 30 Эпир, носящий фустанеллу и сочиняющий до сих пор в безлесных горах эпические песни. В двухчасовой езде морем от этого полудикого и вместе с тем (не странно ли?) очень грамотного Эпира, почти итальянский остров Корфу, еще полный вдобавок памятников и следов британского протектората. В Кефалонии у жителей опять иной харак-

---

\* Писано в 1873—74 г.

тер. Корфиоты мягче и образованнее; кефалониты страстнее, свирепее и вместе с тем умнее. Македонский грек ничем почти в быту своем не отличается от соседнего ему болгарина; фракийского грека даже по одежде сельской не отличишь от болгарина Фракии, оба в темно-синих чалмах и коричневых шальварах.

У критян есть кой-что итальянское; но на корфиотов, например, они не похожи. Они оригинальнее, красивее, поэтичнее, воинственнее, изящнее и т. д.

<sup>10</sup> Буржуазия греческая, вследствие тех же исторических условий, гораздо разнообразнее болгарской. Тонкий, остроумный, обдумчивый фанариот\* гораздо больше барин с виду, больше способен к серьезной политике, гораздо лучше воспитан в общественном отношении, чем афинский двигатель. Афинянин образованный это что такое? Немножко ритор древний, немного парижский демагог, немного аферист; немного коломенский мон-шер и *mauvais genre*, когда примется любезничать с дамами. Он все еще верит слепо, что грек умнее всех на свете, что греческая нация единственный в истории феникс, который до конца света будет еще несколько раз возрождаться, чтобы осыпать человечество цветами и питать его плодами своего гения.

<sup>20</sup> Прогресс его, впрочем, не переступает порога семейного. В семье он хочет, как всякий другой грек (точно так же, как и серб, и болгарин), быть главой. Съездивши в Россию, он не может надивиться на беззаботность и снисходительность русских мужей, братьев и отцов.

Я уверен вот в чем: если бы в каком-нибудь университете подружился трое молодых революционеров и политических мечтателей, грек, болгарин и русский, и стали бы вместе читать сочинения разных общественных разрушителей, то русскому бы могли понравиться анархические принципы

---

\* Настоящие, старые семьи фанариотов уничтожены и рассеяны почти все после 21-го года. Но под фанариотом я разумею здесь вообще цареградского грека — богатого, хорошо образованного и высоко стоящего в обществе.

Прудона, но не очень полюбился бы утилитаризм его безбожной семьи. Он стал бы вероятно хвалить или полиандрию фурьеристов, или алюминиевые дворцы Чернышевского, в которых:

Сто юношей пылких и жен  
Сошлись на свадьбу ночную,  
На тризну больших похорон...

А болгарин и грек, не отказываясь от государственной анархии, охотно бы соединились против русского по вопросу семейному и стали бы на сторону Прудона. 10

Русский бы воскликнул тотчас: «не говорите! этот Прудон ужасный буржуа!» А грека и болгарина он никакими силами не мог бы даже и вразумить, что такое значит буржуа.

— Буржуа — это *политис*, гражданин, житель города, образованный богатый человек, что ж тут дурного? Вот если бы ты сказал: селянин, *хориатис*, мужик, варвар, — это дело другое; а то горожанин! буржуа! Это обыкновенно человек прогрессивный, либеральный, сознающий свое человеческое достоинство... Что же это значит? — с недоумением спрашивали бы грек и болгарин. И они были бы правы отчасти в своем непонимании идеи русского товарища. 20

Вероятно, русский этот принадлежал бы к тому многочисленному классу, который у нас некоторые консерваторы удачно прозвали «дворянский пролетариат»; он был бы обломком распавшегося барства и потому соединял бы в себе два протеста, две распушенности: завистливый протест бедности при нервах тонких и брезгливый протест некоторого *comme il faut* и некоторой романтичности, скучающей от тесного пути и скромного долга; соединял бы в себе остатки распушенности родовой, аристократической, с благоприобретенною раздражительностью демагогии. 30

У болгарина и грека нервы толще; старший брат этого болгарина пасет еще стада отца своего в Балканах; один дядя грека этого, правда, министром Эллады; но зато дру-

гой дядя торгует табаком в Янине, в маленькой холодной лавке, а младший брат служит мальчиком где-то в кофейне. И у болгарина и грека воображение скромнее, ум суше и практичнее; абсолюта ни тот, ни другой не ищет и даже не понимает его. Comme il faut'ные и вообще эстетические требования их и от себя и от других гораздо ограниченнее, фантазии их, сравнительно с игрой великорусского воображения, крайне убоги и блаженны. В этом отношении они, пожалуй, Маниловы, мечтающие о дружбе с Чичиковым и о прекрасном виде на мост, впрочем, до первой распри в коммерческом суде.

#### IV

Болгарскую нацию надо воображать себе следующим образом. На значительном, сплошном континентальном пространстве, между Черным морем с востока, Дунаем с севера, между сербским племенем с запада и греческим с юга — живет один и тот же народ... Местами, особенно в верхней Болгарии, он живет не смешанный ни с кем; к югу, во Фракии и Македонии, он живет смешанно с греками.

<sup>20</sup> Болгары преобладают тут в селах, греки — в городах.

Множество сел, стоящих на разной степени по богатству или бедности, по плодородию или бесплодию почвы и по другим условиям, населены земледельцами трудолюбивыми, трезвыми, упорными, терпеливыми, экономными, к великорусскому разгулу вовсе не расположенными, очень осторожными и довольно лукавыми, при всей их кажущейся простоте. Между ними есть очень незначительные оттенки во внешней физиономии, в быте, в одеждах, в привычках, в духе даже (так, горные болгары более смелы, более молоды, чем болгары фракийских полей), но объединенные все издавна на сплошной континентальной области, подпавшие все вместе под одну турецкую власть, они не могли выработать в себе тех местных особенностей и значительных оттенков, какие выработались у греков под влиянием более разнообразных географических условий, под

влиянием более сложной истории за последние времена. У болгар со времени появления турок не было тех колебаний и переворотов политических, какие были у греческого племени; не было смены повелителей, как у греков-островитян (например, у критян долгое венецианское владычество, а потом, вовсе не так давно, турецкое завоевание; у ионийцев, т. е. корфиотов и др<угих> целый ряд господ: венецианцы, французское занятие, русское, англичане, присоединение к независимой Элладе). Все это влияло на дух, нравы, даже на мелкие обычаи и выработало разные оттенки в греческом народе, оттенки иногда очень резкие и теряющиеся только в общеевропейском типе высшего общественного положения. У болгар были только два влияния, постоянно и однообразно действовавшие в течение веков: влияние турецкое и греческое.

Понятное дело, что такой народ должен быть очень прост, несложен, однообразен: он и до сих пор находится в состоянии почти первобытной простоты. Поэтому вообще он мало занимателен, сух, беден духом, хотя чрезвычайно настойчив и верен себе (это, впрочем, и весьма естественно; чем меньше у меня разных вкусов, разных впечатлений, идей, тем мне легче достается внутреннее единство упорства, тем меньше во мне раздвоения). И зрителю стороннему болгарский простой народ дает мало разных впечатлений; все, что есть у простых болгар, есть и у греков; но у греков простых, взятых во всецелости от диких берегов Азии до цветущих островов приитальянских и до унылых фракийских полей, найдется много разнородных свойств и оттенков, которых у однообразной болгарской нации не найдется и которые могут или нравиться, или возмущать, но во всяком случае произведут более сильные впечатления на постороннего наблюдателя, чем немножко скучный, хотя и весьма почтенный вид болгарского простого населения.

Так как семейные обычаи, манера принимать и угощать гостей, строгие и чистые семейные идеалы, даже одежда и пляски (настоящие болгарские пляски круговые, а грече-

ские — разомкнутым полукругом; впрочем, между тем и другим разницы не более как между одним парным европейским танцем и другим) местами у греков и болгар очень схожи, то вообще можно про болгарина сказать, что он в типическом отношении что-то такое вроде грека, только более бледное, более бесцветное, что он не что иное, как македонский и фракийский грек по обычаям, по типу и характеру, но который говорит только по-славянски и которому вожди его долгою пропагандой внушили, что у него с этим, <sup>10</sup> столь схожим с ним соседом, греком вовсе другие политические и религиозные интересы.

Если писать статью чисто политическую об интересах и стремлениях, то болгарин и грек явятся самыми свирепыми антитезами, и они, конечно, давно бы взялись за оружие, если б их не сдерживала Турция. Если же писать повесть, похожую на дело, реальную, или этнографический очерк, то есть о нравах, типах, личных характерах, то болгарские нравы и греческие нравы, особенно в смешанных континентальных областях, болгарские типы и греческие типы <sup>20</sup> вышли бы очень схожи. Та же крепкая, честная семья, то же трудолюбие, почти та же восточная одежда, те же обычаи, та же осторожность, скрытность, та же наивность первобытная и нередко очень милая и приятная.

Это сельское население. Разница, впрочем, большая та, что масса болгар несколько невежественнее, первобытнее, безграмотнее массы греков. Но простоты, наивности и патриархальности много и у греков везде: на островах, в Эпире, в Македонии, в самой Элладе.

<sup>30</sup> Что сказать о городском населении? Если мы отделим мысленно от народа так называемую интеллигенцию (буржуазию), купцов, докторов, адвокатов, учителей и т. п., то, сравнивая между собою обе эти нации, болгарскую и греческую, мы увидим опять то же самое: с одной стороны, значительное сходство в типе, в понятиях, во вкусах, в характере, с другой, различие в том, что среда греческой интеллигенции от иностранных примесей, от разнородности исторической, от более старого просвещения, несравненно

пестрее, богаче духом, обильнее разнообразием, чем среда болгарской буржуазии.

Если мы будем сравнивать европеизованных греков и таких же болгар с русскими, то первое наше впечатление будет, что вообще восточные христиане суше, холоднее нас в частной своей жизни; у них меньше идеализма сердечного, семейного, религиозного; все грубее, меньше тонкости, но зато больше здоровья, больше здравого смысла, трезвости, умеренности. Меньше рыцарских чувств, меньше сознательного добродушия, меньше щедрости, но больше выдержки, более домашнего и внутреннего порядка, меньше развращенности, распушенности.

У них меньше, чем у нас, оригинальных характеров, резких типов; гораздо меньше поэзии; но зато у них и помину нет о девушках-нигилистках, о сестрах, просящих братьев убить их, потому что скучно; о мужьях, вешающих молодых жен, потому что дела пошли худо; о юношах, почти отроках, убивающих кучера, чтоб учиться революции, и т. д. Самые преступления у восточных христиан (у греков и славян без различия) носят какой-то более понятный, расчетливый характер; этих странных убийств от тоски, от разочарования, с досады просто или от геростратовского желания лично прославиться, без цели и смысла, убийств, обнаруживающих глубокую боль сердца в русском обществе и вместе с тем глубокую нравственную распушенность — ничего подобного здесь и не слышно ни у греков, ни у болгар, ни у сербов. Желание грабежа, ссора, месть, ревность, словом, более естественные, более, пожалуй, грубые, простые, но вообще более расчетливые и сухие, так сказать, побуждения бывают на Востоке причинами преступлений.

О преступлениях в среде интеллигенции почти и не слышно здесь; для этого интеллигенция слишком расчетлива; но зато и великодушия и доброты гораздо меньше. Один пример. Я знал греков и болгар уже не молодых, которые помнят русских, еще владевших крепостными. Они жаловались мне с удивлением на то, что слуг, послуживших хоть полгода у русских чиновников на Востоке, нельзя по-

том в дом к себе брать; до того они балуются и привыкают к снисходительности и щедрости господ.

Это все сравнение русских с восточными христианами вообще.

А если сравнить греческую интеллигенцию с болгарскою, то увидим вот что. Насколько греки кажутся суше русских и, каждый отдельно и взятые вместе, однообразнее русских, настолько болгары кажутся для человека, прожившего и с ними и с греками, суше и однообразнее греков.

<sup>10</sup> И у тех и у других, если сравнивать их с нами, преобладают: практичность, лукавство, выдержка, осторожность, дух коммерческий, какой-то дипломатический, над порывом, чувством, идеальностью; но все-таки между греками я знал чудаков, идеалистов, людей, презирающих и коммерцию, и лукавство, и дипломатию в частной жизни, и осторожность, и даже к национальной политике равнодушных. Я знал, хоть и меньше чем у нас, милых болтунов, остроумных, забавных, симпатичных оригиналов; а между столькими болгарам, виденными мною, я встретил до сих пор <sup>20</sup> только разве одного или двух таких, да и то не очень занимательных. Член болгарской интеллигенции — это буржуа *par excellence*; всегда сдержан, всегда расчетлив, более или менее скуп и осторожен, всегда дипломат или всегда купец, и в дружбе, и в браке, и в политике...

Это опять то же. Это грек второй руки; грек немного скучный. Грек купец (хоть бы он был и не купец по ремеслу), грек, говорящий по-славянски: не *Плутаки* нежинский или одесский, а *Найден Плутович* из Филиппополя или *Руцука*.

<sup>30</sup> Мне кажется, что таким образом я довольно ясно изобразил психический характер болгар.

Теперь, если мы будем рассматривать болгар по отношению их друг к другу, не выходя из их собственной среды, и разбирать их взаимные отношения по слоям общественным, то мы увидим вот что:

Делами национальными заведует сравнительно незначительное число людей, вышедших большею частию из того

же простого сельского класса болгар, который составляет массу народа, или из простых горожан.

Эти люди — епископы, доктора, купцы, адвокаты, богатые собственники, воспитавшиеся в Европе или Константинополе у греков, или в России, или в Молдо-Валахии, приобрели европеизма именно настолько, чтобы представлять свой народ социально, умственно и светски — довольно плохо, разумеется, а политически, напротив, очень ловко. Они настолько обучились, чтобы вести ловко политическую интригу в современном духе и современными 10 средствами, и не настолько воспитались, чтобы простой народ перестал их понимать или они его. У нас скорее крестьянин проведет человека высшего круга; у болгар старшины проводят народ как им угодно. Это наши русские сельские миреды en grand, в сюртуках, не совсем хорошо сшитых.

За горстью этих солидно-ловких докторов, султанских капуджи-баши, негоциантов, держащих в руках свое ново-созданное духовество, следует слой более или менее молодых учителей по большим и малым городам. Эти учителя, кой-как обученные сами и нередко в школах католических 20 и протестантских — всё пламенные фанатики своего национального дела, люди бедные, которые тоже все вышли из мужицких и мещанских семей, но не успели многому выучиться и обогатиться, и потому вполне зависят от того тесного круга важных представителей, которые принимаются к турецким министрам и к иностранным дипломатам...

Вслед за этим молодым фанатиком болгаризма, пропитанным дешевыми реалистическими европейскими понятиями и одетым в оборванный или грязный европейский сюртук, интеллигенция обрывается вдруг; и почти немедленно 30 за этим молодым прогрессистом и демагогом следует простой сельский миред чорбаджи, в толстой коричневой абе, в шальварах, в бараньей шапке или в темно-синей чалме, он большею частью безграмотен, домосед, света не знает, религию свою понимает плохо; он очень недоверчив и медлен; но учителю Инсарову, вышедшему почти из того же села, нетрудно его уверить в чем бы то ни было, особенно, на-

пример, в том, что греческие епископы только из одной жадности, чтобы брать с него поборы, не хотят освободить его, бедного; или что раскола вовсе нет никакого, что «грцкый-то Патрик» все это неправду говорит, что вот и одеваются наши попы всё так же и поют так же как греки, и служат так же и что нет никакого беззакония и греха в том, что в Филипполе, в Тульче и в самом Царьграде по два епископа — болгарский и греческий. Где же болгарскому безграмотному мужику понять эти вещи, когда очень образованные и даже религиозные русские люди спрашивают: «И в самом деле, где же тут раскол? И что за беда! Все бы это, кажется, так легко примирить!»

Таким образом выходит следующая политическая картина:

Миллионы очень однообразного простого болгарского народа очень искусно и ловко управляются под властью Турции незначительным числом резко отличных от них по образованию и понятиям и все-таки несколько, хотя бы фактически, если не *de jure*, привилегированными старшинами и наставниками, вышедшими из его же среды.

Такое устройство нации, очень демократическое и весьма простое, может не иметь в себе прочности для будущего, может после освобождения быть причиной крайней демагогии и раздоров, когда внутренние вопросы возобладают над внешними (т. е. когда не будет ни турок, ни греков, давящих извне), но теперь, при этих внешних орудиях объединения, при этом внешнем давлении, такое состояние общества очень удобно для вершения современных национальных дел и для искусного перенесения политического вопроса на лжерелигиозную почву. Много низших и мало высших; господство осторожной, довольно согласной, ловкой, лукавой плутократии.

У болгар не было, как у греков, независимой Эллады, избаловавшей уже народ конституцией, рядом внутренних восстаний, всеобщей подачей голосов, привычкой всех во все мешаться. У болгар несравненно меньше тех посредствующих типов, смышлено-грамотного, бойкого простонаро-

дия, который так многочислен между греками; у них нет или очень мало таких людей, как греческие моряки сорви-голова, греческие мелкие лавочники, мелкие мастера и слуги, читающие постоянно газеты, политикующие матросы и т. д.

Это более значительное развитие европеизма (я не могу сказать просвещения, ибо я не в силах понять, почему популяризация европейской буржуазности есть просвещение?) у греков путает дела; всякий во все мешается, всякий хочет иметь свое мнение. Но зато у греков всякий больше понимает; у греков труднее старшине, епископу и учителю обмануть народ, например, в церковном деле и представить ему черное белым — каноны не канонами и т. п.

Вот в чем разница.

## V

Исторические условия сделали то, что греческое и вообще восточное Христианское общество до самого последнего времени было церковнее русского в своем воспитании. Церковь была смешаннее с остальной нацией; народ и высшее общество стояли ближе к Церкви.

Религиозность греков, вследствие подчинения туркам, незаметно для большинства их самих приняла политический характер. Разумеется, пока ко всему остальному, к сильным чувствам личным, к личному мистическому настроению, к болеющей сердечной любви прибавляется политический, национальный фанатизм, то религия в народе достигает верха своего могущества. Так и было у греков прежде.

Но как только обстоятельства изменились, более русской однообразная греческая почва оказалась сердечнее религиозною, чем наша.

Пока с одной стороны были турки жестче, пока законы были беспощаднее, пока беззаконных притеснений было больше, пока христиан убивали легко — была вера личная, был страх, страдания, молитвы, пост строжайший; были вольные мученики; монастыри наполнялись аскетами.

Но Турция ослабела; законы смягчились; завелось больше порядка; явилось к тому же больше грамотности, мелкой учености, свободы. Эллада обогнала в демагогии многие страны Европы; школ везде множество; учителя почти бесконтрольно говорят в селах что хотят. И вот это чисто торговое, практическое, промышленное, поверхностно обученное греческое общество остыло гораздо больше нашего к религии в ее сердечных сторонах, несмотря на всю хвастливую близость к народу, несмотря на всю церковность воспитания. Вообще напрасны надежды на простой народ, не он в течение времени окрашивает высшие слои, но эти высшие слои везде одинаково влияют на низшие.

Я долго думал, отчего же именно это так случилось?

Это случилось, во-первых, оттого, что тонкие и глубокие психические потребности высшей цивилизации не внесли в это глубоко демократическое, сплошное общество восточных христиан внутреннего возбуждения взамен отупевшего турецкого меча. Во-вторых, оттого, что и самый ум только практичен и еще нетребователен на Востоке. Мало мысли для мысли, мало идеальной образованности. И ум и сердце грубы.

Если мы будем рассматривать поочередно русских, греков, сербов и болгар и сравнивать их всех друг с другом с точки зрения религиозности, то без труда убедимся, что сила и степень этого качества распределяются у четырех единоверных наций Востока так:

Первую степень, как я выше говорил, занимают русские. За ними следуют греки, потом сербы и болгары.

Это будет ясно из подробностей. Сравним прежде всего греков с русскими. Многие черты, свойственные грекам, у них общие и с сербами и болгарами; так что, говоря о греках, мы будем подразумевать при этом и турецких славян; а после уже будет легче объяснить, почему юго-славяне не имеют даже и тех условий, которыми греки выкупают по отношению к Православию свои недостатки и слабости.

Когдаходишь у нас в России на Пасхе или в другой большой праздник в церковь, то видишь, что это праздник

мистический, сердечный. Когдаходишь к грекам — видишь праздник народный.

Это верное замечание было мне сказано одним из самых даровитых консулов наших на Востоке. Кратко было сказано и ясно. Но ясно лишь для тех, кто на Востоке не только жил долго, но и мыслил живя там.

Но для того, кто мыслил, не живя на Востоке, или кто жил на Востоке, не трудясь мыслить, необходимы подробности.

В России общество уже со времен Петра воспитывается<sup>10</sup> гораздо больше Государством, чем Церковью. На Востоке христианское общество, долго подчиненное туркам, находило своего естественного воспитателя в Церкви.

В России общество было дальше от Церкви, от духовенства; между священником и дворянином (до последнего времени почти единственным начальником народа и представителем нации) стояли везде: мелкий чиновник, нередко иноверный учитель француз, учитель немец; мать очень светская, начитанная; отец, который бранил монахов и попов, сам не зная почему и т. д. На Востоке все миряне стоят к духовенству ближе: они были все ровнее, смешаннее и между собою и с духовенством. Положение духовенства было здесь совершенно иное, чем у нас. Оно было в одно и то же время и униженнее и свободнее, чем у нас. Униженнее оно было противу турок в том смысле, что не имело того внешнего почета, как у нас; в том смысле, что было беднее нашего и скорее нашего могло в недавние еще времена подвергнуться опасностям смерти, изгнанию и т. д. Так знаменитый Патриарх Григорий был повешен Султаном Махмудом, несмотря на то, что<sup>20</sup> незадолго до своей трагической смерти отлучал всех бунтующих греков от Церкви в своем пастырском к ним послании.<sup>30</sup>

Свободнее восточное духовенство было именно потому, что над ним было Правительство иноверное и вчера еще очень грубое. Турецкое Правительство лишило само себя первыми фирманами Патриархам прав вмешиваться во

внутреннее управление Христианской Церкви. Оно было иноверное и потому именно не имело никаких средств мешаться так во все подробности церковного дела, как может мешаться Правительство единоверное. Оно не имело нужных для этой цели однородных с Церковью принципов; не имело к тому особой охоты. Сам Коран приказывает судить христиан по Евангелию.

Сверх того, надо не забывать, что рядом с презрением к гяурам, у набожных, знающих закон свой турок всегда <sup>10</sup> уживалось весьма своеобразное уважение ко Христу (Пророк Исса), Божией Матери (Пророчица Мариам) и некоторым другим христианским и еврейским святыням. Понятно, что рядом с притеснением, с наружною дерзостью и даже жестокостью было у турок нередко внутреннее уважение к Христианству.

Все эти обстоятельства сделали то, что на Востоке Церковь в подробностях бесконтрольно начальствовала над народом и служила ему во всем национальным, политическим представителем. Епископ в Турции и до сих пор пред <sup>20</sup> Правительством есть не только духовный пастырь, но и политический, административный представитель христиан по многим вопросам.

Это издавна сближало, сливало воедино духовенство с народом. То же делала и школа; той же цели достигала и семейная жизнь, и внутренняя организация духовного сословия.

Школа христианская долго была исключительно в руках Церкви: священники были долго единственными народными преподавателями. Понятно, что воспитание общества <sup>30</sup> должно было быть на Востоке церковнее, чем у нас.

В русской школе священная история и катехизис являлись лишь как нечто обязательное. Религиозные впечатления юноша выносил гораздо более из храма, в который он шел с семьей, из книжки, которую он дома прочел (нередко из книжки французской или немецкой, из Шатобриана или Шиллера, «Граф Габсбургский» напр<имер>), чем из уроков законоучителя в шолковой рясе.

На Востоке на помощь Церкви являлось прежде многое, именно вследствие зависимости. Священная история Христианства, догмат, катехизис, священник, епископ были национальными политическими опорами. Нация от Церкви не отделялась ничем; других исходов, других знамен, другой силы не было. Не было даже долго другой поэзии, другой литературы.

У нас уже со времен Екатерины были между дворянами изящные вольтерянцы, вроде вельможи, воспетого Пушкиным: «К тебе, приветливый потомок Аристип⟨п⟩а», вроде отца Герцена (см. «Былое и Думы»), вроде светского старика в повести Тургенева «Несчастливая».

В начале этого века, в 20—50 годах, в России мы видим духовенство, составляющее особое сословие, почти касту, ибо в строе его была наследственность. Воспитание семинарий совершенно особое, вполне церковное; воспитание школьное мирское далеко не церковное; воспитание домашнее в наиболее просвещенных дворянских семьях, чтение, обстановка, вся располагающая или к равнодушию, или к романтизму, к мечтательности, к сердечной религии и никак не к национально-церковной.

На Востоке мы видим противоположное.

Мы видим не только монахов, но и белое духовенство, смешанное с народом, из него выходящее и в него возвращающееся. Священник выходит не из семьи священника, а из семьи земледельца, лавочника, учителя мирского, из семьи сельского капитана, один священник сын кавасса, другой сам был смолоду сельским стражем, у третьего сын идет в кавассы к европейскому консулу и т. д.

Мы не видим на Востоке резко обособленного семинарского воспитания. Здесь зато все почти были больше семинаристы, чем у нас.

Школа народная, в то время, когда у нас ею правили светские люди, здесь руководилась еще почти без контроля духовенством. (Турки долго не мешались вовсе в народную школу, и всякие попытки их отклоняются и до сих пор христианами очень искусно.)

В семьях самых богатых на Востоке жизнь тогда была жестка, груба, суха во многом; но эта семья Востока Христианского построена вся на таинстве, а не на свободном романтизме христианского оттенка, как издавна у нас, на воле родителей, а не на любви и свободном выборе. Девушки мечтают не о любви, а о браке. Они, подобно германским женщинам Тацита, любят брак, а не мужа.

<sup>10</sup> Чтобы нагляднее себе представить Христианский Восток в этом отношении, вообразим себе русское общество (начала XIX века) без дворянства, особенно без высшего; вообразим себе нечто вроде купцов и чиновников Островского, но и то с некоторыми оттенками, например, с меньшими увлечениями вообще; с одной стороны, у старших поменьше того, что мы прозвали самодурством; с другой, меньше и добрых, щедрых движений; несравненно меньше влюбчивости и протеста со стороны девушек; вообще больше сухости, сдержанности, скупости и сердечного равнодушия.

<sup>20</sup> С другой стороны над этим церковно-воспитанным, благочестивым, но вовсе не романтическим, несколько сухим и холодным восточным обществом первой половины этого века надо воздвигнуть мусульманскую грозу, надо повесить мусульманский меч.

И тогда все будет ясно. Картина общества на Востоке, с одной стороны, похолоднее нашей, с другой, трагичнее. Вообразите, что в чисто семейную и весьма церковную по многим принципам жизнь вторгается со стороны насилия янычара, и тогда вам будет еще понятнее, как турецкая <sup>30</sup> власть, которая нередко была действительно игом, способствовала на Востоке единению, смешению всего христианского: Церкви, нации, школы, семьи, даже племен; ибо пробуждение болгар и их движение против греков и греческой Церкви началось сравнительно очень недавно, при временном облегчении этого ига. Прежде они вместе с греками считались у турок просто христианами и сами себя звали так.

Старое риторическое уподобление поэзии цветам или цветов поэзии, уподобление очень хорошее и верное.

Цветы служат в ботанике наилучшим признаком для определения растений; они суть как бы высшее, сильнейшее выражение физиологии того дерева или травы, на которых расцветают. Их внешность служит признаком внутренних неясных еще законов.

Посмотрим же, что скажет нам сравнение новогреческой поэзии с русской, особенно по религиозному вопросу. Заключение мое вот какое: <sup>10</sup>

И в поэзии на стороне русских мы видим больше капризного романтизма, больше сердечного мистицизма, больше и аскетической, и любящей боли, больше личной глубины. На стороне греков издавна гораздо больше смещения национального чувства с лично-мистическим, меньше боли, меньше теплоты, романтизма; больше догмата, больше патриотизма.

Чтобы меня лучше поняли из примеров, я укажу на религиозные стихотворения грека современного нам, г. Танталиди, профессора древнегреческой поэзии при Богословском училище на Халки (в Царьграде). <sup>20</sup>

Г. Танталиди лично вовсе не холодный ритор; я имею честь его знать, и многим он известен как человек чрезвычайно прямой, теплый, искренний и чрезвычайно религиозный по сердцу, а не по национальным соображениям; на большинство афинских греков он не похож; он от большинства их отличается именно силой и горячностью своего религиозного чувства. Даже многие из болгар его уважают (а это много значит, при непримиримых предрассудках болгар противу греков). <sup>30</sup>

Прекрасные, звучные стихи его я вынужден был бы переводить прозой, а потому и приведу из них только какой-нибудь характерный отрывок, чтобы дать понятие о его тоне.

У г. Танталиди множество религиозных стихотворений, и все их можно назвать вернее еще церковными, чем лично-религиозными, по сюжету. Например:

## ОДА

### НА ВСЕСВЕТНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА

10  
День торжества победного!..  
Великий день, великий праздник Православья!..  
Днесь воздвигаем мы оружие мира,  
Средь чистой радости, средь ликования святого.  
На царственный престол восшедши,  
Вера наша приемлет скипетр славы.  
И Церковь шествует вослед победоносному  
Кресту Господню...

В этом роде много и других: *На Введение Пресвятыя Богородицы; на Во плоти Рождество Господа нашего и Бога и Спасителя Иисуса Христа; на Преображение* и т. д.

20  
В стихотворениях оттенка более политического, например, «На приезд Его Высочества Великого Князя Константина Николаевича в Константинополь», православное чувство занимает также весьма видное место.

Вообще, все подобные стихотворения г. Танталиди более всего напоминают наши прежние оды прошлого века и начала нынешнего. В них есть нечто праздничное, торжественное, сходное с одами Державина или Ломоносова.

30  
Со времен Белинского, который, как известно, в течение своей довольно долгой литературной деятельности не раз увлекался самыми противоположными идеями, у нас не шутя вообразили, что этот державинский род во всяком случае *сам по себе* не хорош. Всякий род хорош у хорошего писателя. Плохие описатели были плохи; бездарные романтики на образце Шиллера и Байрона были бездарны;

плохие последователи нынешнего сухо-объективного реализма отвратительны.

Вот в чем беда. Нынешний объективный реализм считается единственно возможной формой искусства; во времена Державина оды считались самой лучшею и правильной формой. Это все временные увлечения, временные вкусы, мода; неспособность современников к широкой, всесторонней оценке и больше ничего.

Однако я уверен, что даже и между самыми молодыми людьми нашего времени, несмотря на их дурное эстетическое воспитание, найдутся хоть несколько, которые поймут, что стихи Ломоносова и по содержанию, и по силе выражения гораздо выше разных гражданских мотивов à la Некрасов, которые и цитировать совестно.

Я нарочно потому упомянул об одах Державина и Ломоносова, чтобы дать хоть некоторое приблизительное понятие о роде г. Танталиди.

Но при этом не надо забыть двух обстоятельств, во-первых, что язык у г. Танталиди обработанный, старый, превосходный; а у наших поэтов прошлого века еще не было в руках такого готового прекрасного орудия.

Возрождаясь, греки нашли у себя готовыми уже несколько прекрасных языков: гомерический язык, язык цветущего периода Софокла и Фукидида, язык ученых, переведших Библию на греческий язык, язык позднейших византийских писателей и, наконец, тот новый язык, на котором вокруг них говорит и поет народ, нынешний язык, отчасти искаженный, отчасти украшенный примесью турецких, славянских, итальянских и арнаутских корней и оборотов.

Таково преимущество современных греческих поэтов перед поэтами русскими прошлого века и отчасти даже перед нынешними. Ничего подобного нет у других народов; богатство даже несоразмерное с содержанием, которое может дать поэзии нынешняя греческая жизнь и уровень афинских умов.

Другая же очень значительная разница между греческими одами г. Танталиди и одами, например, Державина,

есть именно та существенная черта, которая вообще отделяет резко русских от греков, черта грусти более глубокой, черта меланхолии и романической боли.

Державин представляется вовсе не грустным поэтом, если сравнить его с другими русскими; но и у него слышится несравненно более боли, чем у греков.

Все религиозные оды г. Танталиди без исключения праздничны, торжественны, спокойны, почти веселы; некоторые из них имеют даже просто приветственный характер, например, «Патриарху Иерусалимскому Кириллу» и т. п.

У него сверх того не заметен тот ужас смерти, который охватывал Державина посреди барских пиров XVIII века. Память смерти у г. Танталиди не носится вопреки всему в тоскующей душе самого поэта; она проявляется тогда лишь, когда есть к тому внешние возбуждения, например, в его многочисленных эпитафиях.

Ужас смерти возбуждает в нем мысль о кровопролитной войне; под этим впечатлением он пишет на полупростонародном языке прекрасное, большое стихотворение: «*На новый год*», «как Св. Василий идет из Неокесарии на этот раз без пера и без чернильницы...» (Чтобы понять это, надо знать, что на Востоке дети колятуют под 1-е января, т. е. под Св. Василия, и в песне их поется, что «Св. Василий идет с пером и с чернильницей...»)

У греков нет ни Лермонтова, ни Кольцова, хотя почти все поэты их, вероятно, читали те грустные европейские произведения, о которых, конечно, наш Кольцов знал разве понаслышке. Грусть у русского глубока и естественна; у грека она не глубока и не находит поэтому для себя изящного, сильного выражения ни в религиозных, ни даже в эротических произведениях.

Когда грек вдохновляется религией, она, иногда и незаметно для него самого, становится тотчас же победною или обороняющею хоругвью, пышным знаменем, которое он возносит с гордостью над главой столь любимой им родной нации.

«За Веру Христа святую, за Церковь Восточную и Вселенскую я приму муки и смерть...», говорит он. «Воз-

зрите, братья-греки, на эту святую хоругвь, она спасла народность вашу от всех безжалостных и враждебных сил! Читайте ее, братья-греки! Читайте это святое знамя спасения и в этой жизни, и в будущей...»

Для русского поэта религия не хоругвь торжественная: она икона древняя полустертая, пред которою в ночи горит лампада болезненной любви!

О своей хоругви русский покоен. «Хоругвь эту за каждого из нас давно держит Царь», думает русский и тоскуя, быть может, и о предметах иногда и не слишком христианских — плачет пред своею одинокою лампадой в темном углу.

Напрасно мы будем искать в греческой поэзии хотя бы малейшего подобия таких чувств и любящих, и колеблющихся, как у Кольцова:

Спаситель, Спаситель,  
Чиста моя вера.  
Но Боже! и вере  
Могила темна...

Напрасно будем мы искать у греков таких романтических, лично религиозных стихотворений, какие мы найдем у Пушкина и Лермонтова, например: «В часы забав иль праздной скуки» или переложение молитвы «Господи и Владыко живота моего»:

Владыко дней моих! дух праздности унылой...

или Лермонтова «Ветка Палестины».

Ничего подобного мы не найдем в греческой поэзии.

В стихах эпических у греков, в стихах народных, еще и до сих пор местами творимых в Эпире и других более глухих краях, мы встретим полнейшее взаимное проникновение тех трех элементов, которые у нас так отделены: религиозного, эротического, патриотического. Любовь — это невинная девушка у окна или у колодезя, которая мне понравилась и на которой я бы женился; это жена молодая, бла-

гословенная Церковью, с которою я расстаюсь, чтоб идти на войну или на торговлю в дальние страны. Или это бесстыдная изменница, которую надо либо убить, либо бросить; или это просто развратная девушка, с которою молодец, может быть, и согрешил в минуту искушения, но над которою он будет после с презреньем смеяться.

Вера в этих простонародных стихах *не моя вера*, не вера моего бурного и усталого *сердца*, это не вера плачущая вопреки всем пресыщениям богатства и даже, быть может, юного разгула и разврата; нет, это вера, которую гнетет иноверец, у которой нет Царя-защитника: защитник ей каждый из нас, ружье мое, моя личная хитрость и отвага. Я не знаю тоски, скуки и слез пресыщенного разочарования, я лежу за камнем и стерегу проезжего турка, который, быть может, недавно ворвался в монастырь и исколол глаза нашим древним иконам, ибо считает их идолами!

Нация, патриотизм — это та же вера, та же Церковь, все тот же Христос. «Вот как сражаются наши молодцы-христиане... Да! здесь Сулия, злая Сулия, здесь поп берет ружье, и попадя несет заряды ему в своем фартуке».

Вот впечатление, которое выносишь из чтения эпических греческих стихов нашего XIX века. Я сказал полнейшее единство, первобытное слияние трех элементов: религиозного, патриотического, эротического.

Что касается стихов не эпических, стихов греческих поэтов, полуевропейски воспитанных, то у них мы видим совсем иное, не похожее ни на песню грека-горца, ни на лирическое стихотворение русского поэта.

Я убедился, что у всех образованных новогреческих писателей особенно сильно выражается только патриотическое, национальное чувство. Что касается до религиозного, то оно или совсем в забвении, или очень холодно и искусственно, или вполне торжественно, вполне церковно, как у г. Танталиди.

Какое-то здоровье, спокойствие, веселость, что-то сердечно-поверхностное — видны одинаково и в простонародных песнях, и в городской греческой поэзии.

Но в эпических горных стихах эти черты принимают чрезвычайно правдивую, гомерическую, свежую, наивную, оригинальную форму; а в городских?.. Я перечитывал не раз по самым распространенным сборникам лирические стихи тех греческих поэтов, которые наиболее прославлены на Востоке, которые получили премии на состязаниях в Афинах, и нашел у всех у них одно — сильным, глубоким, искренним опять тот же патриотизм; тут при патриотизме рядом с Фукидидом, Зевесом, Ареем можно встретить и Христа... Можно и не встретить. Но везде элины. <sup>10</sup>

Страдальческих, болезненно глубоких русских молитв и слез пред лампадами в темном углу я почти не вижу в них.

Вообще грусть и грека, и болгарина, и серба очень неглубока. Все они лично нетребовательны от судьбы, от жизни; здоровы, деятельны, терпеливы, бодры. В них нет ни мистического искания, ни аристократической требовательности и никакой болящей любви...

В городских стихах у греков эрос отделен совсем от религии. Он имеет менее эпический, менее семейный характер; у греков очень много стихотворений эротических, но я не нашел в них истинной боли сердечной... Только у Ахиллеса Парасхо, поэта ныне живущего, заметен религиозно-романтический оттенок. Есть у него одно стихотворение («К Божией Матери»).

Я снова иду в Твою церковь пустынную,  
Снова я вижу бледный Твой лик,  
Божия Мать моя ненаглядная...

Это стихотворение, как и вообще стихи А. Парасхо, резко отличается от других. У него есть боль сердца. <sup>30</sup>

Если в чисто религиозных стихах своих греки нашего времени ближе всего к оде, в эротических они колеблются, можно сказать, между мадригалами и водевильным куплетом. Опять та же веселость, спокойствие, выражающиеся в любви или шуточную любезностью, или искусственными, холодными вздохами.

Все «кустики», «луна», «свет очей моих», «поцелуи» и «поцелуи». Целуются беспрестанно. А страсти не слышно; задумчивости нет и следа.

Все эротические стихотворения, попадавшие мне до сих пор, довольно однотонны. Иногда холодно и преувеличенно страстны; иногда тяжеловесно, семинарски игривы. Выражение чувств, уподобления, самый род чувств чрезвычайно стары, несвоеобразны, известны; это нечто полинялое, казенное, давно где-то слышанное и подешевевшее до крайности. И все это в новых Афинах венчается лаврами!

Я нашел одно эротическое стихотворение Парасхо, мало похожее на легонькие и чересчур уже нехитрые любезности его соотчичей. В нем выражено чувство искренно мрачное, очень своеобразное в сладкогласной и водевильно улыбающейся среде современных афинян. Вот оно.

Я не ищу, друзья, девы неопытной в любви: я не хочу ее!  
Робкий румянец невинности мне вовсе не мил!  
Легка победа над сердцем незрелым, влюбленным в незнакомое,  
обожающим неиспытанное.

Нет! воин удалый никогда не убивает беззащитных.  
Легкая победа охлаждает его высокое мужество.  
Он ищет свирепой схватки, он жаждет опасного боя.  
И меч свой он хочет вонзить в грудь могучего бойца.  
Да! и я знал лобзание безгрешной души,  
И мне знакомы вздохи чистой девы...

Но я не слышал пламени в ее лобзаннях,  
И вздох ее был стон боязни, а не стон любви!  
Я? Я хочу найти душу убитую, полумертвую,  
Которая уже все испытала и которой уже нечему учиться.  
Такой души, которая знает, что такое страданье и... хочет  
опять страдать!  
...Ищу я сердца осеннего... И падшего ангела мне радость  
вновь спасти!

Да! я таков! Я ночь люблю больше дня,  
Падающий лист предпочитаю душистым нарциссам,  
Звезды заката яркому сиянию утра,  
И дыханье полусмерти мне милей всего живого...

Есть у того же Парасхо и другое стихотворение на тот же мотив, где некоторые оттенки того же чувства выражены еще сильнее. Поэт желал бы, чтобы та, которую он любит, не имела ни брата, ни матери и никакого близкого, чтобы она ничего не смела любить кроме его и мечтала бы лечь с ним в одну могилу.

Оба стихотворения эти не везде одинаково художественны и выдержаны, но конечно, они демоничнее, серьезнее, романтичнее других, известных мне эротических стихов новогреческой музыки.

Не любопытно ли, что именно у Парасхо я нашел и религиозное молитвенное стихотворение, отличающееся большею, чем у других греков, томительностью и свежестью сердечно-мистического чувства?

Конечно, это совпадение любопытно, но оно весьма легко объясняется.

Соблазнительный демон романтической любви такой же высший дух, как и чистый ангел целомудрия. Если бы демон не был так «могуч, лучезарен и прекрасен» (по выражению А. Майкова), то его действие на душу нашу не было бы так страшно.

Христианство не отрицает обманчивого и коварного изящества зла; оно лишь учит нас бороться против него и посылает на помощь ангела молитвы и отречения. Поэтому-то и родственность романтизма эротического и романтизма религиозного в душе нашей так естественна и так опасна. «Дух тьмы часто даже принимает вид ангела света», говорит сама Церковь. И прибавим еще, что и у нас самый страстный из наших романтических поэтов, самый демонический, именно Лермонтов, создал в то же время едва ли не лучшие у нас молитвенные и по Боге тоскующие стихотворения. Итак, за очень немногими исключениями, эротическая муза нынешних эллинов и не глубока, и не изящна, и не грустна, и не демонична, даже и не опасна... Искуситель греков — это не мрачный страдалец Байрона и Лермонтова; не мыслящий Фауст, для которого любовь есть такое же серьезное дело ума, как и сама наука, не «пыш-

ный демон, на огневой порфире коего горят два огненных крыла» и с которым едва-едва под силу бороться чистому ангелу религии; нет, искуситель нынешних баваро-французских Афин — какой-то веселый сатир; не злой, но и не любящий глубоко, главное не страдальческий для себя и не опасный для других. Он точно будто бы сейчас только запер торговую контору свою, потер руки, самодовольно погляделся в зеркало и сказал себе:

<sup>10</sup> — Ну, теперь серьезные дела кончены! Можно на досуге и приятным Эротом заняться. Ведь и предки мои его чтили. А они были великие люди.

Впрочем, появление таких стихотворений, как приводимые три образа из Ахилла Параско, *предвещают нечто иное.*

## VII

На Востоке не только лица и нации, но и очень многое переходит в наше время из простоты первобытной — в простоту самой крайней и дешевой буржуазности.

<sup>20</sup> Например, горная тропинка, по которой едва идет мул, минуя красивое и извилистое шоссе, обсаженное деревьями, по которому века ездили бы разнообразные экипажи, прямо переходит в прямую линию железных рельсов. В Адрианополе, на реках Тундже и Марице, нельзя до сих пор найти ни красивой лодки для прогулки, ни разнородных хороших барок для перевозки; для перевозки тяжестей и переезда употребляются самые первобытные плоскодонные, некрасивые, чуть сколоченные челноки и барки. А завтра тут начнут ходить пароходы.

<sup>30</sup> Театральная, красивая одежда поселян и небогатых горожан, вместо того чтобы в высших классах населения приобрести себе (как было, например, в Европе до XIX века) утонченное и роскошное аристократическое выражение, прямо переходит в дешевый сюртук и панталоны, т. е. в простую, вторично-упрощенную одежду либерально-лавочной Европы.

В греческих и славянских горах горная эпическая песня еще не замолкла, а в греческих и славянских городах издаются уже давно газеты самого радикально-буржуазного направления, и пишутся незатейливые стишки в самом новейшем духе.

Таких примеров на Востоке множество. Сельский болгарин немногим посложнее в мыслях своих, в быте, в потребностях, в идеале, чем первобытный болгарин времен Симеона и Самуила; а его племянник, сын, брат, побывавший в Царьграде, Одессе, Вене или Николаеве, по мыслям, по идеалу и т. д. нечто вроде последователя Гамбетты, конечно, несколько грубый, малосложный, не имеющий за спиной своей влияния великого и цветущего прошедшего.

Таким образом на Востоке очень многое, почти все, из простоты эпической переходит прямо в простоту буржуазную, европейски-радикальную, минуя извилистые и сложные пути цветения самобытного, пестрого, оставляющего и после расторжения прежнего еще на значительный срок разнообразные следы. На Востоке нет нигде того охранительного векового накопления, которое заметно, например, больше всего в аристократической Англии, менее в континентальной Европе и еще менее, но все-таки заметно и в России.

Действительно, если взять Россию сравнительно с нациями Запада, то видишь, что явления сложного цветения у нас были гораздо слабее и бледнее, чем в главных пяти-шести политических организмах Европы. Разносторонний Гёте резче и всемирнее по содержанию разностороннего Пушкина. Равные по прелести формы «Фауст» и «Годунов» далеко не равны по всемирному значению содержания. Демон Лермонтова менее страшен и менее широк в своем влиянии, чем демон Байрона; он более примирим с жизнью; его утешает, например, «с резными ставнями окно». Ту же сравнительную бледность и нерезкость найдем и на государственном, и на научном, и на философском поприщах, и в области искусств.

Но если мы сравним Россию и русских с их Восточными единоверцами, греками и славянами, то конечно, совре-

менные русские покажутся нам представителями чрезвычайной сложности.

В России характеры сложнее и разнообразнее, потребности, роды воспитания, привычки, вкусы, идеалы разнообразнее; мысли сложнее и все-таки оригинальнее, чем на Востоке, в среде интеллигенции, конечно. Состояния и общественные положения гораздо дальше стоят друг от друга; всякого разнообразия больше: сословного, племенного, религиозного (расколы и мистические ереси наши), чиновного; экономические противоположности богатства и бедности резче. Чувства тоньше и сложнее (то есть глубже), поэтому неизбежно и страдания и наслаждения живее, глубже, разнообразнее.

И чувства восторга и чувства боли сердечной поэтому должны быть сильнее у нас, чем в таком обществе, где характеры малосложнее, потребности однороднее, вкусы однообразнее; где воспитание, пожалуй, несколько и разное в простом народе по областям, сливается, однако, наверху с помощью грамотности, сюртука и демагогии в один тип свобододолюбивого и властолюбивого, алчного реалиста, — греко-европейского и славяно-европейского буржуа. Боли мало; чувства грубее; потребности просты и легко удовлетворимы; фантазия не развита; аристократичности нет вовсе в ближайшем прошедшем, и потому и вкус, и ум, и самое тело не так требовательны во всем: и в поэзии, и в светском быте (см. Абу: «Современная Греция»\*), и в эротических чувствах, и в любви... и, наконец, в религии.

---

\* Нельзя не согласиться, что Абу отчасти прав, описывая, как на афинских балах кавалеры иногда говорят пресерьезно с девицами о том, что «у них на всех пальцах мозоли». С 54 года и прочтя книгу Абу, молодые греки, может быть, стали осторожнее и тоньше; но все-таки есть еще что-то в этом роде; европейский быт делает на Востоке ужасающие завоевания; но преимущественно своими внешними и пошлыми сторонами. Замечательно, например, что и турки, и христиане, надевшие европейское платье, гораздо грязнее тех своих соотечичей, которые носят восточную одежду. Молодого героя поэмы или повести в греческой фустанелле или в черногорском костюме найти

В религии что-нибудь одно: или наивная простота, или романтическая интензивность. Там, где утрачивается простота первобытная, необходима интензивность романтических чувств; нужны страдания не простые, не грубые страдания, которые бывают везде, а страдания, которые ищут исхода лишь в идеальном мире и в идеальных чувствах.

У нас давнишняя (сравнительно) умственная развитость наша, развитость ума и изящества, в среде наших дворянских семейств, оставляя в душе молодых людей впечатления и церковные более изящные, более теплые и тонкие, более идеальные и по внешности (хоть бы говенье в детстве с образованною матерью, или праздник Пасхи в Москве, или поездки с родными в один из хороших монастырей наших) оставляют в сердцах образованной молодежи более глубокие следы, чем могут оставить грубоватые, простые, менее изящные религиозные формы и чувства на Востоке. Кто же не замечал, что и в самой России есть разница по слоям в этом смысле. Молодые люди и молодые девушки самого высшего круга сохраняют очень часто больше связи с Церковью, чем их сверстники и сверстницы из нашего растрепанного и рассеянного по земле мелкого дворянства. Изящных воспоминаний о семье и Церкви у высших дворян больше.

В сельском народе, как известно, также много искания, тоски, боли и т. д. И у него другими путями и от других причин религиозные чувства теплее, по-видимому, чем у греков и юго-славян.

Мы справедливо жалуемся иногда на религиозное равнодушие нашего общества, на церковное невежество наших

---

очень легко; он и в жизни очень поэтичен; герой светский на Востоке почти немислим. Как пример юго-славянской светской тонкости можно привести следующий случай. За дипломатическим обедом сидит русский камер-юнкер рядом с женой одного из самых блестящих сербских государственных людей. Она печальна. «Что с вами?» — спрашивает русский. «Чрево болит, господин мой!» — отвечает знатная сербская дама.

образованных людей, на расположение общества нашего к вовсе неуместным и непрошенным реформам в церковном устройстве. Мы имеем право жаловаться на легкомысленное модничанье иных иереев наших, расшаркивающих пред мнением большинства (пред тем, что Мильь зовет «la médiocrité collective»). Мы имеем основание сожалеть о том, что значительная часть наших образованных соотчичей нападает на монахов и монастыри, не понимая ни религиозного их смысла, ни их политического значения. Эта часть <sup>10</sup> нашего общества не понимает, что монастыри для Церкви, для религии то же, что университеты, лицеи, клиники для науки; она не догадывается, что в обителях происходит и предлагается мирянам накопление охранительно-религиозных влияний и впечатлений почти так же, как происходит и предлагается накопление научных впечатлений и поучений в университетах.

Все это так, но, с другой стороны, мы видим немало и утешительных явлений. Значительная часть нашего богатого и образованного общества поддерживает всячески церкви и монастыри. Я сам видел, какое множество жертв шло из России на Афон и от людей разных классов; везде отстраиваются новые церкви без всякой задней политической мысли; в России монастыри благолепны и полны, и были бы еще гораздо многолюднее, если бы гражданские законы не сдерживали охоты к пострижению; богомольцев всех классов много и в России, и на Востоке. Я недавно познакомился в Цареграде с одним молодым французским легитимистом, который без ума от наших иерусалимских поклонников; на этом только основании он верил в молодость, силу и будущность России. (<sup>30</sup>Прав ли он был, считая Россию очень молодою, это другой вопрос.) Дворян, чиновников, офицеров пропорционально в монашестве много: там флотский офицер игуменом, там сенатский немаловажный чиновник иеромонахом, там дворянин, кончивший курс в университете, не утратил, однако, веру и постригся в иноки. О купцах богатых и средних и говорить нечего. И сколько хороших, добрых, искренних монахов; сколько людей, ко-

торые отказываются от повышений и которые именно тем миру и полезны волей-неволей, что они хотят быть как можно менее от мира сего. Видна все-таки в значительной части общества забота о религиозных интересах, без всякого отношения к политике; видно, одним словом, что еще для многих русских Православие есть та лампада пред иконой в углу, о которой я говорил прежде, а не национальное только знамя...

Когдаходишь в храм внутри России и видишь эту толпу, так усердно молящуюся, понимаешь, что тут нет чужих, нет иностранцев, не пред кем молиться для демонстрации, нет турок, армян, влиятельных Католиков, как на Востоке. Видишь нацию сильную, беззаботную о чуждом влиянии, даже слишком иногда беззаботную...

Итак, как ни дурны многие признаки у нас, на Востоке многое еще хуже. Души, теплоты, содержания на Востоке менее. Там, повторяю, воспитание мирян церковнее; у нас оно, так сказать, теплее, романтичнее.

Идеалом было бы соединение того и другого. Нам нужно побольше церковности, побольше знания, чтобы придать больше ясности и твердости нашей разнузданной теплоте, нашей горячей, ноющей тоске. Восточным людям, и славянам, и грекам одинаково, нужно бы побольше тонкой развитости чувств в высших слоях, побольше теплоты, поменьше грубого довольства мелким проявлением европейской буржуазной цивилизации. Они уж очень всему рады. Слово «разочарование», о котором у нас из какого-то предрассудка нынче молчат, но которое многим слишком коротко знакомо по чувствам, это слово там вовсе не в употреблении. Чтобы перевести его однажды по-гречески, мне нужно было прибегать к помощи профессоров и больших лексиконов. Г. Танталиди сказал мне, наконец, что это значит «апогойтевсис». Живя десять лет на Востоке, я во стольких разговорах ни разу этого слова не слышал.

Страдания на Востоке имеют характер более внешний; они редко исходят из глубины собственного сердца.

Пока было жить страшно, пока турки часто насильовали, грабили, убивали, казнили, пока во храм Божий нужно было ходить ночью; пока христианин был собака, он был более человек, то есть был идеальнее. В двадцатых и тридцатых годах этого столетия были еще добровольные мученики (см. «Афонский Патерик», например); были матери, которые говорили сыновьям, как лакедемонские матери: «лучше пусть убьют тебя турки, нежели видеть мне тебя изменником Христу!» В монастыри шли прежде богатые и высокопоставленные люди. Богатые, знатные фанариоты, молдо-валашские бояры приносили в дар на церкви и обители огромные имения.

Но времена переменялись. Успехи русского оружия, удачные восстания сербов и греков и вообще успехи Православной политики на Востоке обеспечили христиан более прежнего от внешних бед. Эти политические успехи Церкви послужили косвенно и неожиданно к ослаблению Православия сердечного, личного, мистического. Свобода открыла настежь двери мелочным европейским влияниям, мелкому самодовольству.

Гораздо бóльшая привычка к труду для пропитания, чем у нас в высших классах России, большая грубость нервов, меньшая требовательность фантазии, меньшая тонкость чувств и мыслей, а вдобавок относительно Европы и прогресса роль рагвену вчерашнего, который всем восхищается в буржуазной Европе, — вот восточно-христианская интеллигенция, греческая, сербская и болгарская.

Россия, уже сама по себе более сложная, то есть более богатая разными психологическими ресурсами и требованиями, вступила в сообщение с Европой цветущего периода, с Европой, где еще было много рыцарства, много утонченности, где и Католичество и Протестантство были еще сильны и свежи сравнительно с нынешним.

Греки и юго-славяне вступили в общение с Западом в XIX веке, когда Европа суше, холоднее, растеряннее, учение количественно, но ничтожнее качественно...

Состояние монастырей есть, повторяю я, одно из лучших мерил религиозной жизни в исповеданиях, где, как в Католицизме и Православии, есть учреждение монашества.

Состояние это характеризуется двумя вещами: 1) количеством людей, желающих стать монахами, и 2) тем, из какого класса общества идут люди в монахи.

В греческих областях монахов очень много; я точной статистики не знаю, но от всех знающих людей слышал, что их гораздо больше, чем в России. Но не должно забывать, что в России настоятельные потребности набора и другие соображения побуждают издавна гражданский закон стеснять свободу пострижения. Если бы в России дана была людям хоть половина восточной свободы в этом направлении, то, зная характер русских, нетрудно предвидеть, что число монахов у нас сейчас же бы далеко превзошло число греческих. Это видно по количеству поклонников и поклонниц в Иерусалиме и в Афоне. На Афоне, несмотря на близость греческих стран, поклонников греческих почти вовсе нет.

Что касается классов общества, из которых идут в монахи, то из образованного класса греков, из офицеров, адвокатов, из богатых купцов, писателей, чиновников, в монахи почти вовсе нейдут, и давно уже.

Тайного пострига, нередко встречающегося в России, в Греции не знают. У нас такой постриг происходил и происходит в наше время не от одних тех внешних, гражданских стеснений, о которых я говорил выше; он еще нередко имеет источником и сложные обстоятельства личные. Были и есть у нас люди, которые, давши ли клятву Богу, или по другим каким-либо обстоятельствам сердечным, желают иметь на себе, так сказать, печать монашеского обета; а вследствие ли закоренелых привычек или других важных и серьезных обязанностей в монастырь вдруг на общее правило поступить не могут. Из таких людей иные поселяются поблизости монастырей, в гостиницах или в своих домах;

другие, оставаясь на службе и вообще в міру, бывают тайно пострижены.

На Востоке этого обычая не знают, и восточный наш единоведец еще принесет свою долю комфорта, каким пользуется, в жертву (если уж приносить!) Элладе, Болгарии и Сербии, но не отдаст на удовлетворение религиозной потребности.

Я никогда не забуду одного очень характерного случая из моей жизни на Юго-Востоке.

<sup>10</sup> Проездом через Триест я встретил одного грека, очень приличного, красивого, средних лет, с прекрасными манерами. Зашел разговор о религии. — «Да! — сказал, глубоко вздохнув, этот грек (вполне европеец хорошего тона по внешности), — религию мы забываем, но когда нас поражают глубоко семейные и другие несчастья, мы тогда вспоминаем о Боге и обращаемся к религии!»

<sup>20</sup> Больше ничего. Обыкновенные, кажется, слова? Отчего ж они так поразили меня? Оттого, что я, прожив около десяти лет на Востоке, один раз всего только слышал их от христианина, одетого по-европейски. Я слышал беспрестанно другое: «Православие — это наша сила; Христианство — это узда и знамя для грубого нашего народа; народ наш исполнен суеверия и тьмы, ему нужна еще Церковь!» или: «Да, я могу быть атеистом, я могу быть учеником Фейербаха, но пусть турок, католик или немец коснется Православия, этой народной нашей святыни, о, я!.. тогда я!.. и т. д.». Грустного, сердечного тона я при разговорах о религии с восточными мірянами не слышал.

<sup>30</sup> Еще доказательство. Один из самых опытных русских духовников на Афоне на предложенные мною вопросы по этому поводу отвечал, что он, прожив более тридцати лет на Афоне, видел за это время там более двухсот человек поклонников из высшего и среднего дворянства, не считая купечества, а из греков соответственного воспитания только двух (из них один был врач, желавший из расчета устроиться на Святой Горе); из болгар и сербов не помнил что-то ни одного.

Один из лучших и умнейших пашей говорил мне: «Я очень боюсь вашей России, но я очень уважаю ваш народ. Я знал, например, этого вертопраха Кельсиева и много беседовал с ним: он очень умный человек. Правду говорил он, что русские на Дунае занимаются политикой для религии; а болгары и греки смотрят на религию большею частью как на политическое орудие».

Протестантский миссионер на Дунае г. Флокен тоже говорил мне, что русские несравненно симпатичнее, душевнее в деле религии и болгар, и греков. Русские оттого крепки в своих религиозных верованиях (все: Православные, молканы и старообрядцы), что они думают о них и сильно чувствуют, а болгары на пропаганду оттого не поддаются, что они сухи и тупы. Г. Флокен одинаково имел мало успеха и между болгарами, и между русскими, поэтому верить ему можно.

Еще свидетельство греческое. Один греческий епископ, живущий давно на Святой Горе, сказал мне раз: «Отчего у нас, греков, нет таких благочестивых христиан между высокопоставленными лицами, какие есть у вас в России?» (Он назвал мне несколько лиц.)

Сравнивая болгар с греками, находим следующие оттенки:

1) Болгары еще однообразнее греков; гораздо однообразнее; еще *ровнее* по устройству жизни.

2) Они имеют менее тех церковности в воспитании, ибо не жили близко от древних Патриарших великих центров, не имели преобладаний в Иерусалиме и на Афоне, как имели его искони греки; ибо у них гораздо менее монастырей; гораздо меньше церковно-ученых людей исстари; географически даже они были удаленнее греков от большинства великих православно-византийских памятников, центров и преданий; сельский народ их, прибавим, не понимал даже ни слова в церковной службе до последнего времени.

3) У греков все-таки больше поэзии, больше романтизма, как вследствие большей образованности, так и отчасти

вследствие преданий той эпохи, при которой они восставали и возрождались к городской жизни. При возрождении греков героями были: Байрон, Шатобриан, кровавым подвигам эллинов вторили лиры великих поэтов; болгарскому рассчитанному и осторожному движению современны лишь свист локомотивов и журнальные статьи. Сказать ли что о сербах?

10 Сербы хвалят Православие; они чтут его. Они могут даже сражаться за него геройски. Но и у них церковности воспитания меньше, чем у греков; близости к памятникам, к патриаршим странам, к преданиям, к славе византийской меньше; от Святых Мест они гораздо дальше, чем греки. С другой стороны, у них тоже гораздо, несравненно менее, чем у русских: идеализма, мечтательности, поэзии; болезненности души вовсе нет; о тонком, разнообразном развитии, о сложных потребностях, о сложных ресурсах и сложных страданиях не может быть и речи. Они очень просты, и лично, и национально (т. е. сербы Турции).

20 Поклонников у Святых Мест сербских вовсе не видно; монашество в свободной Сербии в упадке.\* В Сербии были уже попытки к упразднению малочисленных монастырей. На Афоне сербов-монахов всего два, три. Наконец вспомним и то, что значительная часть сербского племени, взятого во всецелости в Турции и Австрии, не Православного исповедания, а Католического. Поэтому при очень возможном в будущем Пансербизме центр национальной тяжести может не совпасть с Православием, как совпадает

---

\* Из Убичини; «Les Serbes de Turquie» (стр. 78—79). «Монахи живут в монастырях. Монастырей в Сербии 44. Это дает по три монаха на каждый монастырь. Самый населенный и с исторической точки зрения самый знаменитый, Студеница, в 64 году был обитаем девятью иноками». В других монастырях по одному, по два монаха. И Дентон, и Убичини согласны в том, что монастыри в Сербии малолюдны. Дентон объясняет это тем, что монахи в Сербии не популярны, не любимы народом; что женатых священников народ больше уважает (у русских и у греков наоборот).

он у греков и у болгар. Этот центр национальной тяжести может совпасть при Пансербизме с чем-то средним, вне Рима и вне Византии стоящим.

---

Такова духовная, психическая почва, с которою нам приходится иметь теперь дело на Востоке.

Она не совсем такова — как у нас обыкновенно многие думают. Она может измениться так или иначе; но это дело будущего.

---

Какой же из этого всего следует *политический* вывод? спросят меня. 10

На это я отвечу, прежде всего, что не считаю подобный вывод обязательным для каждой статьи, даже и при нынешних обстоятельствах, столь бурных и требующих на все практического ответа.

Я назвал труд мой «опытом национальной психологии»; я изложил то, что мне казалось непосредственно истиной моего созерцания, и больше ничего. Выводов частных, я думаю, можно сделать много разных, смотря по убеждениям и наклонностям каждого. Я же попрошу только с одной стороны вспомнить, что политические интересы очень часто не имеют прямого и немедленного отношения к тому вопросу: нравятся ли нам жители какой-нибудь страны, или вообще хороши ли, или худы чем-нибудь люди какой-нибудь нации. Для политических дел общее знамя важнее личных свойств. Отвлеченные идеи и общие, одушевляющие самые разнородные характеры, интересы — вот что соединяет народы и государства в союзы или восстанавливает их друг против друга, доводя до открытой и кровавой борьбы; а не психическое достоинство и личные недостатки отдельных лиц; хотя бы эти достоинства или недостатки принадлежали и большинству той или другой нации. 20  
30

Осман-паша, например, конечно, выше какого-нибудь жалкого серба, который спрятался в кукурузе; но Осман для России противник, а серб, даже и в кукурузе спрятанный, имеет право на нашу помощь и сострадание.\*

Самый грубый или алчный черногорский воин, самый легкомысленный и пустой румын, самый надменный и коварный грек, самый упрямый и лукавый болгарский чорбаджи должны быть для нас дороже и ближе самых просвещенных, изящных и самых благородных по характеру английских лордов, дороже и ближе самых простодушных, честных мусульман, самых безукоризненных по свойствам и образу жизни папистов.

---

## ДОПОЛНЕНИЯ

(1885 года)

### I

Мне кажется, что из этого очерка достаточно явствует: во-1-х, что наш Восточно-Православный мир еще весьма разнороден в оттенках своих и содержанием психическим не беден. Во-2-х, что все оттенки и разнородности эти могут в гармоническом (т. е. *полном контрастов*) единении принести неисчислимые и самые пышные плоды, а при сочетании неудачном (т. е. способствующем *однообразию и смешению*) могут стать лишь поводом к расторжению и гибели.

Скажу кратко: для *Восточно-Славянского мира* нужно как можно менее единства государственного, политического в тесном смысле и как можно больше единства церковного.

Со стороны политической желательно не слияние, но <sup>30</sup> (как я в другом месте выразился) лишь какое-нибудь под-

---

\* Писано в 1878 году.

чиненное тяготение на почтительном расстоянии; «Союз Государств», а не однородное и даже не слишком тесно сплоченное «Союзное Государство».

Со стороны же церковной — необходима несравненно большая противу прежнего близость друг к другу местных национальных Церквей; ибо слишком тесная зависимость этих местных Церквей там — от светской власти, здесь — от демагогических влияний, и сравнительно слишком большая их независимость друг от друга или от какого-нибудь общего церковного центра — становятся при новых условиях жизни положительно вредны и опасны для Православия. <sup>10</sup>

«Эллинство, или эллинская национальность (сказал я уже прежде в другом месте), хотя и довольно важна для нас на Востоке с чисто политической точки зрения, по передовому географическому своему положению, по силе торговых и мореходных способностей своих, по чрезвычайно оригинальному соединению в среде своей крайней первобытности, дикости и наивности с большим разлитием грамотности и даже сравнительной учености; но все эти важные черты новогреческой национальности становятся второстепенными и даже ничтожными, когда мы сравним их с тем значением, которое имеют греки для Православной России, как представители и носители церковной идеи на Востоке, как исторические (т. е. не принципиальные, а временные) местоблюстители четырех великих Патриарших престолов, как самые верные, опытные, способные и твердые охранители самых древних и, так сказать, „из первых рук“ полученных преданий и уставов Вселенского Православия. Говоря иначе и еще яснее: не греки должны быть важны для нас сами по себе, как греки, а важны Восточные Церкви, по исторической случайности оставшиеся в руках греков». <sup>20</sup>

«Нам прежде всего нужен Вселенский Престол на Босфоре для дальнейшего церковного домостроительства, какой бы крови человек ни восседал на этом престоле. Престол этот вскоре должен или совершенно пасть, или <sup>30</sup>

стать Вселенским не по имени одному, а по действительному значению. Никакие каноны не обязывают Православную Церковь держать на нем грека во что бы то ни стало, и недалеко то время, когда сами греки вынуждены будут если не понять, то допустить это. Но пока этот великий центральный и спасительный по своей будущности Престол в руках греков, нельзя раздражать их какими-то славянскими бравадами, в которых нет ни ума, ни дальновидной политики, ни христианского смирения со стороны сильного (т. е. России) перед слабым, но правым духовно (т. е. перед Патриархом)». С своей стороны и Патриархи или, — общее сказать — представители греческого духовенства не должны позволять себе слабеть перед «духом века»; не должны становиться игралищем и орудием самоуверенной и тупой в своем европеизме афинской демагогии... *афинская демагогия; афинский парламент; афинские софисты и краснобаи во фраках — вот враги России, враги Церкви, враги Самодержавия русского; а не фанариоты; не архиереи, не Патриархи, не монахи греческой крови.* — Напротив того, высшее греческое духовенство неоднократно доказывало, что оно желает пребыть верным обще-церковным греко-российским преданиям, вопреки всем распалюющим племенную вражду влияниям афинского либерального эллинизма... Будем надеяться, что этого запаса православных чувств достанет у греческой Иерархии до великого дня рассечения Гордиева узла на Босфоре!

## II

О сербах — и книге кн. Влад(имира) Мещерского («Правда о Сербии»).

<sup>30</sup> Во всех предыдущих статьях [моих] я не скрывал, что сербов знаю гораздо менее, чем болгар и греков. Внутренний социальный характер и политическая внешняя роль сербского племени в делах Востока были мне очень ясны и без поездки в страны и провинции, населенные этим племе-

нем; я доказал это, между прочим, тем, что, живя в Царьграде, среди глубокого военного затишья в 73 году, пророчил, что *первые восстанут против Турции не болгары и не греки, а сербы*. (Смотри «Визант(изм) и Славян(ство)». Глава 5-я; стран(ица) 61-я «Чтений М(осковского) Об(щества) Ист(ории) и Древ(ностей)»). Но психический строй и бытовые оттенки, не посетивши сам ни Княжества Сербского, ни Боснии с Герцеговиной, я должен был угадывать лишь с помощью своего рода индукции. Напр(имер), я не верил в религиозность сербов, я полагал, что они в деле личной веры должны быть непременно слабее русских и греков. А без личной веры у многих людей в высшей общественной среде той или другой нации можно ли рассчитывать долго и на правильную политику целого народа? Конечно, нет; «интеллигенция» всегда может легко обмануть народ или повести его рано или поздно за собою, — так случилось в Болгарии, так позднее случилось и в Сербии.

Сам я, говоря, не имел случая личными, живыми впечатлениями проверить моего предубеждения противу сербской нации в церковном отношении; но вот почти в то же самое время, когда я нашел, наконец, возможность, после множества затруднений, отпечатать в «Чтениях» мой труд «Визант(изм) и Славян(ство)», кн. Влад. П. Мещерский, возвратившись из Черняевского лагеря, издал свою небольшую книгу «Правда о Сербии». Эта книга дышит правдой, особенно для того, кто сам дышал воздухом юго-славянской религиозности в течение нескольких лет.

Вот что сообщает нам кн. Мещерский.

Стр. 90 и 91.

«Жизнь в кофейнях или около кофейен есть жизнь всех белградских жителей с утра до вечера.

Кофейен в Белграде до	900
церквей Православных	4
старых мечетей	7

Цифры эти довольно красноречивы».

Стр. 345.

До прибытия княгини (ныне Королевы) Наталии ...«в Белграде не знали, что значит ходить в церковь...» «И не прошел год после ее прибытия в Сербию, как люди стали ходить в церковь: многие матери семейств стали обучать детей своим закону Божию...»

Стр. 343.

«Княгиня Наталия, как известно, русская, из фамилии Кешко. Ее родина — Херсонская губерния».

<sup>10</sup> Стр. 220.

«О религии он (т. е. сельский серб) почти не имеет понятия; церковей почти нет, а священники скорее поверенные в делах своих прихожан, чем служители Церкви».

Стр. 199.

(Об «интеллигенции» Княжества.)

«Вообще образование местное, выходящее из пределов низшего, имеет растлевающее и обезличивающее влияние на сербскую молодежь...»

<sup>20</sup> «Правительство Сербии позаботилось не о том, чтобы высшее образование было серьезно, добросовестно и основано на началах христианского образования, а о том, чтобы оно как можно скорее приравняло массу культурного слоя к вольнодумцам парижских бульваров».

Кажется, из этих кратких выписок ясно, как слабо религиозное чувство в Сербии.

У князя Мещерского есть и еще одно сведение, которое подтверждает очень наглядно то, что я стараюсь доказать в моей статье; именно, что русские вообще несравненно религиознее своих юго-восточных единоверцев; особенно русские высших классов сравнительно с юго-славянами и греками, по-«европейски» обученными.

<sup>30</sup> Вот оно, это сведение (стр. 274).

«Огромную радость испытали при мне русские в Делиграде, когда приехал из Москвы хор Чудовских певчих и когда, на другой день после их приезда, узнали тоже о прибытии походной железной церкви из той же Москвы».

«Днем, после обеда, певчие, в полном своем парадном облачении, явились в дом Черняева, выстроились и после представления Черняеву, который принял их самым ласковым и радушным образом, запели „Отче наш” Бахметьевским простым напевом».

«Едва они запели, как всеми присутствовавшими овладело какое-то прелестное настроение, и слезы, — вот уж непритворные слезы, — так и брызнули из глаз у многих офицеров».

Не правда ли, что все мы верим этому, и всех тех из нас, которые заслуживают имени русских людей, это даже и не удивляет. Но если бы мне сказали, что при звуках церковного пения, внезапно раздавшихся среди боевого лагеря, заплакали офицеры сербские, черногорские, болгарские или афинские, я бы удивился и потому бы только не обрадовался донельзя этому, что плохо бы этому рассказу поверил... Не похоже!

Повторяю еще раз: русский впечатлительнее, чувствительнее грека в деле религии; у русского больше, чем у грека, искания, томления, любви, романтичности, т. е. религиозное чувство вообще глубже и сильнее; грек суше; но в строго православном смысле он церковнее, «определеннее» русского. Что касается до южного славянина, то он ни то, ни другое.

Именно южному славянину в этом отношении следовало бы сказать: «ты не горяч и не холоден, — изблюю ты из уст моих!» Если бы «изблевать» его была нам какая-нибудь возможность... Но южный славянин с своей «буржуазностью» стоит на пути нашего будущего, и без его участия мы не можем идти далее, и потому волей-неволей нам нужно не отказываться от него, а стараться видоизменить, претворить его, «нейтрализовать» каким-нибудь сильным противоядием его жалкую европейскую либеральность. Лучшего же противоядия против нее пока нет, — как усиление Церковно-Православного духа, возвеличение Церкви, — иными словами Церковное единодушие с греками.

## О НОВОГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Я не считаю себя вправе сказать, что я *изучал* новогреческих стихотворцев; это слово «изучал» слишком серьезно, чтобы его можно было употребить, говоря о моем отрывочном знакомстве с этими стихотворцами по там и сям попадавшимся мне сборникам; на истинно *хорошее* знание современного эллинского языка я также не претендую; думаю только, что я «понимаю», надеюсь, что я «схватываю»<sup>10</sup> дух этой новогреческой поэзии и могу судить о сравнительных достоинствах того или другого из ее произведений. К тому же большинство русских вовсе с ней не знакомо, и потому я не нашел нужным через излишнюю, «ученую», так сказать, к себе строгость отказываться от передачи впечатлений, которые я вынес, и от сообщения выводов, к которым я пришел после десяти лет жизни среди христиан Турции и свободной Эллады. Очерк мой был уже окончен, когда в 1874 году я приобрел еще новый в то время сборник стихотворений, изданный за год до этого в Афинах,<sup>20</sup> под заглавием: «Новый Парнас; различные лирические образцы современной поэзии».

Сборник этот подтвердил мои надежды на скорый поворот новогреческой музыки к тому более «реальному» романтизму, в который вступила наша русская поэзия со времен Пушкина. Я романтизмом *реальным* называю такой романтизм, который переживается хоть сколько-нибудь в действительной жизни самим автором. Поэт в периоде реального романтизма выучивается лучше своих предшественников находить в самой жизни хотя бы и преходящее, но все-таки<sup>30</sup> вполне достаточное удовлетворение своим эстетическим идеалам; выучивается делать то, что повелевает Господь делать Ангелам в прологе «Фауста»:

Doch ihr, die ächten Göttersöhne,  
*Erfreut euch der lebendig reichen Schöne!*  
 Das Werdende, das ewig wirkt und lebt,

Umfass' euch mit der Liebe holden Schranken,  
Und was in Schwankender Erscheinung Schwebt,  
Befestiget mit dauernden Gedanken!

(Вы ж, дети Божьего избранья,  
Любуйтесь красотой созданья!..  
Все, что в бываньи движет и живит,  
Пусть гранюю объемлет вас любовной,  
И что в явленьи призраком парит —  
Скрепляйте мыслью безусловной!)

Перев(од) Фета

10

Это возрастающее умение поэтически понимать действительность выражается между прочим тем, что поэт находит более против прежнего *личные, самобытные, наглядные* оттенки, слова и обороты, соответствующие вполне и порывам его собственной фантазии, требованиям его собственного вкуса и чувствам читателя.

Кроме этого, собственно личного оттенка, в период возрастания романтизма, поэты своим сердечным чувствам выучиваются, быть может и невольно иногда, придавать *черты местные, национальные и современные* и, наконец, изображая жизнь чужую, иноземную или времен прошедших, изображают эту жизнь *по-своему*, кладут на нее свою печать; печать личную, национальную и печать *своей* эпохи.

С поэтами же, не дожившими до времени этого, *более реального* романтизма, о котором я здесь говорю, случается то же самое, что бывает с начинающими или очень молодыми поэтами; про этих стихотворцев *ранней эпохи* и *молодого возраста* можно одинаково сказать именно то, что сказал Вальтер Скотт про юношеские произведения Байрона «Часы досуга»: «Подобно всем первым стихотворениям *очень молодых людей*, они («Часы досуга») *были написаны скорее под влиянием того, что автору понравилось у других, чем вследствие собственного личного вдохновения*». Слишком *общее* что-то... даже и тогда, когда оно довольно хорошо исполнено и несомненно прочувствовано, прожито *общими* психическими движениями.

Для примера нам стоит вспомнить какое-нибудь из первоначальных стихотворений Жуковского, по форме уже столь прекрасных, и сравнить их со зрелыми лирическими произведениями Пушкина, того же Жуковского после влияния Пушкина и, наконец, со стихами Тютчева, Фета, Ал. Толстого, Майкова и Полонского...

Все становится и более лично, и более наглядно, и более национально, более местно, приобретая в то же время и более всеобщее, более мировое значение, именно вследствие своей оригинальности и личной интензивности.

Мне кажется, что греческая поэзия в 60-х и 70-х годах уже вступила в тот наилучший период романтического творчества, который наша русская поэзия переживала в годах 30-х, 40-х и 50-х. У нас в 60-х годах поэзия начала падать; новых, заслуживающих серьезного внимания поэтов не явилось за это время вовсе, ибо хотя граф Алексей Толстой именно в этих годах обнародовал лучшие свои произведения, но сам он по возрасту своему, по роду развития, по духу принадлежит к поколениям прежним.

Теперь, за пятнадцать всего лет до окончания XIX века, у нас пробудилось как бы эстетическое раскаяние; мы разочаровались в надеждах наших на «новых» людей, которые дадут миру или по крайней мере России, нечто *вовсе уж особенное*, нечто небывалое и неслыханное на всех поприщах.

У нас — раскаяние и возврат к идеалам прошлого; — у греков, вероятно, теперь наибольший расцвет изящного вкуса и романтизма. Я говорю вероятно потому, что я уже десять лет тому назад оставил те страны и никаких положительных сведений о них не имею. Но нет причины предполагать противоположное; для развития поэзии, между прочим, благоприятны не беспрестанные войны и междоусобия и не слишком долгий мир, а роздыхи после сильных политических и боевых потрясений. Героическая борьба за свободу критян; глубокое национальное потрясение во дни церковного разрыва с болгарами и великие события последней Восточной войны, в которой греки учас-

тия не принимали, но которая не могла не оставить в сердцах их сильных и весьма разнообразных следов, всего этого было достаточно — для того, чтобы *ближние по времени* воспоминания нации не были мелки, сухи и прозрачны и чтобы в душах людей этой нации еще долго звучали напряженные струны героизма и мечтательности.

Прибавлю еще и то, что через воспитание романо-германского романтизма в наше время — необходимо пройти даже и для того, чтобы отыскать в себе самые сильнейшие выражения национальным залогам. А греческие поэты, как видно из этого, теперь уже старого, пожалуй, сборника «Новый Парнас», все лучше и лучше, все глубже и глубже начинают понимать *старую* Европу, Европу *феодалную, романтическую*, которую их отцы и деды так не любили и так неясно понимали. Отцы и деды нынешних эллинов не умели ясно отличить Европы — старой, цветущей, столь блистательной и столь глубокой, от Европы новой, *мещанской и пошло-ученой*... Большинству грамотных единоверцев наших нравилось и нравится, вероятно, и теперь на Западе именно то, что в нем хуже — демократическое равенство, конституционная свобода, чрезмерная книжность и многожурнальность, капитализм, болезненное развитие торговли и промышленности, машины и т. п.

*Именно то* — что на этом Западе все более и более стремится убить всякую поэзию жизни.

В стихотворениях: «Венеция» (Ахиллеса Парасхо); «Ламартину» (Александра Византиоса); «Одна зима в Германии» (Ангела Влахо); «Версаль» (Неоклиса Казáзи, перевод) из Андрея Шенье); «На могиле Лавальер» (Харалампия Аннино); «Когда-то» (Клеона Рангави) и др(угих) я нахожу, наконец, признаки понимания более поэтического и более полезного, чем понимание мелочной книжности, демократии и машин.

«Ионийский матрос» (стихотворение Герасима Маврояни) может служить образцом реального романтизма с местными национальными красками.

У нас, у русских, говорю я, теперь эстетическое раскаяние и обращение к идеалам еще недавнего прошлого; у новых эллинов первые и весьма удачные шаги на пути романтической зрелости... Течения различные по исходной точке, сходные по духу.

Итак, и с этой точки зрения, т. е. со стороны надежд на романтическое возрождение, сближение русских с греками на Босфоре и на берегах Эгейского моря могло бы быть плодотворно.

<sup>10</sup> Говоря «сближение», я совсем не имею в виду непременно одно *политическое* согласие или одну национальную дружбу. О, нет! Это было бы слишком наивно и поверхностно.

Дело вовсе не в вечном согласии и не в постоянной дружбе; дело в *электризирующем соприкосновении разнообразных психических элементов двух наиболее оригинальных и сильных духом наций Православного Востока, двух наций Церковно-связанных неразрывно, национально почти враждебных в иные минуты их исторической*

<sup>20</sup> *жизни.*

Гармония — или прекрасное и высокое в самой жизни — не есть плод вечно-мирной солидарности, а есть лишь *образ или отражение* сложного и поэтического процесса жизни, в которой есть место всему: и антагонизму и солидарности. Надо, чтоб составные начала *цельного исторического явления* были изящны и могучи — тогда будет и то, что называется высшей гармонией. Дорог не вечный мир на земле, а искреннее примирение после страстной борьбы и глубокий отдых в мужественном ожидании новых <sup>30</sup> препятствий и новых опасностей, закаляющих дух наш!

## О ПАМЯТНИКЕ В ФИЛЯХ

Московская Дума желает, чтобы памятник, который будет поставлен на месте сгоревшей *избы Кутузова* в Филях, был бы: во-первых — *дешев*; во-вторых, чтоб он был *из мрамора, гранита, чугуна или известкового камня*; в-третьих, чтобы *размеры его* соответствовали пространству земли, поступившему во владение города, и наконец, в-четвертых, чтобы форма его допускала начертание довольно длинных надписей. Архитекторы, состоящие при Думе, должны представить свои проекты. Я не архитектор, не ватель, я не знаю, что стоит мрамор, что стоит гранит или чугун, и даже очень мало интересуюсь этими ценами. <sup>10</sup>

Как русский, я чту память Кутузова и его сподвижников; как русский, и я горжусь пожаром Москвы и изгнанием французов и, как русский же, я боюсь, что все это непременно кончится небольшою пирамидой, скромным обелиском, с граненою главкой наверху. Предлагая, как умею, мой идеал, в общих чертах, доступных и неспециалисту, я, разумеется, буду очень счастлив, если кто-нибудь другой, <sup>20</sup> более меня знающий, представит несравненно лучший проект, и желал бы только, чтобы меня поняли «просто». Не лучше ли всех этих пирамид и обелисков поставить на месте исторической, но деревянной и сгоревшей избы — *русскую же избу, но художественную, символическую и не сгораемую, из гранита или мрамора?* (Чугун, вероятно,

дешевле, но что же хорошего в чугунных памятниках! Это так мизерно и грубо!)

Если было место для деревянной, жилой избы с хозяйственными принадлежностями, то и гранитной, вероятно, не будет тесно...

Если из мрамора или гранита неудобно изобразить солому на крыше (я полагаю, что крыша сгоревшей исторической избы была соломенная; я ее видел, но очень давно и не помню), то отчего же не изобразить и тесовую крышу?<sup>10</sup> (Хотя, прибавлю, находят же скульпторы возможность изображать прекрасно крупными чертами вещь более тонкую, чем солома, — человеческие волосы).

Я думаю, что и скрещенные бревна, и крышу, и ставни резные, и какие бы ни были другие принадлежности *настоящей* избы из хорошего каменного материала воспроизвести не трудно. В небольшие окна можно вставить настоящие зеркальные стекла. Дверь сделать из чугуна. Подробные надписи начертать внутри на стенах; а на фасаде одну крупную, красивую и краткую (например, *изба* М. И. Кутузова; такого-то числа 1812 года). Можно бы даже оживить и населить воспоминаниями внутренность этого символического жилища. В главном углу из мрамора же иссечь большую икону Архистратига Михаила или написать ее прямо на стене яркими красками. Перед этою *не снимающеюся иконой* повесить лампаду и поставить большой церковный свещник.<sup>20</sup>

Можно и внутри все из мрамора же и гранита сделать: русскую печь, скамьи и стол с раскинутою на нем стратегическою картой (подобно тому, как в ледяном домике Анны<sup>30</sup> Иоанновны все было сделано изо льда). Прибавлю, впрочем, что, говоря о материале постройки, я придерживаюсь указаний Думы, но собственно, по моему мнению, темный гранит снаружи и изразцовая отделка внутри были бы всего лучше.

Изба подобная должна стоять не прямо на земле, а на широком пьедестале, из более дешевого, но прочно сложенного камня.

Я знаю, на все это можно возразить, что такая гранитная изба, на широком пьедестале, будет напоминать игрушку или пресс-папье в большом виде. Но если пугаться подобными возражениями, то на Западе, например, нельзя было бы строить и готических соборов, потому что их можно в малом виде потом изобразить из бронзы для столовых часов под колпаком. Новгородский памятник тысячелетия России в малом виде очень хорош для кабинетного колокольчика; но от этого достоинства его ничуть не уменьшаются.

10

## ПРИМЕЧАНИЕ 1885 ГОДА

Насмешливый оттенок, который я придавал слову «obelisk» в 1877 году, разумеется, не мог относиться к каменному столбу, поставленному гораздо позднее на почти забытом месте знаменитой «Избы Совета», — офицерами одного из полков, стоявших в Москве и ее окрестностях. *Этот «obelisk»* делает гг. офицерам большую честь, — они сделали, что могли. Я же в 77 году писал о памятнике большом и дорогом, воздвигнутом по национальной подписке; и как тогда опасался, так и теперь опасаюсь нашей вечной умственной робости и нашего... не просто только безвкусия, а того безвкусия подражательного и бесцветного, которое так глубоко въелось в нас со времен Петра I.

## ВРАГИ ЛИ МЫ С ГРЕКАМИ?

Вот уже два года с лишком как длится борьба на Востоке...

Все народности, исповедующие Православную веру, одна за другой вовлеклись в нее. Ничтожное по-видимому восстание нескольких сел глухой Герцеговины было той искрой, которой на этот раз было суждено зажечь исполинский пожар, разлившийся от берегов Дуная до истоков Евфрата, до Нила и Дарданелл. Безземельные босняки, угнетенные беями черногорцы, сербы, мирные и покорные туркам болгары, даже молдо-валахи, столько веков не обнажавшие оружия, все друг за другом подчинились общему движению, долженствующему, вероятно, положить конец мусульманскому владычеству по сю сторону Босфора.

Только одни греки до сей поры медлят, выжидают, колеблются...

Ни те давнишние и нейтральные неудобства политического положения и социального строя в Турции, на которые греки, вместе с другими христианами, подвластными Султану, еще так недавно умели жаловаться громче и красноречивее всех; ни расселение свирепых черкесов на равнине восхитительной и хлебородной Фессалии; ни вызывающие резкие выходки турецкого Правительства против свободной Эллады; ни потоки христианской крови, проливаемой так нещадно и так близко; ни даже бессмысленное, ни для

чего самим туркам не нужное зверское избиение греков в Каварне, — ничто, на этот раз, не могло поднять греков и вывести их из их странного, не то обдуманного, не то растерянного бездействия.

Наконец, восстали критяне... Опять все те же мужественные критяне, которые ровно десять лет тому назад уже обогрели своею благородною кровью священную почву своего романтического, прекрасного острова. Эти критяне, бившиеся так долго и так самоотверженно за свою свободу в шестидесятых годах, были первыми из христиан Востока, 10 которые научили русское общество принимать живое участие в судьбе православных народностей, стремящихся освободиться от иноверной власти... До Критского восстания интересы и стремления восточных христиан были знакомы и понятны только тесному кругу государственных наших людей и очень немногочисленным ученым и публицистам, понимавшим все великое значение православно-восточных дел для нашей неудержимо развивающейся жизни.

Даже славянофилы прежнего духа, при всех несомненных талантах и заслугах их, не совсем правильно иногда смотрели на важность всех этих исторических столь кровно близких нам, но географически столь отдаленных дел. Они увлекались, к сожалению, каким-то мечтательным, либеральным Славизмом, лишенным реальной почвы. 20

Были и люди вовсе другого направления, которые, забывая о том, что в Турции живут не одни славяне, но и другие православные народы, равно дорогие и близкие нам, румыны, православные сербы, почти православные армяне, греки, владеющие столькими святынями нашей веры, 30 Иерусалимом, Св. Афонской горой, Синаем и четырьмя Патриаршими престолами, — называли *Восточный вопрос — вопросом Славянским*.

Нет! Восточный вопрос — есть вопрос именно *Восточный*, а не *Славянский* только...

Не следует низводить это исполинское дело на степень просто племенного вопроса. Политика России (такова су-

дба ее) не была и не должна быть грубо племенной, односторонней. Племенная политика была бы действием только разрушительным; политика *все-восточная, православная* — есть истинная *национальная* политика наша, достойная нашего мирового величия...

Что такое племя, само по себе взятое, без *идеи* — в одно и то же время отвлеченной по бескорыстию своему и реально воплощаемой, в жизни, в быте этого племени? Что такое племя без подобной идеи, по мере сил строго проводимой в жизнь?

Что такое Славянство — без *Православия*?.. Плоть — без духа! Груда неорганическая — без плана и цемента.., легко дробимая тяжким молотом истории...

Слава Богу, у нас Церковь и свобода, нация и Православие не антитезы, осужденные на убийственную и печальную борьбу...

Мы под знаменем Церкви — совершаем теперь дело освобождения, так как мы зовемся братьями о Христе. И все христиане Восточные нам одинаково братья... Я долго жил между греками и понимаю их, *мне кажется*, издали хорошо. Вооружения ли эти задерживают их? Давление Англии? Боязнь, что английские или турецкие броненосцы разобьют в прах Пирей, Корфу, Сиру, Навплию, Патрас? Опасение, что англичане сделают десант на беззащитных берегах свободной Греции? Я не верю этому ничему. Я убежден, взирая на греков издали, но хорошо знакомый с ними, — что все это вовсе не существенно. Греки горды, смелы, воинственны, самолюбивы. Противу мониторов есть торпеды, и греческие моряки (если только это нужно сказать!) еще искуснее и отважнее русских... Что делали эти греческие моряки во время Критского восстания? Море — это стихия греков. Они на море — дома.

Десант? — Но много ли может Англия выслать десанта в Грецию. Тысяч 20—25?.. Но один грек, одушевленный гневом и любовью к родине, стоит пятерых англичан. К тому же, война с Грецией для Англии есть война с Россией и, вероятно, с Германией?

Избиения в Фессалии, на Крите, в Эпире, в Македонии?.. Но отчего же эти самые греки, лишенные всякой помощи извне, без союзников, выдержали *противу целой Турции* двукратную борьбу, раз в течение восьми лет (от 1821 до 1829 года), второй раз трехлетнюю (от 1866 до 1869), а теперь у них союзниками *верными* — Россия, Черногория, Румыния, Сербия, а могут быть и другие. Отчего же такое вредное, если не гибельное для самих греков бездействие?.. Увы — истинная причина ясна для того, кто жил на Востоке!..

10

Между Критским восстанием и Герцеговинским делом произошло нечто — в глазах нашей русской публики [не] очень важное, для греков великое и печальное событие — произошел *греко-болгарский разрыв*.

Болгарский раскол, отделивший болгар от Вселенской Церкви, поставил их сразу во Фракии и Македонии под начальство своего Экзарха, своих епископов, избранных самим народом, и доставил возможность руководителям болгарской нации впервые попытаться выделить, так сказать, «из греков» все болгарское население до последнего македонского села.

20

Эллинизация болгар до Балкан и великая идея греков стала после этого невозможностью. Осуждая болгар (канонически, конечно, не совсем правых, по свидетельству еще покойного Митрополита Филарета) церковно и торжественно на поместном Цареградском Соборе 1872 года, греки *этнографически* и политически осудили себя в порыве необдуманного гнева... они дали болгарам повод сказать туркам: «Теперь мы другой Церкви, и потому везде, где есть греческий епископ, может быть и болгарский, без нарушения апостольских правил»... (Два епископа во граде да не будут, т. е. два православных.) И только стараниями русской дипломатии были удалены ново-болгарские епископы из Солуня и Адрианополя, которые даже и по фирману Султана болгарам не были даны; противустали той горсти туркофилов-болгар, которые тогда вели все это дело, отчасти правильно, отчасти лукаво, увлекая за собой простой народ, не знающий церковных правил.

30

Греки (зачем скрывать то, что они сами не скрывали) хотели присвоить себе *все* до Балкан и северной Албании. Чувства их очень понятны, и я даже не думаю осуждать их за это столь естественное желание роста. Но вождям такого даровитого народа надо быть дальновидными и помнить следующее:

Что против исторического течения, когда оно так ясно уже обозначилось, идти у греческой нации нет сил. Что политика России никогда не была и едва ли будет когда-нибудь чисто *племенной* — это для самой России было бы губительно, особенно в греко-болгарской распря, касающейся такого существенного вопроса, как уважение народа к епископской власти и Патриаршему трону.

Россия не Турция; Турции была выгодна распря греков с болгарам; для России эта распря была первым, не вещественно, а духовно, — затруднительным делом на Христианском Востоке. В первый раз в этом случае *дух православной покорности* вступил в борьбу — со свободой славянской крови... Но ведь все иностранцы находят, что политика России всегда была глубока и дальновидна.

Ясно, то, что могло быть выгодно для Турции или для Англии, — было невыгодно для нас.

Оттого-то турки и подстрекали болгар к неправильным действиям, а греков к неразумным проклятиям Собора, что все это было невыгодно для России в высшей степени...

Болгаре, впрочем, и поступили бы, вероятно, иначе, если бы они могли предвидеть нынешние события... Но все думали, что Турция простоит еще долго неприкосновенной, и Европа казалась — так страшна!..

Понятен и вполне естествен — *местный патриотизм болгар*...

Понятны также *исторические замыслы греков*...

Для русских, знакомых с делом, все понятно. Но для России, не щадящей сынов своих за свободу православных людей Востока, какая важность, что, вследствие смешанности населения в Македонии и Фракии — часть греков

остаётся под болгарам и часть болгар в Македонии и в Фракийском побережьи под греками?..

Россия, взяв в свою могучую руку окончание великого подвига, имеет право помирить *по-своему* своих единоверцев. Даже более того: она *обязана* действовать *по-своему*, ибо она только может быть беспристрастна; только она одна может решить это дело с пользой для Церкви, т. е. путем взаимных уступок...

Всякий человек, претендующий на знание Востока, должен сознаться, что главные два столпа Православия — это Русское Государство и греческая нация. Это две *качественные* силы: все остальное лишь количественный контингент. <sup>10</sup>

Да здравствуют же критяне и греки... Пусть только выйдет простой народ из-под влияния недоброжелательной им партии. Судьба свершится сама собой... И все греки и критяне, хотя и поздно, выйдут на общее поле брани... Они выйдут, когда естественные чувства народа возьмут верх над близорукой и робкой политикой; они выйдут не для нас... мы сделаем и без них наше дело... Они выйдут для себя, для собственных своих интересов, как вышли сербы, как вышли румыны, также долго нерешительные. <sup>20</sup>

Они выйдут на общую брань, и Россия будет защищать их ради собственной нравственной пользы, ради умиротворения несогласия великой Восточной Церкви.

Россия и Греция обвенчаны историей духовным союзом, и расторжение этого союза было бы губительно для обеих сторон если не сегодня, то в недалеком будущем. А фанариоты? — спросят меня.

Вопрос о фанариотах вовсе не так прост, как думают. Вопрос о фанариотах есть вопрос сложный и очень сложный. <sup>30</sup> Здесь не место разбирать его подробно. Скажу лишь, что его у нас или вовсе не знают, или умышленно игнорируют.

Я могу утвердить лишь одно: фанариоты самые главные охранители в православном смысле эллинизма на Востоке, и раз мы будем близки к ним — они будут для нас самыми надёжными друзьями, тогда, говорю я, когда мы будем очень близки.

# ХРАМ И ЦЕРКОВЬ

## I

Многим русским неприятно расстаться с любимой мыслью о славном мире, заключенном в стенах самого Царьграда, даже и в том случае, если *общие условия* европейской политики приведут нас к *соглашению* с Турцией. И в этом случае естественно ждать какой-нибудь такой комбинации, которая поставила бы Константинополь и оба пролива в зависимость от нас, хотя бы и косвенную, но <sup>10</sup> все-таки прочную по самой силе обстоятельств.

Как и всегда случается в истинно великих и роковых исторических событиях, живое чувство сердца и *мечты* возбужденного патриотизма совпадает в бессознательных стремлениях своих с самым верным, спокойным и дальновидным политическим расчетом.

Очень многим утешительно было бы читать и слышать о торжественном шествии наших победных дружин с музыкой и развернутыми знаменами по пестрым улицам Стамбула, великолепного даже в неопрятности своей.

<sup>20</sup> Это нравственная потребность внешнего осязательного триумфа — вовсе даже не *шовинизм*. Глупое слово шовинизм, выдуманное миролюбивыми либералами, приложимо разве только к французскому честолюбию, искавшему лишь *славы* для *славы* без всякого практического результата.

Россия на Востоке имеет реальную почву действия: у России есть практическое в этих странах назначение, невы-

разимо богатое положительным содержанием и потому-то, вероятно, все действительные результаты нынешней блистательной войны уже и теперь превзошли далеко те убогие замыслы, с которыми мы к ней приступали из смирения, не столько христианского, сколько *либерально-европейского...* (а это огромная разница).

И теперь... теперь... как страшно подумать, что нечто самое *существенное для нас* ускользнет опять из наших рук!

Самое существенное — это Царьград и проливы. 10

Мы должны понять, что это-то и есть для нас и для прочной организации всего Восточно-христианского мира самое существенное уже из одного того, что *именно этот пункт считается на Западе затрогивающим общеевропейские интересы...* Что же из этого следует, если бы даже и так? Рим несравненно более еще, чем Царьград, всемирный город, ибо нет ни одного почти государства на всем земном шаре, куда бы Ватикан не простирал своего духовного влияния через посредство множества людей, исповедывающих Католическую веру. И несмотря на это, 20 слабая Италия нашла возможным сделать Рим своей столицей, тогда как об обращении Царьграда в центр великорусской жизни не может быть теперь и речи.

Строго говоря, настоятельный вопрос — не столько даже в удалении самих турок, сколько в непременном уничтожении враждебного нам и губительного для единоверцев наших — *нестерпимого европейского на турок давления.*

Иметь дело с самими турками было бы нам возможно, если бы Турция была посамобытнее относительно Запада и если бы на почве ее не разыгрывались бы так свободно и 30 бесстыдно западные интриги и подкопы. Мы испытали это и в кандийских делах, и в столь печальной для православного чувства греко-болгарской распре...

Была эпоха какого-то роздыха и далеко, впрочем, неполного для нас улучшения, — это промежуток времени от конца Критского восстания и до Герцеговинских дел (от 1869 до 1875 года). Почему же в это время было легче

жить и христианам, если не по всей Империи, то во многих ее областях? Потому именно, что Турция находилась под нашим влиянием... И что же? чем кончилось все это? — Умерщвлением Султана Абдул-Азиса, который нам благоприствовал, и болгарскими, давно уже несслыханными в Турции, ужасами... Кто же знакомый с той страной сомневается, что и в том и в другом политическом преступлении участвовала рука сэра Генри Эллиота, который даже лично, по-видимому, до бешенства завидовал деятельности генерала *Игнатьева* и его огромному влиянию на несчастного Султана!..

Злоба личного бессилия в английском после совпала на этот раз с известными всему миру государственными претензиями Великобритании, — претензиями, которым давно пора положить конец.

Так или иначе, раньше или немного позднее, Царьград должен подпасть под наше непосредственное влияние... Иначе лучше было бы и не вести войны, лучше бы даже и христиан не приучать возлагать на нас неосуществимые *никогда* надежды.

И в русском обществе, жаждущем хотя бы временного занятия оттоманской столицы, я сказал уже — верный политический инстинкт согласуется на этот раз прекрасно с чувством военной чести, с любовью к святыне народных преданий, с законными требованиями нравственного, полного торжества.

В Москве многие основательно думают, что во всей Европе есть только один голос, долженствующий иметь для нас вес и внушать нам уважение — это голос Германии.

Остальные мнения можно брать в расчет лишь из одной внешней вежливости, ни к чему не обязывающей.

И нет разумной жертвы (так думают у нас здесь многие), которой нельзя было бы принести Германии на бесполезном и отвратительном Северо-Западе нашем, лишь бы этой ценой купить себе спокойное господство на Юго-Востоке, полном будущности и неистощимых, как вещественных, так и духовных богатств.

Балтийское море все равно погибло для нас. Выход из него — в руках Германии, и ей ничего не стоит в удобную минуту создать два Гибралтара на двух скандинавских оконечностях.

И чем больше мы дорожим долговечной дружбой, столь выгодной для обеих сторон, тем серьезнее мы должны с нашей стороны заблаговременно позаботиться о другом для нас исходе, о другом направлении интересов наших, чтобы избежать всякого повода к столкновению даже и в далеком будущем.

10

Нельзя мерить государственные дела только завтрашним днем.

Вот почему я говорю, что народное чувство, на этот раз вполне, хотя и бессознательно, согласуется с государственным значением великого вопроса о движении на Царьград.

Будем надеяться, что история, что сама жизнь опять вынудят нас сделать еще один шаг, — может быть, самый главный.

Но где бы и как бы ни были подписаны условия мира, очень многие в Москве выражают желание, чтобы в числе требований наших от Порты было бы одно настоятельное, касающееся возвращения христианам если не всех, то тех из православных храмов, которые обращены завоевателями в мусульманские мечети.

20

Более всего имеется при этом в виду, конечно, знаменитый храм Св. Софии.

Нет спора, желание это самое естественное и прекрасное.

Предъявить это требование в числе стольких других, несравненно для Турции более тяжких и грозных, нетрудно. Достичь этой цели легко во всех случаях; даже в том случае, если бы у Порты осталась до более благоприятного времени некоторая номинальная власть над христианскими странами, освобожденными от прямого действия турецкой администрации.

30

Я говорю: это легко, вот почему. Невозможно себе представить, наприм⟨ер⟩, каким образом могут быть осу-

ществлены те глубокие реформы, которых требует прочное умиротворение Балканского полуострова без более или менее долгого занятия некоторых пунктов турецкой территории русскими войсками. Только при долгом присутствии вооруженной силы можно достичь серьезных результатов и видеть, что реформы, долженствующие удовлетворить христиан, проникают в самую жизнь и не остаются одною игрой в *европейские* фразы и прогрессивные термины.

10 Конечно, при подобных условиях первые, по крайней мере, попытки к архитектурному восстановлению храма Св. Софии будут возможны. Восстановление такого великого памятника нельзя предпринимать второпях и как попало. Храм Св. Софии — это сокровище двоякое: это святыня веры и это перл искусства. Только русские художники могут взяться за это дело, *не спеша и зрело обдумав его.*

Иначе наш вандализм был бы гораздо хуже турецкого. Турки замазали очень грубо иконы из своих религиозных соображений; по нерадению позволили обезобразить стены, вырывая кусками прекрасную мозаику, покрывавшую их, 20 удалили из храма все те украшения и всю ту утварь, которые составляют необходимую принадлежность Православного святилища; снаружи окружили здание грубыми минаретами и тяжелыми, некрасивыми позднейшими пристройками; но это все исправимо. А если мы раз навсегда, торопясь лишь освятить храм, испортим его навсегда... Если мы по-прежнему будем и при этом случае обладать лишь нравственным и государственным мужеством, не обнаруживая ни на каком поприще *умственной дерзости*, свойственной всем истинно культурным, творческим народам, то не будут ли хоть не- 30 много правы те, которые утверждают, что мы — нация, умеющая вести героические, блистательные войны и... пожалуй, еще управлять присоединенными странами, но что в области разума и фантазии мы способны только рабски подражать или Западу, или много-много своей собственной старине, да и то изредка и не всегда удачно.

Заметим еще, что кроме нас и некому на Востоке взять на себя ответственность за восстановление Св. Софии. Ис-

торически этот храм принадлежит, конечно, грекам, или, лучше сказать, Вселенскому Патриаршему Престолу; в распоряжении этого последнего он и должен впоследствии остаться. Этого требует справедливость. Но дело в том, что в случае падения Турции сама Патриархия вынуждена будет почти исключительно опираться на нас.

На почве Православия «нет ни элина, ни иудея», ни русского, ни болгарина, ни грека, и вселенский, так сказать, храм Св. Софии должен стать на берегах Босфора как бы внешним символом всевосточного, Православного <sup>10</sup> единения. Сам Босфор должен сделаться отныне средоточием мира, братства и единения для всех христиан Востока, под руководством тех из них, которые всех их сильнее, опытнее и потому справедливее.

Греки бедны и малочисленны; они не в силах будут издержать на реставрацию Св. Софии тех сумм, которые может принести в жертву весь Православный мир в совокупности, и особенно Россия.

Сверх того, они должны сознаться, что и в европейской цивилизации мы (русские, конечно, а не юго-славяне) <sup>20</sup> гораздо сильнее их и можем с большим успехом приложить все ресурсы современной техники к древне-византийскому стилю.

Чтобы иметь понятие о том, каких восхитительных результатов может достигать сочетание старо-византийского стиля с новейшими познаниями и средствами, стоит только взглянуть на великолепный новый корпус Зографского (болгарского) монастыря на Афоне, построенного по мысли покойного г-на Савостьянова.

Я не могу здесь описывать подробно это грандиозное и, <sup>30</sup> вместе с тем, изящное здание, из желтоватого тесаного камня, украшенного в одно и то же время европейскими узорными чугунными балконами, в несколько этажей один над другим, и какими-то восточными деревянными бельведерами, или воздушными домиками с окнами, которые как птичьи гнезда лепятся где-то на огромной высоте, по наружным стенам, поддерживаемые снизу гигантскими буке-

тами расходящихся кверху бревен. Прибавлю только еще, что темных и скучных коридоров нет, но на внутренней стороне, обращенной на тихий монастырский двор, мощный плитами, для сообщения между келиями существует открытая галерея, образуемая широкими и отлогими арками из того же желтоватого камня, как и все здание.

Стоит только видеть эти новые зографские постройки и сравнить их, с одной стороны, со старыми византийскими корпусами того же монастыря, а с другой — с казарменным стилем хотя бы русской Пантелеймоновской киновии на Афоне, чтобы убедиться, до какой степени они лучше и тех и других.

Русский Пантелеймоновский монастырь, справедливо славящийся строго-духовной жизнью иноков своих, в архитектурном отношении не замечателен и даже производит печальное впечатление на человека со вкусом.

Он очень обширен; церкви его внутри благолепны; иконостасы оригинальны и очень разнообразны, но все *штукатурные* корпуса его имеют тот гладкий казарменный характер, который нам, русским, к сожалению, слишком хорошо знаком по стольким постройкам нашим *александровского*, так сказать, стиля, — по некоторым коронным зданиям, изуродовавшим московский Кремль, — по Аничкину дворцу, по всем частным жилищам этого периода. Эти *белые* штукатуренные казенные церкви с *зелеными* крышечками и куполами!.. и тому подобное... Это ужасно!

Монастырь Руссик, отчасти от денежных условий, отчасти от прилива монахов, привлекаемых в него высотой нравственной жизни, принужден был строиться *спешно*; по образцам 20-х и 30-х годов, принесенным в *памяти* из России, и к тому же, видно, не было никакого Савостьянова под рукой для исправления вкуса и стиля.

Разница огромная между самым *новейшим* направлением русских построек, — направлением, *ищущим* своего идеала, и ужасными наклонностями нашей *вчерашней* старины в области архитектуры.

Но то, что у нас уже *отходит*, по крайней мере в идеале, то у восточных единоверцев наших еще во всем цвету, раболепство перед пошлым бюргерским и плоским стилем современной западной жизни.

Кто был, напр(имер), в Афинах, тот поймет, что я хочу сказать, указывая на этот только *опрятный*, только *белый*, только *ново-европейский* город!

Не грекам нынешним по силам реставрировать Св. Софию, а разве-разве нам, но и то осторожно.

Сочувствуя вполне желанию многих москвичей, — видеть храм Св. Софии восстановленным и освященным даже и в том случае, если Султан еще останется в Царьграде, — я нахожу, однако, необходимым обратить внимание на нечто гораздо более важное и драгоценное, на благоустройство *невещественной Церкви*, на *умиротворение и утверждение Православия на Востоке*.

## II

Все, мне кажется, должны понять, что *именно на Босфоре* нужнее всего непосредственное действие сильной души и беспристрастного ума, стоящего выше местных и мелко-патриотических страстей. Русское влияние или русская власть в этом великом средоточии не должны иметь никакой исключительной окраски *ни юго-славянской, ни греческой*; русская власть или русское влияние должны приобрести в этих странах характер именно *вселенский*... И в этом смысле Цареградская Патриархия должна стать для этого русского всепримирающего влияния самой мощной и прочной нравственной опорой. *Дело не в лицах, занимавших за последнее время этот великий и многозначительный по свойству самой местности престол; дело не в национальности этих лиц* и не в поведении их; дело в значении самого *престола*. Вопрос не в епископах; не в людях, живших под вечным «страхом агарянским». *Люди меняются*; вопрос в древнем учреждении, под духовным воздействием

которого сложилась и окрепла и наша, еще столь живучая доселе, *Московская Русь*.

Несчастливым болгарам, в утеснении своем мечтавшим лишь о том, как заявить миру о существовании и человеческих правах своей подавленной народности, было простительно и естественно видеть в Цареградском Патриархе только *греческого владыку*. Для великой России необходим иной, — орлиный полет; для русской мощи достойнее самовольно смиряться перед безоружной духовной силой <sup>10</sup> Православного учреждения, вдохнувшего 1000 лет тому назад в нас христианскую душу, чем вступать в раздражительный и мелочной антагонизм с ничтожным по численности греческим племенем. — Вопрос тут не в греках или славянах; это одна близорукость; это политика жалкая и бесплодная; дело, сказал я, прежде в умиротворении, в укреплении Вселенского Православия.

Царьград есть тот естественный центр, к которому должны тяготеть все христианские нации, рано или поздно (а может быть и теперь уже) *предназначенные составить с* <sup>20</sup> *Россией во главе Великий Восточно-Православный Союз*.

Не столицей Греческого и Болгарского Царства должен стать когда бы то ни было Царьград, и тем более не главным городом государств более отдаленных, а столицей именно Восточного Союза этого; и в этом (*только в этом*) смысле его, правда, можно будет назвать *вольным* или *нейтральным* городом.

*Вольным только для членов союза.*

Ибо какое мы имеем право и противу отчизны нашей, и противу потомства, и противу тех христиан, за которых мы <sup>30</sup> бьемся и приносим такие кровавые жертвы, допустить *иные влияния*, так называемые *европейские* на равных с нами правах?

Даже при турках, которые представляли как бы то ни было в этих странах нешуточную силу, — эти чуждые интриги посягали нередко на самые священные интересы наши, — например, на спокойствие Церкви, ибо западная дипломатия попеременно поддерживала то греков, то бол-

гар в их разнузданном ожесточении друг против друга, стараясь вырвать их из-под нашего примиряющего влияния. После этих примеров чего можно было бы ожидать, если бы Константинополь стал каким-то бессмысленно нейтральным городом, и все это пестрое, самолюбивое и раздражительное население христианской Турции было бы предоставлено мелким страстям своим, без нашего «veto», в одно и то же время дружеского и отечески грозного!..

Желать видеть Царьград каким-то всеевропейским во-<sup>10</sup>льным и *вовсе даже и косвенно недоступным для нас го-  
родом* может только простодушное незнание дела или преступное в своих тайных целях лицемерие.

*Восточный вопрос* будет кончен, даже и в том случае, если Порта сохранит еще на этот раз какую-нибудь тень владычества, подобно великому Моголу в Ост-Индии... Сервер-паша прав, говоря, что Оттоманская Империя во всяком случае теперь погибла...

Но что сумеем мы водрузить на этих развалинах, на этих остатках почти неожиданного крушения?..

Разрушить враждебную силу — мы разрушили со сла-<sup>20</sup>вой, счастьем и правдой.

Но что мы создадим? Вот страшный вопрос!..

*Создание есть прежде всего прочная дисциплина ин-  
тересов и страстей.* Либерализм и дальнейшее подража-<sup>20</sup>ние Западу не могут создать ничего.

И какое же орудие охранительной, зиждущей и объединяющей дисциплины мы найдем для дальнейшего действия на Востоке, как не то же, уже издавна столь спасительное и для нас, и для всего Славянства — Вселенское Право-<sup>30</sup>славие?

Об его укреплении, о новых средствах к его процвета-<sup>30</sup>нию мы должны прежде всего заранее и немедленно позаботиться.

Не восстановление храмов *вещественных* важно: утвер-<sup>30</sup>ждение *духовной Церкви*, потрясенной последними событиями.

Надо прежде всего примирить болгар с греками.

Надо оставить на первое время часть болгар под Патриархом в Южной Фракии и в Южной Македонии, отдавши все остальное Экзарху. И часть греков под болгарам, где придется. Надо достичь того, чтобы Патриарх снял с болгар проклятие, если по уставу имеет он право сделать это без созвания нового Собора, если болгары сознаются, что они поступали не канонически. И они должны сознаться и покаяться в этом.

<sup>10</sup> По внешности весь спор в границах — и более ничего; греки давали меньше; болгары хотели больше. По совести, обе стороны нечисты, ибо обе они страдали одинаково тем филетизмом, который проклят греками на бурном Соборе 72 года. Обе стороны обращали святыню личной веры в игральщице национального честолюбия. С обеих сторон епископы имели слабость забывать о мире Церкви, подчиняясь воплям толпы, голосу собственной крови, коварству европейской дипломатии и действию турецких соображений: «раздели и властвуй...»

<sup>20</sup> Вот в чем одинаковая вина и греческой и болгарской Иерархии.

Не будем, однако, судить строго и епископов. Они — люди; и, быть может, игра всех вышеперечисленных влияний, вместе взятых, была слишком сильна, чтобы можно было устоять против нее и не согрешить перед Духом Святым!

И между греческими епископами есть прекрасные люди. Здесь этого *будто бы не знают*, а мы, жившие на Востоке, знаем это. А то, что у нас любят твердить: «греки льстивы до сегодня», — так это и повторять стыдно, это <sup>30</sup> очень не умно, и только!

Кто же не льстив в политике? Какая нация, какое Государство? Всякий обязан быть в государственных делах если не грубо лжив (это тоже иногда невыгодно), то мудр яко змий...

Государство или нация не лицо; ни Государство, ни нация на политическое самоотвержение права не имеют. Нельзя строить политические здания ни на текучей воде веществ-

венных интересов, ни на зыбком песке каких-нибудь чувствительных и глупых либеральностей... Эти здания держатся прочно лишь на *отвлеченных принципах верований и вековых преданий*.

В церковном же вопросе и болгары и греки были одинаково льстивы и неправы по совести. Разница та, что *канонически, формально, в смысле именно отвлеченных принципов предания, греки были правее*.

Нельзя же допускать *двойной Иерархии* в смешанных по населению областях, как того хотели во что бы то ни стало болгары; ни *своевольно и насильственно отлагать* ся, как они сделали в 72 году.

Болгары, пожалуй, потому еще были *льстивее* (или умнее) греков в этом деле, что раскол им *выгоден* для чисто местных национальных целей; они *искали раскола преднамеренно*, искусно и упорно раздражая греков, и добились того, чего искали.

А греки, увлекшись гневом и *надеждами на помощь Англии*, воображали, что Святейший русский Синод сделает грубую ошибку и *официально* заступится за болгар, подвергая и себя обвинению в игнорировании даже Апостольских правил. «Два епископа в граде да не будут» и т. д. Греки, говорю я, сделали политическую ошибку; они дали посредством полного отлучения болгарам возможность простираться свободнее прежнего свое национальное *влияние до последнего македонского села*. Отделенным болгарам никто из греков явно и законно уже мешать не мог. А европеизированные и прогрессивные турки потворствовали, продолжая игру свою: «*divide et impera*». Кто же *не льстив в национальных делах?* Следует быть искусным. И наше *русское* счастье в том лишь, что у нас практический национальный интерес и вся государственная мудрость должны совпадать именно с теми *отвлеченными принципами, с теми священными преданиями*, о которых я выше говорил. Итак, повторяю, дело не в славянах и не греках... Дело в Церкви Православной, которой дух дал нам *знамя* даже и в этой еще не оконченной борьбе...

Если бы в каком-нибудь Тибете или Бенгалии существовали бы православные монголы или индусы с твердой и умной Иерархией во главе, то мы эту монгольскую или индустанскую Иерархию должны предпочесть даже целому миллиону славян с *либеральной интеллигенцией à la Гамбетта или Тьер*, должны предпочесть для прочной дисциплины самого славянского ядра!

Сила России нужна для всего Славянства; крепость Православия нужна для России; для крепости Православия <sup>10</sup> необходим тесный союз России с греками, обладателями Святых Мест и четырех великих Патриарших престолов...

Тот, кто славянин в широком, а не в местно-македонском или каком-нибудь фракийском смысле, тот должен в церковном деле быть за греков — даже и поневоле, если он уже предубежден на основании старых каких-то летописей.

Пусть, кто хочет, продолжает кричать так скучно и поверхностно: «Фанар! Фанар! Фанар!»

<sup>20</sup> Пусть кричат о горестях и обидах, записанных на старых пергаментх!.. Надо верить в Россию, в ее судьбу, в ее вождей...

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Великий *Восточный* вопрос нельзя низводить на степень какого-нибудь непрочного и бесплодного панславистического дела.

Сила России спасительна для самого Всеславянства; для силы России необходима искренность и крепость Православия, посредством которого, так или иначе, мы можем действовать в одно и то же время и на западных (австрийских) славян, и на рассыпающуюся постепенно у победных ног наших Азию, на эту древнюю, мистическую и столь богатую разнородными духовными силами Азию.

От *рокового роста* нашего на Востоке и от влияния на славянский Запад мы не спасемся.

Есть государства, обреченные историей расти, даже и *вопреки себе*. Таков был Рим, таковы Англия и Россия; таким государством может стать и Германия, если она сумеет найти себе выход в дальние колонии, сохраняя надолго дружбу славян, развивающихся в тылу ее.

Только исходя от таких общих и обширных задач, в надежде, что многие поймут, я могу приступить в этой краткой заметке к частной цели моей: к разбору территориальных отношений между четырьмя православными нациями (греками, болгарами, сербами и румынами), нациями, которых будущее благоустройство теперь более или менее в наших руках.

По отношению к Православию, к той охраняющей, движущей, объединяющей и зиждущей *реальной силе*, без которой немислима счастливая деятельность наша на Востоке, нации эти стоят именно в том порядке, в котором я их назвал:

*Греки и болгары, сербы и румыны.*

Я начну с последних.

<sup>10</sup> Румыны в *качественном* смысле, так сказать, самый незначительный элемент на Востоке, самый бесхарактерный и бесцветный.

Они довольно многочисленны; земля их сравнительно богата; положение при устьях Дуная очень выгодно; мелочной европейской образованности у них достаточно; народ пашет, плодится и послушен. Даже в церковь ходит... не очень часто, а ходит.

Румынское войско доказало, что оно умеет даже сражаться до известной степени.

<sup>20</sup> Но румыны, особенно после разлагающего *à la française* господства князя Кузы, после отобрания имуществ *преклоненных* Св(ятим) Местам монастырей, стали вдруг чем-то ни Восточным, ни Западным, вроде наших новороссийских (или хотя румынских же) городов: бело, просторно, довольно опрятно, пусто, скучно, бесхарактерно. Нет и следов внешнего видимого стиля, который есть всегда выражение крепкого духа и самобытного содержания. Румыны, как справедливо заметил г. П. Толстой (в 16 № «Моск(овских) Вед(омостей)» по поводу слуха об уступке им Добруджи), представляют какой-то чуждый, антиславянский, полуроманский элемент на пути нашего общения со славянами. <sup>30</sup> Это правда, они гордятся не тем, что они православные, или просто румыны, а преимущественно тем, что они Романский элемент, их тянет к Западу... Они даже прежнюю азбуку, свою славянскую, переменили на латинские буквы, и в нравах их нет ничего такого, что радует нас в черногорцах, болгарах, эпиротах, критянах.

В вышеупомянутой заметке г. Толстой справедливо сетует на этот слух об отдаче Добруджи румынам.

Положим, что население Добруджи вовсе не исключительно болгарское, а очень смешанное; в 60-х годах население Добруджи было приблизительно следующее:

Болгар 14, 15, 16 000, румын столько же (кажется, 16 000), турок 10, 11, 13 тысяч, татар (крымских) тоже тысяч 12—14, малоруссов 14, 15 000, черкесов 5—6000, старообрядцев-великоруссов 2—3000.

Остальное: греки по городам, немцы, молokane, русские. Турки, как известно, предпочитают считать и делить своих подданных по религиям, и русские, как имеющие несколько вер, считались у них особо каждая вера.

Из этой таблицы, хотя бы и ошибочной, может быть, в каких-нибудь незначительных размерах, видно, что по населению Добруджу нельзя назвать ни болгарской, ни румынской страной.

Но она все-таки гораздо более болгарская и по географическому положению, и по отношению к тому политическому фону, на котором должны слагаться в будущем взаимные отношения освобожденных нами народностей.

Дунай — вот граница Румынии. Зачем ей переступить за нее? Награждать румын за то, что они сражались, и наказывать болгар за то, что они не могли сражаться?.. Воевать еще возможно по чувству — ибо война есть действие быстрое и разрушительное; но когда дело идет о прочной организации, об утверждении мира на Востоке, надо устраивать, а не награждать или наказывать; — надо как можно больше мыслить и как можно меньше чувствовать.

Смешно было бы, напр⟨имер⟩, наказывать всех греков или Святые Места, — находящиеся в греческих руках, за то, что эллинское Правительство так поздно объявило Турции войну! Союз православных народов Востока должен созидаться на политическом разуме, а не досаде и благодарности.

Чего желаем мы? Расположить сердца румын к России! Не так ли? Но хорошо народу сердцем стремиться на бой с врагом и притеснителем, а Государству, ввиду будущих условий жизни, надо не столько сердца, сколько обстоя-

тельства располагать в свою пользу. Благодеяния забываются нациями еще гораздо легче, чем лицами.

Расположить румын и огорчить болгар? Что же тут выгодного?

И если уж отдавать всех остальных разнородных жителей Добруджи, вероятно, противу воли их, кому-нибудь из двух — румынам или болгарам, то во всех отношениях справедливее отдать болгарам. Справедливо это не только по географическим или племенным условиям, но и по многим<sup>10</sup> другим причинам.

Болгары — народ серьезный, народ гораздо более румын *Восточный* (в хорошем смысле этого слова); народ трудовой, бережливый, твердый, в семейной жизни почтенный; — правда, несколько сухой, вследствие того, вероятно, что жизнь его была долго ограничена одними вещественными интересами, но это исправимо. Православие в болгарях несравненно крепче и чище, чем в румынах. Болгары неправы и нечисты только противу законов Церкви в одом случае; но они покаются, они слишком умны, чтобы не понять этого. Болгары, поставленные под наше влияние и примиренные с Вселенской Церковью и греками (хотя бы и ценою некоторых территориальных уступок), болгары, еще почти не жившие, свежие, распространенные от устьев Дуная до берегов царственного Босфора (ибо в окрестностях Царьграда много болгарских деревень), болгаре, не успевшие еще и в быту своем утратить всю прелесть и солидность патриархальных форм, не успевшие, подобно румынам, стереть с себя все *хорошие черты своеобразного азиатизма*, — болгаре могут иметь великую будущность, если не по вещественной силе, то по культурному значению, если только мы, русские, сами второпях не испортим их навеки; если мы по неосторожности не прикоснемся к ним более петербургским, чем московским боком нашего Петровского Минотавра!..<sup>30</sup>

С румынами, конечно, надо считаться; надо помогать им, надо дружить с ними, бесспорно; — но зачем приносить им в жертву не только болгар и русских, живущих в

Добрудже, но даже и мусульман этой страны? Мусульмане, как властители, положим, несправедливы или, вернее сказать, прежде всего, *нежелательны*; но подданные они прекрасные, без претензий, честные и простые, — это известно всем.

Лучше *во имя идеи*, во имя умиротворения Церкви, отдать 500 000 болгар грекам, по преимуществу представителям Православия в Турции, чем уступить даже и 16 000 болгар офранцузенным молдо-валахам, ничего почти, кроме некоторой вещественной силы, не олицетворяющим в 10  
среде восточных христиан.

То же можно сказать и об уступках сербам земель, населенных болгарами. И сербы, *по внутреннему значению* своему на Востоке, гораздо ничтожнее болгар и греков.

Но о сербах в другой раз.

Теперь же я прибавлю два слова об устьях Дуная. Слухи ходят о некоем как бы обмене берегов Нижнего Дуная между Россией и Румынией. Россия возвратит себе отошедшую по трактату 56 года часть Бессарабии с Измаилом и за это Добруджей вознаградит Румынию. 20

Если Германия и Австрия дорожат свободой дунайских гирл, потому что Верхний Дунай в руках немецких племен, то я полагаю, что в этом весьма второстепенном интересе можно охотно сделать уступку этим Державам, с тем, чтобы так или *иначе на проливах упрочить* себе силу или *хотя бы преобладание*. Имея если не в руках наших, то хоть *под рукою*, так сказать, самый корень дела, самое сердце того великого восточно-союзного организма, который должен быть отныне нашей страстно искомой целью, нашим историческим долгом, с частностями вопроса, с отдельными 30  
составами и членами этого неизбежного в близком будущем союза-исполина — мы совладеем легко и позднее.

Именно потому, что *весь Запад* уверяет, что Царьград и Проливы — пункты не русские, а общеевропейские интересы, мы должны догадываться, что в них-то и заключается такой существенный и самый жизненный интерес для России. Эти пункты, Царьград и Проливы, так важны во

всех отношениях — в церковных, в коммерческих, в военных, политических собственно и даже в культурных (художественных напр(имер)), — что один неловкий или слишком робкий шаг на этом поприще может очень скоро отзываться самым губительным образом и на нас, и на всех единоверцах наших, начиная от островитян Эгейского моря и кончая самими черногорцами.

Международное (т. е. *беспринципное*) влияние в Царьграде — это не что иное, как медленное вскормление самого отвратительного радикализма. Влияние это в последнее время и при турках уже чувствовалось. Что же будет и без турок и без нас? — или при совсем уже расслабленной Турции, без нашего над ней преобладания, без ревнивого охранения этих развалин Мусульманства от всякого чуждого влияния, и в особенности от *коллективного*, ибо в нем самый едкий яд разлагающего индифферентизма? Иначе не скажут ли когда-нибудь потомки наши, что мы побеждали на гибель себе подобно наполеоновской Франции или Македонии венчанного поэтического героя Граника и Арбелл?

<sup>20</sup> За блеском побед — залого разложения.

Что такое перед Проливами и Царьградом — Измаил и устья Дуная!

Прежде всего в теории, в области *задних мыслей* наш патриотизм обязан сам себе уяснить, чего мы хотим; в будущем же хотеть надо большего, а практические препятствия сами собою встретятся и немного обрежут на деле политический наш идеал. Зачем же обрезать его в сердце нашем, этот великий идеал — будущего, быть может, *во все недалекого?*

Одна глава (V-я) из статьи  
«МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ФРАКИИ»

ПРИМЕЧАНИЕ 1885 ГОДА

Я выделил почти всю пятую главу из этих консульских «Воспоминаний» моих потому, что мне показалось, будто я никогда в других моих статьях так отчетливо не определил разницу в отношениях русской политики к болгарам и грекам.

Я думаю, что это краткое определение может дополнить все предыдущее, состоящее из общих взглядов, и послужить как бы предисловием к остальным мелким статьям, в<sup>10</sup> которых идет дело о разных частностях и новых случаях в развитии тех же вопросов Восточного и Церковного греко-славянского.

*Авт(ор)*

---

Фракия и южная Македония — две области Европейской Турции, наиболее *Босфору и Царьграду* соседние, чрезвычайно важны для нас. Они важны не только соседством этим, но еще и тем, что обе страны эти *смешанные*; они не чисто болгарские, как дунайская Болгария и как северная Македония, и не чисто греческие, как Крит или Эпиро-Фессалийские округа. Каждая по-своему, эти две нации, греческая и болгарская, чрезвычайно важны для нас. По многим причинам, как историческим, так и географическим, болгары и греки важнее для нас сербского племени. Я перечислю здесь некоторые из этих причин.

Болгары были до последнего времени самое отсталое, сиротствующее, так сказать, племя из всех христианских народов, подвластных Турции; они были *все вместе* под властью Султана: начиная от границ Сербии, от окрестностей Солуня и Св. Афонской горы, от Нижнего Дуная и до последних болгарских сел у ворот самого Царьграда. Из среды болгарского народа не выделился еще тогда никакой свободный центр национально-государственного притяжения, как выделились Афины со свободною Элладой из среды четырех, пяти миллионов греков, как выделилась Сербия с Белградом и Черногория из сербских провинций, подвластных туркам. Для самих болгар это, казалось, было хуже; но для общей славянской политики на Востоке, для общих интересов Славянства, естественным вождем которого должна была, рано или поздно, явиться Россия, была в этом обстоятельстве и некоторая выгода. Эти самобытные, европеизованные центры, подобные Афинам и Белграду, гораздо легче поддавались всем *западным веяниям* и могли нередко (как мы видели это в последних событиях) уклоняться от столь естественного и для сербов, и для элинов согласия и союза с Россией. Во время трехлетней борьбы на острове Крите, когда все почти греческие партии были за Россию и когда Россия *могла свободно* обнаружить свое сочувствие грекам в пределах чистого *грецизма*, со славянским элементом на этом прекрасном острове не смешанного, в это время пламенных греко-русских сочувствий, сербы обманывали и греков, и русских. Обещая союз с Грецией, угрожая Турции войною в соединении даже с грозною Черногорией, сербское Правительство под рукою вело в то же время переговоры об очищении крепостей, находившихся еще в то время в руках турок, на территории Сербского Княжества. Разумеется, и Англия, и Франция, и Австрия все были тогда заодно в содействии Сербии на поприще этой двойной дипломатической игры. Турки очистили крепости, и геройское население Крита сложило оружие на обогренную кровью своей родную землю!..

Что, в свою очередь, делало афинское Правительство, как оно долго сдерживало естественные стремления грече-

ских населений Крита, Фессалии, Эпира и Македонии, как оно интриговало против славян и России, — это известно всем.

Надо, впрочем, помнить при этом одно: что не греки только, но и юго-славяне точно так же «льстивы до сего дня»; помнить это надо не для того, чтоб отказываться от них, избави Боже! — да это и невозможно, — а в видах собственного, весьма темного, может быть, будущего, чтобы знать истину, чтобы знать хорошо те условия, при которых мы должны постоянно и неотвратимо действовать на ту среду, на которую нам приходится влиять. 10

Итак, я сказал, что политическая беззащитность болгар, их сплошная зависимость от турок, их отсталость во всех почти отношениях, их географическое к нам и по Черному морю, и по Нижнему Дунаю соседство, отсутствие собственной независимой, или хотя бы вассальной\* столицы, отсутствие собственных высших школ и сравнительная малочисленность школ народных, — все это делало болгарскую народность (превосходящую притом же не только сербов, но и греков численностью) в высшей степени важным и вместе с тем при некоторых условиях весьма доступным для нас элементом. Болгары были ближе к нам всех других православных племен Востока, потому что они были политически неопределеннее в то время, потому что враждебным нам силам не за что, так сказать, было у них ухватиться. Не было Правительства, хотя бы вассального; не было Ристичей, Трикупи, Николичей, Делияни, облеченных правом писать ноты, заключать союзы, объявлять войну и вообще «trancher du potentat» даже с единоверною и всех их вскормившею своею кровью Россией. 20

Русская политика могла бы в Болгарии прямо перешагнуть от раздачи богослужебных книг и церковных облачений, от воспитания юношей-болгар в русских училищах, от пособий народным школам, от хлопот по образованию независимой Болгарской Церкви к какой-нибудь весьма ре- 30

---

\* Писано в 78—79 гт. и о прошлых обстоятельствах. *Авт(ор)*. 1885 г.

альной, юридически определенной связи с Болгарским Княжеством или Царством. Сделать его, например, вассальным, поставить его в некоторую зависимость от своей короны для общей пользы, или придумать иную форму единения, которая послужила бы краеугольным камнем и образцом для будущего Восточно-Православного союза, которого никакие усилия западных врагов наших не отвратят, если только мы сами не погубим какую-нибудь неуместною в политике «честностью» и нашей собственной, и <sup>10</sup> всеславянской, и всехристианской будущности!.. Ни Всеславянский союз с Россией во главе, в который вошли бы исключительно одни славяне, ни более естественный и более сильный великий Восточный союз, частями которого стали бы *volens-polens* и румыны, и греки, и армяне, вследствие племенной и политической чересполосности Востока, ни та, ни другая конфедерация немыслимы без союзной столицы в Царьграде. Это понимать обязан всякий русский; это знают государственные люди Запада, и оттого-то они противуполагают, насколько могут, свое veto каждому естественному <sup>20</sup> движению нашему на юго-восток. «Завещание Петра, может быть, и ложно, — сказал мне однажды один европеец; — но сочинитель его был великий пророк». «Если так, — отвечал я, — то Запад ничего не сделает, и Славянство выждет свою минуту». «Запад до конца должен исполнять свой долг и свое назначение», — возразил мой собеседник.

Этот враг другими словами повторял то же, что сказал друг России, Э. С., свою притчу о черепахе.\*

---

\* Помню, почти в первые дни моего водворения в Адрианополе в 64-м году я сделал одну грубую формальную ошибку. Один русский подданный подал мне прошение на греческого подданного. Я воспользовался читанным мною в разных «Guides Consulaires» и т. п. и сказал драгоману нашему Э. С.:

— Что же, надо нам смешанную судебную комиссию назначить?

Лукавый Э. С. несколько времени молча смотрел на меня и потом радостно улыбаясь, сказал: «как прикажете!..» — Чему же вы улыбаетесь так выразительно? — спросил я, немного смущаясь в сердце.

Но если это так, если при самом искреннем, например, удалении русских правительственных лиц того или другого

---

Объяснив, что надо препроводить бумагу истца в консульство ответчика и что не мне в этом случае, а греческому консулу надо решать, Э. С. прибавил:

— Это еще раз мне доказывает, как я прав, когда, глядя на русских консулов, думаю, что Россия их посылает вовсе не для таких пустяков, как все эти тяжбы наших лавочников и судебные комиссии. Я не видал еще ни одного русского, который бы приехал сюда, уже знакомый с торговыми и тяжбными делами Востока; но зато ни англичане, ни французы, ни австрийцы не могут сравниться с русскими чиновниками в серьезных вопросах высшей политики... Выучиться этим мелочам недолго и ошибиться в них не беда. Но надо, чтобы слава *нашего* флага гремела, вот цель... И она гремит. У нас старые люди сравнивают Россию с черепахой. Черепаха хочет напиться в ручье и идет к нему тихо. Вдруг слышит — топочут лошади, кричат люди у ручья... Она сейчас и голову и ноги спрятала; она уже не хочет пить. Утих шум, черепаха опять приближается... И она все-таки выберет час свой и дойдет до ручья. — Ручей — это, понимаете, *Босфор*. А шумят европейцы. Вот что нужно... и Россия таких консулов посылает, какие для этого нужны, а не для пустяков.

— Не знаю, — отвечал я, — в народе нашем есть какие-то смутные чувства чего-то подобного, но могу вас уверить, что правительство наше не заявляет таких видов на Константинополь.

— Конечно, — возразил Э. С., — вы обязаны так говорить. Это дипломатия, потому что у *ручья все еще шумит Европа*.

— Нет, право, — продолжал я, — я говорю вам искренно. Мне-то самому, признаюсь вам, очень нравится ваша басня о *черепахе* этой. Только я совершенную правду говорю вам, что правительство наше, кажется, об этом не думает. По крайней мере, я не слышал.

— И это дипломатия хорошая, что вы так просто и так искренно говорите... — сказал упрямый Э. С., — *и черепаха дойдет до ручья непременно...*

Я засмеялся и больше не спорил... На Востоке невозможно ни друзей, ни врагов наших разубедить в том, что главная цель всей политики нашей *есть завладение Царьградом*. Надо помнить это; надо помнить, что как бы мы ни были бескорыстны, никто нашему бескорыстию не поверит, и все будут действовать против нас, как будто бы наши только подозреваемые замыслы доказаны были как несомненный факт. О мудрости и дальновидности нашей политики

периода от мысли завладеть Босфором, — судьба России, ее роковой рост, которому невозможно положить пределов до тех пор, пока она не исполнит своего назначения, ее религиозные предания, ее коммерческие интересы, т. е. и самые идеальные, и самые, так сказать, грубые ее побуждения влекут эту северную нацию к неизбежному завладению Босфором, то кто же, как не болгары являлись до сих пор самыми естественными союзниками России в этом предначертанном историей течении?

<sup>10</sup> Болгары единоверные (я не говорю одноплеменные, ибо и поляк одноплеменен нам), болгары юридически необособленные, как обособлены греки, румыны и сербы Княжества, конституциями и вздорными министерскими кризисами, еще не избалованные болгары, расселенные сплошь от наших границ (то есть от Нижнего Дуная) до самых ворот Царьграда, отсталые, но с проснувшимся уже сознанием своих национальных и гражданских прав, эти болгары поставлены были самою историей в положение аванпостов славянства на заветном пути его развития!..

<sup>20</sup> Итак, вот огромное значение болгар для России и для всего Славянства... Болгары и тогда, когда я приехал во Фракию, казались в Турции самою удобною почвой для нашего действия; они были самыми подручными союзниками нашими в деле нашего призвания.

Но если так, если все условия политические, религиозные и географические (особенно — географические) соединились, чтобы сделать болгар наиболее нам родственными и доступными, то греки, в значительном количестве расселенные не только по ближайшим к морю и к Царьграду городам Фракии, но и по селам в южной части этой области, греки, надменные своим прошедшим, претендующие издавна сами завладеть Босфором и действительно имеющие на то более всех не-славянских и более всех западных наций составилось везде такое выгодное понятие по примерам прежнего, что никто и не может верить, будто бы мы в самом деле наивны, будто бы мы слишком уж простодушно дорожим общественным мнением Запада и т. п... (Из той же статьи «Русского Вестника».)

право, греки должны быть самыми опасными соперниками нашими, самыми явными и непримиримыми нам врагами...

Да, отчасти так; отчасти совсем не так. История греко-русских отношений сложилась совсем иначе, и долгое время православные (*по преимуществу*, так сказать, *православные*) греки были самыми пламенными, самыми полезными нашими союзниками в нашей политике на Востоке.

Признаюсь, мне было бы скучно и обременительно говорить в этих записках подробно о такой исторической азбуке!.. Мне хотелось бы поскорее перейти к настоящей <sup>10</sup> моей задаче, к изображению той эпохи, в которую я приехал во Фракию;\* но, к изумлению моему, я в самой образованной части нашей публики замечал из разговоров и газетных статей такое поверхностное и легкомысленное понимание восточных дел, что нельзя не остановиться здесь и не сказать о греках, по крайней мере, столько же, сколько я сказал о болгарах. Из уважения к читателям моим (и отчасти, может быть, из потворства собственной моей лени), я постараюсь быть кратким настолько, чтобы не вредить ясности в изложении этого важного вопроса. <sup>20</sup>

*Принцип*, во имя которого мы всегда вмешивались в дела Востока, был *не племенной, а вероисповедный*.

Православие, единоверчество наше с христианским населением Турции давало издавна действиям нашим в этой стране такую твердую точку опоры, которой не имела ни одна Держава иноверного Запада. Все другие Державы действуют на Востоке почти исключительно одним внешним, механическим, так сказать, давлением, своею военною или коммерческою силой, различною в своей степени, смотря по нации, которая ее олицетворяет; только одна Россия поставлена <sup>30</sup> вероисповедным началом совсем в иные условия: она связана *преданиями, верой* своего народа с религиозною сущностью тех небольших христианских наций, которые входят в состав уже с прошлого века расстроеной и разрушающейся Оттоманской Империи. Только для русской политики на Восто-

---

\* То есть — 20 лет тому назад: в 64-м году.

ке возможно было до последнего времени счастливое сочетание преданий с надеждами, религиозного охранения с движением вперед, национальности с верой, святости древности с возбуждающими веяниями современной подвижности. Русские консулы после крымской неудачи стали во многих отношениях и во многих областях Турции сильнее прежнего (это будет видно дальше из рассказов моих). Там, где этого не было, виноваты были лица, их бездарность, их равнодушные, их, просто говоря, глупость, а не настроение населений и не те нравственные силы, которыми русский чиновник мог бы располагать. После Седана французские чиновники, до-<sup>10</sup> толе столь грозные, шумные, драчливые даже больше всех других консулов,\* стали вдруг едва заметны; как только уменьшилась вера в военное могущество Франции, так и политическое значение ее пало донельзя. Русские (разумеется, те из них, повторяю, которых позволительно было держать на коронной службе) и после неудач оставались влиятельны, благодаря органической связи единоверия.

Итак, если Православие гораздо больше, чем племя<sup>20</sup> придавало всегда столько жизни восточной политике нашей, то не важнее ли всех христианских наций, самой ли Турции или вассальных и соседних сей стран, именно та нация, в которой православные краски гуще, чем у всех других? Не в том ли народе надо преимущественно нам искать всякого рода опоры, в котором глубже накопление православных сил, этих реальных и вовсе не мечтательных сил, до сих пор еще и у нас столь могучих? Не с тою ли из христианских наций Востока нам следовало по преимуществу дружить и сблизиться, в которой наши собственные священ-<sup>30</sup> ные предания крепче и ярче выражены, чем в других?

Если болгары, как говорил я выше, были важнее для нас и румынов, и сербов, и греков, вследствие своей политической и культурной бедности и большей доступности, то греки, с другой стороны, были не менее важны для нас по со-

---

\* См. г. Бреше в моем «Одиссее Полихрониадесе». Это верное изображение французского консула времени Наполеона III.

вершенно противоположной причине, — по причине наибольшей выразительности у них всех тех сил, которые у болгар сравнительно слабы. Греки нас окрестили. Конечно, это было очень давно, но стоит только вспомнить простую вещь, стоит вспомнить, что в руках греков святыни Иерусалима, где *говорят сами камни*, Афонская гора, где и в наше время можно очень скоро и с удовольствием забыть, что живешь в так называемой Европе и в так называемом XIX веке; надо вспомнить, что в руках греков суровые пустыни Синая и *четыре Патриаршие престола*; надо вспомнить, что лучшие предания наших монашеских обителей по преимуществу перешли отсюда; надо вспомнить, что народ наш только *вчера узнал*, что есть на свете сербы и болгары, и что если шли иные из простолюдинов сражаться в Сербию и Болгарию для спасения души, то это лишь потому, что эти сербы и болгары были *православные*, что в уме народа мысль об этих православных людях дальнего Востока, гнетомых и избиваемых иноверцами, тесно связана с чтением и рассказами об этих *самых Святых Местах*, об Афоне, Иерусалиме и Синае, которые все греческого духа и в греческих руках... Сам Царьград, этот ныне турецкий, торговый полуевропейский Константинополь, в глазах нашего народа есть Царьград священный, Царьград Св. равноапостольного Царя Константина, город Св. Софии, город Вселенских Соборов, святое тоже место, лишь временно оскверненное агарянами... Да и не только простой народ, я прямо скажу, чем теснее в мыслящем русском человеке уживается общая образованность нашего времени с Православною верой, чем искреннее «живет он сердцем и душой своею в Церкви и с Церковью», тем живее, глубже, неизменнее убеждается в следующих, конечно, не новых, но, к несчастью, недостаточно повторяемых правилах: 1) Что никто еще до сих пор не видал долговечных государств, построенных не на мистическом основании, а на одних экономических или юридических условиях. Когда такое государство, как Соединенные Штаты, довольно близко подходящее к этому последнему идеалу, проживет, не раз-

лагаясь и не изменяя вовсе форму своего правления, хотя пять веков, тогда его можно будет ставить в пример; а пока этой республике еще едва сто лет, она в пример не годится.

2) И если бы новые какие-нибудь государства будущего и оказались способными вовсе отделять «probanum» от «sacrum»,\* то из этого не следует, чтобы таким старым государствам, какова, например, тысячелетняя (или хотя восьмисотлетняя, если считать с крещения Владимира) Россия, подобные опыты над собою не были губительны. Франция

<sup>10</sup> в конце прошлого века казнила священников, закрывала монастыри и храмы, объявляла культ разума, а потом принуждена была не раз опять обращать взоры свои к Риму и, очень может быть, была бы еще в несравненно худшем положении, если бы католические чувства и католическая политика в ней совершенно были бы забыты и бессильны. На клерикалов все почти нападают, но никто еще Франции без клерикалов не видал. *Была ли бы она без них хоть десять лет возможна? Не разрушилась ли бы она немедленно? Это вопрос; для меня даже и не вопрос...*

3) Если

<sup>20</sup> Православие, эта могучая реальная сила русской жизни, это знамя, под которым мы одержали столько побед и покорили столько врагов, до сих пор у нас действительно, если это Православие нам необходимо, то надо же помнить, что политика, основанная на вероисповедном начале, невозможна *без сердечных мистических верований, которыми, как орудием, эта механика политическая должна пользоваться.* Надо помнить даже, что, чем искреннее мистицизм многих и многих отдельных лиц, тем удачнее и удобнее самая мудрая, спокойная, даже, если хотите, самая

<sup>30</sup> лукавая политика целого. Без искренности Католицизма, например, большинства французов XVII века невозможна была бы глубокая, великая и очень хитрая политика Ришелье. *Известная степень лукавства в политике, замечу, есть обязанность; ибо политика есть дело механическое; это есть не что иное, как естественная взаимная пондерация*

---

\* *Надолго ли?*

общественно-государственных сил... Старомосковские князья и бояре наши были все очень искренние православные люди и, вместе с тем, очень лукавые и очень искусные политики... 4) Если это мистическое, сердечное Православие, к политике само по себе в своей искренности равнодушно,\* но именно вследствие этой искренности своей, для успешного ведения внешней политики в тяжелое время столь необходимое, если оно для России так важно, то не должны ли мы страшиться всего, что охлаждает к нему общество и народ, всего, что нарушает мир Церкви, что затрудняет общение между отдельными национальными Церквями, входящими в состав православной семьи. Не должны ли мы дорожить невыразимо и пламенно всем тем, что усиливает влияние духовенства на народ? Монастыри, например, влияют на общество больше, чем самые лучшие представители белого духовенства, не могущие, по семейному положению своему и *слишком обыкновенному*, хотя и честному образу жизни, так отвлекать помыслы паствы от житейских мелочей, как может отвлечь один хороший духовник в Оптиной пустыни или на Валааме, как может действовать один афонский отшельник, удалившийся в пещеру!.. Сколько косвенной, незаметной прямо пользы делают русскому народу *пять, шесть каких-нибудь нам, считающимся образованными, русским, и неизвестных греков и болгар, поселившихся в ужасных расселинах или в пустынных хижинах Афонской горы*. Об этих афонских пустынножителях (об отце Данииле-греке, об отце Василии-болгарине и подобных им) доходят

---

\* Что понимает в Восточном вопросе, например, набожная московская купчиха? Или какое дело до политики, собственно, нашему иерусалимскому поклоннику? И даже образованный, благовоспитанный русский помещик, если вздумает, по какому-либо сердечному томлению, посетить монастырь, не будет заботиться о международных отношениях. Но именно вследствие того, что все эти люди искренни в своих религиозных чувствах, искренни точно так же, как болгарский земледелец, критский паликар и афонский монах, и веруют в то же, во что веруют эти последние, наша связь с греко-славянским Востоком так глубока и неразрывна.

верные слухи и описания, как печатные, так и путем частных писем и рассказов до русских монастырей; слухи и описания эти укрепляют наших монахов; образ этих нерусских святых людей, которых русские поклонники видят хоть на этом турецком Востоке, восхищает и утешает их.

Поэтому-то, когда я говорю Православие, я говорю духовенство; когда я говорю духовенство, я подразумеваю монастыри; когда я говорю монастыри, я вспоминаю о Святых Местах; *когда я вспоминаю о Святых Местах, я невольно с поразительною ясностью вижу, как важна для нас роль греческого духовенства, преобладающего в этих Святых Местах, владеющего ими...* Я не говорю об эллинизме. Сам по себе афинский эллинизм не заслуживает никакого особого, выходящего из ряда внимания; эллинизм афинский для русских должен быть важен лишь настолько, насколько он носитель Восточного Православия. Отделять эти два начала возможно не только в уме, но и во многих случаях на практике; и дипломатия наша, если не всегда, то очень долго и очень успешно умела прежде это делать.

Вот что я хотел сказать здесь и сказал, конечно, очень бегло и кратко о греках. Вот их важность для нас, вот почему Фракия, как главный и спорный пункт между болгарами и греками, то есть между двумя христианскими нациями Турции, одинаково для нас нужными и дорогими, есть очень важная для нас область. Чуть ли не самая важная, если рассматривать вопрос с той точки зрения, с которой я рассматривал его здесь и с которой (не знаю, как теперь?) рассматривало его само Министерство. Оно постоянно и строго внушало нам умеренность и примиряющий дух.

Конечно, когда я приехал туда в первый раз, я не мог понимать все так ясно, как понимаю теперь, но, в общих чертах, вопрос и тогда был бы понятен для всякого русского чиновника, которому бы и не удалось, как мне, прочесть какую-нибудь сотню или более консульских донесений еще в Петербурге. Я позднее поговорю о крайностях, как вздорной эллинской «великой идеи», так и болгарского племенного радикализма.

# ПИСЬМА ОТШЕЛЬНИКА

## I

### НАШЕ БОЛГАРОБЕСИЕ

Я вздохнул свободнее в деревенском уединении своем, прочитав первый номер вашей газеты.

Наконец я услышал речь прямую и правдивую! Наконец-то нашлись и в изолгавшейся отчизне нашей люди, дерзающие *говорить правду* о болгарях и вывести их из того привилегированного и даже им самим вредного положения, в которое поставил их наш либерализм. Кого, в самом деле, мы не судим, кого не порицаем, кого не осуждаем, кого не корим? Европейцев, при всем подобострастии нашем пред Западом, мы все-таки решаемся судить. Мы даже громим их беспощадно *тогда, когда они, весьма естественно соблюдая свои государственные выгоды, противодействуют нам*. Азиятцев мы в «просвещенной» печати нашей разрываем на части и считаем долгом называть их беспрестанно «варварами» (этим главным образом доказывается, что и «мы европейцы» и что нет и не будет другой цивилизации, кроме прогрессивно разрушительной ново-европейской). Мы позволяем себе изредка порицать даже чехов, сербов и хорватов; греки у нас давно уже известны под бранным прозвищем *фанариотов*: «они суть *льстивы до сего дня*».

Самих себя, Россию, власти, наши гражданские порядки, наши нравы мы (со времен Гоголя) неумолкаемо и омерзительно браним. Мы разучились хвалить; мы пре-

взошли всех в жолчном и болезненном самоуничижении, не имеющем ничего, заметим, общего с христианским смирением. Только одни болгары у нас всегда правы, всегда угнетены, всегда несчастны, всегда кротки и милы, всегда жертвы и никогда не притеснители.

Раздавались немногие серьезные голоса и против них, но их тотчас же заглушал громкий вой всероссийского свободолюбия. <sup>10</sup> Пыталась самобытная мысль углубиться подалее в сущность восточных дел, но эта живая мысль, опережающая события, была подавлена презрительным равнодушием. На людей, позволявших себе, по поводу Восточного вопроса, говорить и печатать вещи несообразные с модой (эту моду зовут иные *здравый смысл*), смотрели как на пустых оригиналов или звали их представителями казенного *Православия*.

Все болгарские интересы считались почему-то *прямо русскими интересами*; все враги болгар — нашими врагами.

<sup>20</sup> Когда станешь думать обо всем этом, о непостижимых заблуждениях наших, о легкомысленном отношении влиятельных и практических людей, напр<имер>, к церковному Греко-болгарскому вопросу, о преднамеренном искажении истины одними (знающими), о нахальной либеральности других, не постигающих такой простой, такой, скажу, грубой политической аксиомы, именно — что самый жестокий и даже порочный, по личному характеру своему, православный епископ, *какого бы он ни был племени*, хотя бы крещеный монгол, должен быть нам дороже двадцати славянских демагогов и прогрессистов... когда поймешь, что и <sup>30</sup> Россия и все Славянство без изъятия уже переступили за роковую черту, за которой *дальнейший европейский прогресс перестает быть залогом развития*, а становится лишь средством *разрушения и гибели*... когда, говорю, подумать обо всем этом, — станет и страшно и скучно... Страшно станет потому, что увидишь за всем этим нечто *фатальное*, нечто мистическое, если хотите... какое-то проклятие... Скучно станет потому, что скажешь себе: «сделать ничего

нельзя. Не то думают люди прямого влияния, что думаем мы с единомышленниками!»... *Хорошо быть гласом вопиющего в пустыне, когда впереди ждешь кого-нибудь такого, кто будет понимать дело еще лучше нас, кто будет прямее и сильнее нас и на нашем же пути влиятельнее.* Но когда видишь, что все идет налево и налево, и люди не видят этого, когда видишь, например, ничтожество бельгийской буржуазной конституции в самой отсталой и самой патриархальной из освобожденных нами славянских стран, когда видишь, что пастушеский и первобытный болгарский народ предан в руки адвокатов, торговцев европейского стиля и самолюбивых учителей, вчера еще босоногих оборванцев и реалистов; когда слышишь или хотя бы подозреваешь, что какой-нибудь Каравелов-прогрессист (вероятно что-нибудь беспокойное и наглое вроде Гамбетты) берет верх в делах, разве не станет скучно?

Разве не станет тяжело, когда прочтешь такие телеграммы:

*«Тырново, 27 марта.* Болгарское народное собрание под председательством Каравелова отвергло проект учреждения сената и, по предложению доктора Малова, внесло в конституцию безусловное право сходок без предварительного разрешения полиции. Умеренная партия подверглась сильным нападкам крайних. *Тырново, 28 марта.* Вчера народное собрание внесло в конституцию статью о *полной свободе совести с правом переходить в другую веру и о полной свободе печати.* По предложению Каравелова, собрание отвергло просьбу епископов, чтобы православные церковно-служебные книги и прочие религиозные издания, предназначенные для употребления в церквях и школах, подвергались духовной цензуре. По поводу вчерашних постановлений народного собрания Экзарх, все епископы и предводители умеренной партии заявили сегодня протест и удалились из собрания. *Тырново, 29 марта.* Народное собрание отсрочило свои занятия до 4 апреля. Рассмотрено 117 статей устава. Статьи о составе будущей палаты переделаны в том смысле, что все депутаты — выборные, чле-

нам по должностям и по назначению не быть. Признана свобода печати и сходов, дружеств, обществ литературных, технических, экономических, политических. Предложение Балабанова и других об учреждении сената отвергнуто единогласно. При этом произошла скандальная сцена. Вследствие каких-то личностей раздались крики: „вон Балабанова!“ Балабанов оскорбил председателя Каравелова. Цанков вмешался. Кончилось тем, что авторы предложения о сенате, всего 12 человек, вышли из залы заседания».

<sup>10</sup> Разве не скучно *не доверять* в глубине сердца даже тем опровержениям, которые являлись позднее? Пусть это дело замяли, вероятно благодаря *русскому давлению*. Пусть только половина всего этого правда; но и половина эта неутешительна. И если все это клевета, если даже *ничего подобного* не было вовсе, то, должно быть, злой клеветник умен и коротко знаком с духом болгарской интеллигенции. Эта ложь так художественна, так *похожа* на истину! Не выдумашь чего-нибудь подобного вовсе без основания: *не будет похоже*. Если бы кто-нибудь прислал теперь телеграмму из Парижа о том, что скромный якобинец Гриви действует во всем вопреки духу либеральной конституции, подобно гениальному и бесстрашному юнкеру Бисмарку, кто бы этому поверил? Или кто бы поверил известию из Рима, что итальянское Правительство отказалось от Папских владений и что Король Гумберт «пошел в Каноссу?»

Нет, эта ложь кажется столь близкою к правде тому, кто видел вблизи бедность и грубость мысли и ловкое бесстыдство действий большинства болгарских вождей!

<sup>30</sup> И отчего наши лучшие умы как бы в затмении, когда речь идет о болгарах, об этом бессодержательном и в то же время загадочном народе, *уже раз в своей истории послужившем главным предметом раздора и разрыва между Римом и Византией?*

Не рок ли это?

Фанариоты — ведь это что такое? Фанариоты — это *цареградские греки*, духовенство и миряне (в особенности духовенство), — это люди, которых даже прямые, личные

интересы теснее, чем у кого-либо другого, связаны на Востоке со строгостью православной дисциплины, со строгостью православных преданий, православных уставов, православных чувств. Вот что такое фанариоты. Царьград — это главный центр Восточного Православия, а фанариоты — греки Царьграда, представители, правители этого центра.

Нет нужды, что они могут быть иногда лукавы или своекорыстны. Ни лукавство, ни своекорыстие личного характера православных *убеждений* и правильного спиритуализма не исключают. Христианство установлено не для одних мягких, чистых или кротко-идеальных натур: оно для всех характеров, для всех натур, для всякого воспитания.

И что за политика, — политика какой-то нежной морали? Откуда она взялась? И что мы сами-то за пример? Какие мы моралисты? Фанариоты — консерваторы, мы — либералы; вот и все...

Мы освобождаем болгар...

Прекрасно, освобождайте их *от власти Султана, но не от канонических правил повиновения законной церковной власти*. Неужели для нас стало все равно, что Шейх-уль-ислам, что Вселенский Патриарх?

Мы дорожим верой нашего народа. Этой верой дорожат даже многие из тех русских, которые сами в церковь молиться не ходят или ходят редко, больше из национального чувства, чем по вере.

Неужели же мы не видим связующей нити? Мужик идет в Оптину пустынь или Тихонову, или в Киев, в Печерскую Лавру, или в Соловки. Что он там мыслит, что видит, чему научается? Откуда все это к нам пришло? Не с Востока ли?.. Не от греков ли? Не в руках ли греков и доныне Иерусалим, Афон, Синай? Не к Царьграду ли, как центру общецерковного влияния и средоточию церковного управления, тяготеют все эти Святые Места?..

Что может нам дать взамен всего этого величия бессодержательная, зеленая, лишенная серьезных преданий, сама своего глубоко революционного (т. е. *либерально-эгали-*

тарного) духа не сознающая болгарская народность? У болгар нет Святых Мест, нет древних церковных средоточий, нет великих неподвижных звезд Православия, разливающих свой свет повсюду, даже и в наше печальное время жалких прогрессивных надежд и устарелых европейских мечтаний.

Что думать о народе, который возрождение свое начал прямо с борьбы противу той церковной Иерархии, правила и дух которой легли в основу его жизни, уставы и обычаи которой сохранили его в течение веков под гнетом иноверной власти?

Не успокаивайте себя тем, что этот болгарин в бараньей шапке и коричневых толстых шароварах первобытен и прост: чем грубее и проще в наше время народ, тем легче лукавым и не верующим вождям увлечь его куда угодно.

Католическое духовенство жалуется, что в полудиких, варварских республиках Южной Америки оно гонимо гораздо более, чем в глубоко образованной Европе. Отсталая, сравнительно невежественная Италия легче отступилась от Папы, чем более цивилизованная, передовая Франция; в последней были и есть даже республиканцы, не желавшие никогда полного разрыва с Ватиканом.

Прогрессивные идеи грубы, просты и всякому доступны. («Жрецы и воины ведь всегда обманывали народ». Не правда ли?)

Идеи эти казались умными и глубокими, пока были достоянием немногих избранных умов. Люди высокого ума облагораживали их своими блестящими дарованиями; сами же идеи, по сущности своей, не только ошибочны, они, говорю я, грубы и противны. *Благоденствие земное вздор и невозможность; царство равномерной и всеобщей человеческой правды на земле — вздор и даже обидная неправда, обида лучшим. Божественная истина Евангелия земной правды не обещала, свободы юридической не проповедывала, а только нравственную, духовную свободу, доступную и в цепях. Мученики за веру были при турках; при бельгийской конституции едва ли будут и препо-*

добные; разве «о равенстве и свободе юридические» вроде наших подлых благотворителей, стреляющих из револьверов в генералов.

Жалко, скучно и страшно за будущее Славянства!

## II

Бедный князь Черкасский!

Не знаю, что он в самом деле думал про себя; но давно ли мы читали, что «Славянский Комитет будет стараться утвердить в освобождаемой Болгарии дух истинно православыный и внушить болгарам отчуждение от пустоты сербских конституционных замашек»?

Князь Черкасский был человек диктатуры; он умер в день подписания мира; прошел только год; еще русские войска не вышли из полуразрушенной Турции, а трагический образ восстающей из рабства и крови Болгарии уже успел мгновенно исказиться шутовской гримасой демагогического и парламентского мещанства!

Не того мы ждали: мы ждали от наших младших, наших свежих братьев примера; мы думали, что они научат нас, как лучше бороться против европеизма... А они сразу перецеголяли Европу... О, как это гадко!

Бедные тени Хомяковых и Киреевских, — тени, столь поздно увенчанные общественным признанием и столь скоро обманутые в лучших надеждах своих!..

«Старые» славянофилы воображали себе, что затмение турецкого полумесяца повлечет за собою немедленно яркий восход сияющего Православного солнца на Христианском Востоке.

Они мечтали о каких-то патриархально освежающих юго-славянских родниках! Как возвышенны, как благородны были эти мечты! Как упорно сохранились они у немногих, оставшихся прежними славянофилами и доньине!

И как ошибочны эти надежды, как призрачен этот яркий, своеобразный культурный идеал! Горькая ошибка наша; поправим ли мы ее?

Как было не понять, что какому-нибудь болгарскому учителю, купцу, доктору, депутату и даже министру из мужиков или лавочников недоступно и нежелательно то, что было так ясно и так желательно Киреевскому, Хомякову и Аксаковым?.. Эти люди были всё русские дворяне, даровитые, ученые, идеальные, благовоспитанные, тонкие, *европеизмом пресыщенные*; благородные москвичи, за спиной которых стояли целые века государственного великорусского опыта. То ли может нравиться кое-как или даже и хорошо обучившемуся в Европе пастуху вроде всех этих людей, которых я знаю лично и которых *не хочу только называть?*

Не то они все чувствуют, *не то, что чувствуем мы!*..

И зато как глубоко, как обидно наше разочарование!.. Как оно горько! И как нам стыдно теперь!.. Я говорю нам... Да, нам; потому что и я приехал лет 15 тому назад на Восток учеником, поклонником этого *культурного* славянофильства, долженствующего возрасти и процветать такими пышными цветами на незыблемых и древних корнях Православия.

Но увы!.. Живя в Турции, я скоро понял истинно ужасающую вещь: я понял с ужасом и горем, что *благодаря только туркам* и держится еще многое истинно православное и славянское на Востоке...

Я стал подозревать, что отрицательное действие мусульманского давления, *за неимением лучшего*, спасительно для наших славянских особенностей и что без турецкого презервативного колпака разрушительное действие либерального европеизма станет сильнее...

Я стал бояться, что мы не сумеем, не сможем, не успеем *вовремя* заменить давление Мусульманства другой, более высокой дисциплиной, — дисциплиной *духа*, заменить тяжесть жесткого ига суровым внутренним идеалом; униженный и невольный страх агарянский свободным *страхом Божиим*, о котором сказано: «*Даруй ми по Твоей благодати Твоего страха* страшиться»...

И какой же тут «страх Божий» в народе неопытном, незрелом, руководимом вчера лишь вольноотпущенными ла-

кеями, побывавшими кое-где в Европе для того, чтобы перестать содержать посты и разучиться *любить власти*, Богом поставленные? Какой страх Божий в православной нации, которая начинает свою новую историю борьбой противу Вселенского Патриарха и против принципа епископской власти, — в нации, которую свои демагоги лет 20 подряд учили не слушаться архиереев, изгонять их, оскорблять, не платить им денег?..

Первые впечатления народа, вступающего в политическую жизнь после долгого сна, так важны... (боюсь самому себе досказать свою мысль), быть может, даже неизгладимы...<sup>10</sup>

Я долго прожил в Константинополе и много беседовал там с греками и болгарами.

Я приехал туда в 72 году, сознаюсь и *каюсь*, защитником болгар, хотя и грекам во многом сочувствовал; но не прожил я и года в самом центре борьбы, как уже мысли мои изменились...

С тех пор они все те же... Тогда только я понял, до чего мне, как и *большинству русских*, был темен, смутен, недоступен этот столь важный и столь страшный Греко-болгарский вопрос!..<sup>20</sup>

Только тогда, после *этих долгих бесед*, после внимательного чтения, после упорного раздумья я сказал себе: никогда еще в истории России и Славянства принцип племенного Славизма не вступал в борьбу с православными уставами и преданиями, и в первый раз эту борьбу мы видим в греко-болгарской распре.

Истинно-национальная политика должна и за пределами своего государства поддерживать не *голое*, так сказать, *племя*, а *те духовные начала, которые связаны с историей племени, с его силой и славой*. Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти, агитации болгарского «мяса»... Национальное же начало, понятое иначе, *вне религии*, есть не что иное, как все те же идеи 1789 года, начала все-равенства и все-свободы, те же идеи, *надевшие лишь маску мнимой нацио-*<sup>30</sup>

нальности. Национальное начало вне религии не что иное, как начало эгалитарное, либеральное, *медленно*, но зато *верно разрушающее*...

И ему необходимо платить горькую дань, и с ним надо, к несчастью, считаться; но вовсе не следует служить ему слишком искренно и простодушно.

Панславизм — неизбежность... Но Панславизм православный есть спасение, а Панславизм либеральный есть гибель *прежде всего для России!*..

<sup>10</sup> Кто панславист умный, дальновидный и хороший, тот должен быть за Церковь, за ее дисциплину, за ее каноны, за епископскую священную власть, за Патриарха, за этих ужасных и донныне *льстивых* фанариотов, а не за болгар, вот уже 20 лет подряд постоянно попадающих в руки своей крайней партии Чомаковых, Цанковых, Славейковых, Каравеловых... Патриарх — это старая Московская Русь; болгарская интеллигенция, за немногими исключениями, — это Гамбетта и Рошфор и разве-разве Вирхов и Тьер, только гораздо жиже и плоше!

<sup>20</sup> Выбор ясен.

Однажды я беседовал долго с одним пожилым болгаринном, человеком образованным и тонкого ума.\*

Он сказал мне *с глазу на глаз* вот что:

— Мы, болгаре, конечно, поступили неправильно, нарушив каноны; но что делать? *Раскол нам выгоден*... Над нами было два завоевания — греческое и турецкое; надо было сперва, с помощью сильнейшего завоевателя, свергнуть слабейшего. Оттого мы соединились с турками противу Патриарха.

<sup>30</sup> — Я понимаю вас, болгар, — отвечал я, — но нам, русским, нет нужды быть во всем солидарными с вами. Мы даже могли бы объявить вас раскольниками с церковной точки зрения, вместе с тем, продолжая защищать вас, как славян, от турок и от Запада, и даже, если нужно, и от

---

\* Г. Злотовичем, ныне умершим. — Авт(ор). 1885 г.

лишних посягательств самого эллинизма. На Дунае мы помогаем же русским старообрядцам. В такой политике правда сочеталась бы с мудростью. Одна не мешает другой. Разве мы не могли бы объявить вас раскольниками и воевать за вас, когда придет время?.. Тогда, когда Русская Церковь решится назвать вас по имени, как вы того заслуживаете, самый искренний в Православии своем русский в состоянии будет стать за вас, но только как за славян... не иначе. Церковь лгать Св. Духу или игнорировать свои уставы запрещает, а сражаться можно и за иноверцев даже, когда того требуют государственные выгоды, — на это нет канонов... А теперь, как православному человеку, понявшему, наконец, все ваши тайны, все ваши замыслы и приемы, как ему быть за вас?.. За вас может быть или незнание, или злонамеренность, или какое-то непостижимое затмение, овладевающее иногда и самыми сильными умами.

Умный старик помолчал немного, потом поглядел на меня с тонкой улыбкой и сказал доверчиво (я уже заметил, что мы были одни):

— Да. Кто горячий монархист, подобно вам, тот не может сочувствовать болгарскому движению. Это правда. Принцип Самодержавия и принцип Патриаршей власти — это так тесно связано; это почти одно и то же...

A bon entendeur — salut!

### III

## О ПОРОКАХ ФАНАРИОТОВ И О РУССКОМ НЕЗНАНИИ

«Новое Время» назвало вашу газету фанариотской. Это не обида; — обидно было бы, если бы оно назвало ее либеральной. В 40-х и 60-х годах позволительно было умному человеку и патриоту быть либералом, но после того, как либерализм везде обнаружил уже плоды свои, либера-

лом может оставаться только или очень неспособный и слишком простодушный человек, продолжающий трогательно верить в какое-то прогрессивное, стремящееся ко все-благу «сюртучное», так сказать, все-человечество, или, напротив того, очень ловкий хитрец.

Итак, газета «Восток» есть орган фанариотов или порождение фанариотского духа; а я, автор письма о *нашем болгаробесии*, — я, безнравственный человек, проповедующий, будто Православие (или вообще Христианство) «существует не для одних избранных, чистых и кротко идеальных натур... но для всех натур, для всех характеров, для всякого воспитания».

«Новое Время» удивляется этому, как новости.

Я не виноват, что сотрудники «Нового Времени» не знают основных истин того вероисповедания, к которому они причислены, вероятно, сами по метрическому свидетельству.

*Хорошая натура есть особый дар; хорошее направление есть дело свободного избрания. Христианская вменяемость относится не к дарам природы, а к приобретенным усилиями плодам Веры и страха Божия.*

Это азбука Христианства. Можно не верить, если не умеешь; но надо знать то, о чем судишь. Впрочем, я подозреваю, что редакция «Нового Времени» знает, что я прав, но она печатает именно то, что ей нужно ввиду русских национал-либералов, имя которых, к несчастью, легион.

Но оставим все это. Назло всем, я хочу поговорить с вами еще и еще именно об *этих самых фанариотах*, которые будто бы так порочны, так враждебны нам и так вредны Славянству.

Отношения многих русских людей к царградским грекам напоминают мне отношения прежних французов к России и русским.

Я говорю именно о *прежних французах*, потому что за последние годы французские ученые и литераторы «удостоили» нас более внимательного изучения и, при всем политическом недоброжелательстве своем, французское общество стало получше прежнего понимать Россию.

Политическое недоброжелательство понятно и даже извинительно, если взять в расчет могущество России и ее естественный рост, ничем, даже и миролюбивым смирением нашим, *неотвратимый*.

Поэтому, когда я говорю об этих *прежних* французах, то я хочу напомнить не столько преднамеренную ложь враждебных нам партий, сколько легкомыслие невежества и фразу наивного предубеждения.

«Козаки, варварство, *les boyards*» и т. п. Беранже, например, в одной из своих песен восклицает, что у «козака <sup>10</sup> кожа грязная и *вонючая* (*gance*)». — Почему же это? — Наши простые люди ходят в баню чаще французов. В другом месте тот же поэт говорит: «Русский, который всегда *дрожит* под своим снежным покровом». — У нас зимой в домах теплее, чем у них, и люди ходят в шубах.

Сколько подобного вздора я наслушался от французов во время моей службы за границей! Один француз, никогда не бывший в России, говорил, будто у нас оттого, вероятно, едят ржаной хлеб, что пшеничную муку не умеют еще <sup>20</sup> хорошо делать. Даже один иступленный враг России, польский эмигрант, не вынес этого вздора и вступился за нашу крупичатую муку. Другой француз утверждал, что Суворов был генерал ничтожный и *дикий*, который только все *кривлялся*, чтобы забавлять своих солдат; третий (су-префект), встретившийся со мной на дунайском пароходе, вскочил в восторге со своего места, услышавши, что я упомянул в разговоре о *галлах*, *кельтах* и *бургундах*... «*Галлы! кельты!* Вы русский и вы все это знаете?.. Но *кто же вы? Кто*, скажите!» Четвертый (тот самый консул <sup>30</sup> *Moulin*, которого убили турки в Салониках) уверял меня, что в России скоро будет революция: не социалистическая, — нет! Для подобного недоброжелательного пророчества еще можно было бы найти повод в действиях наших нигилистов и в пустой болтовне русских путешественников. Нет, *Moulin* указывал мне на близость революции *якобинской* (так сказать, эгалитарной, а не *аграрной*, не *экономической*), на восстание народа из-за равенства *прав*. «Пото-

му что, говорил он, какой-нибудь мосье Иванов или Петров спросит себя, наконец: отчего он не может иметь то положение, которое имеет „un Ignatiew” или „un Lobanow”». Moulin говорил это в 71 году, через 10 лет после освобождения крестьян. Что отвечать такому человеку?

Прибавлю, что явных признаков большой политической вражды к России я в этом Мулене не замечал. Он вел себя умеренно. Вернее всего он, как пустой человек, судил самоуверенно о том, чего не знал.

<sup>10</sup> Вот в каком смысле я сказал, что суждения многих соотечественников наших о греках и в особенности о греках цареградских очень похожи на суждения французов о России.

И у нас много Муленов.

Я помню многие встречи и разговоры. Еще в 60-х годах случилось мне ехать в мальпосте до Харькова с одним чиновником Министерства иностранных дел. Мы разговорились случайно о крымских греках. Он их не знал вовсе; в Элладе и Турции тоже не был, служил тогда в Азиатском <sup>20</sup> Департаменте; я был в Крыму и знал там и сельских греков, и рыбаков, и купцов, и помещиков этой крови. «Греки эти такие *растленные!*» — воскликнул чиновник Министерства. Я удивился. Я, напротив того, живя в Крыму, находил, *по тогдашней молодости моей*, что греки несколько сухи, слишком строги в семейных нравах своих, слишком серьезны и патриархальны сравнительно с нами. Женщины русские, простого звания, замечал я иногда, живя в Крыму, гораздо свободнее и, да простят мне прямоту моего выражения, даже развратнее простых гречанок. Религиозные <sup>30</sup> обязанности, — посты и т. п., — крымские греки наблюдали в то время очень строго. России, когда приходилось, они служили как истинные русские подданные, не хуже нас... «Почему же они растленные?» — с удивлением спросил я. — «Где вы их видели?» — «Нет, конечно, я не изучал их быта, — отвечал чиновник Министерства, — но ведь это так известно, что они *растленны...*»

Каково это суждение?

Прошло с тех пор очень много лет. Этот самый чиновник поехал потом на Восток, долго прослужил в свободной Греции и верно теперь он сам посмеется над своими прежними взглядами, если случайно прочтет это письмо мое.

Теперь он, может быть, будет порицать греков Свободного Королевства за их демагогический дух, за их эллинский фанатизм; он, вероятно, будет жаловаться на периодические припадки их руссофобии, бросающей их поочередно в предательские объятия то той, то другой западной Державы... Он назовет их, вероятно, скорее слишком жесткими, суровыми, сухими, но уж никак не «растленными»...

Прошли, говорю я, года и года. Я сам прожил десять лет в Турции; имел много дел и сношений и с турками, и с болгарам, и с греками и вернулся на родину. На родине встретил я одного старого знакомого... Он человек жизни скромной, семейной, внимательно читает прописи Смайльса, находит себя православным, несмотря на то, что враждует противу монашества и монастырей... И в то же время в восторге от Михаила, Митрополита Сербского... Зашел разговор о греко-болгарской распре... Я претендую немножко знать ее историю и ее тайный для многих смысл... Но знакомец мой самоуверенно прервал меня, сказав, как бы вы думали, что?

Он в 74-м году сказал то же самое, что говорил чиновник Министерства в 61-м году.

«Греки люди растленные... Фанариотское духовенство исполнено лжи... Болгаре, народ молодой и свежий, как и вообще юго-славяне. Они сохранили в чистоте весь дух первобытного Христианства!!!»

Что такое это? Какое это Христианство первобытное и что значит сохранить в чистоте его дух?.. Какая фраза!.. Ничего осязательного и ясного!..

И кто это именно сохранил этот дух: селяне ли и горцы болгарские, которые с точки зрения православных верований своих и патриархального быта своего очень похожи на греческих селян и горцев Крита, Эпира и Фессалии, с тою

только не совсем лестною для славян разницею, что у последних (т. е. у греков) все как-то выразительнее, изящнее, живее...\* Или этот *дух первоначального Христианства сохранили лучше нас и греков все эти Жинзифовы и Дриновы, которых мы знаем хорошо!*.. Хитрые буржуа европейского покроя, имеющие все худые качества *византийцев* (да! именно византийцев), но не имеющие того правильного и высокого православного направления, которому не изменяли византийские греки даже и в самые несчастные дни своего падения.

Или, может быть, этот чистый дух сберегли для нас болгарские епископы, которые, зная очень основательно все уставы Церкви и все Апостольские правила, нарушили их сознательно и ловко, *именно настолько, насколько было нужно, чтобы, отделяясь от Патриарха даже и в смешанных греко-болгарских областях, ничем слишком резким не поразить ни свой простой народ, ни русское общество?* Они знали, что для простого болгарина главное дело в том, чтобы *клубуки* на попах были *по-гречески разлатые кверху*;\*\* они знали также, вероятно, что русское общество равнодушно к церковным делам и считает их *формалистической*, что русская дипломатия боится перехода болгар в униатство *гораздо больше, чем нужно этого бояться*; знали, должно быть, еще, что в России сразу и различить не сумеют ни *тонкого* раскола от грубой ереси, ни понять великой разницы между собственным правильным *административно-государственным* обособлением от Патриарха и болгарским *филетическим* (племенным) *мятежом*...

Болгарские демагоги знали все хорошо и все сделали ловко, дабы *вылущить* свое население поскорее из греков

---

\* Чем я виноват, что это правда?

\*\* Болгарская «интеллигенция» (!) всегда горячо отстаивала внешний *греческий* облик своего духовенства; она держалась за *разлатые черные клубуки* именно в то время, когда ею уже были нарушены столькие *незримые, но существенные* правила христианской дисциплины.

во Фракии и Македонии. Они заставили Россию идти за собой с повязкой на очах!

Не правда ли, умно?.. Умно, конечно, льстиво и коварно!.. Но где ж тут чистота «древле-славянского» духа?.. Неужели *первобытное, свежее* Христианство юго-славян должно состоять в подобном племенном макиавеллизме, разрушающем Церковь?..

Избави нас Боже от Христианства Чомаковых и Каравеловых!

Русское непонимание греко-болгарских дел простирается<sup>10</sup> до того, что мне случалось слышать легкомысленные слова по этому поводу даже от *примерных русских монахов*...

— Помилуйте, какие-то *фанариоты*... — сказал мне недавно один прекраснейший инок, *светски образованный, духовно вполне достойный почтения, умный, добрейший* сердцем.

«Какие-то *фанариоты*...»

Как вам это нравится?.. Монах этот, впрочем, так умен и правдив, что я сразу мог его образумить.

— *Возненавижу Церковь лукавствующих*, — сказал<sup>20</sup> я ему. *Церковь же лукавствующих* была в этом случае скорее Болгарская, чем греческие Церкви, которые, в *ущерб греческой национальности*, объявили болгар раскольниками, ибо дали им этой анафемой средство немедленно *выделиться повсюду* из смешения с греками и поставить себе везде особое болгарское начальство. «*Два епископа* (т. е. два православных епископа) в одном городе управлять не могут; но так как нас, смиренных, бедных болгар, эти изверги греки признавать православными более не хотят, то мы этому очень рады и поставим везде по городам *рядом* с<sup>30</sup> греческими своих епископов, подобно армянам, католикам или русским староверам! Да здравствует Султан Абдул-Азис, наш покровитель!..»

Вот она. *Церковь лукавствующих*, которой мы потворствуем!

Что значит *личное лукавство* людей в общих церковных и в политических делах?.. Почти ничего; оно вредно

или полезно, смотря по принципу или роду интереса, которому оно служит...

Что такое *личное коварство* перед судом *духовным*? Грех, немощь личная, против которой есть у христиан правила борьбы душевной, есть покаяние... Многие из святых, многие из мучеников, быть может, хитрили в минуты падения; они были *люди*; считать святых безгрешными — *грех*. Апостол Петр схитрил от страха и отрекся от Христа на мгновение. В этом смысле и епископы болгарские *лично* не <sup>10</sup> должны быть слишком строго судимы; они могли согрешить из тщеславия, гордости, из человекоугодия, своекорыстия...

Но можно ли православным людям поддерживать *Церковь лукавствующих*? Церковь, основанную на *тончайшей* лжи, на каком-то чрезвычайно искусном, едва приметном *издали* отщеплении!

Нет, самая резкая *догматическая* ересь была бы не так опасна, потому что она не носила бы столь невинной и обманчивой личины, не издевалась бы над нашим невежеством, не подкрадывалась бы к самому сердцу нашему, ныне <sup>20</sup> столь жалостливому и свободолюбивому!..

Примеров русского незнания, русских заблуждений, русской *фразы* нет конца!..

Конечно, не я один могу их привести; но и вы сами, и все те, которые принимают участие в нашей газете, столь почтенной и серьезной.

Одна ничтожная заметка Нестора о *льстивости греков* сколько наделала вреда!..

<sup>30</sup> Мало ли что могло показаться летописцу. И он был человек «немогущий», как и все люди; и он мог заблуждаться. Надо принять в соображение и то, что византийские греки были в то время гораздо образованнее русских и уже по этому одному казались ему хитрее всех других людей, *льстивее, лукавее*...

По поводу подобных *древних* наблюдений, не всегда удобно применимых к нашему времени, я вспоминаю ответ, данный мне одним очень молодым кандиотом, простого

звания. Нынешние критяне вообще очень симпатичны, и самая хитрость их не груба и не противна, а, напротив того, имеет в себе что-то мягкое, веселое и ласкающее... Этот же юноша, о котором я вспомнил, был воплощенное простодушие и честность... Я что-то спросил у него, он ответил... «Я не верю тебе; ты лжешь, — сказал я ему шутя, — Апостол Павел говорит, что критяне все лжецы».

— Когда, когда жил Апостол Павел! С тех пор сколько перемерло народу. Все люди переменялись, — возразил мне, смеясь, молодой грек. 10

Авторитет Апостола Павла важнее авторитета нашего летописца; однако в этом случае не руководиться исключительно замечанием Апостола будет так же не грешно, как не грешно согласиться, что русло какой-нибудь реки или глубина какого-нибудь озера, упоминаемого в Священном Писании, изменились с течением веков.

Не знаю, случалось ли с вами это, а мне случалось слышать эту фразу Нестора *греки льстивы до сего дня* от очень серьезных людей, от людей умных и даже... от людей государственной службы... Правда, тут есть разница; ученые, исключительно кабинетные, нередко бывают наивны и сентиментальны в политике, не понимают иногда и вовсе того, что государственная, так сказать, психо-механика не может руководиться одними «моральными» соображениями и вкусами. Они часто не знают, что действия и противодействия естественной международной борьбы должны основываться как можно менее на личных симпатиях и увлечениях, хотя бы и целых масс, ибо тогда не следовало бы воевать противу турок, так как известно, что лично многие из них честны, просты сердцем, приятны в частных сношениях и делах, даже очень добры и мягки в мирное время и пока не распалено до безумия их религиозное чувство... 20

Но люди государственной службы все это знают, и почему они тоже упоминают некстати в разговорах своих о словах Нестора, я понять не могу! Так, плохое остроумие какое-то. А в мыслях у них совсем другое... 30

Такого рода людям всегда понравится, например, русский «кулак»-консерватор, очень хитрый в частных делах и непоколебимый, искренний в религиозных и государственных убеждениях своих. И мне такой человек нравится, и я его уважаю; но мне нравится не менее его и православный грек точно такого же «стиля» или закала; а некоторые дипломаты наши, хваля подобного русского, в то же время грека, на него *очень похожего* и ему равносильного и по твердости верований, и по *личным слабостям*, непременно называют *льстивым* (т. е. лживым) фанариотом.

Отчего же это? Мне кажется, что опытные дипломаты тоже заблуждаются в этом случае, но несколько иначе, чем тот знакомец мой, чтущий прописи Смайльса и не чтущий монахов, о котором я говорил выше, — они заблуждаются, но не так, как чисто кабинетные люди.

Заблуждения дипломатов в Греко-болгарском вопросе происходят, конечно, не от добродушного искания *человеческой, прогрессивной правды* на земном шаре, — искания, неприличного их высокому званию, опыту и уму, но от той ложной мысли, будто бы Россия должна для *выгод своих*, для укрепления собственной силы, во что бы то ни стало *угодить* юго-славянам, и в особенности этим болгарам, отныне и впредь долженствующим стать верными проводниками руссизма на Востоке. (Хороши проводники, ратующие против той самой Церкви, которой учение и предание возростили Россию! Хорош Руссизм — бельгийская «говорильня» с хамоватыми атеистами во главе!)

Вероятно, те из дипломатов наших, которые стояли за болгар, в пылу практической деятельности не нашли времени осмотреться кругом внимательно и понять того до грубости поразительного факта, что во всей Европе чисто национальное начало, т. е. *племенное*, разрешившееся от *религиозных уз*, при торжестве своем дает плоды вовсе не национальные, а, напротив того, в высшей степени *космополитические* или, точнее, *революционные*.

В Италии, — эмансипационный национализм погубил Папство и даже по духу и общественному быту сделал ита-

льянцев более похожими на французов, чем они были до 59-го года, т. е. *менее национальными*. Вторая Империя, служа чужому либерально-национализму, погубила и себя, и Францию; создав Италию, она ослабила себя и послужила косвенно как германскому, так и славянскому, опять-таки либеральному национализму. В торжествующей и почти вполне объединившейся Германии *немедленно* началось глубокое социальное брожение, и единство власти и племени повлекло за собой усиление атеизма и анархических наклонностей. Побеждая Францию, Германия у себя наткнулась на роковую *культурную борьбу* с Папством, от которой не знает как теперь избавиться, и, с другой стороны, в побежденной стране, во Франции, унижением Империи она подготовила возможность *якобинской республики* Гриви-Гамбетта, имеющей в свою очередь скоро и несомненно перейти в *нечто еще худшее*.

Национально-либеральное начало *обмануло* всех, оно обмануло самых опытных и даровитых людей; оно явилось *лишь маскированной революцией*, — и больше ничего. Это одно из самых искусных и лживых *превращений* того Протея *всеобщей демократизации, всеобщего освобождения и всеобщего опошления*, который с конца прошлого века *неустанно и столь разнообразными приемами* трудится над разрушением великого здания *романо-германской государственности*.

Поэтому-то и болгарское национальное движение противу Патриарха и канонов для России опаснее и вреднее *всего остального на свете*; это самый злокачественный припадок проклятой либерально-прогрессивной (т. е. *космополитической*) заразы!

Я прерываю это письмо, — оно и так слишком длинно...

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПУБЛИЦИСТИКА 1862—1879 ГОДОВ

Мнение Джона-Стюарта Милля о личности	7
С Дуная . . . . .	49
Разбой по Дунаю . . . . .	80
Грамотность и народность	90
Четыре письма с Афона	131
Панславизм и греки	176
Панславизм на Афоне . . . . .	210
Дополнение к двум статьям о Панславизме (1884 года)	268
Еще о греко-болгарской распре	272
Посвящение Игнатьеву	298
Византизм и Славянство	300
Русские, греки и юго-славяне	444
О памятнике в Филях	499
Враги ли мы с греками?	502
Храм и Церковь . . . . .	508
Территориальные отношения . . . . .	521
Одна глава (V-я) из статьи «Мои воспоминания о Фракии»	527
Письма отшельника	539

---

## КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ЛЕОНТЬЕВ

### ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ В 12-ТИ ТОМАХ

Т о м 7

Книга 1

*Утверждено к печати  
Редколлекцией полного собрания сочинений К. Н. Леонтьева*

Лицензия № 000190 от 03 июня 1999 г. Подписано к печати 31.03.05.  
Формат 60×90  $\frac{1}{16}$ . Бумага офсетная Гарнитура Академическая. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 35.0. Уч.-изд. л. 28.9. Тип. зак. № 3982

Издательство «Владимир Даль». 193036. Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 19

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ГУП «Типография «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

